

Л 2008  
4406к

ИЛЬЯС  
ЕСЕНЬБЕРДИН

*Опасная переправа*

*Золотые кони  
просьмываются*













А 2008 / 4406 к

894.342-

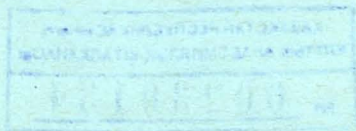
Е 822  
к

# ИЛЬЯС ЕСЕНБЕРЛИН



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖАЗУШЫ»

Алма-Ата — 1979



221.512.122-3

Каз 2  
Е 822

Авторизованные переводы  
с казахского  
Ю. ДОМБРОВСКОГО, Н. ПЛАТОНОВОЙ.

Е  $\frac{70303-137}{402(07)79}$  166-79 4702023020

© Перевод на русский язык,  
«Жазушы», 1979.





*Опасная переправа*





# Часть первая

## ЗАБЛУДШИЙ ПЕВЕЦ

### I

Около города бурные волны Иртыша вдруг сразу смирятся, и река катится медленная, тяжелая и тихая. Город выстроился на высоком песчаном берегу: лозняк, березы, кусты, кусточки — и вдруг сразу зачастили шаткие домишки с деревянными крышами и ветхими ступеньками, а за ними серые длинные здания, похожие на каменные бараки, — склады и магазины. За складами мечеть, за мечетью дощатый синематограф с колоннами и шпилем — он построен так недавно, что еще и доски не почернели, — и вот уже полезли на гору самые настоящие дворцы, расписные хоромы, а то и палатки, крытые железом, крашенные в охру и киноварь, с геркулесами и богинями. Все это должно, по мысли архитектора, напоминать Париж, Москву и Петербург или и того более — Рим и Флоренцию. Только фамилии-то владельцев этого великолепия совсем не флорентийские: Кошелев, Строганов, Галимов, еще с десяток таких же. На улицах шумно илюдно. Медленно и величественно ступает двугорбый верблюд с аристократически оттопыренной губой, лихо звеня бубенчиками, проносятся настоящие русские тройки — блистают лак и красные рессоры, идут люди в фуражках с дворянской кокардой, идут старики в длинных сюртуках, мелькают малахан, тюбетейки, цыганские шали в розах и бутонах (каждый бутон с добрый кочан), попадаются азиатские расписные халаты, зеленые юнгштурмовки, обвитые ремнями. Одни хмурятся, другие улыбаются, и, видно, у одних — камень на сердце, у других — радость на душе, и эта радость брызжет из глаз и освещает лицо — у каждого по-своему, но это свое относится к чему-то общему для всех, к тому огромному и невиданному, что одинаково потрясло и тех и этих. Источник для печали и радости у всех один.

Я очень люблю этот старый город, выросший на песчаных берегах Иртыша, — люблю его летом, люблю его зимой, но больше всего люблю его весной, — когда зацветают березы, по улицам летит нежный белый пух, и в темных палисадничках сладко пахнет черемухой.

И сейчас тоже весна. Дома убраны красными полотнищами и еловыми ветками. На площадях возводят трибуны и арки, и везде кумач, кумач. Страна отмечает один из самых своих веселых дней — праздник Первого мая.

Поднимается солнце. Вместе с ним появляются на улицах первые прохожие, первые лучи ложатся на тротуары и веселые весенние лужи. Где-то глухо ударил барабан, и в ответ ему сейчас же хрипло, словно прочищая горло, закричала, запела и задохнулась труба. Три человека смотрят на улицу через распахнутое окно. Комната, в которой они стоят, и мрачна и темна, но в ней много воздуха. И обставлена она со вкусом. На полу багровый персидский ковер, на стене неяркое, но очень большое созане — на нем домбра с богатыми перламутровыми инкрустациями. На полках и на столе посуда медная и фарфоровая, стоят высокие узкогорлые медные кувшины, украшенные тончайшим игольчатым узором, пестрые пивалы, пузатые белые чайники с пышными трактирными розами. В углу сундук, тоже не простой, а с хитрым кованым узором. Низкий азиатский столик, покрытый яркой шелковой скатертью, довершает убранство. И все-таки в комнате темно и мрачно.

Три человека смотрят в окно на первомайский праздник.

Первому лет тридцать пять — лицо у него смуглое, горбоносое, карие печальные глаза. Он высок и широкоплеч. На нем белая шелковая рубаша с прямым высоким воротом, тонкий ремешок, украшенный серебряными бляшками с кавказской чернью, галифе и желтые сафьяновые сапожки. На плечах бархатный чапан с меховым воротником. Длинные волосы. Он похож на поэта или художника. У женщин, наверное, должно захватывать дыхание при одном взгляде на него, но сейчас он мрачен и молчалив. Неотрывно смотрит он в одну точку и думает что-то свое. Очевидно, только что закончился какой-то тяжелый разговор. Двое его собеседников стоят поодаль: молодой смуглолицый джигит, темноглазый, задумчивый, с копной курчавых волос и высоким скульптурным лбом. Он одет по-европейски. Другой огромен, добротен и силен, как молодой дуб. На нем круглая казахская шапочка, отороченная мехом, красный бухарский халат, широкий тяжелый пояс, окованные серебром, узорчатые хромовые сапоги. Взгляд у него тяжелый и вместе с тем острый — про такой взгляд говорят: он не смотрит, а сверлит глазами. Губы крепко сжаты. Темное лицо застыло в какой-то свирепой и вместе с тем болезненной гримасе.

Трое смотрят в окно: знаменитый казахский поэт Ахан и двое его учеников — Буркут и Акпар. Буркут тоже поэт, но если его учитель Ахан один из первых казахов в этом городе, получивших гимназическое образование, то Буркут побывал



даже в Омском университете. Сейчас он преподает язык и литературу в старших классах. Акпар — одноклассник Буркута, они в один год окончили гимназию. Сейчас Акпар работает секретарем суда. Конечно, для Акпара Карымсакова — наследника богатейшего и знатнейшего рода Сары — это не ахти какая карьера. Из этого рода вышли знаменитые баи, бии и волостные правители, а он лишь какой-то «делопут». Но что поделывать. Времена не те. От этого и сжаты его губы, и тяжел его взгляд, и сурово замкнутое лицо.

Трое смотрят в окно.

Праздник начался.

Взмывают первые знамена, проходят первые колонны — золотой серп и молот возносятся над рядами. Кто-то затянул песню, и вот она взметнулась и полетела. Теперь уже поет вся площадь.

— Поют! — сказал Ахан. — От радости поют! И казахи туда же! Дурни! Сами не понимают, чему радуются.

Он отошел от окна и зашагал по комнате. Акпар посмотрел на него и сказал:

— Да, вы недаром когда-то пропели:

Я напрасно ждал весну:  
Солнца луч не нам блеснул,  
Снова русский океан  
Затопил мою страну.

Ахан еще раз два прошелся туда-сюда, вдруг резко остановился посередине комнаты и сказал:

— Вся беда в нашей доверчивости. Мы как малые дети: кто нас поманит пальчиком, посулит конфетку, за тем и бежим, сломя голову. От доверчивости и гибнем.

И снова заходил.

— Да, — сказал Акпар, — да, это так. Гибнем от глупости. Это так! Сто раз вы правы, Ахан-ага.

Ахан взглянул на него и скорбно улыбнулся:

— Да в чем я прав-то? Ведь до сих пор я знал, куда звать наш народ. Я призывал его к объединению, к борьбе за свободу, за независимость, а вот сегодня гляжу на это шествие и... — Он наткнулся на тревожный взгляд Буркута и не договорил. Любимый ученик смотрел на учителя молча и настоженно. Он явно не все понимал и принимал в словах учителя. И, уловив это непонимание, Ахан сказал:

— Ну, хорошо, мы делали все, что только могли. И в результате остались в полном одиночестве. Нас перед этим окном — трое, их за окном, на улице — тысячи. Посмотрите — они идут, несут знамена, поют «Интернационал»! «Интернационал», а не наш национальный гимн... Почему? А? — и он пристально взглянул на Буркута.

— Вы сегодня очень раздражены, Ахан-ага,— сказал Буркут вместо ответа.

— Раздражен?— Ахан постоял и подумал.— Да нет! Это не то слово. Пожалуй, я не раздражен, не рассержен, а сбит с толку и ничего уж не могу понять. Вот они пошли за русскими. Почему?

— Да ведь еще Абай-ага звал учиться у русских,— осторожно напомнил Буркут.

— Учиться!— усмехнулся Ахан.— Да я разве против того, чтоб учиться? Надо, конечно, учиться. Но учиться, дорогой,— Ахан погрозил пальцем,— это не значит раболепствовать. Любить— это не значит подчиняться. Я, клянусь аллахом, люблю Пушкина и Лермонтова, Толстого и Достоевского не меньше, чем любой русский, но разве в этом дело?

— А в чем же?— спросил Буркут.

— А в том, дорогой мой, что, например, индусу, привязанному к стволу пушки — помнишь «Казнь в Бомбее» Верещагина,— очень мало дела до того, был ли у англичан Шекспир или нет. Негры умирали на плантациях под кнутом надсмотрщика, хотя у американцев был Лонгфелло. Казах, потерявший свою национальность, превращается в бродягу, отщепенца, и что в том, что он наизусть будет знать всего «Евгения Онегина»? Нет несчастья большего, чем отколоться от народа, и нет большего счастья, чем жить его жизнью и знать, что он тоже понимает тебя. Но вне национальности нет ни счастья, ни свободы. Потеряй язык — и Запад поглотит тебя за считанные месяцы. Ты читал Киплинга? Он великий английский поэт, правда? Так вот он написал:

Запад есть Запад, Восток есть Восток,  
И вместе они не пойдут.  
Пока не предстанут небо с землей  
На страшный господний суд.

— Сказано черным по белому,— продолжал он.— Есть день, и есть ночь. Есть Запад, и есть Восток. И Запад душит Восток и хочет его поглотить. Вот об этом и пишет Киплинг.

— Ну, Киплинг не пример,— слегка нахмурился Буркут.— Это тот же самый завоеватель в пробковом шлеме со стеклом. Во всем мире он видит и слышит только свою Англию. Зачем же ссылаться именно на него? На Западе есть немало друзей — наших друзей...

— Да? Немало?— насмешливо покачал головой Акпар. Он до сих пор только молчал и слушал.— Что ж, может быть! Кучка бессильных трусливых друзей и миллионы врагов, вооруженных не стеками — что эти стеки,— так, детская игрушка,— а браунингами и пулеметами. И друзья молчат, а враги-то действуют...

Он хотел прибавить еще что-то, но взглянул на Ахана и осекся.

— Подожди,— сказал Буркут,— Запад хочет проглотить Восток. Это так. Англия выжимает Индию как лимон. Это тоже так. Но ведь ты относишь это и к нашим степям? Русские и англичане — это для тебя одно и то же? Что ж русским надо от нас? Землю, что ли? У них ее своей хватит!

— Вот именно!— Акпар резко повернулся к Ахану:— Именно им нужна наша земля. У них ненасытные глаза и загребущие руки, и им нужны наши стада! Наши горы! Наши долины! Сады в этих долинах! Пройдет еще пятьдесят — шестьдесят лет — и вспомнишь меня: у нас не останется и клочка земли, чтоб прокормить с десятков паршивых овец. Выродился, ослаб, пал духом казахский народ. Нет у него ни вождя, ни учителя.

— Ты что же, опять хочешь звать на битву?— усмехнулся Буркут.— Тебе что, Кенесары нужен?

— Не Кенесары, а...— Он опять не окончил.

— Да тут и Кенесары, пожалуй, не поможет,— грустно усмехнулся Ахан.— И Тамерлан не поможет тоже. Где его империя? Он умер, и поползло его государство, как гнилое сукно.. А там, где стоял Отрар, величайший город средневекового Востока,— только степь, холмы да овраги. А империю Александра Македонского помнишь? Ведь какая она была? Свет не видывал такой. От Балкан до Индии. А умер Искандер, и империя рассыпалась. Нет, Буркут, время завоевателей прошло. И не на костях побежденных народов строится сейчас государство. Это раньше Россию называли тюрьмой народов...

— А сейчас что?— спросил Акпар.

— А сейчас каждый народ славит ее за свое освобождение! Слышишь, как кричат и поют за окном? А вот нас-то с ними нет. Мы за рамами отсиживаемся. А ведь для писателя это хуже смерти, мои дорогие. Настоящий писатель, он и после смерти идет как тень вместе со своим народом, он его совесть, гордость, разум, честь, а вот такие, как мы, которые отсиживаются да отмалчиваются... это...— Он задумался, помолчал и окончил:— Это как с альбатросом.

— С альбатросом?— удивленно спросил Акпар.— Это что же — кажется, морская птица есть такая?

— Да, такая морская птица,— кивнул головой Ахан.— И один великий поэт сложил стихотворение об этом альбатросе. Поймали его матросы, выпустили на палубу. И вот ходит по доскам огромная белая птица, рвется, а взлететь не может, крылья не пускают, такие огромные они у нее, что для того,

чтоб взлететь, ей обязательно нужна ширь, нужно пространство, а где его возьмешь? На досках-то?

— Ну и что?— спросил Буркут.

— Не понимаешь? «Вот и ты таков, поэт»,— говорит Бодлер, это его стихотворение, а перевел его П. Я., то есть Павел Якубович, крупный русский писатель,— вот так и ты, поэт, можешь только тогда летать, если ты окружен своей родной стихией. А стихия поэта — народ. Если поэт не нужен своему народу, то он никому не нужен. Даже себе. И вот видишь: народ там, а мы здесь. А если так, то нам один путь.

— Какой?— спросил Буркут.— Какой, учитель?

Ахан снова зашагал по комнате. Оба ученика молча смотрели на него. Вдруг он подошел к окну, взялся рукой за скобку и с минуту простоял так неподвижно. Когда он снова заговорил, голос его был тих и задумчив.

— На многое я замахивался в жизни,— сказал он,— многое обещал, а не сделал ровно ничего. Ничего ровно. Это надо же подумать,— он даже усмехнулся.— Шел, шел, пел, радовался, веселился, а один раз оглянулся и увидел, что стою в пустыне. Жара, пески, смерть, а обратно возвращаться уже и сил нет. Вот и все. Конец! Заблудился в песках!

— И это говорите вы?— удивленно спросил Акпар.— Вы, песни которого наизусть знает любой юноша и девушка из самого глухого аула?

— Да, по любовной-то лирике я мастер!— грустно усмехнулся Ахан.— Пою-то сладко. Это всякий скажет. Но разве сейчас это нужно народу?

— А что?— жадно спросил Буркут.— Что ему нужно, учитель? Скажите.

— Я думал, ему нужна свобода. И звал его к освобождению. От кого — спрашивали меня — мы должны освободиться? Я отвечал — от русских. И еще я говорил своему народу, что его сила в единении. Я звал его сплотиться, и опять-таки против русских. А оказывается, мой народ ищет свободу по-своему, а сплоченность понимает совсем иначе,— и вот слышишь, какие песни они поют за окнами? И идут они все вместе под одним и тем же красным знаменем. И русские и казахи! И слова «националист», «национализм» они понимают как ругательство! И казахи и русские. В этом все дело.

— Когда-то вы говорили иначе,— произнес Акпар, внимательно смотря на учителя.

— Когда-то?— переспросил Ахан, и опять что-то очень значительное на миг прозвучало в его голосе.— Да, когда-то я не понимал очень многого! Вернее сказать: ничего не понимал. Ладно, не будем вспоминать про то, что было когда-то. А вот стихи Блока ты хорошо помнишь? Вот эти:



Похоронят, зарюют глубоко,  
Бедный холмик травой прорастет.  
И услышим: далеко, высоко  
На земле где-то дождик идет...

Он прочел это стихотворение до конца и сказал:

— Вот так-то! А вы говорите — «когда-то»! Глупый человек мечется, ищет свое место, а место-то его, оказывается, вот где!

— Где?— спросил тревожно Буркут и подошел к Ахану.— Учитель, зачем вы прочли сейчас эти стихи?

— Могила, могила называется это место,— сказал Ахан.— Нет ничего на свете прочнее могилы, Ее ни огонь, ни пуля не берут. Вот так.

Он пошел, лег прямо поверх покрывала, даже сапожки не снял, и закрыл глаза.

— Учитель,— робко позвал его Буркут. Ему вдруг стало нестерпимо страшно. Он словно почувствовал колющее дыхание смерти. Воздуху в комнате не хватало. Какая-то тяжесть навалилась на грудь.— Ахан-ага,— позвал он снова. И опять учитель ему не ответил. Глаза его были закрыты, губы сжаты, но он не спал — это было видно по быстрому, порывистому дыханию.

В комнату вошла старуха. Она поставила на стол кувшин кумыса, три пиалы и молча вышла. И лишь только за ней закрылась дверь, как Ахан поднялся с кровати и подошел к столу. Движения его были мерны и точны. Он достал черпак и стал перемешивать им желтоватую тягучую жидкость — кумыс только что ожеребившихся кобылиц, ему специально привозили такой с далеких горных джайляу. Потом он разлил кумыс по пиалам и сказал:

— Прошу, попробуйте.

И сам первый пригубил пиалу.

Несколько минут все пили молча.

— Хороший кумыс,— похвалил Буркут, вытирая губы,— только у вас теперь и выпьешь такого. А что же вы сами не пьете, Ахан-ага? Пригубили и поставили. Пейте!

— Да что-то аппетита нет,— поморщился Ахан. Он встал и опять зашагал по комнате.

Буркут посмотрел на него и не сдержался.

— Ахан-ага, да бросьте себя мучить,— сказал он, вскакивая.— Вы что, боитесь чего-нибудь? Что вас тронут, боитесь? Да никогда этого не будет! Советская власть справляется только со своими настоящими кровными врагами! А разве вы враг?

Ахан усмехнулся:

— Странно ты понимаешь слово «враг». По-твоему, враг это тот, кто подрывает мосты или жжет аулы? Нет, врагом

они считают всякого, кто выступает против их идей. А идея их такова — остричь всех под одну гребенку. А для этого нужно погасить сознание, навязать свою волю. А чтоб этого достигнуть, опять-таки нужно уничтожить тех, кто это сознание в народе будит, воспитывает, направляет. То есть лучших сынов народа. Вот и начинается гонение на поэтов, мыслителей, учителей. С них сразу голову долой. Такова и моя участь.

— И, значит, наша тоже?— спросил Буркут.

— Нет, вы другие,— ответил Ахан.— Вы молодые, сильные, с вами так просто не совладать, вы еще развернете свои крылья.

— А вы?

— А я стар, сед, утомлен. Были и у меня когда-то крылья, да потрепались, перья повывлетали. Мне бы теперь только до ночлега долететь. Да и вам я никакую дорогу указать не могу! Кроме злобы, у меня уже ничего не осталось, а злоба какая советчица? Одно только могу сказать: любите свой народ! Всей душой его любите! Не как я, а по-умному, по-своему.— Он подошел к ученикам и обхватил их за плечи.— Ну, а теперь идите! Погуляйте, посмотрите на праздничек, а я того... Я устал, лягу отдохнуть.— И он ласково выпроводил их за двери.

Уже на втором этаже они столкнулись с двумя красноармейцами. Красноармейцы шли наверх и так торопились, что на друзей даже не взглянули. Буркут было замешкался, но Акпар молча и сильно рванул его за руку.

— За кем они?— спросил Буркут, когда они очутились на улице.

— Быстро отсюда!— приказал Акпар и почти побежал.

Былолюдно и шумно. Демонстрация уже кончилась, но день стоял ясный, солнечный, и людям не хотелось расходиться по домам. Там и сям возникали небольшие группы поющих и танцующих — взявшись за руки, люди ходили по улицам, а около одного деревянного дома так собралась даже довольно плотная толпа. Там пели. Высокий худой мужчина стоял перед распахнутым окном.

Друзья остановились.

Худой пел:

Дорога вдаль бежит, бежит,  
А я иду по ней.  
Кто знает, сколько мне еще  
Идти ночей и дней?  
Я радостно пустился в путь,  
Но даль так далека...  
Дойду ли я когда-нибудь,

Иль ветры прах мой отпоют  
Над горами песка?  
Да, ветры прах мой отпоют...  
А даль-то широка...

— Странную песню он поет,— сказал Буркут.— Здесь радость, веселье, а он что-то...

— Ну, положим, к нашему-то настроению она сейчас в самый раз,— слегка улыбнулся Акпар.— Как будто нарочно и подобрал ее. Ах, учитель, учитель!

— Пойдем,— нахмурился Буркут.— Вот подходит оркестр.

Они перешли на другую сторону улицы и остановились, соображая, куда им себя деть. Вдруг Буркут схватил друга за руку:

— Смотри, смотри!

Они стояли сейчас наискосок от дома Ахана. И вот на верхнем этаже резким толчком, словно от удара кулаком, распахнулась рама. Поэт стоял и смотрел на улицу.

— Что он делает?!— вдруг закричал Буркут.

Ахан неожиданно вспрыгнул на подоконник и застыл там на секунду, потом вдруг сделал какое-то неуловимое движение и нырнул в открывшуюся перед ним трехэтажную пропасть.

— Стой!— крикнул Буркут.— Да стой ты!— И бросился бежать к тому месту, где уже собиралась и быстро росла толпа. Учитель лежал лицом вниз на мостовой, раскинув руки, и около него быстро натекала темная лужа. Он был еще жив, потому что, когда подошел милиционер (толпа молча расступилась перед ним), наклонился и взял Ахана за руку, тот медленно открыл и закрыл глаза. Когда еще через пять минут подошел доктор, Ахан был уже мертв.

Акпар почти силой вытащил Буркута из толпы и повел его домой.

— Идем, идем,— говорил он.— Не надо попадаться на глаза. Сейчас пойдет следствие, расспросы — как и что, а ему уж все равно не поможешь.

Они прошли с квартал, и тут Буркут остановился.

— Нет, такие смерти даром не проходят,— сказал он с глубоким убеждением,— за каждую каплю крови учителя кто-то должен ответить.

— Конечно,— торопливо поддакнул Акпар,— конечно, Буркут. За каждую каплю ее.

Буркут постоял, подумал. Было видно, как ходят его скулы и вздуваются желваки.

— И будь я проклят,— выговорил он наконец,— если я это забуду.

— Ну конечно,— торопливо подхватил Акпар,— конечно, Буркут. Вот тебе моя рука. Месть за учителя.

— Месть,— подтвердил Буркут. Помолчал, подумал и добавил:— Беспощадная месть всем врагам. Всем до единого.

## II

Буркуту было семь лет, когда его из аула привезли и определили в Карнакское медресе — высшую школу мусульманской учености в Средней Азии. Этот жаркий летний день памятен ему до сих пор. Было очень душно и безветренно. Расплавленное небо сверкало над головой. Медресе стоит на холме, и снизу видна только его вершина — купола и минареты,— все остальное тонет в густой темной зелени. Мальчик шел через двор, и на каждом шагу ему встречались старики в белых тюрбанах с четками в руках и медлительные остробородые муллы. Ходили здесь тихо, говорили неслышно. Двое учеников — увидел он — сидят под деревом над раскрытым фолиантом и, раскачиваясь как деревянные болванчики, что-то поют. Но прошел мимо них мулла, и они сразу вскочили и заклаивались. А старшему из них было уже лет под тридцать. Буркут ходил и удивлялся. После гор, пустынных берегов и голубых озер радужные минареты, зеленые тюрбаны, узорчатая пестрая одежда поражали Буркута своим великолепием и буйством красок. Он готов был смеяться и кричать от радостного удивления, когда смотрел на узорные купола и карнизы мечети Ахмета Яссави. Он умилялся до слез, когда входил в густую зеленую темь фруктовых садов, скрытых от постороннего глаза высокими глухими дувалами. Поражала его и роскошь базаров — желтые, зеленые и оранжевые дыни, исписанные зменными узорами; ишаки, нагруженные разнообразной кладью; мохнатые багровые ковры, разостланные прямо на земле.

Но вот началось ученье, и с первых же дней ему захотелось умереть или сбежать отсюда хоть на край света. Его ставили на колени. Он никак не мог одолеть хитрой арабской вязи, и поэтому его били, и он засыпал в слезах. У него нигде не было прибежища. Его дразнили товарищи и гнали учителя. Так прошел год. Но к началу второго он уже бегло читал Коран, а к двенадцати знал арабский, персидский, чагатайский языки, цитировал «Шах-Намэ», «Лейли и Меджнун», бойко пересказывал сказки из «Тысячи и одной ночи». Вероятно, из него в конце концов вышел бы незаурядный мулла или даже вероучитель, если бы, когда ему исполнилось тринадцать, вдруг не нагрянул отец и не увез его в Акшатыр — русскую гимназию. И первый день своего появления в этом городе Буркут тоже помнил с поразительной ясностью. Он помнил — скалистые берега Иртыша, огромный город с широкими простор-



ными улицами, двухэтажные каменные дома, крытые железом; на рынках и площадях толпа, ничем не похожая на турецкую — не чалмы, паранджа, тюбетейки и малахай, а нечто совершенно другое — шляпы, кепки, картузы, шапки. В гимназии вместо чагатайского языка пришлось вплотную взяться за русский. Да как еще взяться! Писать диктанты и сочинения. За три ошибки ставили только тройку, за пять — плохо, единицу. Он застрял на «удовлетворительно», да так и не добрался до пятерки, зато говорить по-русски научился здорово. Но и крылатый мир Азии, ее песни, сказки и поэмы не забывал тоже. Теперь он изучал классическую казахскую литературу: «Кобланды», «Козы-Корпеш и Баян-слу». Тонские литографированные брошюрки, изданные в Казани и Ташкенте, зачитывал до дыр. А еще он любил стихи Абая. Они ему напоминали о родном ауле, о тех днях, когда он вместе с товарищами, такими же черноногими худыми сорванцами, бегал к озеру с сеткой ловить рыбу. До сих пор в его памяти застряло одно воспоминание — право, ничем не примечательное. Он идет по берегу озера через небольшую, но очень веселую зеленую рощицу и читает вполголоса стихи Абая. Кругом масса гуляющих, но на него что-то никто не обращает внимания — ну идет и идет юноша, читает стихи и читает. Может быть, он немного навеселе, кому какое дело? Ведь и все немного пьяны в этот светлый теплый майский или июньский вечер. Но в этот ничем не примечательный и в общем-то похожий на сотни других вечер Буркут впервые почувствовал в себе трепет рождающегося стиха. Впоследствии он говорил о себе: «В этот вечер я услышал в себе рычание льва». Львиным рыком называл он голос музыки. В этот день он написал первое стихотворение. На следующее утро — другое. За ним третье и четвертое. Стихи клокотали в нем с такой силой, что он целый день ходил как бы оглохший от их звучанья. И это звучание окружало его днем, приходило во сне, заставляло петь на ходу, оно рвалось на бумагу и рвало ее. Через год о Буркуте заговорили, еще через год он встретился с Аханом и сделался его учеником. С тех пор в его стихах, воспевавших до сих пор только любовь, природу, кумыс и дружбу, появились слова: «Отчая земля», «Моя Казахия», «Брат казах». Это совпало с революцией, стрельбой на улицах, красными флагами, арестованными городскими и разнесенными начисто магазинами «Братьев Шахворостовых». Люди стали делиться на партии, и на одной улице появились баррикады. Высокий и худой человек с длинными волосами и в пенсне объявил о создании Советской республики. В этот день Буркут написал стихи «Братья мои казахи», и в них уже не было ни радости, ни ощущения счастья, а появились горькая печаль, раздумье о прошлом и страх за будущее. Радость, которая насквозь про-

низывала его первые, порой еще очень несовершенные песни, с этого дня исчезла. Вот в эти тяжелые годы и погиб Ахан. Его смерть была для Буркута как удар под сердце. Он не мог ни примириться с ней, ни объяснить ее. «Нет, он не покончил с собой, его просто убили»,— говорил он и вспоминал тех двух красноармейцев и, когда его спрашивали: «Кто же убил?»— молча показывал рукой на запад. Вот в это время и завладел его душой Акпар. Судьба как бы создала их для дружбы или, наоборот, для смертельной вражды друг с другом. Они родились в одной волости, в один год поступили в гимназию и одновременно ее окончили. Сидели на одной парте, ухаживали за одними и теми же девушками, и товарищи про них говорили: «Да, друзья, но враги», «Хоть и враги, но друзья». И надо сказать, что причин для этого было много. Начать со стихов. Нет, кажется, такого казаха, который в юности не сочинял бы стихов,— писал их в свое время и Акпар. Его довольно бойкие песни печатала областная газета, потом он перешел в журналы «Айкап» и «Сана» и стал писать уже поэмы. Поэзии в них было, правда, немного, но гражданственности сколько угодно. Да еще какой гражданственности! Молодой поэт вспоминал Алаша-хана, хана Аблая, Кенесары. Всех их он звал встать из могилы и повести свой народ к победе или смерти. Слова были громкие и торжественные, каждая строка кончалась восклицательным знаком. Ахан, прочтя эти стихи, сказал не особенно уверенно: «Ну что ж, чувства у тебя хорошие, за них тебе многое простится». И это была единственная похвала, которой учитель удостоил ученика. Зато Буркута он хвалил много и охотно. Чего-чего, а сдержанности и мудрого такта учителю всегда явно не хватало. Он либо уничтожал, либо возносил до небес. Буркута же он запросто называл гением. Такова была первая причина соперничества.

Вторая носила несколько иной характер. Оба друга-врага увлеклись одной девушкой, а она предпочла Буркута. Девушку звали Ольгой, она была дочерью директора гимназии. Эдакая высокая красивая русачка с большими светлыми глазами и косой до земли. Оба поэта посвящали ей стихи, оба ей писали в альбом, оба сочиняли для нее песни и сами же их исполняли. Ольга же выросла в этих местах, и казахский язык был ей как родной. И то, что она предпочла все-таки Буркута, повергло Акпара почти в отчаяние. Он и в самом деле не мог понять, почему Буркут всегда оказывался на первом месте и чем эта неотесанная деревенщина, выросшая в ауле, лучше его — ведь он не импровизатор, и техника стиха у него не ахти какая, и язык подвешен совсем не так легко и свободно, как у него, Акпара. Но как человек умный и практичный, Акпар сразу же понял и другое: глупо враждовать с тем, кого можно использовать. Надо найти только соответствующий рычаг и

нажать на него. И такой рычаг нашелся — это была смерть учителя. С нее и нужно начинать.

И Акпар начал. Когда он сказал Буркуту, что хорошо бы устроить поминки — ведь скоро пойдет сороковой день со дня гибели учителя, у Буркута даже слезы навернулись. «Ну конечно, конечно!» — воскликнул он. И еще: — «Ты молодец, Акпар».

— Только надо тщательно составить список приглашенных, — сказал Акпар. — Ни в коем случае нельзя, чтоб на эти поминки затесались посторонние.

— Это так, — согласился Буркут.

— Я думаю, мы соберемся в ресторане Потапова. Там днем бывает тихо. Возьмем отдельный кабинет и запремся. Надо будет кое о чем поговорить.

Буркут согласился и с этим. Ресторан Потапова и в самом деле был словно создан для таких вот встреч. Как все подобные рестораны времен нэпа, он был уставлен искусственными пальмами, укутанными в бурый войлок, с саженными листьями из крашеной стружки, расписан нимфами и вакханками. В нем играл «румынский» оркестр — скрипка, гитара и рояль, — пели цыгане, за столиками сидели женщины с синими кругами около глаз и ярко-ядовитыми, словно лакированными, губами. В ресторане было много шелка, атласа, батиста, пахло пудрой, жареным луком, сигарами. В общем, все как следует: музыка гремит, цыгане орут и визжат, и все время по залу проносятся бесшумные выгибающиеся официанты с черными бабочками и блестящими лацканами. В общем, ресторан как ресторан. Все рестораны нэпа примерно такие, одни капельку почище, получше, другие попроще и погрязнее.

На сороковины гостям отвели отдельный «купеческий» кабинет, это довольно большая комната, персон на сорок. Посередине нее стоит стол, над столом во всю стену намалеван «Последний день Помпеи». И, посмотрев на нее, Буркут подумал: а ведь то, что в ресторане, где собираются нэпманы, проститутки и растратчики, появилась именно эта картина, определенно имеет некий высший смысл.

Гостей порядочно, но сидят они тихо, на столе — ни вина, ни водки, одни кувшины с кумысом да национальные блюда. Во главе стола — Буркут, рядом с ним его земляк (они из одного аула) и дальний родственник Хасен — тоже поэт и певец, только песни-то у него совсем другие, чем у Буркута, — ведь он из бедняков, весь век его отец батрачил у богатеев, то у русских, то у казахов, и сыну завещал — терпеть и работать. И не миновать бы Хасену этой отцовской участи, если бы не революция. Зачем его позвал сюда Буркут, не совсем понятно. Он совсем ведь для другой компании. Акпар стоит у окна,

курит и смотрит на Буркута. Хасен взял было домбру, но только дотронулся пальцем до струн и отложил.

— Некому теперь играть на ней, некому,— вздохнул Буркут.— Погиб наш певец. В самый трудный момент покинул он нас. Улетел...

— Покинул, говоришь? Улетел?— Акпар покачал головой:— Нет, не улетел и не покинул. Не ушел из жизни, а выгнали его. Из лютой облавы вырвался. Его уже за пятки хватили псы, а он перехитрил их и скрылся.

Хасен повернулся и посмотрел на Буркута.

— Что же, можно, конечно, сказать, и ушел,— заговорил Буркут.— Но как ни говори, а истина вот она — учителя нет. Но, покидая нас, он завещал: «Дети мои, казахи, держитесь крепче за руки, не теряйте друг друга из виду. Мы цвет нашего многострадального народа — его единственная надежда. Ваш долг перед ним — сплотиться. Во имя борьбы сплотиться. Борьба будет трудной и неравной, не многие выйдут живыми, но иного пути у нас нет».

— Нет иного пути,— словно эхо подтвердил Акпар. А Хасен опять чуть-чуть тронул струны, и, как дыхание, пролетели по комнате печальные звуки «Аксак-кулана». Буркут посмотрел на него и продолжал:

— Сорок дней прошло. Только ведь сорок! А мне показалось, что полвека минуло. Ни одну ночь с тех пор, как я увидел тело учителя на мостовой, я не смыкал глаз. Злоба душит меня, братья. Ведь правильно сказал Акпар — не умер учитель, а убили его, насильно вогнали в могилу,— и вот не с кого спросить ответа. Прошли те времена, когда брал батыр меч и выходил один на сорок врагов. Не видно теперь врагов — ни одного, ни сорока. А таятся они под каждым кустом. Я это ясно понял в эти страшные дни. Смерть Ахана-ага для всех нас страшный рубеж.

Звуки домбры смолкли. Хасен осторожно положил ее на кресло и встал.

— Смерть Ахана — это незаживающая рана,— сказал он.— Когда я стоял над его могилкой, я не мог говорить, а только плакал. Ведь все мы ходим по нашей родной степи, над всеми нами с одного неба светит одно и то же солнце, окружают нас одни и те же горы, а вот прочитаешь песни Ахана и поймешь, что все это он видел глазами гения — ярче, цветистей, выпуклее, чем мы. И когда слушаешь его песни, то и сам видишь свою родную степь такой же яркой, прекрасной, богатой.

— Ну вот!— крикнул Буркут.— Вот ты сказал самые нужные слова. Ни забыть его смерти, ни простить! Нет им прощенья! Нет и не будет!

— Это кому же?— спросил недоуменно Хасен.



— Его врагам, виновникам его гибели.

— Виновникам!— вздохнул Хасен.— В том-то и беда, до-рогой, что нет виновников. Есть виновник. И этот виновник — он сам. Он сам казнил себя, и смерть его — верно, урок. Но урок всем нам. Кто оторвался от народа — тот погиб. И ты этот урок, Буркут, усвой как следует. Вспомни-ка историю с Касымом.

— С Касымом?— недоуменно переспросил Буркут.— При чем же тут...

— При том, при том,— настойчиво сказал Хасен,— ты подумай-ка об этой истории. Ты хорошенько подумай о ней.

А история Касыма была такова: однажды старик Молдабек из рода аргынов привез из Акшатыра в свой аул сироту, семилетнего русского мальчика Костю. Был Костя голубоглаз, кудряв и настолько непричастен к жизни взрослых, что даже не знал свою фамилию. Вез-то старик Костю как подпaska, а оставил дома как сына — детей у него не было,— и Костю скоро переименовали в Касыма Молдабекова, и стал он звать хозяина аке — отцом, а хозяйку Бигайшу-апа — матерью. Надели на него приемные родители — аке и апа — казахский малахай и казахский чапан, справили ему для будней чевяки, а для праздников узорные сапожки, и так до самой солдатчины оставался Касым казахом. Играл с ребятами в асыки, пел «Камажай», участвовал в байге, а в девятнадцать лет его вызвали в присутствие, обрили, одели по-солдатски, научили кое-как стрелять и погнали на Западный фронт. Шло лето 1916 года. В 1919-м Касым вернулся в родной аул. И не на радость вернулся — вместо родного аула он застал развалины да груды пепла — за два дня до его приезда здесь погуляли дутовцы. Названных родителей Касыма дутовцы порубили в капусту — «Не помогайте большевикам, собаки». Целый день бродил Касым по разгромленному аулу, присаживался к рыдающим старухам, говорил со стариками, словно окаменевшими от печали. К вечеру в аул прискакал отряд красноармейцев. Они были посланы в погоню за Дутовым. Однако по просьбе старух командир отряда оставил с десяток бойцов, чтобы вырыть могилы, — ведь ни одного здорового мужчины не оставили в живых бандиты. До вечера продолжалось обряжение покойников и слезное прощание с ними. А когда уже совсем стемнело, кончили рыть выбившиеся из сил бойцы огромную яму — братскую могилу — и стали укладывать туда порубленных и пострелянных — складывали штабелями. Дошел черед и до тела матери. Его завернули в старое шерстяное одеяло, и Касым на руках понес к могиле. И тут около ямы его остановила старуха. Она схватила Касыма за руку — хромяя, растрепанная, худая, страшная, как ведьма,— и закричала:

— Ай, Касым? Свет наш Касым! Что мы сделали этим голубоглазым палачам? За что они нас так? Свет Касым, ты же сам был с ними и ты сам из них! Скажи, чем, ну чем мы им не угодили?

— Подожди, мать,— сказал Касым почти спокойно.— Дай похоронить, потом поговорим.

Но говорить с ним так и не пришлось. Утром красноармейцы принесли его на шинели. Одна нога была босая — он выстрелил себе в грудь. Большим пальцем ноги спустил курок. Рядом валялась винтовка. Пуля прошла на палец от сердца. Его свезли в околоток, и год он пролежал на больничной койке. Вернулся в аул весной 1920 года и сразу же на том же самом месте, возле озера, начал строить. Так возник новый аул.

Эту печальную и вместе с тем какую-то очень светлую человеческую историю знали многие. Знал ее и Буркут. Он даже одно время хотел написать поэму «Брат».

— Так вот,— сказал Хасен, неотрывно глядя на Буркута,— подумай хорошенько об этой истории, и ты кое-что поймешь. В шестнадцатом году мы боролись за национальное освобождение, и опять-таки не вообще против русских, а против русского царя. Ну, а сейчас, когда русские добились освобождения для всех нас, народов бывшей Российской империи, наш путь — идти вместе с ними.

— Русские и погубили учителя,— сказал Акпар.

— Чепуха, чепуха,— поморщился Хасен.— Ахан покончил с собой потому, что не отыскал себе места в жизни. Он понял: народу не нужен ни он сам, ни его учение, значит, сегодня надо было признать свою ошибку, отречься от всего, чему он до сих пор учил,— а на это у него просто не хватило мужества. Смерть оказалась куда доступнее. Вот и все. Кто не хочет жить, тот, конечно, может последовать его примеру, но кто хорошо знает свой прошлый день и живет сегодняшним — тот надеется и на завтра. У Ахана этого завтра не было.

— А у тебя оно в самом деле есть,— усмехнулся Акпар,— и ты уверен, что знаешь его? Можешь мне рассказать, какое оно, а? Разве тебя твое прошлое ничему не научило? Вот Касым, у которого русские убили отца и мать, что-то еще понял, а ты? Стой, слушай меня — кто только ни разорял, ни грабил нас, ни убивал наших близких, ни жег наших земель? Тут одним Чингиз-ханом и Тимуром не отделаешься! Были еще и гунны, и джунгары, и аллах еще ведает кто. И совсем бы нас не было на свете, если бы не сообразили наши ханы, не бросились в ноги к русским царям и царицам. Правда, свободу они потеряли, но народ сохранили. Спасибо им и за это.

— Пустое место благодарить,— усмехнулся худой, высо-

кий джигит, что стоял возле двери.— Расстреляли последнего Романова.

— Вот правильно!— воскликнул Акпар.— Расстреляли. Мы теперь опять свободны. Ведь «казахи» и значит в переводе «вольный человек». И теперь перед нами встала священная задача: сплотиться. «Все казахи в одну семью». Вот что мы должны сегодня написать на своих знаменах.

— Так кто же тебе мешает?— раздраженно поморщился Хасен.— Под это знамя все пойдут.

— Да?— насмешливо прищурился Акпар.— А как же классовая борьба? Равноправие? Русские? Классы? Богатые и бедные? Религия? Дедовские обычаи? Что со всем этим делать? Большевики говорят: мечети под конюшни, бедный грабь богатого, женщины вперед, мужики назад, стариков за бороду! А мы вот не хотим этого. Мы будем бороться.

— С кем?— закричал Хасен и вскочил с места.— За кого? Глупый ты человек. И что же, по-твоему, в степи нет бедных и богатых, а? Нет бая и батрака? Кому ты это говоришь, мне — сыну батрака! Ах, ты...— Он не окончил.

— Не дели, не дели мой народ на две части,— заорал Акпар и треснул кулаком по столу.— Он и без этого мал. Так делают все предатели. Это старое правило «разделяй и властвуй».

— А ты подумал, к чему зовешь?— крикнул Хасен.— Разве от твоих слов не пахнет кровью и порохом? Ведь ты хочешь, чтоб в степь опять пришли кровавые ханы, а за ними прискакали генералы на белых конях. Чтоб опять жгли и резали. Убивали и поработали. Не будет этого, Акпар! Слышишь — не будет! Не вернешь прошлого. Народ, который испокон веков бродил по степи, как стая сайгаков, нашел себе пастуха.

— И этот пастух — красноармеец со звездочкой на шлеме? Мы их видели, когда они шли брать учителя!— засмеялся Акпар.— Бог с ним, с таким пастухом! Не нужен он нам! И не со стадом сайгаков сравнивай наш народ, а с орлиной стаей — это будет вернее. А тебе, Хасен, говорю: не вставай нам поперек дороги, не будь нашим врагом — уничтожим.

— Ну, это еще посмотрим!— поднялся из-за стола Хасен.— Я не такие угрозы и не от таких, как ты, слышал.

— Я не грожу, а говорю: пойдешь на нас — голову потеряешь,— прогремел Акпар.

— Ну, хватит, хватит,— закричали с разных сторон.— Мы что, на поминки пришли или на побойсье?

— И в самом деле хватит.— Хасен взял в руки домбру, и опять по комнате заструилась серебристая мелодия «Аксак-кулана». Шум сразу смолк. В комнате стало очень тихо, и как

раз в это время заходящее солнце ворвалось в комнату. «Последний день Помпеи» зарделся, как огромная рана.

— Ах, учитель, учитель,— вздохнул Буркут,— что ты сделал, учитель, с собой и с нами! Хоть нас бы пожалел, если не себя.

— Да, народ никогда не простит большевикам эту смерть,— сказал Акпар.

— Говори только от себя, а не от имени народа, он тебя на это не уполномочил!— крикнул Хасен.

— Это почему же?— высокомерно удивился Акпар.— Что, я не сын своего народа?

— Сы-ын!— Хасен даже положил домбру.— Хороший сын! Сын с камчой в руках! И хочешь ты этой камчой гнать свой народ, как овец, в пропасть. Ты и вот твой дружок.— Он кивнул на Буркута.

— Ах ты...— Буркут так ошалел, что даже не сразу нашел подходящие слова.— Да ты-то сам кто? Я вот певец, акын, поэт, я пою о страданиях моего народа, народ поет мои песни. А что делаешь ты? Ну скажи мне.

— Борюсь против таких, как ты!— крикнул Хасен и так дернул скатерть, что повалилась посуда. Все повскакивали с мест.

— Пусти!— рявкнул Буркут и вырвался из рук соседа.

Неизвестно, чем бы все это окончилось, если бы внезапно не открылась дверь и не вошел официант с салфеткой подмышкой.

— Звали? Изволите еще что заказать?— спросил он, и эти спокойные, обыденные слова и, главное, голос, которым они были произнесены, сразу поставили все на место. Буркут тяжело опустился. Хасен опять взял домбру и стал тихонько перебирать струны. Акпар отошел к окну.

— Сколько с нас?— спросил кто-то из гостей.

— Не беспокойтесь, все уплачено!— поморщился Акпар и отмахнулся от официанта:— Нет, больше ничего не надо! Сейчас мы уходим.

— Я вот что хочу тебе сказать,— хмуро произнес Хасен Буркуту, когда официант вышел.— Ты, конечно, поэт. И даже хороший. Народ поет твои песни. Это все верно... И все-таки не знаешь ты свой народ. Совершенно ты его не знаешь! В новый аул тебя на аркане не затащишь. Ты его просто боишься. Своей неправоты ты боишься. Вот попробуй пересиль себя, поезжай, посмотри, потолкуй с людьми, подумай над тем, что увидел и услышал,— тогда и поговорим, а так что же тратить слова?

Он ушел, а за ним потянулись и все остальные. Вскоре в пустой комнате остались только двое: Буркут и Акпар.

— Садись,— пригласил своего друга Буркут,— посмотри,

как они все быстро разбежались! Один за другим, один за другим! Вот, Акпар, такова цена их словам и делам! Как дойдет до дела — все разбегутся. А тут и дела-то никакого не было, только страшные слова «казах», «нация». — Он криво усмехнулся: — Да, теперь и этих слов приходится бояться.

Акпар молчал. Он сидел и смотрел на него с явной насмешкой, и это наконец взорвало Буркута по-настоящему.

— А что ты смеешься? — спросил он. — Тебе смешно то, что я говорю, да? Тогда почему ты не ушел с ними?

Акпар не двинулся.

— Не туда ты смотришь, — сказал он. — Не можешь отличить друга от врага, вот поэтому ты один. И будешь один. Но вспомни-ка: мы вдвоем присутствовали при гибели учителя. Мы видели и его убийц, так?

— Ну и что? — спросил Буркут.

— И последние часы он тоже провел с нами двумя, так? Доходит это до тебя или нет? Ты говоришь «иди». Некуда мне идти от тебя, нам двоим завещал учитель продолжать свое дело, — так что перед этим наши мелкие раздоры и дразги? И разве в том в конце концов дело, что твои песни лучше моих, что тебя Ольга любит, а ко мне она равнодушна? Такова судьба! Нет, не об этом мы должны сейчас думать. Вот тебе моя рука — не было у тебя друга вернее и преданнее меня и не будет, если ты действительно готов взять себе на плечи это бремя.

— Какое? — спросил Буркут.

— Бремя народного освобождения, дорогой, борьбы за свой народ. Ну, давай же руку! Тяжелое оно, может быть, даже непосильное бремя, но, кроме нас двоих, принять его некому. Ты же видел, что здесь происходило. — Акпар протянул ладонь. Буркут стиснул ее в дружеском пожатии — и целую минуту они простояли так неподвижно. Первым разжал руку Акпар, он полез в карман и вытащил браунинг.

— Возьми, — сказал он. — У меня есть. Обращаться-то с ним умеешь? Нет? — Акпар покачал головой: — Эх ты, борец, ничего-то не умеешь, ну научу, научу! Вещь нам нужная. Пошевелинешь пальцем — и нет человека. Тише! Он заряжен.

Буркут осторожно взял браунинг, повертел в руках и сунул Акпару обратно.

— Возьми! Мне его не надо. Я, верно, не умею с ним обращаться! Да и не надо мне его! Мое оружие — слово!

Акпар сунул браунинг в карман.

— Ладно, идем, — сказал он. — Словом ты много не сделаешь — его мало кто понимает. Нужно еще вот что, — он потряс кулаком, — в зубы! Скоро и ты это поймешь! Ладно, пошли!

Они вышли в переднюю. Было очень шумно в залах, уже



доходило до драк. Огромный рябой джигит — наверно, вышибала — волочил за плечо пьяного. Пьяный что-то выкрикивал и махал руками. Рябой рычал и пинал его коленкой, из зала слышался смех, пьяные крики, потом вдруг ударила и залилась гармошка.

— Пир во время чумы,— сказал Акпар.

— А помнишь у Хайяма,— мучительно улыбнулся Буркут.

От стрел, что мечет смерть, нам не найти щита,

И с нищим, и с царем она равно крута.

Чтоб с наслаждением жить — живи для наслажденья,

Все прочее — поверь — одна лишь суета!

— Здорово!— засмеялся Акпар.— Если так, то за чем же дело стало? Вернемся, закажем графинчик для себя, бутылку шампанского для красоток, и все! Гуляй, душа, пока жива!

— Это правильно!— вздохнул Буркут.— Гуляй, душа!

И они оба вышли на улицу.

### III

Лето в этом году выдалось жаркое и дружное. Снежная зима как-то сразу сменилась многоводной весной. Разлились реки и затопили поля и низины на много сотен километров. Вот уж где было раздолье для гусей и диких уток! Прилетели даже лебеди. В травянистых поймах ломило уши от разноязычного гама и крика. Казалось, птицы со всего света собрались сюда. А небо стояло синее-синее, и синева эта была глубокой и влажной, как над морем. В начале лета прошли грозы с ливнями и громами, но к июню погода установилась, земля подсохла, и такие пышные и высокие травы вдруг встали в степях, что старики только головами качали. Такой косовницы, говорили они, не было уж лет тридцать. А какими цветастыми казались степи! Легчайший серебристый ковыль, как будто все время стремящийся взлететь; иссиня-красный махровый клевер, такой высокий, что в нем легко мог скрыться заяц; голубая и желтая полынь; и наконец там, где степь подходила вплотную к реке и становилась влажной,— камышовые джунгли.

Вот в это благодатное время Буркут выехал на коне в аул Акпара. Ехал он не торопясь, подолгу задерживался на ночлегах, заворачивал во встречные аулы — словом, не спешил. А верст за сорок от аула его встретил посланный от Карымсака, отца Акпара. Был этот посланец верткий, гибкий, очень молодой, и звали его Арын. С этого места ехали они уже вдвоем. Ехали по целине. Трава тут росла такая, что у лошадей были видны только головы, а когда ветер пробежит по травянистым зарослям, она шумела и ложилась волнами.

Арын запел что-то звонкое о любви и любимой и вдруг вытянул своего красавца по бокам камчой и помчался с Буркутом наперегонки. Но и Буркут не хотел уступать. Его иноходец постоянно брал первые призы. У этого коня был спокойный, плавный бег, сядь на него, возьми в руки стакан — он побежит так, что воды не расплещет. Скакун Арына сразу же остался позади, и Буркут почувствовал себя, как чайка над морем, — над ним бескрайнее небо, под ним и перед ним бескрайняя безлюдная степь — натяни поводья потуже, гикни, огрей коня камчой — и, кажется, он рванется, отделится от земли и полетит. В такие минуты с особой остротой доходят до тебя красоты мира. Бескрайний простор, воздух, настоящий на степных травах, чистое небо, легких армак. И это все — твое! Твоя родина, твоя страна, твой дом.

— Отдохнем тут, — сказал Арын, подскакав к Буркуту. — Слезайте с седла. Пусть кони попасутся.

Они стреножили коней и бросились на землю.

— Смотри, здесь земляника, — сказал Арын, — вон какие ягоды! Ты ляг, ляг и смотри снизу — видишь, какая она?

Действительно, такую крупную землянику Буркут видел впервые. Он ел, ел и не мог остановиться. И скоро весь пропах земляничкой.

— Сильно соскучился по степи? — спросил Арын.

— Ух! Как рыба по воде. — даже застонал Буркут. — Плещется такая рыба в лохани, тыкают ее покупатели, хватают под жабры, а она все думает о своей реке.

Арын усмехнулся и лег на бок.

— Да, хорошо, хорошо тут, — сказал он. — Тишина, простор, приволье. Земляника зреет, ветер траву волнует, птицы разные поют. Хорошо! Смотри, насматривайся! Скоро этого уже не увидишь.

— Почему? — удивился Буркут.

— А не будет ничего. Скоро сроят все это. Начнут железную дорогу прокладывать. От-арба<sup>1</sup> пройдет.

— Это откуда ты знаешь? — приподнялся Буркут.

— Да купец приезжал из города, говорил. Не знаю, правда или нет. Хорошо бы, если неправда, а народ волнуется.

— А что ему волноваться?

— Ну как же! Бывало, кто на шайтан-арбе<sup>2</sup> приедет, и то разговоров на целый месяц, а тут такое чудо — говорят, идет, искры мечет, дым из нее клубами валит — глаза ест, а в нем пять тысяч человек с лопатами и кайлами сидят. Вот с десятков раз прикатит в степь такая от-арба, и конец степи! Всю ее разроют, распашут, позастроят бараками. Пойдут гулянки,

<sup>1</sup> От-арба — огненная телега — паровоз.

<sup>2</sup> Шайтан-арба — чертова телега — автомобиль.

начнут русские парни шляться с гармошками по аулам — и конец всему!

«Да, да! — подумал Буркут. — И этот говорит то же самое, что Акпар. Привалит в казахскую степь русский город, встанет своими кирпичами и гранитами на месте степных просторов, и ничего не останется: ни песен, ни обычаев, ни традиций. А скажут: «Люби степь — она твоя родина», — а для чего мне нужна такая родина?»

— Ну, поехали дальше, — сказал он, вставая с земли, — а то уже солнце заходит.

И верно, степь стала затихать. Ветер дул теперь слабо, вяло, и уже не перекачивались травы волнами, и ветер еле-еле шевелил их вершины. Замолкли и птицы. Во всей степи стояла чуткая, хрупкая тишина, полная мелких осторожных тонких звуков.

Зато на западе наливался и набухал золотом и багрянцем медленный закат.

— Теперь до ночлега уже недалеко, — сказал Арын, — верст через десять будет аул Такежана. Люди там, правда, бедные, но девушки зато — тюльпаны. Я там всех знаю, только скажи мне, к кому тебя вести — к девушкам или к молодым?

— Мне аксакалов надо, — сказал Буркут. — Я хочу с аксакалами говорить!

— А на что тебе они? — недоуменно повернулся к нему Арын и, не получив ответа, закончил: — Пожалуйста! Сведу хоть к самому Такежану. Он рад гостям.

Аул располагался на берегу большого озера, среди сопок. Юрта Такежана стояла первой. Когда они зашли, хозяева устранились на ночь. Увидев гостей, старик всполошился: велел опять раздуть заглохший очаг, принести сухих князиков, зажечь лампу. Был он сильный, ширококостный, бронзовый от беспощадного степного солища. Ему непременно хотелось угостить приезжих мясом, и он было послал уже за овцой, но гости попросили только постелить им и заснули.

На другой день Буркут по городской привычке поднялся чуть свет; накинул на плечи чапан — хороший, совсем новый (специально захватил его в дорогу) — и вышел из юрты. Он чувствовал себя бодрым и выспавшимся, но вот тело с непривычки болело и ныло — шутка ли провести пятнадцать часов в седле! Но он знал также, что через полчаса эта разбитость сама собой исчезнет, и, не думая больше о ней, пошел в сторону ближайшей сопки. Когда он проходил двор, длинный черный пес ростом с теленка поднялся с земли и шевельнул хвостом, а два больших щенка увязались за Буркутом, все время ласково скуля, вихляясь и подпрыгивая: аульные псы так же гостеприимны, как и их хозяева. Буркут взошел на вершину

сонки, вернее — небольшого холма, поросшего травой. Под его ногами лежало озеро — над ним плыл утренний клочковатый туман. Не видно было еще ни гусей, ни уток — спят, наверное, в камышах. А камыши стояли сплошной стеной, и берега из-за них видно не было. Озеро спало так же, как аул. Было тихо, спокойно и совершенно безлюдно. И Буркута тоже обняли тишина и спокойствие. «Дождусь восхода», — подумал он и опустился на камень, неизвестно как попавший на эту вершину. Минут через десять на востоке показалась неясная розовая полоса. Она росла, набухала, наливалась новыми красками — все в природе напряглось и замерло, ожидая чего-то нового, яркого, неожиданного, и вот показался край солнца, вырвался и вспыхнул острый резкий луч — и началось утро. Все сразу приобрело свой цвет и форму. Тростник стал зеленым, небо голубым и вода на озере тоже голубой. Взлетел и залился жаворонок. Женщина с ведрами и коромыслом вышла на дорогу, за ней неслись те же самые желтые щенки; замычали коровы, и подали голос овцы. Синий дым косо взвился над аулом. Из большой юрты в самой середине аула вышла тонкая, стройная девушка с черными, чуть не до земли косами и в тюбетейке. В руках у нее было два ведерка, и она пронесла их так тихо и ровно, что даже легчайший желтый пух на тюбетейке оставался совершенно неподвижным. Запел, залился, затрещал в кустах соловей, и сейчас же запела девушка. Буркут не разбирает слов и даже не прислушивался к ним, потому что не в словах же было дело — девушка пела о радости жить, о счастье родиться на этой земле, о том, как хорошо вот так ранним, ранним утром, когда все спят и солнце только что встало, подняться, взять ведра и тихонько, никого не будя, выйти в степь вот в этой нарядной шапочке, в этом легком летнем одеянии, и чтоб гулял ветерок, светило солнце и весело лаяли неуклюжие, смешные щенки. «Да, — подумал Буркут, — в этой красоте, радости и есть смысл моего существования! И горе тому, кто все это захочет разрушить».

Буркут любил природу, каждой клеточкой тела чувствовал ее, но особенно ему было дорого то время,

Когда созревают душистые травы,  
И юрты встают на излучинах рек.

Он всегда летом после конца занятий рвался в свой родной аул — хотя сам-то в ауле жил мало, покинул его рано и никаких ясных воспоминаний о детстве не сохранил. Зато теперь тоска по степи гнала его из города, заставляла летние месяцы проводить в дороге и наконец дошла до такой силы, что понятия «степь» и «народ», «степь» и «родина» стали для него однозначными. Наверное, потому и лучшие стихи его были о джайляу и о кочевках,

Так Буркут сидел, думал, вспоминал, пока его кто-то осторожно не тронул за плечо. Он оглянулся. Перед ним стоял старик Такежан.

Такежан стоял, опираясь всем телом на палку, и смотрел на Буркута весело, дружелюбно и слегка насмешливо.

— Ну как, отдохнул с дороги?— спросил он.— Я ведь знаю, что значит проехать сто верст верхом по степи. Для пастуха — удовольствие, для горожанина — смерть! Так, что ли?

— Ну хотя и не совсем смерть,— улыбнулся Буркут,— но устал я действительно сильно. А коня гнал все-таки во весь опор! Все не терпелось увидеть джайляу! Когда же, думаю, доскачем? И вот смотрю, не могу наглядеться! Ну и земля у вас! Глаз от нее не оторвешь. А травы какие дружные в этом году. Так вот всю жизнь на них смотрел бы. Никуда б не уезжал, ни о чем бы не думал.

— Ну так и оставайся тут,— улыбнулся старик.— Живи хоть сорок лет, небось не прогоним. Женим тебя, свадьбу сыграем, юрту поставим! У нас девушки на весь край славятся красотой! Таких нигде не найдешь. Что ты улыбаешься? Не веришь?

— Да нет, почему не верю? Верю я — уже сегодня такую красавицу видел! С ведрами шла!

— А, знаю, знаю! Шолпан ее звать! Значит, уже приметил? Молодец, ничего не скажешь! На нее все удивляются. И наши парни и соседские, с той стороны озера. Вон они тоже уже проснулись, телегу снаряжают, значит, в город сейчас поедут, надо мне им...

Буркут посмотрел на ту сторону и увидел брезентовые палатки, телеги и в степи несколько воинов. Человека три стояли возле озера и умывались.

— Кто это?— спросил Буркут.

— А мужики,— спокойно ответил старик,— ну, поселенцы. Русские. Вот поселок здесь будут строить.

— На вашей земле?

Старик усмехнулся и развел руками.

— На какой на нашей?— переспросил он так, как будто слышал что-то очень смешное.— Раньше говорили — земля божия, потом говорили — ханская, потом царская, потом байская, а теперь говорят — земля общая.

— Вот они и заберут у вас ее всю, если она общая,— взволнованно сказал Буркут.— Это они вас научили таким прибауткам? В этом году они построят поселок, а на следующий год вообще сгонят вас с этих мест.

— Ну зачем сгонят? Не сгонят! Земли здесь всем хватит.— Старик глядел на Буркута и говорил с ним, как с малень-



ким.— Они на той стороне озера, мы — на этой, и всем хо<sup>р</sup>шо.

Буркут смотрел на старика, и его обуревали разноречивые чувства — старик ему очень нравился. Нравилась его широта, гостеприимство, то уверенное спокойствие, с которым он держал себя, но теперь все это оборачивалось другой стороной,— старик, кроме всего, оказывается, был просто беспечен и легкомыслен, он впускал в свой дом гостей, не думая о том, что завтра эти гости захотят быть хозяевами и просто-напросто вышвырнут его за порог. Для этого им только нужно собраться с силами и выждать момент. А что такой момент придет — в этом Буркут не сомневался.

— Да как они очутились здесь?— спросил он старика.

— А случайно. Шли к Иртышу искать счастье, заночевали у Касыма, и он их наутро и привел сюда. И вот видишь, где были одни кусты да камни, поднялся поселок. На следующий год вместе будем сеять. Они научат нас картофель сажать, дыни выращивать, чем плохо?

— А кто такой Касым?— спросил Буркут.

— А вот смотри, он идет к нам.

Буркут посмотрел. Несколько казахских парней несли сеть. Позади шли две девушки, одну Буркут узнал сразу. Другая была одета попроще и казалась старше. Обе шли с ведрами.

— С тобой идут здороваться,— сказал старик.— Услышали, что гость приехал, и вот, значит, специально свернули с дороги. А то им на рыбалку идти.

Первым заговорил с Буркутом Касым. Был он высокий, худощавый, энергичный. Даже волосы его выгорели. Он казался очень сильным и гибким, и тем неприятнее было смотреть на пустой рукав пиджака, заткнутый за пояс. У Касыма не было левой руки. «Да ведь это и есть тот Костя, который выстрелил сам в себя,— вдруг понял Буркут.— Правильно, правильно, ведь говорили же мне, что он живет по ту сторону озера. Так я раньше хотел с ним познакомиться, а теперь...» Теперь почему-то (он и сам не отдавал себе отчета, почему же именно) он смотрел на Касыма со смешанным чувством тяжести и неудобства. Наверное, какую-то роль сыграла в этом и та самая красавица, которую Буркут заметил сегодня на заре. Она только на мгновение подняла глаза на Буркута и потом не отрываясь смотрела на Касыма — как он стоит, как говорит, как улыбается,— и видно было, что никого, кроме Касыма, для нее на свете не существует. И это сразу резануло Буркута.

А Касым ровно ничего не замечал. Он глядел на гостя и улыбался.

— Так вот, оказывается, ты какой,— сказал он на чистейшем казахском языке.— А мы ведь часто поем твои песни. На-

ши девушки первые певуньи,— он как будто мельком посмотрел на свою спутницу, и та сразу вся вспыхнула.

— А возможно, Буркут-ага пойдет с нами на озеро?— спросил спутник Касыма, рыжеватый плотный джигит, и этот вопрос почему-то насторожил Буркута еще больше.

— Спасибо,— ответил он холодно.— Но мы торопимся.— И увидел Арына. Он шел к нему и вел на поводу лошадей.

— Некогда,— повторил Буркут.

— Ну что ж, тогда в следующий раз,— решил Касым.— До свиданья, товарищи.

И они ушли: Касым, рыжий джигит и две девушки.

— Пойдем в дом,— сказал старик.— Так я вас не отпущу.

И как раз в это время за озером раздался гром, грохот, и громко залаяла собака.

— Что это?— спросил Буркут.

— Да геологи,— ответил старик.— Видишь, рвут что-то. Они нас заранее предупреждают, а то раньше женщины и дети пугались и плакали.

«Ну, похоже, скоро они не от одного испуга заплачут»,— подумал Буркут, но сказать ничего не сказал. Через час они снова были в дороге, и, только отъехав на порядочное расстояние от аула, он вдруг сказал Арыну: «А ну-ка, съездим к геологам»— и повернул своего иноходца.

Заозерье встретило их каменной тишиной, скалами, безлюдьем и нагромождением серых глыб. Глыбы были большие и малые — некоторые величиной с дом, другие просто как валуны с пашни. А берега озера все равно были зелеными, и зелень росла здесь пышная и высокая. Скалы заслоняли солнце, и поэтому все в этой расселине казалось туманным и смутным. Смутно было и на душе Буркута. До лагеря геологов пришлось добираться с полчаса, а когда доехали, то увидели: стоят юрты, и между ними ходят лошади под седлом со спутанными ногами. На вершине холма буровая вышка, и около нее копошатся люди. Услышав топот, они оставили работу и стали глядеть на подъезжающих, а когда всадники подсккали вплотную, один из работающих воскликнул:

— Буркут-ага! Как это вы надумали посетить нас!

— Нурлан!— Буркут схватил протянутую ему руку и взволнованно сжал ее.— Ты тут откуда?

— Практику отбываю!— ответил Нурлан, улыбаясь всем лицом.— Я ведь сейчас кончаю институт. Скоро прощай, Томск — вернусь на родину! Ну, слезайте, слезайте с коней — гостями будете. А вот и Алексей Владимирович...

К ним подходил высокий, слегка сутулый человек в одежде рабочего. Старатель или землекоп.

— Алексей Владимирович,— сказал Нурлан,— это мой

друг Буркут — большой казахский поэт. Мы часто поем его песни. А это его товарищ!

— Ну, добро пожаловать, добро пожаловать,— произнес Алексей Владимирович, улыбаясь и пожимая руки.— Ваше имя Буркут, а вашего товарища как?..

— По батюшке Байсалов,— важно ответил Арын.— Мой отец известный. Его все казахи знают, он у нас, как говорится, первый оратор.— Арыну нравилось быть товарищем Буркут-ага.

— Ну, а я начальник этой партии,— улыбнулся Алексей Владимирович.— Думаю, вы у нас погостите денек? Тут и охота и рыбалка первоклассные. Нурлан, помоги товарищам. Жалко, что мне нужно уезжать в дальний отряд, а то бы я... Вы играете в шахматы?— повернулся он к Буркуту.— Нет? Жаль, жаль! А то бы мы с вами... Ну, ничего не поделаешь! Так, Нурлан, поухаживай за гостями.

— Замечательный человек,— сказал Нурлан, когда старший геолог удалился.— Вот бы тебе написать о таком человеке поэму, сразу бы весь народ облетела.

— А сам ты что?— слегка уколол товарища Буркут.— Ты же поэт.

Но тот только смущенно улыбнулся.

— Ну какой я поэт перед тобой,— ответил он и даже рукой махнул,— так, воробышек! Вот ты действительно орел.

— И ты бы мог быть таким,— сказал строго Буркут,— талант у тебя есть, а не пишешь ты потому, что таланта одного мало, надо найти еще свою дорогу.

— Я и ищу,— искренне ответил Нурлан.— Я все время ищу ее, Буркут-ага. Ведь у нас такая профессия... Я сейчас думаю, что это самая нужная профессия — ведь подумайте, куда пришел геолог, там возникла и шахта, и завод, и поселок, а то и целый город.

Буркут грустно улыбнулся:

— А чей город-то, Нурлан? Не слышал я что-то про казахские города, и не верится мне, что твой Алексей Владимирович будет строить город для казахов. И разве ты на нашей исконной казахской земле работаешь для своего брата казаха? Ты на русского дядю работаешь! А я так не могу! Ну, ладно, всего тебе хорошего.— И он тронул коня.

— Постойте,— Нурлан положил руку на седло коня,— значит, мы готовимся строить заводы, шахты, электростанции, клубы, школы, кинотеатры не для казахов? Так для кого же тогда? Значит, казах только тогда казах, если он рождается около овец и умирает в хлеву? А кино не для него, грамота не для него, клуб не для него, так, что ли? Я не понимаю, чего вы хотите?

— Я не хочу,— загремел с коня Буркут,— не хочу, чтоб русские копались в моей земле! Чтоб они строили на ней свои города. Чтоб они на моей земле звали меня к себе в гости и учили играть в шахматы! Понял?— И как раз в это время где-то вдалеке раздался взрыв.

— Вот,— сказал Нурлан,— слышите? Это рождается новый город.

— Нет, это рвут мое сердце!— крикнул ему Буркут и дал шпоры коню.

Арын не поспевал за Буркутом. Тот несся во весь опор и даже не смотрел на спутника. Скакал, и все. Только один раз на вопрос Арына, куда же он так торопится, ответил:

— Обратю в город.

«Ну, совсем с ума сошел,— подумал Арын,— ведь мы только что оттуда...» Но возражать не стал: все равно ведь не услышат.

А Буркут, верно, как будто сошел с ума. Ни одного живого места не осталось в его душе — все заполнила одна мысль: «А Акпар-то прав, погибает степь, доживает последние свои дни, и никому до этого нет дела.

Вот Нурлан говорит, надо учиться у русских. Ну что ж тут обидного, ведь он говорит: надо учиться у старшего русского брата! Вот в чем дело — у старшего! Ну что ж, проглотит старший брат младшего — только его и видели. И будем мы не братьями, а братцами, без языка, без песен и сказок! И что останется тогда от нас? Мало ли народностей было, да сплыло. Алланы, гунны, хазары — где они?»

Так думает Буркут и мчит, мчит во весь опор. Только часа через два, когда уже солнце стало палить вовсю, он перевел дыхание. Оглянулся. Увидел далеко-далеко Арына и помахал ему рукой. Кругом, насколько хватает глаз, расстилалась степь, и не на чем было остановить взгляда. Да, наверно, что ни думай, все попусту! Ты смешон, как человек, увидевший труп: боится, как бы самому не стать им. Пустое дело. Конечто всем один!

Он остановился, и тут к нему подъехал Арын. Буркут взглянул на него; и ему сделалось еще тяжелее — конь устал, и всадник устал, на них обоих было жалко смотреть.

— Я ехал и слагал песню. Вот она, слушай,— сказал Буркут и запел.

Нет ни близких, ни аула,  
Степь безмолвная кругом.  
Я и сам как будто чайка  
С перестреленным крылом.  
За волной гонюсь беспечно —  
Не догнать и не обнять.  
Что же делать бедной чайке,  
Если только не кричать?

Что мне делать, что мне делать,  
Если силы уж не те?  
И рыдаю я, как чайка,  
В равнодушной пустоте...

— Это обо мне,— сказал он, кончив петь,— это я плачу, как чайка. Для меня эта степь как собственное тело. Здесь все мое — каждая травинка, каждый камешек — все это я. И не могу я отдать это чужому. Не могу, не хочу и не могу!.. Хоть убивай меня, а не могу. Что понимают русские в этой степи? А для меня она поет, как кобыз, и ни на какие райские уголки я не променяю ни ее выжженные холмы, ни ковыль, ни даже желтые кости по дороге. Вот почему я плачу, мучаюсь и не нахожу себе места! И не знаю, прав я или не прав! Может быть, действительно ничего не понимаю, а?

И он смотрел на Арына так требовательно и нетерпеливо, что тот смешался и пробормотал:

— Да уж, видно, ничего не попишешь. Так уж на роду нам написано.

— На роду,— усмехнулся Буркут.— Хорошо ты сказал: на роду! Ну что ж, едем дальше. Раз на роду, так что уж там!

Так проехали они еще часа три. Уже и солнце стало садиться, когда Буркут вдруг осадил коня и огляделся — куда же он, собственно говоря, захал.

— Теперь до нашего аула рукой подать,— сказал Арын.— Ну, поскакали?

— Да вот уж не знаю как,— растерянно поглядел вокруг себя Буркут.— Может, обратно? Довольно уж, покатались.

— Да мы уж у самого аула,— удивился Арын.

«А и в самом деле, что возвращаться?— подумал Буркут.— Тут где-то недалеко аул Карымсака. Сверну-ка я туда. Посмотрю, что там сейчас делается»,— и он невольно усмехнулся своим воспоминаниям.

Года три тому назад Акпар пригласил его в свой аул на летние каникулы. Посхали. Кони под ними были ладные, молодые, и весь путь они проделали за три дня. А когда подъехали уже к самому аулу, Акпар вдруг попрдержал коня.

— Тут у нас в семье вот какое дело,— сказал он, смущенно глядя на Буркута.— Отец женился на молодой, старую-то жену услал к родителям. Наша родная мать умерла, когда сестре было три, а мне четыре,— прибавил он скороговоркой.

— Что ж так?— удивился Буркут.

— Говорят, погуливала она,— неохотно ответил Акпар,— да и семья у них вся чахоточная... Ну, в общем, не знаю. Услал и услал. А молодую привел.

— Так ему, наверное, уже под шестьдесят?— спросил Буркут.

— Больше. С хвостиком,— засмеялся Акпар.— Что ж, если может,— пошли ему аллах. Пророк не против этого, а у стариков свой закон. Я так считаю!

— Так-то так, конечно,— согласился Буркут, но дальше они ехали уж молча.

А когда подъехали к аулу, то увидели, что он словно вымер — никто не вышел навстречу, даже собака — и та не гавкнула. Только пегий жеребец под седлом, привязанный около крайнего дома, взглянул на них, заржал и обмахнул себя хвостом, отгоняя мух.

Белая юрта стояла посередине аула. Около нее тоже никого не было. Они привязали лошадей, оправили бешметы и переступили порог юрты.

— Ассалаумагалејкум,— проговорил почтительно Акпар.

— Ассалаумагалејкум,— почтительно повторил за ним Буркут.

Странную картину увидели они. Чуть сбоку от входа в глубине юрты была разостлана белая кошма с пышными подушками и матрацем, и на ней, весь белый, в нижнем белье, седобородый и длиннобородый, вытянулся бай Қарымсак. Был он скуласт, крепок и, в противоположность деревенским старикам казахам, обгоревшим на солнце и на ветру, как-то нездорово, больнично бел; на подушке лежал открытый журнал «Шолпан». У ног бая, прижимаясь к его волосатым коленям, сидела девушка и улыбаясь смотрела на гостей. Была она еще почти ребенком, вряд ли ей стукнуло шестнадцать лет, но одели ее уже, как взрослую замужнюю женщину: на голове красный узорный платок, на руках кольца и браслеты. Дорогое казахское платье алого бархата.

— О, да никак сам Буркутжан пожаловал!— радушно воскликнул старик и не то слегка приподнялся с постели, не то просто изменил позу — верно, хотел еще что-то сказать, но взглянул на жену и не решился.

— Маржан, принеси-ка нам кумысу, у гостей, наверно, горло пересохло,— приказал он.

Маржан вспорхнула с места — тут на грудь ее упали великолепные черные косы, все унизанные серебром и самоцветами. Подошла к столу, взяла кувшин и стала разливать кумыс по пиалам. А кумыс старик держал отменный: густой, желтоватый от жира, сохраняющий еще запах полыни. Маржан была великолепно сложена и развита, как женщина,— все тело ее под платьем так и играло, так и переливалось. С поклоном она разнесла пиалы. Начался обычный неторопливый разговор, и тут полы юрты распахнулись, и показался высокий парень в заношенном, а кое-где и рваном бешмете. В юрту он не прошел, а остановился около порога. Лицо старика потемнело, он нетерпеливо пожевал губами:

— Ну что пришел?

— Дополучить пришел, байеке,— смиренно ответил парень.

— Ах, да, еще там что-то, кажется, осталось за мной,— небрежно вспомнил старик.— Сколько там, а?

— Четыре барана.

Старик покачал головой:

— Так думаешь, что я тебя обманул?

— Об обмане и речи нет, байеке,— сказал парень,— только мне все это надо получить сейчас же.

— А что за спех?

— Да вот уезжаю, поступил в часть особого назначения.

— А это еще что такое?

— Бандитов ловить.

— А без тебя их не поймают?— Старик взглянул парню в глаза, но тот взгляд выдержал и глаз не отвел.— Хорошо, вот пригонят скот, получишь.

Джигит поклонился и вышел.

Старик посмотрел на сына и покачал головой:

— Матан его имя. Видишь, благодарности! Пять лет пас наших коней в Коксае, был человек как человек, а как пришли красные, словно взбесился. В отряд, видишь, записывается. Ладно, отдам ему, что назначили, и пусть убирается к шайтану.

— А кто назначал-то?— спросил сын.

— Ожар.

— А вы согласились? И не удержали тот скот, что пал по его вине?

— Черт с ним, пусть только уходит! Теперь ведь такие порядки. Жену уведет — и жаловаться некому.

Маржан сидела красная, с потупленными глазами. С приходом пастуха она вообще стала сама не своя — краснела и бледнела, словно не знала, куда себя девать.

Только позже узнал Акпар довольно обычную для этих мест историю: Маржан дочь середняка, живущего поблизости. Карымсак купил ее у отца за сорок девять голов скота. Что же? Маржан покорилась. Такова испокон веков участь казахской женщины — стала жить. Все как будто шло хорошо, но вдруг... Старик заметил, что молодая жена его заглядывается на красивого рослого батрака Матана. Смеется на шутки Матана, заводит с ним разговоры, просит помочь ей то в том, то в этом. До большего дело не доходило, но баю и этого было достаточно. Он придрался к чему-то и уволил батрака. Батрак пошел жаловаться в комитет бедноты, и председатель комитета Ожар призвал к себе их обоих — слугу и господина, выслушал все, взвесил доводы и батрака и бая, а под конец решил: «Аллах ведает, что у вас там произошло, но он у тебя

работал, и ты ему заплати»— и установил справедливую плату. Вышел Матан от Ожара и, говорят, запел:

Бесправней не было в ауле бедняка,  
Зато теперь во всем его рука.  
И если я, джигит, отважен и беспечен,  
К чему тебе любовь, богатство старика?  
За кровь и пот, за всю мою работу,  
О Карымсак, я получил сполна.  
Ты заплатил, что следует по счету,  
Я ухожу. Со мной твоя жена.

Эти стихи быстро облетели весь аул, старик, слыша их, наливается кровью, а его молодая жена только алест и смеется. «Фу, какие глупости»,— говорит она, а глаза ее сияют. Старик думал одно время расправиться с этим нахалом по-свойски, собрать джигитов, угостить их как следует, а наутро от этого Матана и следа бы не осталось,— но сразу же сообразил, что это не ко времени и что действительно теперь у батрака везде своя рука.

Вот что узнал тогда Буркут, заехав с Акпаром в его родовой аул. А потом пошло всякое: поездка на джайляу, участие в байге, и наконец насмешливый голос Маржан толкнул его на самое тяжкое. «А ты, ученый друг мой, я смотрю, великий трус,— сказала она,— никогда не подойдешь ко мне и не поговоришь ладком. Что? Старого волкодава моего боишься? Не бойся, у него от зубов одни пеньки остались. Только ощерится, а лаять уж и голоса нет». А дальше воспоминания еще более волнительные, но такие, о которых даже и рассказать никому нельзя: ночь лунная, лунная. Он притаился под кустом в каком-то овраге и ждет. Ждет уже почти два часа. Никого нет. Он хочет уходить, поднимается, берет палку — и вдруг шепот: «Не замерз? А я еле-еле вырвалась...»

Разве такое можно забыть?

«Да, где теперь все это?— думает Буркут.— Верно говорят в народе — радость прошедшая, что птица в клетке — выпустил, не поймашь».

— Еще долго?— спросил он у спутника.

— Уже подъезжаем,— ответил Арын.— Вот только на холмы поднимемся. Сейчас будет озеро, а за ним и аул.

На этот раз собаки словно с цепи сорвались — три здоровых пса, рыча и подпрыгивая, бросились на всадников. Отмахиваясь от них камчой, они поскакали к белой юрте. Как и тогда, никто не вышел им навстречу. Только рябой старик с длинной бородой, что сидел у входа, сказал: «Идите, идите».

Они соскочили с коней и прошли в юрту. Было темно и тихо, никто не встретил их. Вообще им показалось, что юрта пуста.

— Ассалаумагалеюк,— сказал Буркут растерянно.



Прошло больше минуты, прежде чем ему ответили. Серое пестрое тряпье, лежащее на кровати, заколебалось, и Буркут увидел Карымсака. Старик поднялся и сел на кровать. Борода у него была всклокочена, лицо багровое. «Что это с ним?» — ошалело подумал Буркут, но тут старик сказал:

— Здравствуй, Буркут! А Акпар где?

— Он задержался в городе по делам, — ответил Буркут. — Привет послал. К концу месяца тоже приедет.

— А-а! — протянул старик. — Ну-ну! Вот приедет, тоже порадуется. В плохое время мы живем, дорогой мой. В своем добре ты не властен, в семье своей не хозяин. Прогневали аллаха казахи.

— А что?

Старик только головой мотнул, но кто-то тронул Буркута осторожно за локоть. Он обернулся. Рябой делал ему знаки, чтоб он наклонился. Буркут слегка нагнул голову, и рябой прошептал:

— Жену увели. Пришел милиционер Матан и увел. Сказал: «Идем отсюда, красавица». Она собралась и ушла. А на улице ее уже два милиционера с телегой ждали. Кинули ее сундучок на телегу и увезли.

— Черт знает что! — выругался по-русски Буркут — он по-настоящему был рассержен. — А что люди смотрели?

В юрту вошли еще несколько человек и остановились, слушая.

— Бе-зо-бразие! — сказал крепко Буркут. — Да я бы таких родственничков, как вы...

И тут все сразу загалдели:

— Их трое было с ружьем и саблями.

— Так она сама пошла! Сама! Если бы сопротивлялась, кричала, а то прыгнула на таратайку — и прощай! Даже рукой помахала.

— Попробуй вступишь! Им теперь вся вера — напишут, что хотели перебить милиционеров, — и загремел ты в Сибирь.

А один джигит, высокий, черный, с широкими плечами, сказал:

— Да я бы и Сибири не побоялся, если бы баеке хоть слово сказал. А то ведь он как воды в рот набрал. Сидит, молчит, смотрит.

Карымсак вдруг резко вскинул голову.

— Ладно, хватит болтать, — сказал он. — Ушла и ушла! И очень хорошо, что ушла! Не будет рядом со мной змея лежать под одним одеялом! Пять жеребят ей красная цена! Ничего, не обеднею. Это не мужчина умер и не Иртыш разлился! Идите, я хочу поговорить с гостем.

Когда все ушли, Карымсак встал с кровати и сел за стол.

— Там есть свежий кумыс,— сказал он.— Налей себе.

— А вам?— спросил Буркут.

— Налей! Да, в самое сердце меня ужалила, гадина. Подобрала такой день и ужалила. Ничего, сам же и виноват — нечего было связываться с этой голью! Сам виноват! Раньше бы я ее тут и вздернул, а сейчас... видишь, кто сейчас власть забрал? Матан! Вчерашний мой батрак! Э, да что говорить!— Старик махнул рукой.— Ладно, не умели хранить хорошее, будем жить по-плохому. Ты что? Едешь куда-нибудь или будешь ждать Акпара?

— Да нет, подожду, поживу, если не прогоните, посмотрю, что тут делается.

— Посмотри, посмотри, походи, послушай, что люди говорят! Пригодится.

В этом ауле Буркут прожил с полмесяца и уехал совершенно разбитый. Главное, что все чего-то ждали. Батраки ждали нового закона, ждали раздела земли, размежевания степи. Ждали, что баев прогонят, а имущество их раздадут. И баи тоже ждали. Они ждали, что откуда-то придут войска белого царя, пересекут всех батраков, перевешают милиционеров, и опять наступит тишь да гладь да божья благодать.

Когда Буркут наконец уехал из аула, в голове его шумело, он был растерян и не знал, что делать, к какому берегу прибиться, какие песни петь.

#### IV

Хасен поднялся из-за стола, прошелся несколько раз по комнате, взъерошил волосы и снова сел читать. Прочитал еще несколько листов, исписанных от руки крупным, видимо детским, почерком, покачал головой.

— Ну и дурак,— сказал он печально.— Ах, какой же дурак! И куда он, дурак, лезет?— и снова пошел по комнате.

Комната была большая, с высокими потолками, набитая разной разностью. Когда-то весь этот дом принадлежал купцу, а теперь купец не то бежал за границу, не то его просто выселили, и квартиру заняла редакция губернской газеты. Хасену, как секретарю редакции и человеку холостому и бездомному, отвели гостиную. Как ни растаскивали, все равно она была набита доверху какими-то странными предметами: стоял бювар из красного дерева, стеклянный шкафчик с фигурным фарфором, ломберный столик, чучело орла, висели картины на мифологические сюжеты,— он все это вынес в коридор и в кладовку, а стены обклеил плакатами и стихами собственного сочинения. На одном лихой красноармеец на коне давил копытами Врангеля и Колчака и толстого пана в жупане.  
(Надпись:

«Гнев народный, словно шквал,  
Налетел, свалил и смял!

Записывайтесь в красную конницу».)

На другом мужик тащил тугие мешки, и рабочий в синей блузе простирает к нему руки. (Надпись:

«Ты пролетарий, а я хлебороб.  
Мы оба врагу приготовили гроб».)

На третьем был молот, серп и восходящее солнце. (Надпись:

«Под солнцем сверкает наш молот и серп,  
Да здравствует нашей Республики герб!».)

Под этими плакатами стояла старая железная кровать, стол в чернильных пятнах и пара стульев. Больше Хасену ничего и не требовалось.

Сейчас он ходил по комнате и злился. Листки бумаги, лежащие грудой, вызывали в нем неизъяснимое раздражение — их ему сегодня прислали по почте, и хотя почерк был незнакомый, детский, — значит, заставили переписать какого-нибудь школьника, а подписи и вообще не было, он догадывался, кто автор. «Акпара работа, — подумал он. — Буркут прямее, он сам бы подписал, если бы вздумал послать. Наверное, Акпар у него взял эти стихи без спроса. Эх, Буркут, Буркут, пропадешь ты ни за что. — Он еще посидел, подумал, погрыз ноготь и вдруг решил: — Пойду-ка я к Буркуту, поговорю-ка с ним пачистоту». Он уже взял кепку и подошел к двери, как вдруг она широко распахнулась. Незнакомый юноша, почти мальчик, стоял на пороге. Одет юноша был щегольски: бархатный бешмет, подпоясанный серебряным поясом, широкие брюки с узорчатым орнаментом, на ногах сафьяновые сапоги на каблуках. Юноша улыбнулся открыто и дружески. «Красивый паренек», — подумал Хасен и спросил:

— Вы ко мне?

— К вам! Принимаете гостей, Хасен-ага? — спросил юноша.

— Проходите, пожалуйста, — Хасен посторонился.

Юноша прошел в комнату и сел на стул.

— Я вижу, вы не узнали меня? — жеманно спросил он. — А я ведь так торопился. Вдруг, думаю, прискачу, а он уехал куда-нибудь. Ну что ж, так и не узнаете?

— Постойте, — ошалело сказал Хасен, присматриваясь, — как будто, как будто... как будто я...

— Ну, ну, — сказал юноша, улыбаясь, — узнавайте, узнавайте! — И вдруг воскликнул: — Ну, сестра вашего друга Акпара — Ханшам.

— Боже мой!— воскликнул Хасен, бросаясь к девушке и хватая ее за руки.— Да я бы никогда не узнал! Была ведь такой пигалицей, с косичками, а сейчас...

А сейчас перед ним стояла красавица — высокая, тонкая, стройная, с широким разлетом иссиня-черных бровей.

— Аллах, аллах!— повторил Хасен, глядяваясь в красавицу.— А говорят, чудес не бывает! Да если бы мне пять лет назад сказали, что маленькая Ханшаим станет такой красавицей...

Пять лет тому назад Хасен приехал в аул Карымсака на перепись. Дело было новое, непривычное. Приходилось работать от темна до темна, и поэтому Хасен мало обращал внимания на юркую девушку-подростка, которая постоянно вертелась около него. Осталось только общее впечатление легкости и беззаботного веселья: девочка была шаловлива, как всякая еркешора<sup>1</sup>, звонка и постоянно выдумывала какие-то новые игры. А товарищи-то ее были мальчишки, и сама она была, как мальчишка, и в ту пору, пожалуй, ничего от них се не отличало, может быть, только та бережность, с которой эти сорванцы относились к своей маленькой подруге,— ведь, кроме всего прочего, она была дочерью Карымсака — бая жестокого и мстительного. Пожалуй, в другое время Хасен этим бы заинтересовался, но сейчас дел было невпроворот, и Хасен просто бы не заметил Ханшаим, если бы не случай: из степи пригнали жеребца — бай собирался в город. Это был огромный конь с могучими мускулами и короткой блестящей шерстью. Никто, кроме хозяина, не решался на нем садиться. А вот Ханшаим захотелось на нем прокатиться. Сказано — сделано. Девчонка подскочила к жеребцу и крикнула Хасену (он стоял рядом):

— Эй, джигит, подсади-ка!— и вырвала поводья из рук парня, который подвел ей животное.— Да ты, наверно, никогда и за седло не брался!

— Как же, есть мне время...— попробовал огрызнуться Хасен, но девушка требовательно повторила:

— Иди, иди, раз тебя просят.

И вот Хасен подхватил шалунью под мышки, приподнял, и тут — он до сих пор вспоминает этот миг — его руки коснулись чего-то упругого, неподатливого, и это сразу вогнало его в пот. Замерла и Ханшаим и так растерялась, что даже не сумела крикнуть Хасену что-нибудь задорное и язвительное. Так с секунду они смотрели друг на друга. Потом Ханшаим гикнула и ускакала. Но это мгновение и та дрожь, которая

---

<sup>1</sup> Еркешора — девочка, которую родители одевают и воспитывают, как мальчика. Это обыкновенно бывает в семьях, где нет наследника.

тогда охватила все ее тело,— верно, они и привели Ханшаим сюда. Сейчас они стояли и смотрели друг на друга.

— Ну заходи, гостьей будешь,— сказал наконец Хасен.— Ты ведь, видать, только с дороги. Вот тебе полотенце. Первая дверь по коридору — умывальник, там стоит таз и кувшин, а я пока сбегаю на кухню и кое-что приготовлю.

— А разве у тебя нет хозяйки?— спросила девушка.— Ну хотя бы приходящей женщины?

— Какая там женщина!— махнул рукой Хасен и выбежал из комнаты.

Через десять минут они сидели за столом. Хасен разливал чай.

— Так ты здесь по делам?— спросил Хасен.

— Имеется одно важное дело,— ответила она, глядя на него,— но об этом потом.— Она оглядела комнату.— Ты тут, значит, и живешь?

— Тут и живу,— ответил Хасен.

— А где работаешь?

— А работа моя ниже этажом.

— Да, тогда особенно не разгуляешься. И ни хозяйки у тебя, ни сестры, ни невесты?

Хасен улыбнулся и слегка развел руками:

— Один. Что удивляешься?

— Да нет, я ведь тоже одна!— как-то вдруг сказала девушка.

— То есть как одна?— не понял Хасен.

— А так. Отец ушел со своими людьми через горы в Китай. Там у него около границы живут зятья — взял с собой и меня, а я около Зайсана сбежала.

— То есть как же так?— развел руками Хасен.

— А так вот. Была ночь, и никто не заметил, как я ушла.

— Здорово!— только и мог произнести Хасен.— Да нет, это ты серьезно?

Девушка невесело засмеялась:

— А то шучу! Нет, дорогой, шутки у меня сейчас плохие! Уехал отец и молодую жену с собой увез. Связали ее, рот заткнули и увезли, как овцу. А милиционера Матана не то убили, не то искалечили и завезли куда-то так, что он больше и не возвратился.

— А Акпар?— спросил Хасен.

— Что Акпар?

— Он-то знает про все это?

И опять Ханшаим невесело рассмеялась:

— Да он сам и научил отца. Тот ему половину денег оставил — они еще месяца за два обо всем с ним договорились. Отец посылал гонца через границу — узнать, ждут ли его

**там.** Гонец приехал, говорит: давно уже ждут. Такие вот дела-то. Значит, брат меня тоже не захочет видеть, и остался у меня всего-навсего только один человек...

— Кто же?

— Да ты же!

— Что?— вскрикнул Хасен, вскакивая.

Девушка с улыбкой смотрела на него!

— А ты что, не рад?

Хасен ошеломленно молчал.

— Эх, а я-то думала...

— Господи, Ханшайм!— сказал наконец Хасен и сжал ее ладони в своих.— Рад ли я... Да я... Но нет, нет, я все еще не верю.

Она вдруг встала, подошла, обняла его и прижалась головой к его голове.

— Знаешь, ты ведь мне давно запал в сердце,— сказала она очень просто,— еще с того раза, как первый раз тебя увидела у нас в юрте. Когда ты сидел и писал. А помнишь, тогда на коне...

— Помню,— сказал Хасен, прижимаясь к ней.— Все помню, моя дорогая.

Она засмеялась и села с ним рядом.

— А я ведь так боялась! Приеду, думаю, а у него сидит другая. Тогда, думаю, пойду с горы брошусь. А как вошла к тебе, увидела — разбросано, наставлено, на столе грязная посуда, на стуле башмаки, сразу и успокоилась — нет у него женщины.

— Нет у меня женщины,— ответил Хасен, прижимая ее к себе все теснее и теснее.— Нет, нет! Теперь будет.

— Теперь, конечно, будет, милый мой, неуклюжий, хороший!— сказала она и проворно встала.— Слушай, есть у вас какое-нибудь стойло для лошади? Мой серый ведь со вчера некормленный и проскакал еще сто тридцать верст. Пойдем во двор.

— Пойдем во двор,— вскочил Хасен.— Пойдем на улицу! Пойдем в парк! Будем гулять весь день. Петь будем! Пить будем! Э-эх!

Она с улыбкой посмотрела на него:

— Глупый. Я ведь спать хочу. Я двое суток глаз не сомкнула. Отведу лошадь и спать, спать, спать!

И она совсем по-детски зевнула.

А на другое утро вдруг ввалился Акпар.

Молодые в это время сидели за столом и пили чай. Акпар предстал перед ними в черном бешмете, с камчой в руках. И лицо его тоже казалось черным и пыльным. Видно было, что он взбешен, но сдерживается.

— Так,— потянул он зловеще.— Та-а-ак! Вот где ты,

оказывается, сестричка. А ну-ка, вон из комнаты, надо с Хасеном поговорить.

— Так говори,— сказал Хасен.

— Я же сказал, пусть она выйдет. И вообще, зачем она здесь?! Откуда взялась?

— Затем я здесь, что Хасен мне муж,— вдруг решила Ханшаим.

— Ах, вот как!— воскликнул Акпар.— Молодец, сестрица! Быстра. Не теряешь времени! Эх, сказал бы я тебе сейчас одно слово...

— Ну и говори,— сказала Ханшаим.

— Не годится брату с сестрой говорить при посторонних.

Ханшаим поглядела на Хасена.

— Я выйду,— решил Хасен,— но смотри, Акпар, если что...— Он пошел и остановился в нерешительности у порога.

— Иди, иди, дорогой,— попросила Ханшаим,— ничего плохого со мной не случится. Мы просто поговорим с братом, и все.

Хасен вышел. Ханшаим взглянула на брата.

— Ну?— сказала она.

Акпар подошел, закрыл дверь на крючок и подергал ее.

— Крепко,— сказал он,— не сорвет. Ну вот, дорогая сестра, об остальном поговорим потом, а сейчас вон отсюда! Женной этого подлеца ты не будешь никогда!

— Так я уже его жена,— слегка улыбнулась Ханшаим, и эта улыбка так взорвала Акпара, что он побледнел, но еще сдерживался.

— И об этом разговор потом,— сказал он, сжимая камчу.— А сейчас говорю: вон отсюда! Вон!

— Никуда я отсюда не уйду,— спокойно ответила сестра брату.— Я люблю Хасена, а кем ты его считаешь — мне это безразлично.

— Так,— сказал Акпар и прошелся по комнате, подошел к окну и посмотрел на двор. Утро еще только занималось, и во дворе никого не было.— Та-ак!— повторил он загадочно.— Я тебе говорю, что ты позоришь всю нашу семью. Тебе наплевать! Я говорю, что этот человек наш враг — тебе и на это наплевать. На то, что я брат и могу тебе приказывать, на это тебе трижды наплевать, так, сестра?

— Так, брат,— твердо ответила Ханшаим.

— Хорошо, сестрица, хорошо.— Акпар вплотную придвинулся к Ханшаим и с какой-то неизъяснимой улыбкой посмотрел ей в лицо:— Значит, на все наплевать — на стыд, на совесть, на заветы отцов.— И вдруг почти незаметным молниеносным движением он со всего размаха ткнул ее в зубы. Она негромко вскрикнула и села на пол.

— Встань,— приказал Акпар спокойно.

Ханшаим молча поднялась. Лицо ее было в крови.

— Хороша! Так наплевать, да?— Акпар несколько раз перекрестил ее камчой по спине.

Казахская камча — страшное оружие. С одного удара ею можно до кости разрубить тело. Но Ханшаим даже не пошевелилась.

— До смерти засеку,— тихо сказал Акпар и ударил еще раз.

...Когда, сорвав крючок, Хасен влетел в комнату, Ханшаим лежала на полу, а над ней стоял Акпар с камчой. Хасен подскочил к нему и вырвал камчу.

— Убью!— сказал он и наставил на Акпара браунинг.— Жаль, что это в моем доме, а то был...

Но на Акпара это никакого впечатления не произвело.

— А!— закричал он.— Ты грозишься? Опозорил всю мою семью да еще грозишься? Ну, подожди, подожди, подожди, рука проклятый! Дойдет и до тебя очередь! Отольются тебе слезы Буркута! И хватило же у тебя совести посадить такого человека!

Как ни взбешен был Хасен, но он все равно ошалело спросил:

— Буркута?

— Да, да!— заорал Акпар уже в полном неистовстве.— Он в тюрьме. Сидит и тебя, предателя, помнит. Ну, подожди, подожди, гад...— И он скрылся за дверью.

Хасен наклонился над женой.

— Ханшаим,— позвал он ее ласково,— Ханшаимжан...

Она подняла голову от пола, но глаз открыть не могла: все заливал багровый синяк.

— Там у меня есть еще платье,— сказала она, морщась от боли,— голубое. Достань из коржына. И, милый, не смотри, пожалуйста, сейчас на меня. Я такая страшная.

Хасен достал и принес ей платье.

— Отвернись,— попросила она. И через минуту:— А теперь иди сюда.

Хасен бросился к ней с таким порывом все сжигающей, почти истерической нежности, так осторожно обнял ее, что даже слезы выступили на глазах.

— Ханшаим моя, Ханшаим-жаным! Любимая, родная,— повторял он уже почти бессмысленно. Она посмотрела на него и улыбнулась — губа у нее была рассечена, и говорить ей было трудно.

— Ничего,— сказала она,— ничего! За любимого можно все вынести! А чаю мы с тобой так и не попили. Садись, милый.— И когда они уже сидели за столом, вдруг спросила:— А что там с Буркутом? Он в тюрьме? За что?



— Я сегодня все узнаю,— ответил Хасен.— Я сейчас пойду.

Он показал ей, как надо обращаться с телефоном, отпиратель и запиратель дверь, и ушел.

— Я скоро вернусь,— сказал он,— никому не отпирай.

— Не бойся,— ответила она,— Акпар уже не придет. Он далеко.

Хасен направился к дому Ольги Павловны. Это был маленький одноэтажный домик на самой окраине. Домик был крошечный, трехкомнатный, но сад вокруг дома разросся огромный, тенистый. Самая душистая черемуха и самая пышная сирень росли именно в этом саду. Отец Ольги Павел Николаевич Чернышов был великий садовод и любитель цветов — ни у кого не было таких тюльпанов, как у Чернышовых, ни у кого раньше не зацветали розы, чем у Павла Николаевича, и почетная медаль Общества любителей садоводства была опять-таки вручена в 1913 году директору акшатырской гимназии — Чернышову. И как-то так получилось, может быть, случайно, а может быть, и не совсем, что в этом последнем предвоенном году Павел Николаевич окончательно порвал некоторые свои давние связи, которые он сам считал не только «опасными», но даже отчасти и конспиративными. В этом году он отказался подписаться под протестом местной интеллигенции по поводу какого-то очередного полицейского безобразия. Подписали многие его друзья, а он отказался и даже не объяснил, почему. Впрочем, никто его подписи и не добивался — ведь он в ту пору был уже зятем военного губернатора и директором гимназии. И директором, конечно, превосходным — знающим, гуманным и передовым. В его гимназии устраивались благотворительные вечера, и ученики выступали с чтением стихов Блока и Брюсова. И каких еще стихов!

Каменщик, каменщик, в фартуке белом,  
Что ты там строишь, кому?  
Эй, не мешай нам, мы заняты делом —  
Строим мы, строим тюрьму,—

читал артист, а в первом ряду сидел зять военного губернатора и директор гимназии, аллодировал. Это производило впечатление. Но много важнее было, конечно, другое. Чернышов состоял председателем местного отделения Географического общества и очень деятельно занимался археологией и сбором сказок, легенд и песен. Лет тридцать назад он сам послал академику Э. Радлову пятьдесят народных песен, записанных по-казахски, но русскими литерами, и с тех пор завязалась их переписка. По докладу этого известного во всем мире тюрколога он был награжден золотой медалью Общества этнографии. А через год, сначала в Томске, а потом в Пе-

тербурге, вышла его книга «Песни и сказки студенной степи». Впрочем, настоящим ученым Чернышов так и не стал, но собирателем он был старательным, добросовестным и неутомимым. И местные языки знал, что называется, на совесть. Дочь свою Ольгу он тоже сумел заразить той же страстью. Она с пяти лет отлично говорила по-казахски. И все было бы хорошо, если бы не жена Александра Ивановна. Она всегда держалась в стороне от увлечений мужа, хотя и старалась ему ни в чем не мешать. После Октября и последних событий в городе она вдруг заявила, что собирается и немедленно едет в Петроград. Пожалуй, это действительно было самое разумное из всего, что дочь генерала Коломейцева могла предпринять или придумать в этой смутной ситуации. Ведь прозвища «палач» и «вешатель» и даже просто «вампир» преследовали ее отца уже лет десять. Чтобы спасти свою шкуру, генералу пришлось бежать. Сбежала и его дочь. В Петрограде у нее было много знакомых и родственников, и устроилась она неплохо — пианисткой в какое-то кино. Через четыре года после этого она написала мужу первое письмо, потом второе, ответное, и завязалась переписка. Александра Ивановна звала мужа и дочь к себе, они отвечали уклончиво, и только на седьмой год муж написал: «Ликвидирую дела, нашошу последние визиты. Если все будет хорошо, дам телеграмму, чтоб встречала в начале следующего месяца. Что же касается Ольги, то тут пока все неясно».

— Да, неясно,— сказал он, вставая из-за стола,— очень очень неясно. То есть было все ясно, и вдруг... Бог знает чем это все может кончиться.

— Подумай, чем все может кончиться,— сказал он вечером дочери,— он арестован ГПУ, и, очевидно, не зазря, ты же знаешь его настроение, и, несмотря на это, ты все-таки остаешься его ждать. Глупо, душа моя! А дальше будет так — его закатают в Сибирь, а ты останешься одна без денег, без друзей и службы. Что будет тогда с тобой?

— Я буду его ждать,— ответила Ольга.

— Где? Где ты его будешь ждать, безумная? Как? К чему? Ну вот он, положим, выйдет — так что он тебе скажет? Он тебе скажет: «Ох, как я вас всех ненавижу, а тебя, русская девка, больше всех».

— Что ты говоришь, папа! — возмутилась Ольга.

— То, что ты слышишь, моя дорогая. Он ненавидит русских, и не кого-нибудь одного, или двух, или сто человек, а всех русских подряд, это значит, он ненавидит тебя, меня, наших друзей. Ты слышала его песни? Понравились они тебе? Нет? На что же ты тогда рассчитываешь?

Ольга долго молчала, а потом, когда заговорила, голос ее был тих и ровен.

— Вот что, папа,— сказала она,— я понимаю твои чувства, но пойми и ты меня — иначе я поступить не могу. Ну я знаю, что ты сейчас скажешь: романтика, игра, княгиня Волконская, ну и так далее,— это все чепуха, папа, я ни во что не играю: я просто хочу жить, и жить хочу с Буркутом. Стой, не перебивай. Его выпустят. Он не контрреволюционер, и совсем он не ненавидит русских. Он ненавидит дедушку, плохо выносит маму, но любит меня и очень, очень уважает тебя. Если бы ты слышал хоть раз, как он говорит о тебе! А болтает он, верно, много и зря. И язык в последнее время у него стал злой — это тоже верно. Вот за язык он и попал.

— И еще за песни!

— И, очевидно, еще за песни. Это правда. Оставить его в таком положении я не могу. Значит, мне надо за него хлопотать. Люди не слепые — увидят, где правда, надо только ясно сказать о ней. Если все будет хорошо, мы вдвоем приедем к вам. Это мое последнее слово.

— Ну, раз последнее...— развел руками отец и вышел из комнаты.

Вот через час после этого разговора к Ольге и зашел Хасен.

— Хасен, милый,— бросилась к нему девушка, едва он только отворил дверь,— если бы знал, какое у нас случилось несчастье...

— Знаю,— ответил Хасен,— ты разрешишь сесть? Как же это все-таки вышло? Когда?

Оказалось, что дня три тому назад она, Ольга, и Акпар сидели у Буркута. Вдруг в дверь постучали. Было уже около одиннадцати, и Буркут сказал: «Ну, кого еще шайтан несет?»— и пошел к двери, а возвращается с двумя военными в кожаных куртках. Он выглядел очень растерянным.

— Чепуха какая-то,— сказал он,— ничего не понимаю.

Один из военных спросил у Ольги и Акпара документы и, взглянув на них, сказал:

— Попрошу остаться понятыми, надо будет произвести обыск.

Вышли из дому уже поздно ночью.

Акпар пошел домой, а Ольга проводила Буркута до городской тюрьмы.

— Значит, он в городской тюрьме,— сказал Хасен, вставая,— ну, спасибо за сведения, Ольга! Пойду туда.

— Я бы на вашем месте все-таки сначала сходил бы в ОГПУ,— сказал Павел Николаевич (он в середине разговора появился в дверях, да так и простоял все время, слушая),— свидания подследственным дают только по ордеру следователя или начальника отдела — вот к ним и нужно идти.

— Правильно,— подтвердила Ольга,— мне военный то же

самое сказал. Он даже комнату назвал: сто тридцать восьмая. Если, говорит, что нужно будет, идите туда.

— Правильно. Пойду в сто тридцать восьмую,— решил Хасен.— Как только что узнаю, Ольга, сейчас же забегу сообщу вам, а сейчас бегу.

Около двух часов проговорил Хасен с начальником секретно-политического отдела, а выйдя, сразу пошел домой к Ханшанм, даже в редакцию не зашел.

## V

Николай Иванович Гаврилов, следователь ОГПУ, нахмурившись, смотрит на кончик своего пера. Он совершенно не знает, как вести себя с этим подследственным. В голове этого парня такая путаница, непонятное смешение всех понятий, что разговаривать с ним очень нелегко. Начнешь об одном и не заметишь, как перескочишь совсем на другое, и разговор пошел уж об Александре Македонском и его империи. А при чем тут она?

— Ну при чем тут империя Александра Македонского,— говорит Гаврилов, страдальчески морщась,— и какой она нам пример? Да, мы строим многонациональное государство, но у нас все основано на общем интересе, на дружбе народов, а там был захват земель, грабеж, лишение народов их самостоятельности,— ну, словом, военная оккупация. Как же можно равнять федеративный союз равноправных государств с оккупацией? А вы заладили: многонациональное государство не может быть прочным. Да, милый мой, и никакое государство не может быть прочным, если оно основано на угнетении. Именно поэтому и происходят революции. Неужели это вам непонятно? Ну хорошо, эта истеричная Кассандра, ваш учитель, Ахан ничего не понял, и с него, вероятно, и спрашивать было нельзя. Он человек старый, воспитанный муллами. Но вы, вы, молодой человек...

— А все-таки вы спрашивали с него,— сказал Буркут. Он сидел неподвижно перед следователем и смотрел на него.— Да еще как спрашивали — так спрашивали, что у него и остался только один путь.

— Головой вниз с верхнего этажа? — посмотрел на него Гаврилов.— Да, печальная история! И, по совести говоря, совершенно абсурдная. Никто не собирался трогать вашего учителя, да, по совести, и не за что было.

— Так что ж, он с ума сошел, что ли?

— Очевидно, сошел. По крайней мере, социально. Но, заметьте, были люди, которые потакали его сумасшествию. Вот они-то действительно являются настоящими убийцами или, во всяком случае, пособниками преступления. С них и должен

быть спрос. Ну, об этом разговор еще впереди. Во всяком случае, вы в этой смерти не замешаны...

— Ну слава богу,— Буркут даже засмеялся,— значит, вы знаете и тех, кто замешан.

— Может быть, и знаем! Но об этом опять-таки разговор впереди. Давайте говорить только о вас. Так вот, мы вам предлагаем сойти с того пути, по которому вы идете — он ведет вас прямо-таки в пропасть.

— Может быть, в яму?

— А так еще вернее. Но дело не в словах. Мы вам предлагаем вот что: если не можете помогать, то хоть не мешайте. Стойте! Слушайте! Внести смуту и путаницу в умы ваших соотечественников нетрудно. Царизм нам оставил в наследство девяносто восемь процентов неграмотных. Эти люди живут еще по Корану и шарпату и могут поверить во что угодно. Они верят муллам, поверят и вам. Тем более, что вы действительно хотите блага своему народу, но только не знаете, где его искать. Для вас каждый казах равен другому казаху, и для вас все равно, что бай Карымсак, что бедняк Матан.

Буркут вздрогнул и недоверчиво взглянул на следователя — это что? Ловушка?

— Почему вы назвали именно эти имена?— спросил он.

— А потому, дорогой, что Карымсак — отец вашего друга Акпара — что, разве это не так?

— Ну, положим, что так, но при чем тут Матан?

— А при том, что Карымсак избил до полусмерти Матана и бежал в Китай. Захватил с собой все свои стада и деньги. Кроме того, он еще увез связанную по рукам и ногам свою бывшую жену. Что он там с ней сделает — неизвестно, то ли засечет до смерти, то ли просто повесит. Вот все они трое казахи — и всех их троих вы желаете двинуть против нас. Карымсак, конечно, пойдет за вами, а эти двое? Как вы думаете? Они тоже пойдут за баем Карымсаком?

— Вы переводите разговор на личности,— недовольно сказал Буркут, он до сих пор не мог собраться с мыслями.

— Нет, только на конкретность,— возразил следователь,— на упрямые факты.

Он встал, прошелся по комнате, подошел к окну, открыл и закрыл его снова.

— Гроза собирается,— сказал он,— эх, не ко времени, обмочит цвет.

— А вы и это знаете?— спросил Буркут.

Гаврилов улыбнулся:

— А как же! Я ведь бывший учитель. Двадцать лет работал в казахской степи. А как же, дорогой! И мой дед был оттуда! Его Кенесары изрубил. И отец оттуда! Его Дутов к пушке привязал за смутьянство. Вот видите, как здесь разрешают-

ся национальные проблемы. Ладно, не в этом дело. Так вот я снова повторяю вам тот же вопрос. Если мы вас сейчас отпустим, согласны вы прекратить борьбу? Всякую — и идейную в первую очередь. Могу ли я заверить своих начальников, что, выйдя отсюда, вы не сочините новую песню о страданиях казахского народа и о зверствах комиссаров?

Буркут сидел опустив голову и думал.

— Вы думаете?— сказал Гаврилов.— Это хорошо! Продумайте же все основательно и решите, можете ли вы дать нам слово? Потому что если дадите, то знайте — нарушить его вы уже не сможете.

— Почему?

— Потому, что тогда мы станем смотреть на вас как на изменника, вы будете для нас никак не лучше Карымсака, и мы уничтожим вас, как только вы попадете нам в руки.— Он поднял телефонную трубку и вызвал часового.— Отведите заключенного обратно в камеру,— сказал он и вынул часы.— Так вот, Буркут, сейчас восемь. В десять я вызову вас, и мы должны с вами уже прийти к окончательному решению. Так?

— Так,— ответил Буркут и поднялся со стула.

— Пойдите,— сказал Гаврилов.— Обдумайте и еще одно. Вы работали учителем. Мы будем просить, чтобы эту работу вы оставили. Вам понятно — почему? Так будет лучше всем нам.

Он вышел из тюрьмы ровно в десять. И когда настенные часы начали бить, он еще находился в комендатуре. Вышел и сразу попал под веселый весенний ливень. Он хлестал по листьям сирени, по низким крышам домов, по будкам и фонарям. При желтом неверном свете их было видно, как несутся бурные ручьи, и башмаки Буркута сразу промокли насвободу.

— Смотри, что делается,— сказал красноармеец, выходя за ним на крыльцо сторожевой будки,— ты, может, переждешь? Хотя он теперь на всю ночь! Тебе далеко идти-то?

— Близо,— ответил Буркут весело,— близо! До свиданья, товарищи!

«Да,— думал Буркут, проходя через двор.— Каждый человек должен иметь друга, к которому он мог бы пойти. Это, кажется, сказал какой-то герой Достоевского. А куда вот мне идти? К кому? Ольга уехала вслед за отцом, у нее и билет был на руках. Акпар? Но нет, к Акпару я не пойду. Он только о себе и способен думать. Он считает своим не только аул, в котором он родился, но и людей этого аула, и стада, и всю степь вообще. Нет, нет, к кому угодно, только не к нему». Вспомнил Буркут о Хасене, но как-то очень мельком, вспомнил так, как

вспоминают иногда о хорошем человеке, с которым хорошо было бы познакомиться поближе, да вот не пришлось. Он думал и шел по парку, как вдруг какая-то черная фигура бросилась к нему.

— Буркут! Буркут! — закричала эта тень. — Это ты, Буркут!

— Боже мой, — только и сумел сказать он, — боже мой, Ольга!

— А я тебя ждала, ждала, — говорила Ольга, обнимая его, — три часа просидела на этой скамейке. Видишь, какая мокрая. Так темно, что даже не видно твоего лица. Похудел, наверно? Что, тебя только сейчас и выпустили? Ты голодный? Ну идем, идем ко мне, там уже все готово. Но тебя совсем освободили? Так что больше и не тронут, да? Ну, конечно, не тронут, зачем ты им нужен!

Она спрашивала и сама отвечала на свои вопросы. Она плакала и смеялась и все теснее и теснее прижималась к Буркуту.

— Совсем, — подтвердил Буркут, сжимая пальцы девушки. — Зачем я им? Я ведь только тебе и нужен.

Обнявшись, они шли домой — то есть к Ольге, потому что много дома у Буркута с этого дня уже не было и быть не могло. Его дом теперь там, где Ольга. А Ольга будет с ним всегда, всю жизнь. Она во всем согласна с ним: со всеми его чувствами, мыслями, с его отношением к людям и событиям. Это и понятно. Раз она любит его, значит, она любит и все, что дорого ему, — его друзей, его мысли, его надежды. Как можно жить иначе с любимым, не понимала.

Свадьбу они решили сыграть через неделю.

Несмотря на то что время было смутное, решили справить ее по-старинному. Приглашенных набралось около ста человек — не забыли ни Акпара, ни Хасена с Ханшаим, ни даже такого дальнего знакомого, как Каражан, молодого человека, перед самой революцией окончившего кадетский корпус.

Из ближайшего аула пригнали пяток баранов, приобрели пять мехов кумыса. Не забыли и про музыку. Сам Файзолла, местный трубадур и менестрель, должен был открыть пиршество. В общем, все было налажено, все шло как полагается, и вдруг утром в самый день свадьбы пожаловал Акпар. Он пришел в тот самый момент, когда молодые заканчивали убранство стола. Буркут стоял, держа в руках груды тарелок, а Ольга с подругами расставляла их по столам.

— Надо бы было поговорить, — сказал Акпар Буркуту, поздоровавшись, — не пройдем ли на минуточку в другую комнату?

— Так вот в чем дело, — начал он, усаживаясь на диван в кабинете. — Но во-первых, спасибо за приглашение, я толь-

ко-только вчера вернулся из поездки и получил его. Так вот, спасибо, и позволь пожелать вам всего лучшего.

Он говорил и улыбался, а глаза его бегали, и улыбка получилась косая, ненатуральная, не улыбка, а волчий оскал.

— Ты это пожелаешь на свадьбе,— сказал Буркут,— имей в виду, мы тебя ждем обязательно.

— Вот поэтому я и пришел,— снова улыбнулся Акпар.— На свадьбе я быть не смогу.

— Почему?— спросила Ольга.

— А разве вы не понимаете?— Он с минуту молча смотрел на нее.— Я думал, вы поймете. Уж очень я опасный гость, ведь я, говоря высоким слогом, сын государственного изменника, а Буркута всего неделю тому назад как выпустили, и, конечно, за ним следят, и вообще, чем меньше меня будут люди здесь видеть, тем лучше. И для меня, и для моих друзей.

— Не говори глупости,— нахмурился Буркут.— Пусть отец убежал, ты ведь остался. Так что ж с тебя спрашивать?

— Да, к сожалению, есть что. Ты — казах, знаешь наш обычай. Такой гость, как я, на свадебном пиру — это позор дому. Кто не сумел по-честному выдать свою сестру, а отдал ее на посмеянье врагу — тот и на чужую свадьбу ходить не смеет.— Лицо его перекошилось от злости.— Негодяй! Так опозорить все семейство... Ну я уж жив не буду, а этому русачку проклятому...— Он сжал кулак и потряс им, но вдруг опомнился и быстро заулыбался снова:— Ой, боже мой, что же я говорю! Пришел накануне свадьбы в дом невесты и песу околесищу. Я ведь вот с чем шел...

Он полез в карман и вытащил массивный золотой браслет с гранатовой застежкой.

— Вот хочу, Ольгакан, поднести тебе свадебный подарок. Это родовое. Переходило от дедов к отцам, из поколения в поколение! Возьми!

— Нет, нет!— сказала Ольга, отодвигаясь.— Сейчас не возьму, только на свадьбе...

Он развел руками:

— Я же говорю: на свадьбу я прийти не могу, и ты меня не обижай...

— Это ты меня обижаешь, что даже не хочешь...

— Ольга, Ольга,— страдальчески покачал головой Акпар.— Ну что ты говоришь такое, Оля? Разве я не пришел бы, если бы мог? Возьми, не обидь.

— Возьми, возьми, Ольга,— поддержал Акпара Буркут.— Ведь это от доброго сердца.

— Гранатик к счастью,— продолжал Акпар.— Посмотри, как кровь, даже сейчас горит, а на солнце! Дай-ка я надену. Ну вот и отлично! Как будто специально тебе сделано. Носи, не снимая!



Ольга посмотрела на Буркута — ей было очень не по себе. Она немного побандалась Акпара. Это осталось у нее от тех дней, когда он ухаживал за ней. Всегда она чувствовала в Акпаре что-то скрытое, непонятное, затаенное. И слова его звучали всегда как-то не так, как будто он говорил одно, а думал другое, и глаза у него не улыбались, а были холодны и неподвижны, хотя сам-то как будто смеялся от души, и поступки его были странны и непонятны. Когда она как-то явно выказала предпочтение Буркуту, у них произошел разрыв, и они не виделись почти год. Потом встретились втроем и пошли вместе в кино — о старом не было сказано ни полслова. С тех пор они опять начали встречаться, и все пошло так, как будто в их отношениях и не было ничего, кроме веселых разговоров, случайных встреч, прогулок втроем: она идет под руку с Буркутом, а Акпар где-то тут рядом, то появляется, то исчезает, то участвует в разговоре, то замолкает. И если бы не странное чувство напряженности, которое все время владело Ольгой, можно было бы подумать, что и впрямь все прошлое прочно забыто, а Акпар просто старый, надежный друг.

— Я прошу, пусть этот браслет будет на тебе во время свадьбы,— сказал он.

— Да, да,— поддержал Буркут,— правильно, правильно. И всем, кто спросит, откуда он, будем отвечать: «Свадебный подарок нашего друга Акпара», а то еще подумают — не пришел потому, что обиделся на что-то.

— Ну, конечно!— воскликнул Акпар.— Носи на здоровье, дорогая, его тебе поднесло чистое сердце! А теперь...— Он повернулся к Буркуту:— Я бы хотел тебе, дорогой, сказать два слова, я думаю, что Оля не обидится, если ты...

— Пожалуйста, пожалуйста,— торопливо сказала Ольга и выскользнула за дверь.

— Великолепная девушка!— вздохнул Акпар.— Счастливеец ты, Буркут! Но вот что я хотел тебе сказать: люби жену, храни ее, но языка с ней не распускай. Наши дела — это наши дела. И гораздо лучше для наших близких, если они на все вопросы посторонних смогут ответить: «Я ничего не знаю». Зачем их впутывать черт знает куда! Ты согласен?

— Да, пожалуй,— ответил Буркут.

— Ну вот и отлично. Ну, а теперь я пошел.— Он повернул к двери и остановился.— Да! Вот еще что. Каражана тоже не будет. Он завтра чуть свет уезжает.

— Зачем?

— Вызывает Народный комиссариат просвещения. Хотят сделать как будто каким-то начальником. А что ты удивляешься?

— Позволь, позволь, при чем же тут народное просвещение? Ведь он окончил кадетский корпус в Омске, обучал

алашордынских солдат где-то здесь поблизости. Он же гвардеец.

— Да, это мы так думали,— усмехнулся Акпар,— а на самом деле он уже в кадетском корпусе якшался с большевиками. И к алашордынцам попал совсем недаром.

— А почему же он был с нами?

— А вот поди спроси его. Почему? Я спрашивал — смеется. «Мы служим одному делу, отвечает, вы так, я эдак», вот и весь разговор.

— Ну и хорошо, что он не придет,— разозлился Буркут.— Терпеть не могу вот таких... таких перекаати-поле, сегодня он здесь, завтра он там. Ветер дунул, он полетел за ним.

— Ладно!— положил ему руку на плечо Акпар.— Посмотрим, как он будет себя вести дальше. Ну, а теперь вот что — не хотел говорить при Ольге,— я ведь попрощаться зашел, сейчас уезжаю.

— Куда?

— В Алма-Ату. Уже ящик ждет. И ты тоже здесь долго не задерживайся. Вот отгуляешь свадьбу, поживи с молодой женой недельку и приезжай тоже в Алма-Ату, я буду ждать.

— Сначала я только заеду в аул,— сказал Буркут.

— В свой аул?— удивился Акпар.

— Ну, в какой мой!— махнул рукой Буркут.— Ты же знаешь, я сирота, мать умерла, когда мне еще и пяти не было, а отец — аллах ведает, когда. К дяде я хочу съездить, он звал к себе.

— Ну что ж, если звал, то поезжай,— великодушно разрешил Акпар,— а то, верно, с голоду сдохнешь вместе с женой. За стихи-то ведь теперь никто обедом не накормит. Нет баевто. Кончились наши легкие заработки. Работать тебе, брат, нужно — вот что!

— Новое дело! Как будто мне дают работу, а я отказываюсь от нее,— усмехнулся Буркут.— Кто же меня возьмет?!

— Тот, очевидно, кто дал работу и Каражану,— Советская власть.

— Да? Не верится что-то, чтобы Советская власть дала мне снова работу.

— А придется поверить, дорогой, придется. И не только поверить, но и работать начать. На них работать. Только поумному, конечно. Ты ведь понимаешь, что если я не пошел с отцом в Китай, то не зря.

— Ах вот что!— усмехнулся Буркут.— Значит, работать и нашим и нашим. Нет, это не по мне.

— А в тюрьме сидеть — это по тебе? Да? Не дури. Помни, что говорили наши предки. Если время — лисица, сам будь гончей.

— А завтра стать волком и задавить гончую? Нет, это совершенно не для меня. Я борюсь только открыто.

— И тебе это под силу — бороться открыто! — засмеялся Акпар.— Эх, Буркут, Буркут! Все-то ты хочешь прожить по-благородному, а если драться, то лицом к лицу. Нет, дорогой, времена Жеке-батыров<sup>1</sup> прошли, и безвозвратно. В этой борьбе потребуется верблюжье терпенье, лисья хитрость, заячьи ноги и волчьи клыки, и у кого всего этого нет, придется приобрести. Так вот, приезжай в Алма-Ату, но помни, да и Ольге скажи: если встретимся на людях — мы не знакомы.

— Значит, испугался,— усмехнулся Буркут.— Испугался того, что твой единомышленник сидел в тюрьме. Это, мол, он, а я ни при чем, я вот даже здороваться с ним перестал. Эх ты, волчище! Каскыр<sup>2</sup> ты!

Акпар улыбнулся:

— Что волк, это так! Что до поры до времени скрываю зубы — тоже так, но больше я ни в чем не виноват. И перед тобой особенно. Когда встретимся — поймешь. Ну, прощай! — Он пошел и остановился.— Да! Хасен сегодня будет на свадьбе?

— А что? — сразу насторожился Буркут.

— Так, значит, будет. А я думал, что он уже уехал. Да нет, ничего! Я пошел, Олежан привет.

Он ушел, а Буркут еще долго стоял, смотрел на ту дверь, в которую он вышел, и думал.

Гостей на свадьбу собралось много. В общем, кроме Акпара и Каражана, пришли все. Пришел и Хасен со своей молодой женой. Ханшаим подарила Ольге золотое кольцо с рубином. Очень дорогое было это кольцо. Его выковал известный ювелир Мустай. Это кольцо да браслет, подаренный Акпаром, составляли часть приданого Ханшаим. Увидев браслет, она едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Перед бегством в Китай Карымсак снял этот браслет с руки дочери и спрятал в сундук. «Наденешь его снова в другом месте», — сказал он. Но другое место Ханшаим не увидела и поэтому считала, что и своих драгоценностей она тоже никогда больше не увидит, и вот встретила же через несколько дней на руке другой женщины. Как это могло произойти? И чтобы не задавать себе эти вопросы, Ханшаим подавила волнение, проговорила что-то незначительное и быстро отошла от невесты.

А Файзолла в этот день превзошел самого себя. Старики, пришедшие на свадьбу, только одобрительно щелкали языками. Он извлекал тончайшую, как волос, ноту из скрипки, и скрипка почти по-человечьи пела в его руках. И плакала она

---

<sup>1</sup> Жеке-батыр — батыр-одиночка.

<sup>2</sup> Каскыр — волк.

тоже по-человечьи. А потом Файзолла заиграл что-то радостное и бравурное, девушки стали подпевать ему и в такт песни хлопали в ладоши. Затем пили чай и опять пели, и тут вдруг раздался звон стекла. Кто-то стрелял в окно. Осколки осыпали пол и долетели до стола. Все закричали, но больше всех хозяйка квартиры Сақыпжамал. Кисть ее отвисла, как сырая тряпка. Она трясла ею и плакала. Кровь хлестала прямо на стол, и скоро вся посуда была в крови. Охажущую и плачущую, ее отнесли в другую комнату. Побежали за врачом.

— Из браунинга бил, подлец,— сказал Хасен, подходя к окну и рассматривая осколки.— Хорошо еще, что в левую угодил.

— За что в нее-то стреляли?— спросил Буркут растерянно.

— Да не в нее это, а в меня,— скривился Хасен.— Она мне подавала чай, он выстрелил, да и угодил ей в руку. Подлец!

— Кто подлец?— воскликнул Буркут, все еще ничего не понимая.

— Ну кто? Акпар, конечно,— не удивился Хасен.— Или кто-нибудь из его дружков.

— Акпар!— Буркут выбежал на улицу.

Ночь, луна, тени на земле, никого нет. Только где-то очень далеко стучали копыта.

«Неужели это Акпар?— подумал смутно Буркут.— За сестру? А все может быть. Эх, если бы он мне сейчас встретился».

Но встретиться не удалось. Через три дня Буркут с Ольгой уехали в аул к дяде.

## Часть вторая

### СКИТАНИЕ НА ПЕРЕПУТЬЕ

#### 1

Фаэтон мчится вдоль Бухтармы. Дорога проходит возле самой реки. А река здесь быстрая, бурная, с высокими скалистыми берегами. Скалы как бы режут ее пополам — и с одной стороны остается река, с другой — вот эти угрюмые высоченные скалы с облаками на вершинах. Задерешь голову посмотреть, и шапка свалится с головы. Вдоль дороги сосны, ели, густой хвойный лес. А еще ближе к реке сочные луга — трава доходит до пояса, — и растут на этих лугах сочные лопухи, высокие зонтики, красные и синие цветы. В воздухе стоит неумолчный птичий щебет, он заглушает все: стук копыт, вой ветра в скалах и даже рев потока. Человеку, привыкшему к звукам города, звону, гудкам, сиренам, может показаться, что он попал в страну сказок: и скалы здесь фантастичные, то острые, как пики, то словно гигантские сказочные скульптуры, и леса дремучие и таинственные, и птицы необычайные. В фаэтоне трое — кучер в жупане, человек мрачный, неразговорчивый, за весь путь он не сказал и пары фраз, Буркут и его жена. На Ольге белое шелковое платье и платок. Она смотрит и не насмотрится, глядит и не наглядится, ее тут все удивляет — и эти вершины, и невиданные цветы на обочине дороги, и птицы разные.

Буркут, наоборот, мрачен и сосредоточен. Он думает о своем. Странна многовековая судьба его народа, думает Буркут, странна и запутанна. Очень трудно, а лучше сказать — попросту невозможно разобраться в этом как будто бы слепом стремлении многомиллионной человеческой плазмы с востока на запад, с юга на север. История казахов начинается с того, что примерно за двести лет до рождения Христова уйсуну — одно из главных и наиболее мощных казахских племен — выжили к озеру Балхаш.

Шли они через долину реки Или по берегам озера Ала-Куль — это место недаром именуется «историческими воротами», — все народы, стремящиеся на восток, проходили здесь. В течение почти четырехсот лет уйсуну владели побережьем Балхаша и всем Семиречьем вообще, пока другая вол-

на в 177 году — уже нашей эры — не снесла их далеко на запад. Снесло, впрочем, не только одних уйсунгов, тогда сносило и несло всех. Ни один народ не смог устоять против мощного гуннского нашествия, хлынуло оно из Китая и разлилось по всем южным степям. Началось великое переселение народов. Гунны владели этими странами больше трех веков, а затем, в свою очередь, были вытеснены монголами и исчезли начисто без следов и памятников — так что даже факт их существования, как говорят историки, «был археологически не установлен».

«На запад идет ветер, и на восток идет ветер; гудит, гудит и вновь возвращается на круги своя» — говорится в одной старой книге. Народы то уходили из степей, то вновь захватывали их; они воевали друг с другом, уничтожали скот, жен и имущество, друг друга, потом мирлись, братались, смешивались, так что скоро уже нельзя было понять, какое племени, откуда пришло и какова была его роль во всем происшедшем. Кто только ни побывал за несколько веков на казахской многострадальной земле! Были тут и печенеги, и турки, и половцы — пока, наконец, в XI веке мощная волна половецких завоевателей не отбросила их всех до Волги и дальше по степям и городам Руси. Что было потом, об этом хорошо известно из русских летописей, былин и сказаний. Была непрекращающаяся резня, были сожженные города, были плачущие жены — кто не помнит плач Ярославны? — были города, снесенные с лица земли, и все это продолжалось как будто бесконечно. И вот тогда снова появились киргиз-кайсаки, совсем исчезнувшие с лица земли после гуннского завоевания. С этого момента и начинается, собственно говоря, история казахского народа. Многострадальная, кровавая история его, где падений больше, чем взлетов, а поражений больше, чем побед.

Со второго по восемнадцатый век трижды подвергался казахский народ, казалось бы, полному уничтожению. Три губительных нашествия (гунны, монголы, джунгары), кажется, начисто сметали его с лица земли, а он все жил. А затем наступил восемнадцатый век с колониальными экспедициями царизма, с властью кокандских, хивинских, бухарских ханов.

В общем, история не состоялась. Все прошлое этого несчастного, отверженного народа сводилось к страданиям, кровавым схваткам, поражениям и смертям.

Даже в мрачном и жестоком средневековье трудно найти что-нибудь подобное. Не потому ли и душа казахского народа сохранилась больше всего не в песнях, не в радостных сказаниях, не в героических легендах — они тоже были, но не в них суть, — а в гениальном образе Көркыта и Асана-Кайгы.

Столетия скитается этот вечный странник Көркыт на своем быстроногом верблюде, надеясь отыскать землю, где нет

смерти. Но куда бы он ни шел, всюду перед ним раскрывалась разверстая могила — та пустая и тесная яма, которая всегда в легендах и преданиях казахского народа являлась истинным символом смерти. И тогда он понял, что бессмертно только творчество. Человек умирает, а песня-то остается. И он научил своих соплеменников играть на кобызе.

И другой герой легенды, Асан-Кайгы, а проще сказать — Асан-горемыка, тоже ищет обетованную землю, где бы птицы свивали свои гнезда на спинах овец! Более тихого и мирного образа поэт, видимо, не мог придумать, чтобы выразить свою тоску о покое, тишине. Так и скитались веками великие печальники казахского народа, искали успокоенья и не могли найти его.

О чем же ты сейчас замечтался, Буркут? О чем ты задумался? Неужели тебе не достаточно еще этих кровавых уроков? Неужели величие народа заключено в его трагедиях? Но ведь ты веришь в жизненную силу своих соотечественников. В то, что ничто в мире не может покорить и бросить их под ноги завоевателю. Веришь, веришь! Как бы ни жгли эту землю, как бы ни заливали ее кровью,— твой народ все равно воскреснет из пепла, как тот легендарный Феникс!

Может быть, поэтому твой народ всегда поет. Рождается ребенок — и старики поют перед его колыбелью, умирает старик — и дети с песней его опускают в могилу. И называется эта песня жоктау, то есть песнь небытия. Поют, когда гуляют, поют, когда работают. Поют утром, поют ночью, поют в горе, поют в радости. Показывают невесту гостям и поют беташар. Отдают ее замуж и поют жар-жар. Влюбляются — поют, разлюбят — тоже поют.

Каждый народ по-своему запечатлевает свою молодость. У греков она окаменела в камнях Акрополя, у итальянцев воплотилась в полотнах Рафаэля, казахи же оставляют песню, ибо она самое лучшее, что сумел создать народ.

Как-то отец Ольги рассказывал Буркуту о знаменитом асе — годовых поминках, устроенных в память богатея Сагыная. Здесь было все грандиозно, как в древних легендах. Для гостей разбили белые юрты. Только у богачей в ту пору имелись юрты из белой шерсти, и тут их поставили пятьсот. В пятистах белых юртах лежало пятьсот бухарских ковров.

Пять тысяч гостей собралось со всех концов казахской земли.

Поминки длились две недели.

Гости выпили пять тонн цветочного чая и пятьдесят тонн сахара. Из Ташкента, Казани и Нижнего Новгорода была привезена для этого чаепития фарфоровая посуда, самовары.

Десять тысяч атласных одеял и подушек из чистейшего луха постелили гостям для отдыха, пять тысяч бухарских ха-

латов и пятьсот сибирских кунц увезли они с собой. Двадцать тысяч баранов и тысячу коней-двухлеток зарезали для их угощения. В конских состязаниях участвовало триста скакунов. Гостей обслуживало пятьсот конных джигитов и триста женщин.

И стояли эти небывалые поминки роду керей столько же, сколько стоял Великому Моголу знаменитый дворец Таджи Макал — одно из чудес мира.

Но ничего не осталось бы в памяти народа об этих поминках, кроме скачек и бесбармаков, если бы не трагическая песня великого поэта. И не об умершем бае она была сложена, о нет! Во время скачек был убит знаменитый Кулагер — конь певца Ахана-серэ. Убили коня бандитски, два брата, Котраш и Батраш, раздробили ему голову дубиной, ибо конь бедняка не должен оставлять за собой знаменитых скакунов, выведенных на праздник лучшими джигитами всех трех родов. И песню о смерти замечательного коня, сложенную его хозяином, — этот подлинный гимн скорби, гнева и страдания — знает каждый казах. И гордятся казахи этой песнью не меньше, чем индусы мраморным чудом Таджи Макал.

Вот что значит песня для казаха! Поэтому больше всего Буркут боялся, что русская культура уничтожит лучшее, что есть у казахов, — его душу, его великую и бессмертную песню. Вот почему ему грустно. Вот отчего он задумчив, рассеян и вполголоса поет:

Жизнь моя, пустынная дорога,  
Много остановок, шалых верст.  
Счастлив был я мало, плакал много,  
И всегда мой хлеб был сух да черств.  
Но не знал я, как мне жить иначе  
И зачем о жизни моей плачет  
Эта одинокая домбра...

— Слушай, что за странная песня? Пустынная дорога, одинокая домбра, много в жизни плакал, — повернулась к мужу Ольга. — Ты посмотри лучше, какая красота тут!

Через час дорога пошла по степи. Теперь всюду, насколько хватал глаз, полыхали красные и желтые тюльпаны, а вдали на линии горизонта стояли и медленно расползались большие туманные пятна, то желтые, то красноватые, — это полыхали далекие марева. И тишина, тишина! Бесшумно несется экипаж, бесшумно ползут белые облака, и тени их скользят по дороге и лицам путников. Ольга крепко спит и улыбается во сне, даже степное солнце — иногда его прямой и жгучий луч вдруг вырвется на мгновение из облака — не может потревожить, она только поведет головой и поморщится. Весь мир кажется притаившимся в ожидании чего-то. И только раз это



молчанье оказалось нарушенным. На этот раз заснул Буркут, и проснулся он от крика Ольги:

— Смотри! Смотри!

К их фаэтону во весь опор мчался заяц. Уши у бедняги были прижаты к спине, и он летел во весь опор. А в степи никого не было — ни волка, ни лисы, ни собаки, никого.

— Да он бешеный?!— вырвалось у Буркута.

Вдруг длинная черная тень скользнула по траве, и они увидели беркута. Раньше его не было. Он только что камнем упал из-под облаков. Как заяц мог почувствовать над собой эту крылатую когтистую смерть, если она до последней минуты таилась за облаком? Видеть он, конечно, ничего не мог, но, очевидно, инстинкт наградил его какой-то особой сверхъестественной прозорливостью. Молчаливая черная тень уже совсем готова была рухнуть на него, как вдруг заяц сделал какой-то невероятный рывок или прыжок и бросился под фаэтон. «Стойте!»— крикнула Ольга вознице. Лошади стали. Беркут пролетел или, вернее, проскользнул над землей — страшный и бесшумный, как какая-то чудовищная рыба (Буркут увидел его буро-палевые перья на крыльях, страшный черный клюв, злобную змеиную голову),— и, чуть не задев крыльями фаэтона, с рассерженным клекотом взмыл к облакам.

— Страсть как зол,— сказал возница. — Такие и на человека нападают, конечно, когда уж чересчур голодны.

Буркут заглянул под фаэтон. Заяц лежал, плотно прижавшись к земле, было видно, как вздымались его бока.

— Пусть придет в себя,— сказала Ольга,— постоим.

Они простояли около пяти минут, а когда отъехали, заяц еще какое-то время пролежал неподвижно, а потом поднялся и бросился наутек.

— Счастливого пути тебе, косой!— закричала ему вдогонку Ольга. И заяц словно услышал ее: добежал до ближайшего холма, вытянулся столбиком и несколько раз махнул лапками в ее сторону. Ольга рассмеялась. Рассмеялся и Буркут. Рассмеялся и тотчас задумался. «Вот фаэтон,— думал он,— хотя одному живому существу он спас жизнь. Мой народ... Смогу ли я тебе послужить хоть таким же прибежищем в годину горя?»

— Черт знает что лезет в голову,— сказал он хмуро.

— А что?— спросила Ольга.

— Посмотри-ка на скалу, на что она похожа?

Ольга посмотрела и сказала:

— На человека.

— Правильно. Казахи называли ее «Кербезшын», то есть каменная красавица. Отсюда это еще не так видно, а вот зайдём с другой стороны...

Минут через пять они добрались до скалы.

— Ну вот,— сказал Буркут останавливаясь,— тут я родился. Было это почти тридцать лет тому назад.— И, видя, что Ольга смотрит на него недоверчиво, засмеялся.— Да ничего удивительного, дорогая, здесь нет. Тогда наш аул кочевал в сторону Тарбагатай, здесь мы останавливались на ночь. Вот и...— он развел руками.

Ольга посмотрела — скалы были высокие, крутые и голые, и все-таки и по ним к вершинам карабкались выгнутые по ветру, искривленные и скрученные сосны. А внизу было шумно и весело. Они стояли в березовой рощице, около их ног бил ключ, и прозрачный ручеек катился вниз по белому песчаному руслу.

— Да, в таких местах и долинах рождаются поэты,— сказала Ольга.

Буркут обернулся и с мучительной улыбкой посмотрел на нее.

— Ты что?— обеспокоилась Ольга.

— Так, ничего,— ответил он и вдруг взорвался:— Рождаются поэты? А для чего, спросить, они рождаются? Чтобы орать под барабан и дудку! Копаться в грязи! Осмеивать кулаков! Выявлять бюрократов! Для этого не надо ни скал, ни поэта. А я поэт, я родился тут, я хочу петь о народе, который люблю и без которого не могу жить! И мне наплевать на всех их трубочей и агитпропов! Понимаешь?

— Понимаю!— ответила Ольга и поцеловала его в голову.— Понимаю, мой дорогой! Но прошу — будь не только возвышенным, но и умным. Поэт должен быть мыслителем. У тебя все порыв. А поэту одного горячего сердца мало, нужна еще трезвая голова. Обещай мне думать. Помни: ты отвечаешь за две жизни.

— Это я всегда помню, милая,— вздохнул Буркут.

— Ну и хорошо. А насчет всего остального... Ты хочешь для своего народа счастья, как ты его понимаешь, но ведь народ может делать иное. У него свое понятие о плохом и хорошем, и ты свои мысли ему не навяжешь. Очень хорошо, что ты любишь свой народ, но плохо, что любовь твоя эгоистичная.

— Как это?..— Буркуту показалось, что он ослышался.

— Да, милый,— кротко и беспощадно подтвердила Ольга.— Эгоистичная. Ведь неразумная любовь чаще всего такая. Она же навязывает любимому свои понятия: сделай вот так, а не так, потому что, по-моему, это хорошо, а это плохо, и верь ты мне, а не себе, я лучше тебя знаю, что тебе нужно, потому что я умнее. Разве это не эгоизм? Знаешь, есть такая русская пословица: «Я тебе добра желаю — в воду толкаю, а ты добра не понимаешь — обратно вылезает». Похоже это на тебя?

— Нет,— сказал Буркут и засмеялся.

— А раз нет, то не решай все заранее, а попытайся понять, что желает твой народ. А поймешь его волю — покорись ей. Ведь недаром говорится: «Глас народа — глас божий».

...На закате они достигли аула Бурабая. Он стоял на берегу большого озера с густыми камышитовыми зарослями. Среди бесчисленных черных юрт, разбросанных по всему западному берегу озера, возвышалась белая юрта и около нее с десятков подобных, но поменьше. Они были скроены из самой лучшей белой кошмы и стояли поодаль от всех остальных на поляне среди маленькой и веселой рощицы. Тут же, метрах в пятидесяти от жилья, стояли лошади. Тридцать откормленных гладких жеребцов — шерсть блестит! — под седлами и на привязи. В ауле никого не видно, лишь лают собаки.

— Не густо,— усмехнулся Буркут,— не очень радостно нас встречают здесь.

— Если бы землемер ехал, небось, забегали бы,— хмуро усмехнулся ямщик.

— Смотри, смотри,— схватила за руку мужа Ольга.

Высокий джигит скакал прямо к ним.

Он соскочил с коня, взял его под уздцы и пошел к фазтону. Прищурившись, Буркут смотрел на него и старался вспомнить, где он мог видеть этого высокого, ладного, чернявого юношу. А одет-то он был бедно: шекпен из верблюжьей шерсти, подпоясанный сыромятным ремешком, на голове старый выгоревший борик, на ногах сбитые латаные сапоги. Так в ауле одеваются бедняки или слуги. И все-таки по всему, даже по походке, в нем можно было признать настоящего джигита. И обычай он выполнял по всем правилам: гостя в ауле встречают только пешком, если кто и сидит на коне, то слезает с него и подходит к гостю, ведя коня на поводу,— все это и проделал сейчас молодой джигит. Но по тому, как он шел, как улыбался, как, наконец, поднял камчу, отгоняя собак, сразу можно было увидеть человека вежливого, безукоризненно воспитанного и знающего себе цену. Но вдруг его красивое и холодное лицо озарилось настоящей радостью.

— Буркут-ага! — кричал он и протянул сразу обе руки.

— Постой, постой,— сказал Буркут, припоминая,— лицо знакомое, а что-то... Боже мой! Да это Еркебулан! Вот никогда не узнал бы...

Они обнялись.

— Нет, как время-то бежит! — продолжал Буркут.— Ведь я тебя помню еще подпаском, тебе лет двенадцать тогда, наверное, было? Да, никак не больше двенадцати. А стал настоящим джигитом.— Он повернулся к Ольге:— Вот, знакомься — мой двоюродный брат, сын дяди, звать его Ерке. А это, Ерке, твоя женеше — тетя Ольга.

Еркебулан покраснел от смущения. Он взял в свои огромные бурые ладони кисть Ольги и осторожно пожал ее. Очевидно, он первый раз видел такую красивую, нарядную молодую женщину.

— Ну, что ты так смотришь на нее?— улыбнулся Буркут.— Возьми обними по-братски! Ольга, ведь он боится тебя, честное слово, боится!

Ольга засмеялась:

— Вот уж никогда не думала, что смогу внушить страх такому рослому джигиту. Ничего, ничего, мы скоро будем настоящими друзьями. Я уже вижу это.

— Ну как дела у тебя?— спросил Буркут.— Не удалось мне увезти тогда тебя с собой. Что поделасшь — сам студентом был! Так как дела-то?

— Да дела-то все прежние,— ответил Еркебулан.— А какие же у меня могут быть дела? Как пас скот, так и пасу. Вот и все.

— Плохо! Ты понимаешь, Ольга,— Буркут обернулся к жене,— судьба этого парня лежит на моей совести. Он остался круглым сиротой, тетка приезжала на похороны, хотела взять с собой, дать образование — наши аксакалы непустили. Мол, сами учить будем. И вот видишь, как выучили! Ну ладно, об этом разговор еще впереди! А что это у вас в ауле сейчас за сбор? Лошадей тридцать стоят у коновязи. Той, что ли?

— Да, той!— болезненно улыбнулся Еркебулан.— У нас такой, брат, той, что лучше бы на него мои глаза не глядели. Жабагы-бай женится!

— Здорово! Это какой же раз?

— А кто считал? Десятый, наверно! Больно что-то скоро мрут у него жены! Так вот сейчас умерла младшая жена, и решил он осчастливить Нуржамал. Ей семнадцать, ему шестьдесят! Здорово!

— Да-а,— протянул Буркут.— Да-а! Это действительно!— Больше он ничего не нашел сказать.— Таков дедовский и прадедовский обычай.

— Но вы так это близко принимаете к сердцу, что...— сказала Ольга, глядя на молодого джигита.

— Правильно, сестричка,— подхватил Еркебулан,— в самом сердце моем сидит эта проклятая свадьба. Мы так любим друг друга с Нуржамал... Лучше бы мне ее видеть мертвой, чем... Проклятый старик. Ее, ее в младшие жены! Ах ты...

— Пойдите, пойдите,— сказала Ольга ошалело,— вы говорите — младшая жена, да разве и до сих пор...

— А как же! Эх, сестра, не знаете вы наших обычаев!— махнул рукой Ерке.— Да у нас человека живьем в землю закопают, если старики прикажут! Но вас сам аллах принес!

Против вас, Буркут-ага, они не попрут! Вы скажете — и все будет по вашему слову. Да, да! Это аллах послал вас нам!

— Да, да, — повторил Буркут за ним почти бессмысленно. — Да... — Он, по совести, не знал, что сказать. — А что же ее отец пошел на это? Действительно, семнадцать лет... и шестьдесят... — Он был растерян. Парня, конечно, жалко, но ведь не для того он приехал в аул, чтобы рушить адат — Ну, неужели отец мог согласиться...

— Бурабай приказал! Против его слова не попрешь. Этот старый черт обещал ему дать пегого, а он на всю округу знаменит.

Буркут молча залез в экипаж и кивнул ямщику: гони.

Они въехали в аул.

Пела девушка. Пела и плакала. Плакала о родном ауле, который она больше не увидит, о подругах, с которыми приходится расставаться, о том, что в детстве ее любили и холили и ветру не давали на нее подуть, а вот как выросла, ее продали на чужую сторону за жеребца и пять овец.

— Кто это? — спросила Ольга.

— Смотри, смотри, — схватил ее за руку Буркут. Из-за серых юрт появилась процессия девушек. Они были одеты по-праздничному: камзолы из зеленого и черного бархата, а на головах шапки из соболя и тюбетейки, расшитые серебром и золотом. На каждой сверху колыхается пучок перьев. Косы распущены, и в них вплетены монеты и серебряные безделушки. Все это движется, сверкает, звенит. За процессией не торопясь едет телега, и в ней много вещей.

— А вот Нуржамал, — прошептал Буркут.

Она шла впереди процессии — худощавая светлолицая красавица с длинными косами, огромными черными глазами. «У нее глаза верблюжонка», — говорят про таких девушек казахи, и это высшая похвала. Кроме того, она была тонка и упруга и, может быть, от этого казалась выше ростом, чем подруги. «Смотри, как лебедь среди гусей», — шепнул Буркут. Девушки прошли через дорогу и зашли в небольшую юрту, что стояла среди других, таких же серых и ветхих.

Невеста пела:

Прощайте, милые края,  
В далекий путь собираюсь я!  
Ты так любил меня, отец,  
Ты надо мною так дрожал —  
Но час пришел, и на овец  
Мою ты душу променял.  
Прощайте, игры детских лет,  
Прощайте, сверстницы мои.  
Мой муж угрюм, согбен и сед,  
И я страшусь его любви... —

и тут она заплакала,

— Смотри, смотри,— сказала Ольга.

Из юрты вышла старая женщина и вынесла красивый красный ковер. Одна из девушек приняла его из ее рук и положила на арбу.

— Что это?— спросила Ольга.

— Подарок от семьи! Старинный народный обычай,— шепнул Буркут.— Так девушка собирает приданое — жасау. Каждая семья дает молодым в дорогу что-нибудь необходимое для их хозяйства. Вот эта вынесла ковер, а видишь, в арбе еще подушки, самовар, одеяло.

— Замечательный обычай!— негромко воскликнула Ольга.

«Да, если бы все наши обычаи были такими»,— подумал Буркут.

Процессия прошла весь аул и стала спускаться с горы. Буркут и Ольга на фаэтоне последовали за ними. Еркебулан на коне ехал рядом. Когда девушки остановились перед тремя белыми юртами, стоящими поодаль, он соскочил с коня и повел его под уздцы. И было у него такое лицо, что Ольга поскорее отвернулась. Да и он, кажется, ничего не видел из-за слез.

— До чего невеста хороша,— шепнула Ольга,— просто глаз не оторвать.

— А ты посмотри на него,— тихо сказал Буркут,— как из бронзы вылитый. Прирожденная пара!

Когда фаэтон поравнялся с этой процессией девушек, из толпы вышла смуглая женщина.

— С приездом вас, дорогой мырза,— сказала она кланяясь,— надеюсь, что теперь Ерке уже недолго печалиться, раз вы, дорогой брат, услышали его зов.

— Спасибо за привет, дорогая сверстница,— сказал почтительно Буркут,— вот мой подарок на свадьбу,— и он протянул кошелек.

— Нуржамал,— крикнула молодуха,— смотри, что мырза пожертвовал на свадьбу.

И вдруг невеста бросилась к фаэтону.

— Агатай, спасите!— крикнула она и заплакала.

— Поезжай к ее дому!— вдруг приказал Буркут.— Девушки, покажите дорогу!

И фаэтон повернул назад.

## II

Отца Нуржамал звали Адильбек. Он происходил из рода каржас и в аул Бурабая пришел недавно. Был Адильбек уже в летах и занимался сапожным ремеслом. Латал сапоги, шил кебисы — чувяки, подкидывал подметки. Трудно жилось сапожнику Адильбеку, человеку пришлому и бедному. Семья

большая — восемь ребят, и самой старшей — Нуржамал — семнадцать лет. Всех нужно накормить, напоить, обеспечить одеждой, хозяйства-то всего две коровы, верблюды и десяток овец. Коровы, известно, для молока, овцы на мясо, а верблюды для перекочевков — весной на летовку, осенью на зимовку. С этим хозяйством еле-еле просуществуешь, да и то если подработаешь на стороне. Вот Адильбек и отправился осенью по аулам шить сапоги, но все равно приходилось гнуть спину и выпрашивать. И так получилось, что он сразу был должником нескольких аульных богатеев. Если один давал ему дойную кобылу, то сейчас же ему приходилось выпрашивать кусок земли для косовицы у другого и брать косу у третьего. Поэтому, когда аксакал Бурабай приказал отдать дочь криволазому и пузатому Жабагы, Адильбек сразу послушался. Знал он и то: Жабагы важно только, чтоб аксакал согласился, в случае чего, он и отца не спросит, нагрянет с джигитами ночью и умчит непокорную. А кричать будет — свяжет и рот заткнет. Вот и все. И тогда с него ровно ничего не получишь.

Адильбек уже кончал вечернее омовение, когда прибежал мальчик и сказал, что гости направляются к его юрте.

— Да?— Адильбек сунул мальчишке чайник и бросился в юрту.— А кто они?— крикнул он уже на бегу и, узнав, что это едет мырза Буркут, акын, имя которого он не раз слышал, совсем зашелся от радости и гордости. Ведь он, сказали ему, специально и приехал на свадьбу его дочери. И вот Адильбек приказал постелить новое корье, затопить ошак и поставить казан с мясом.

...Уже стало совсем темно, когда путники, помывшись, сели за стол. Появился старый, заслуженный самовар и стопа лепешек. Детей послали играть, а сами — хозяин, гости и с десяток соседей, пришедших посмотреть на приезжих, — расселись вокруг дастархана, расстеленного прямо на полу. Рассыпали баурсаки — крошечные колобки, жаренные на масле, положили и круглый курт, сушеный творог и сливочное масло. На почетном месте сидит Буркут (Ольга находится с женщинами в другой юрте). Рядом с Буркутом сел другой почетный гость — старик Такежан, — он приехал в этот аул по делам. По другую сторону от него — аксакал Шалабай и, наконец, сам хозяин, Адильбек. Чай разливает хозяйка — мать Нуржамал. Когда-то она также слыла красавицей, и, верно, до сих пор у нее сохранилось ясное простое лицо, только морщин, пожалуй, уж чересчур много. Последним сидит молодой рослый джигит в рваном чекмене — самый дальний родственник.

Разговор сразу же перешел в спор, и спорили долго и горячо. Говорят, с приходом новой власти очень многое переменится в степи, и вот все наперебой делятся мнениями. Царя

нет, а нужда засаждает все равно. По-прежнему у бая все, у бедняка ничего; но что она нужна, такая свобода? С этим согласны все. И тогда взял слово Буркут.

— Адильбек-ага,— обратился он к хозяину,— вот мы все о свободе, о свободе. Все ей рады, всем она нужна. Это все так, конечно, но что ж для дочери своей вы не хотите свободы? Ведь если есть свобода, то она для всех — и для вас, и для дочерей. А то как же тогда вы выдаете Шуржамал за этого деда? У него и так уже две жены, а вы ему третью продаете. Да еще кого? Свою любимую дочь. Как же это так? Вы говорите — новый закон. А ведь этот новый закон строго-настро-го запрещает продавать девушек, как скот.

Адильбек посмотрел на гостя и нахмурился. Он был рад приезду Буркута, гордился его посещением, но все никак не мог понять, зачем понадобилась Буркуту его нищая юрта. Сейчас он понял. «Много вас, усовещающих,— подумал он,— помочь никто не может, а советуют все. А что мне советовать? Что я, от радости, что ли, связался с этим проклятым Жабагы.. «У кого голова не болит — тот и о боге не говорит» — правильная эта пословица».

— А где он, этот новый закон? — повернулся он к Буркуту. — Мы еще его не видели. Вот вы из города приехали, там он, может, и есть, а у нас в ауле о нем только слухи, а закон тут — Бурабай. Понравишься ему — проживешь, нет — с голоду сдохнешь. Потому что здесь все его: и вода, и земля, и скот, и небо. Вот так-то, дорогой гость. Эти законы знаешь где хороши?..

Наступило молчание.

— Да,— вздохнул кто-то. — Да, это так.

— И вовсе это не так,— вдруг взорвался сидящий рядом с хозяином старец Шалабай.— И не гнечи аллаха. Не было бы Бурабая, и аула нашего не было бы. Кому когда он отказывал в помощи? Когда он отталкивал бедных родственников? И тебя он сделал человеком. А стать родственником Жабагы — это тебе честь. Большая честь, кто бы тебе что ни говорил. И за детей своих ты теперь можешь не беспокоиться. От калыма у тебя будет достаток, и на этот калым ты их всех поставишь на ноги. А кого надо благодарить за это? Того же Бурабая. Нет, я о нем ничего плохого сказать не могу. Он мне помогал все время.

Старик Такежан посмотрел на Шалабая и иронически покачал головой.

— Я тебе, может, и поверил бы, Шалабай.— кротко сказал он,— если бы ты не был из рода жангабыл. Вот его песню ты и поешь. Ну, а потом какой рай ты заимел от Бурабая, скажи? Что он тебе дал? Рваную юрту да худую кошму?

Шалабай упрямо нагнул голову.



— Рай никто никому задаром не устраивает,— отрезал он,— а все равно щедрее Бурабая никого не было.

— А что ему не быть щедрым,— усмехнулся Такежан.— Стень глазом не окинешь, табунов не сочтешь, а кто пасет их? Ты вот видел, чтобы когда-нибудь сам Бурабай хоть одну лошадь выгнал в степь?

— А пастух на что же тогда?— насмешливо спросил Шалабай.

— Вот-вот, мы к этому и подходим,— обрадовался Такежан.— Пастухи на то, чтобы они день и ночь по степи, как волки, рыскали, а козяни на то, чтобы приплод получать, сундуки деньгами набивать, молодых девушек покупать да их родителям хребты ломать — вот для этого Бурабай и на свете живет. Это все так. Но вот что ты, старый человек, за это его называешь благодетелем, этого я понять не могу. А я, дорогой Буркутжан,— повернулся он к почетному гостю,— если сам в жизни никакой радости не видел, так хоть вам, молодым, ее увидеть желаю! И молю судьбу: пусть хоть ваше поколение увидит свет.

Буркут повернулся к старику и низко ему поклонился.

— Спасибо, аксакал,— сказал он.— Да, вот видишь, ты желаешь молодым радости, а взять ее по-прежнему неоткуда. И новая жизнь пришла, а старое горе все равно не отстало. Нуржамал ведь слепнет от слез, а до нее никому и дела нет. И на любовь ее тоже все плюют. А она другого любит.

Адильбек откусил курт, сделал несколько глотков из пиалы и только тогда ответил:

— Ты беспокоишься о судьбе Нуржамал — спасибо тебе за это, дорогой. Были бы все такие молодые, как ты, мы бы и горя не знали. А теперь в такой сидим яме, что и не знаем, как вылезти. И твой отец Кунтуар, хотя был умный и имел свое хозяйство, тоже не раз сидел в яме и тоже не знал, что же ему делать, где искать помощи. Оттого и помер раньше времени. Ты вот человек образованный, стихи пишешь, песни слагаешь, не ему и не нам, конечно, чета, но нашей жизни ты не знаешь и не видишь. И то, как отец твой всю жизнь маялся, ты тоже не знаешь, а советовать — ты советуешь. Советовать всегда легко,— он отпил еще глоток,— легко, легко советовать, а вот помочь — много труднее! А сейчас вот и совсем нечем помочь. Скажи, разве я не жалею свою дочь?

— Как же вы жалеете ее? Она все глаза выплакала, а вам наплевать,— вскричал Буркут.

— Стой! Кто тебе сказал, что наплевать? Ну, а что мне делать? Также, глядя на нее, плакать? Поплакать-то можно, конечно, да толку-то что? Да и слезы — не ручей. Это он все течет, течет и не иссякнет, а девушка поплачет, да и перестанет. Только бы счастье не упорхнуло из-под ее рук.

— Хорошее счастье!— сердито усмехнулся Буркут.

— Хорошее не хорошее,— упрямо сказал старик,— а все счастье. Я всю жизнь мечтал о нем. Теперь и дети мои будут сыты — слышишь, что сказал аксакал, это он правильно сказал, на добрую дорогу выйдут, не будут, как я в их годы, выпрашивать корочку хлеба да баранью косточку.

И тут вдруг заплакала мать — громко заплакала, открыто, заливисто. Пыла задрожала в ее руке. Наступило тяжелое молчание. Потом кто-то вздохнул:

— Все нужда, все нужда проклятая!

И все заговорили разом:

— Да разве родное дитя легко продать?

— Да еще за старика!

— Да еще за косоного!

— Да еще за Жабагы гнилозубого!

— Конечно, как матери не плакать?

— Заплачешь!

— Заплачешь, да отдашь.

— Это, конечно, так.

А Буркут сидел опустив голову и думал. Вот он и увидел свой идеал. Именно за закон степи, род, адат, обычай или иначе: казах, нация, автономия — за эти три принципа он готовился сложить голову. Так вот все они на стороне проклятого старика, и именно им в жертву приносятся две молодые жизни. Да, оказывается, это очень кровожадные боги — род, быт, адат. Где выход из этой путаницы? Как сохранить то и это? Связать молодую любовь с обычаем предков? Где разгадка, развязка, выход? Лабиринт, лабиринт! Сто лет блуждай — не найдешь дороги.

— Ну, хватит,— сказал Адильбек,— хватит плакать. Ведь это Буркутжан не в осуждение говорит, а из сочувствия. Разве мы сами не понимаем, что значит для Нуржамал бросить родной дом и уехать к старику. Ну, хватит, хватит.

— Простите, апа,— взволнованно повернулся Буркут к старухе,— но я по дороге встретил Нуржамал и Ерке, и сердце у меня замерло от жалости.

— Дорогой ты мой,— сказала старуха, пересиливая рыдания,— вот ты видел только один раз ее и то так пожалел, а мне-то, матери, каково? Если бы не нужда... проклятая...

— Вот в том-то и дело,— кивнул головой ее муж,— в том-то и дело, что нужда. Ведь у нас кроме Нуржамал еще семеро. Старшей вот-вот исполнится шестнадцать — всех надо обуять, одеть и накормить. Каждому по куску — и то десять кусков, а где их взять?

И снова все замолчали.

— Теперь хоть еще две коровы и кобылица есть,— сказала мать уже почти совершенно спокойным, сухим голосом,— и

свец пятнадцать. Калым как-никак! Вот молодые говорят: «Пропади пропадом этот несчастный калым!», а я говорю: «Пропади эта окаянная жизнь!»

«Да,— подумал Буркут,— да! Чтоб сохранить девять пальцев, нужно отдать один. Выбирай, какой хочешь! Вот и выбрал! Что тут делать, кого вишить? Это с Адильбеком так, а ведь у него еще коровы, овцы, верблюды, а как живут те, у кого вообще ничего? Мы об автономии мечтаем, а они о хлебе думают. Что им наши думы! Сначала накорми, потом призывай к свободе. Это так, конечно».

Он посмотрел на своего соседа старика Такежана, а тот вынул из кармана кисет с насыбаем, заложил его аккуратно под губу, просидел минуту неподвижно, а потом сказал:

— Вот, положим, в этом году трава — до пояса доходит. Бай радуется — скот жирный будет, а бедняку что до этого? У него ни одной овцы нет.

И вдруг высокий молодой джигит сказал от двери:

— Спокоен веков так было. Лучшие участки — бая, а теперь говорят — иначе будет.

— А как же? — спросил кто-то.

— А вот как. Я недавно был в городе. Ездил с караваном и вот там слышал: великий передел будет, всю землю баев раздадут беднякам.

— Дай аллах! — сказал кто-то.

— Дай аллах, дай аллах! А что он тебе даст? — рассердился Шалабай. — Зачем тебе степь, если скота нет?

— Да только бы землю дали, — сказал джигит, — я ее зерном засею. В городе продам, знаешь, сколько денег возьму!

— А зерна где возьмешь? А пахать чем будешь, глупая твоя башка? — усмехнулся Шалабай.

— Была бы земля, а остальное я сам найду, — махнул рукой джигит, — вот к русским пойду, они дадут и научат.

— Смотри, смотри, понадейся на русских. Они землю дадут, а родину отнимут, это они умеют, — сказал Шалабай.

«Да, это они умеют, — с горечью подумал Буркут, — но это ведь он мои мысли прочитал, проклятый старик. «Родина»! Кто его научил этому слову? Неужели мы боимся с ним одного и того же? Да нет, ведь ему, кроме своего надела, никакой земли не надо, а я о всей степи болею».

И парень, словно прочитав его мысли, повернулся к Шалабаю.

— Э, аксакал, — сказал он, — значит, у тебя есть много лишней земли, раз ты о родине заговорил. Где же она? Не видели мы ее что-то! Или ты прячешь, да не сказываешь?

— Не дури! — сердито отрезал Шалабай. — Какая у нас земля, а сказал я к тому, что не дело казаха сеять, его дело отары да табуны по степи гонять. Вот это так.

— А я вот так согласен сеять,— вдруг снова вмешался Такежан,— пусть только землю дадут, а уж зерно и плуг я достану. А ты до своего допросишься!— обернулся он к Шалабай.— Ой, как еще допросишься!

— За что это я допрошусь? От кого? От тебя, что ли?

— Зачем от меня?— мирно улыбнулся Такежан.— Я такой же старик, как и ты! Найдутся люди! Найдутся! А за что? За то, что по белым юртам ходишь, сплетни разносишь, наущничаешь, а это люди, особенно молодые, не любят. Вот в этом году будем сеять, посмотрим, что ты скажешь.

— Это кто же сеять будет? Ты, что ли?— ощерился Шалабай.

— Я!— сказал джигит и ударил себя согнутым пальцем в грудь.— Я буду самолично!

— Что, и родственники уже согласны?— спросил Шалабай.

— А что мне родственники?— крикнул джигит.— Тут родственники ни при чем! Не согласятся — зануздаю свою корову, взвалю на нее груз — и айда в другие места! Уеду в Сарыкуль!

— Ну, ну,— поднял сухую руку Такежан,— не горячись, дорогой, не горячись. В Сарыкуле земли еще меньше, чем у вас. Где живешь, там и ищи счастья,— так по нашему.

— Да вот, видишь, не дают,— кивнул в сердцах джигит на Шалабая.

— Дадут,— успокоил его Такежан.— Выйдет закон — и дадут. Против закона никто ничего не сделает. Вот подожди немного! Подожди!— Старик подмигнул и снова принялся за свою пилу.

«Да вот и пойми их,— подумал Буркут,— у них ведь только и надежды на советскую власть. От своих баев и аксакалов они ничего не ждут. Что это? Их несознательность или моя глупость? А вдруг я и правда приписал своему народу не его, а свои мысли?»

Он так задумался, что не заметил, как его кто-то осторожно трогает за плечо. Он обернулся. Перед ним стоял очень молодой юноша, почти мальчик.

— Буркут-ага,— сказал он,— вас ожидает Буреке. Вас и женгей.

Буркут посмотрел на хозяина.

— Иди, иди, дорогой,— улыбнулся ему Адильбек.— Аксакалы ненужных людей не приглашают. Будет время, придешь к нам еще.

Буркут вышел из юрты. Ольги нигде не было. «Видно, пошла гулять с молодежью»,— подумал он и направился к юрте Бурабая.

...А Ольга в это время сидела на самом краю аула в бедняцкой юрте. Там жила вдова-батрачка. Не было у нее ни кола ни двера, ни овны, ни щепка, зато правом она обладала веселым и среди молодежи слыла превеликой затейницей. У нее во время праздников всегда в юрте было полно народу. И сейчас невеста и все подружки ее собрались в этой бедной вдовьей юрте. Ольга обратила внимание на то, что невеста вдруг как-то успокоилась, подобралась и уже была не похожа на ту рыдающую, безутешную девушку, которую она встретила при въезде в аул. И вскоре Ольга узнала, в чем дело. Сказывается, молодые не думали сдаваться. «Лучше вдвоем умереть, чем жить порознь»,— сказал сегодня утром Еркебулан своей невесте. «Жди меня ночью в долине. Пригони лошадей — и помниай нас как звали. Когда хватятся, мы уже в городе будем. А там тебе не аул, туда они не сунутся. Да и Буркут-ага за нас заступится». Вот все это невеста и открыла Ольге. «Только как бы не прознали,— сказала невеста.— Вот видишь, те женщины? Их Жабагы послал». И Ольга поняла, что невеста совсем не так проста, как показалось ей сначала.

Итак, женщины и девушки сидели, пели, веселились, дивились отличному казахскому языку Ольги, ее чистому выговору без всякого акцента. Затем по рукам пошла ее городская сумочка, часы-браслетка, браслет и кольца. Пока они все это рассматривали и примеряли к себе, вдруг дверь распахнулась, и ввалилась целая толпа джигитов. И первым шел Еркебулан. Его хотели посадить на почетное место, но он отказался и остался у порога. Хозяйка поднесла ему домбру.

— Спой, дорогой,— сказала она,— спой, повесели нас.

Он покачал головой.

— Да где же петь, как не на свадьбе!— сказала вдова.

Еркебулан ничего не ответил, только головой мотнул. И тогда Нуржамал попросила:

— Спой, Ерке, не противься — кто знает, когда опять соберемся?— и слегка подмигнула.

Он взял домбру и спросил: «А что спеть-то?». Со всех сторон посыпались советы и просьбы:

— Спой «Сырымбет»!

— Нет, нет, «Жанботу».

— Зачем «Жанботу»? Давай «Лайлим-ширак»!

И тут Нуржамал сказала опять:

— Ну зачем такие печальные песни? Горя у нас и так вдосталь. Спой нам что-нибудь эдакое...— и она щелкнула пальцами.

Еркебулан подумал и ударил по струнам. Песня называлась «Аккурай», то есть белый курай, и считалась одной из самых веселых.

Ох, белый курай, ох, красный курай,  
Мой боже, ты лучшую девушку мне дай.  
А батьку ее пусть трясучка трясет,  
А матку ее глухога пусть возьмет.  
Я домбру изшел в придорожной траве,  
Сидел воробей на ее голове.  
Ох, красный курай, ох, белый курай,  
И сушит, и душит меня насыбай.  
А если не буду жевать насыбай,  
То голову будет ломать, ай-яй-яй!

Пел Еркебулан громко, звонко, с ужимками и гримасами, и слушатели подбадривали его криками:

— Давай, давай!

— А ну, а ну еще!

— Вот, вот, вот молодчина!

Ольга посмотрела на невесту. Нуржамал улыбается сквозь слезы. Она-то знает, каково на душе у Ерке. Петь и смеяться сейчас — для этого надо иметь незаурядные силы.

— Давай еще! — сказала она, и это прозвучало как «молодец, Ерке».

И опять ударил по струнам Ерке и запел:

Настанет зима, и снег полетит,  
И юных красоток утратит джигит.  
Сижу одинокий и песни пою,  
И хмурятся старцы на песню мою.  
Чтоб сделать домбру, обломал я курай,  
И сел на домбру воробей, ай-яй-яй!

И все опять смеются, а Ольга серьезно удивлена: ведь как-никак, а сегодня у жениха и невесты такой решающий день: удастся ли побег или нет — неизвестно, а они дурачатся и поют. «Да, понстине загадочный народ, — подумала она, — я бы, кажется, и слова сказать не могла, у меня бы лицо распухло от слез, а она вот смеется, играет. И ведь ничего не прочтешь на их лицах! Ровно ничего. Веселятся — и все. И мой Буркут, верно, тоже такой. Он — брат этих таинственных степных людей. Мы обязательно должны помочь этим молодым, но как? Не знаю как, но помочь надо обязательно. По всему видно, здесь слов на ветер не бросают, и, если невесте не удастся уйти от нелюбимого, они умрут оба. Как Ромео и Джульетта. Как Баян-слу и Козы-Корпеш. Хорошо, если эти седобородые старцы послушают Буркута, а если нет — тогда что? Боже мой, даже страшно думать об этом! Ладно, спокойствие, спокойствие! Одно случайное слово может погубить все. Спокойствие, спокойствие».

Она оторвала глаза от певца и обвела взглядом собравшихся. Песня уже охватила всех, и теперь пели следующий куплет. Пела и сама невеста.

Пошел на домбру курай, курай.  
И сел на домбру воробей, ай-ляй-яй...

А Буркут в это время сидит почетным гостем в доме Бурабая. Гостей не так много, человек десять не больше. Они разместились на шелковом пуховом одеяле, постланном поверх ворсистого ковра. Около каждого подушка. Гость пьет, ест и опирается на подушку локтем. А вообще в доме богача Бурабая множество дорогих, красивых вещей. Два никелированных самовара, блестящих, как зеркало, множество кованных сундуков и укладок. На них стопки ковров и разноцветных накидок, пружинная кровать с серебристыми шарами. Гости, улыбаясь, смотрят на это великолепно. Все они — пузатые, бородатые, с огромными мясистыми носами. На четырех одеялах, сложенных друг на друга, сидит хозяин. Не в пример гостям он высок, худ, у него изможденное морщинистое лицо. Рядом сидит жених. Он тоже толст, но бугрист — что-то со всех сторон выпирает из-под его жупана, и поэтому он похож на мешок с кизяком. Лицо спокойно и неподвижно, но, взглянув, сразу поймешь, каково связаться или поссориться с этим человеком. На самом почетном месте сидит мулла Рахимбай, небольшой и как-то странно сплюснутый человек. Ребята зовут его «черепаха». Буркут сидит от него по левую сторону. Дальше уже расселись не по чинам, а кое-как сидят другие гости. На самом последнем месте — у самой двери — краснощекая, плотно сбитая молодая жена Бурабая, купленная только в прошлом году. Одета она богато — на голове кимешек с перламутровыми пуговицами, на руках браслеты и кольца — много колец, очевидно, старый муж любит ее. Она сидит и размешивает кумыс. За столом молчанье, лишь иногда прерываемое каким-нибудь возгласом или смехом. Все сосредоточенно жуют: ходят животы, работают челюсти. Дастархан завален едой. Буркут смотрит на них и старается хоть что-то понять — он видит богатые чапаны с золотой окантовкой, лисьи шубы, бархатные камзолы с широкими серебряными и золотыми поясами. Он, хмурясь, рассматривает все это и вдруг замечает цветастые брюки, — и все вокруг вдруг превратилось для него в брюки — брюки красные, зеленые, синие, желтые. Он уже не помнил ни голов, ни носов — одни волосатые ноги да брюки. Зверинные волосатые ноги, руки в шерсти! Не люди, а звери — собрание зверей: волк, черепаха, мартышка, вылинявший степной орел. И вдруг кто-то заговорил в нем стихами: строфы целиком отливались в его голове, и он прочел их про себя.

Брюки, брюки, красные чапаны,  
Люди это или обезьяны?

Вот баран, кабан, медведь, лиса,  
Вот млыгышка, вот бирюк садится,  
Будто бы почуяв похороны,  
Окружили дастархан вороны,  
И пагнулась смерть с косою длинной  
Над душою девачьей невинной.

Буркут даже покачал головой: в самом деле похоже на похороны.

Но тут шестидесятилетний жених прочистил горло и сказал:

— Ну-ка, Буркутжан, расскажи нам про новую власть. Хороша она или плоха для казахов?

«Смогря для каких казахов»,— хотел ответить Буркут, но тот, видимо, и не ждал ответа, он рыгнул, оглядел круг своих родственников и продолжал:

— Мы на нее пока зуба не имеем. Знаешь, есть пословица: «До бога высоко, до царя далеко». А у нас не так — Москва далеко, а власть близко. Вот — у него в кармане лежит эта власть.— Он кивнул головой на высокого прыщавого парня.— Познакомься — Бузаубек, мой племянник. Бузаубек, ну-ка покажи советскую власть гостю. Какая она есть. Да показывай, не бойся.— Рыжий детина ослабилась и вынул из кармана печать аульного Совета.— Вот видишь, какая советская власть? Кого хотим, того и арестуем.

Вошел джигит с медным тазом, кувшином и полотенцем через плечо. Начался обряд омовения. Мулла Рахимбай, вытерев руки досуха, вынул деревянные четки и застучал ими по столу.

Сейчас же вошла молодая жена бая и, играя бедрами, расчистила место на дастархане. Потом внесла и поставила большое блюдо с мясом. Мулла подождал, пока жена бая вышла — не годится говорить о серьезном при женщине,— и сказал:

— Пока зуба на нее не имеем! Пока! А вот сколько это «пока» продлится, нам неизвестно. Долго нам эта власть даст пожить по старым обычаям? Не даст. Это по всему видно. Аркан уже на шее, только его потянут — и тогда попробуй оборвись! А молодежь и сейчас уже так избаловалась, что им и адат и аллах — это так, одни игрушки! Вот твоя жена,— он кивнул на дверь, через которую ушла молодуха,— она с тобой спит, а сны видит о «равноправии»,— это слово он выговорил по-русски.— Была бы ее воля, муж бы рожал, а она в платочке на собрания бы бегала! А кто виноват? Власть, ты говоришь, не виновата — так кто же тогда всю эту смуту устроил, народ разболтал, бога оскорбил, а? Или ты ослеп, не видишь, что творится?

Два джигита внесли корыто, в нем лежал целый баран,



поставили его на дастархан и, усевшись с обеих сторон, начали резать мясо. Бурабай взял из корыта баранью голову и поднес мулле. Мулла вынул из кармана складной нож, отмахнул от головы ухо и поднес Буркуту.

На этом обряд кончился — все начали есть.

— Ну, Жабагы, дай тебе аллах долгой жизни, ты сегодня здесь самый молодой! — сказал мулла. — Как год, так новая молодница! А вот если у нас жена, не дай аллах, умрет, кто нам даст другую? Советская власть, что ли?

У Жабагы затрясся, заходил от смеха живот.

— Да что твоей жене умирать? — сказал он. — Ей сколько лет-то? Ты ведь ее девчонкой год назад и втащил к себе в постель.

— Аллах, аллах приказал, — благочестиво улыбнулся мулла, — он не любит холостых. В Коране сказано: через сорок дней после смерти старой жены вводи в дом молодую. Ничего не поймешь — мудрость аллаха. Не хочет аллах, чтоб мужчина скучал, от скуки у него мысли заводятся разные. Мужчина должен весело жить.

— Ну, а я не веселья ищу, — вдруг нахмурился Жабагы, — мне бы только сына. Пусть она мне сына родит, и больше мне ничего от нее не надо. За это я и калым плачу.

И тут Буркут наконец решил.

— А вы больше заплатите, — спокойно сказал он и отложил кость, которую глодал. — Вы честью своей заплатите. Ведь весь аул видит — Нуржамал плачет день и ночь, и все жалеют ее, а о вас знаете что говорят? Очень нехорошо говорят о вас, Жабагы.

— Балсары, а рассольник где? — вдруг крикнул молчаливый до сих пор хозяин. — Сейчас же неси его сюда.

Снова вошла молодница с полным тегене в руках, вручила его одному из прислуживающих джигитов и вышла, так ни разу и не взглянув на присутствующих.

Разговоры прекратились. Гости чавкали, жевали, сопели, икали, охали. Куски мяса они брали прямо руками, и жир тек по пальцам. Ели так, как будто проголодали неделю. Было что-то даже песье в этом ворчании, молчаливой сосредоточенности и жадности. «Псы, псы, воистину псы, — подумал Буркут, отодвигаясь от дастархана, — и вот с этими псами я хотел построить свое свободное государство. Боже, что за чепуха! И если так они жрут, когда закармлиены, как свиньи, что будет, когда они проголодаются? Ведь рвать начнут друг друга. И вот это и есть «белая кость, голубая кровь». Честь и совесть моей нации. Она должна возглавить и повести мой народ! Боже мой, какая же это чепуха!»

Ели долго. Мало-помалу, когда гора мяса уменьшилась на добрую половину, руки и челюсти стали двигаться медлен-

нее. Бурабай первый отодвинул обглоданную дочиста кость, налил себе в деревянную чашку кумыса, желтоватого от жира, и начал его осторожно перемешивать. И тут мулла вдруг обернулся к Буркуту.

— Я что-то, наверно, не так понял тебя, Буркутжан, — сказал он. — Стихи твои уже поет вся степь — и в них у тебя что ни слово, то родина, родина, отчая земля. «Страна отцов, обычай дедов». А вот на деле-то у тебя что-то получается иначе. Презрел ты обычай дедов и отчую землю, начисто презрел ты их! Вот что я тебе скажу.

— Это почему же? — спросил удивленный Буркут.

— Вот ты приехал в свой родной аул, мы тебе рады! — продолжал мулла. — Ну, а русскую зачем сюда привез? Она что тут не видела?

Буркут смешался, не сразу нашел, что ответить. Он провел в ауле целый день, и никто из бедняков не спросил его — а почему с тобой русская? «И ведь самое главное, — подумал он, — что все они так думают. И тут, пожалуй, даже дело не в том, что Ольга русская. Была бы она дочкой губернатора или купца первой гильдии — тогда бы меня все поняли, а так на что им дочка учителя!»

— Ты что, казашку не мог найти себе подходящую? — продолжал мулла. — Не хороши они тебе, да? Раз ты с русскими, то и жену тебе надо русскую, так? А за что же ты Жабагы коришь, а? Он себе облюбовал ту, которая пришлась ему по душе, и честно заслал сватов к ее родителям, так чем же это плохо? По нашим дедовским обычаям это хорошо. А ты как скажешь?

— Но ведь Нуржамал любит другого! — воскликнул Буркут.

— Вот, значит, какие у тебя понятия! Любит! Это ты нам от властей новый закон привез? — спросил Жабагы, и его даже передернуло от злобы. — За кого я хочу, за того я и иду, а родители мне не указ — так, что ли? Эх ты, певец!

— Постой, постой, Жабагы, не горячись, — удержал его мулла. — Видишь, какое дело, Буркут, в городе закон, а у нас в степи обычай. Не стоит город без закона, не живет степь без обычая, иначе сразу все пойдет прахом. И нельзя так, чтобы на один случай были разные законы, то так, то этак. Если дом из разных кирпичей строить — развалится дом. Вот у нас в степи такой испокон веков обычай, что девушка выходит замуж по воле родителей, и вот стоит же наша степь — не рухнет. А ты, видишь, пожалел одну, и уж для тебя и шарият и адат ничто, только чтобы жила твоя Нуржамал со своим босяком! Эх, нехорошо ты говоришь, нехорошо ты делаешь. Если бы по-твоему мы делали, то и за столом этим не

силени и беседу не вели. Правда, Советы только этого и ждут!

— А вот недавно,— вдруг сказал Бузаубек, и лицо его сразу поблговело,— недавно говорили в правлении, что придут русские, отберут у аксакалов землю и отдадут всякой гоним, этим самым Еркебуланам!

— Вот-вот,— подхватил Жабагы,— отберут землю, не будет сена, скот подохнет, что будет тогда с нашим народом? Кто ему поможет? Куда он кинется? В город? Вот и конец стени! Так ты, что ли, хочешь, премудрый казах, муж русской жены — ты уж прямо говори,— и вдруг застучал костяшками по столу,— и не больно хвастайся, что ты ученый. У меня брат тоже ученый, в городе живет. Он говорит, пропадет обычай — конец скоту, конец казаху.

— Да что ты о скоте расплакался, Жабагы?— усмехнулся мулла.— Кто землю у тебя заберет, тот и о скоте позаботится. Еркебулан-то с молодой женой на что?

— Избави нас аллах!— вырвалось у Жабагы так искренно, что все засмеялись. На минуту атмосфера как будто разридилась, все шумно задвигались, заулыбались, заговорили.

— Аллах избавит, избавит,— успокоил мулла,— пока свет не пошел кувырком — не видать в степи этого. В Коране сказано: «Кто вожделеет, тот погибнет от проклятий». Скорее свет померкнет, чем такое наступит.

— Пусть придет конец света, пусть,— сказал Бурабай.— Пусть расхватывают галахи мои табуны, каждому дам по жеребцу. Владей! И степь тоже твоя. Всю ее бери! Привяжу тебя к хвосту, чтобы ты не свалился с моего аргамака — а то ты и в седле никогда не сидел,— и пушу в степь! Пусть будет по старой сказке — сколько обскачешь, столько земли возьмешь! Бери ее! Вся она твоя! Жри, набивай рот! Жду не дождусь, когда такой день придет. Скорей бы!— И он даже скрипнул зубами.

«Волки, волки,— подумал Буркут.— Ах я дурак! А может, поймут, если с ними по-человечески?»

— Шарнат шариагом, но бога тоже помнить надо,— сказал он.— Вот все вы, да и мы с вами ругали царя и его приспешников, ну всяких там исправников, приставов, губернаторов, воевали с ними — кто не помнит шестнадцатый год!— и тоже ждали, когда же солнце разгонит эту нечисть. Вот оно и разогнало, сбросило царя, разогнало его псов, кажется, почему не начать жить по-новому, а вы...— Он махнул рукой.

— А что мы?— спросил мулла.

— А вы все такие же! Жабагы, Нуржамал плачет день и ночь, у нее скоро глаза выпадут от слез. Ты что, думаешь, люди их не видят и не клянут тебя? Что сказал мулла? «Вож-

делующий погибнет от проклятий». Ну, аллаха, я знаю, ты давно не боишься, но люди...

— Эй, ты думаешь, что мелешь?— рявкнул Жабагы и вскочил. В руке его оказалась ремешная камча — плетка, сплетенная из нескольких сыромятных кож, — страшное оружие, которое рассекает кожу, как шашка. — Если бы не был ты гостем!.. — прокричал он, рыча и брызгая слюной.

— Стойте, стойте! — тоже поднялся мулла Рахимбай. — Вот все говорят, Буркут, что ты умный человек, а что делаешь? Приехал в аул своих отцов и уже раздор посеял? Бедняков на богачей натравливаешь. К чему все, что ты говоришь? Смысл-то какой? Что, ты отговоришь разве Жабагы-бая! Да хоть тысяча таких будь молодых, он и слушать вас не станет. А аксакалы? Они что, шарнат нарушают? Эх ты...

— Глупый он, — сказал Жабагы, сияя. Ему очень понравилась спокойная речь муллы. — Глупый и зеленый. Научили его в городе гавкать, вот бы...

— Буркут, раз ты приехал к нам, — мирно сказал хозяин, — будь гостем, вот пей, вот ешь, расскажи что-нибудь или спой, а это дело совсем не твоего ума... Тут сидят аксакалы, лучшие наши люди, они знают.

— Так если вы лучшие, то худшие какие же у вас? — вырвалось у Буркута. — И хоть бы кто-нибудь слово сказал этому старому бесстыдинку.

— Что-о? — взревел Жабагы и вскочил, чуть не сшибив соседа. — Ну, пусть калым мой пропадет, а я тебе, проклятый!.. — И он несколько раз сверху вниз полоснул по лицу Буркута камчой.

Сразу проступила кровь и налились красные полосы. Буркут как бы растерянно провел рукой по лицу.

— Кровь, — сказал он удивленно.

Гости молчали. Хозяин хотел что-то сказать, но Буркут вдруг обтер руку прямо о пиджак, молча поднялся и вышел из дому.

— Будет знать, — прошипел Жабагы вслед ему, но все молчали.

...Буркут шел по аулу. На степь уже спустились прозрачные легкие тени. Пригнали стада. Женщины с подойниками сновали между домами. Слышалось бляенье и мычанье. Все звуки в вечерних сумерках казались резкими и ясными. На дворах горели костры, в казанах кипело молоко. Эти вечерние часы Буркут особенно любил, но сейчас только одна мысль занимала его, и он даже забыл о боли. Когда он подошел к юрте Адильбека, навстречу ему бросилась Ольга и зашептала:

— Они только тебя ждали. Я сунула нашему ямщику братлет Акпара. Он согласился их ждать в лощине.

— Молодец, Ольга,— сказал взволнованно Буркут и обнял ее.— Так ему, старому удаву, и надо. Другого пути нет. Пусть бегут.

— Идем скорее к ним,— Ольга обняла Буркута за плечи,— а то сейчас поет Нуржамал, и все собрались вокруг нее, потом запою я, и Нуржамал сможет незаметно выскользнуть из дому.

Они вошли в юрту, сели на кошму (с шумной готовностью им освободили место), и Ольга запела. У нее был высокий красивый голос, а степных песен она знала множество. Почти половину собрания пера своего отца она заучила наизусть. Пела она и свадебные песни, и молодежные, и шуточные, и печальные о разлуке, о прощанье, отвергнутой любви. Ольга поет громко, и около дома Адильбека собрались старухи со всего аула — всем интересно послушать русскую.

А между тем к другим юртам — юртам, приготовленным специально для свадьбы, — тоже собирается народ. Это почетные гости, званые женихом, некоторые приехали из дальних аулов — Жабагы и Бурабай люди не маленькие. Седые бороды, расчесанные седины, лисьи тумаки, мерлушка, зеленые и белые тюрбаны, медлительная сладкоструйная речь. Встречаются, обнимаются, здороваются, усаживаются, сидят. И вдруг в эту неторопливую солидную беседу врывается отчаянный крик:

— Ойбой, ой беда-то какая, Нуржамал увезли!

И сразу все словно взорвалось:

— То есть как увезли?

— Куда увезли?

— Кто увез?

— Да этот проклятый Еркебулан и увез.

— Да не может быть!

— Сейчас все может быть.

— Так коней!

— Так в погоню!

— Так что стоять?!

— Ой, что же мы теперь жениху-то скажем?

Кто-то робко:

— Да может, еще...

Кто-то яростно:

— Что «может»? Ничего не может! Все ясно! Чисто обделали, подлецы!

И чей-то плач:

— Мы-то, мы-то что скажем жениху? Он же нас убьет!

— В погоню, в погоню! Они на фаэтоне далеко не укатят. Где кони?

— Сказал! Этот фаэтон еще засветло укатил.

— Вот это отмочили!

Кто-то выволок из юрты скулящую женщину и, пиная ее ногами, кричал:

— Ты стерегла ее! Как же ты стерегла ее, проклятая?! Где ты была?!

И женщина, закрывая лицо руками и слезя по земле, редела:

— Ойбой! Твой брат виноват! Он меня увел в кусты. Ойбой, твой брат!

Шумящая, ужасающаяся, подсмеивающаяся толпа гостей и сочувствующие подкатили к белым юртам. Оттуда вышел сначала Бурабай, потом Жабагы.

Когда жених узнал о том, что случилось, он упал на землю и заревел:

— Убили, опозорили! Под самый корень рубанули! Нуржамал, Нуржамал, где ты, моя белогрудая?

Во время шума и гама прискакали еще двое гостей. На полнуги от аула встретился им фаэтон, но кто сидел в нем — они не видели, верх был спущен, и экипаж не промчался, а пролетел мимо них.

Услышав это, Жабагы взвыл:

— Ну все! Теперь оставил мне проклятый босяк одну поганую посудину! Будь он проклят!

— Ну, это увидим, — сказал Бурабай и приказал: — Пусть шесть джигитов мчатся в погону. Поймают, свяжут и тащат сюда. Тут мы уж сыграем их свадьбу!

Через несколько минут группа всадников уже мчалась во весь опор. Позади всех на черном жеребце трясся, подпрыгивал, но никак не отставал Жабагы. Он весь позеленел от злости. Он во что бы то ни стало хотел прикончить Еркебулана собственными руками. Рядом с ним мчались еще несколько его родственников. А кони-то у них были отборные, специально приготовленные для завтрашней байги. Погоня мчалась всюю. Ведь фаэтон покинул аул еще засветло, а это добрые пятьдесят верст.

...Версты за три услышал ямщик цокот копыт и погнался фаэтон всюю. Но поздно! Через пять минут ему перерезали путь трое гикающих бешеных гигантов. «Стой, если голова дорога!» — крикнул один из них и ударил камчой по кожаному верху. Фаэтон остановился. И сейчас же подлетел Жабагы. Ощерясь по-волчьи, он с размаху опустил соил на плечо ямщика. Тот глухо вскрикнул и упал. Жабагы повис на узде, и лошадь, хрипя, осела на задние ноги.

— Ой, караул, убили! — вдруг заорал на всю степь ямщик.

— Выволакивайте их! — кричал Жабагы. — За волосы ее, за волосы, да об землю. А с ним я уж сам... Ну, что же вы?..

— Да тут нет никого, — отчаянно закричал кто-то.

— Как? — взревел Жабагы и, бросив лошадь, кинулся к

скрючившемуся на дороге ямщику. Тот, увидев его, завопил уже во все горло.

— Пададь!— оскалив зубы, прошипел бай и со всего размаху перепоясал его камчой. Потом поднял за волосы и приблизил к нему свое страшное лицо.— Убью!— сказал он хрипло.— Вот тут и сдохнешь! Где они?

— Ой, аллах, аллах,— вопил ямщик.— Да что вы, разбойник я, что ли? Нет у меня ни копейки. Всего обшарьте, ничего не найдете! И лошади не мои, а Наурызбая. Ой, аллах, аллах!

— Молчи, окаянный!— рычал Жабагы.— Куда они девались? Где этот подлец? Где девушка? Убью!

— Ой, убивают, убивают! Ямщика Наурызбая-ага убивают!— заливался ямщик.— Какая девушка, будьте вы прокляты! Никого я не видел! Никакую девушку! Я еду домой к Наурызбаю-ага. Ойбой! Ойбай-яй!— Ямщик залился таким богатырским криком, что у джигитов даже уши заболели.

— Тьфу, черт!— с отвращением сплюнул Бурабай.— Что с ним терять время? Поехали!

Никому не хотелось связываться с Наурызбаем, человеком мощным, злым и мстительным.

— Никуда они не могли уйти!— прохрипел Жабагы.— Надо искать по дороге. Ох, только бы они попались мне в руки, окаянные!

...Назад кони шли шагом — ведь их гнали без малого всю ночь. Жабагы молчал, и никто к нему не смел подъехать. Он как-то весь осел и стал ниже, меньше за эти несколько часов.

Ехали вдоль реки. Около небольшого тростникового островка остановились на отдых. Ослабили подпруги у коней, легли на землю. Жабагы напоил коня, дал ему поостыть, потом сел на него и въехал в реку. Бурабай посмотрел и покачал головой.

— Беда!— сказал он.— Шестьдесят лет он прожил, а такого позора не видел.

— Да, теперь им от него пощады не ждать,— отозвался другой джигит,— живьем съует. Ишь, как ощерился!

— Да, зубы-то у него волчьи. Смотри, смотри, ведь на остров поплыл.

Жабагы вернулся через десять минут и сказал: «Вот!»— и потряс белым женским платочком.

— Что это?— спросил Бурабай.

— Ее платок! На тобылге висел! Здесь они! Вот что: так мы их не возьмем, надо будет поджечь остров. Там тростник прощлогодний — сразу весь вспыхнет. Зажигай!

Джигиты переглянулись.

— Так ведь, Жабагы, тогда и она сгорит,— робко сказал кто-то.

— Выбежит. Побойтся.

— А если не...— закинулся было Бурабай.

— Ну тогда и шайтан с ней!— заорал Жабагы.— Пусть горят оба! Она целую ночь с ним провела! Мне такую жену не нужно! Слышишь, Бурабай, плыви на остров. Спички при тебе? А то у меня есть!

Но Бурабай все еще не решался.

— Да ведь это остров бая Май-Басара,— сказал он.

— Заплачу. У меня скота на все хватит! А на другой год тростник еще лучше вырастет! Его давно уже палить пора! Зажигай!

И, прежде чем кто-нибудь успел сказать слово, ударил своего коня по бокам и поплыл к островку. Через несколько минут над островом закрутился красный огонек. Вдруг он услышал далекий отчаянный крик, похожий на голос девушки.

Бурабай оглянулся.

— Ну что ж, поехали, что ли,— сказал он джигитам,— все равно теперь их не станет.

Через полчаса остров превратился в сплошной костер. Черный дым бурлил, как вода в котле, искры взлетали фейерверками, ковыль горел белым пламенем, желтым огнем пылали сухие тростники. Огромное оранжевое зарево стояло в небе. Еще через час все было кончено. Погоня утром возвратилась в аул, и часа через два все уже знали — влюбленные сгорели, но не разлучились. Потому что лучше сгореть, чем выйти замуж за постылого. Потому что любовь, как у бая Жабагы,— хуже самой лютой смерти. Вот это поняли и запомнили все девушки аула.

...Молча стоят Ольга и Буркут над грудами пепла. Все тут черно: черное небо вверху, черная обгоревшая земля под ногами, она хрустит, сыплется, мелкая сухая пыль взлетает из-под ног. И на Ольге платье тоже черное. Она еле сдерживается, чтобы не разреветься. Буркут молчит. Он смотрит на обгоревшую землю, на сыпучий пепел и думает: «Вот за кого я собирался биться не на жизнь, а на смерть. Вот кому посвящала я свои песни и поэмы. Удаву Бурабаю и кабану Жабагы! А ведь они тоже казахи. Ничтожная, презренная часть моего народа, вообразившая себя всем народом. Если бы не мы, говорят они, то и казахского народа не было бы. Шарият — это мы, и адат — это мы, и кто против нас, тот против всех казахов. И ты поверил им, Буркут! Ты поверил им, дурак, и теперь ходишь по мертвому пеплу!»

...В аул они — Ольга, Буркут и старик Такежан (он и отвез их на своей немудрящей телеге на этот страшный остров) вернулись поздно. Приехали и сразу наткнулись на что-то совершенно новое. На площади стоял стол, покрытый красным кумачом. За столом сидели трое: председатель аульного Совета, тот прыщавый молодец, на которого Жабагы указал ему вче-



ра, какая-то пожилая казашка, а посередине молодой худощавый джигит. И слева и справа от стола стояли люди. Такие собрания Буркут уже видел не раз: так, например, избирали волостного, но тогда все роды стояли кучками. Теперь народ разделен по иному признаку — в одной стороне были вчерашние гости Жабагы — баи, бии, купцы, аксакалы, напротив них — бедняки.

— Что тут происходит? — спросил Буркут своего соседа, батрака из рода жангабыл, и тот ему ответил:

— Новый декрет пришел.

«Ага, это то, о чем говорил мне Гаврилов», — понял Буркут. Он стал прислушиваться. Толпа гудела, речь шла о косолице, о разделе земли, о том, что теперь ее будут распределять иначе. «Да, — подумал Буркут. — Стоят они друг против друга, как родовые враги. Но ведь тут не род — тут иное разделение: тут встали друг против друга богатство и бедность, труд и эксплуатация, сила и бессилie. Это есть то, что большевики называют классовой борьбой. Она и сейчас идет — вот зачитают декрет, и люди разойдутся как будто мирно по домам, а на следующий день они встретятся уже иными, у каждого из них будет камень за пазухой и злоба на душе. И завяжется схватка. Не на жизнь, а на смерть».

Но схватка завязалась не на другой день, а сразу же, тут же. В мертвой тишине был прочитан приказ о земле. Земля раздавалась всем, и не по количеству скота, а по количеству, как было сказано, едоков.

— А скот мы тогда куда денем? — смиренно спросил стоящий рядом с Буркутом толстый и одышливый старик из дальнего аула. — Вот у меня тысяча голов овец, триста лошадей, а в семье всего пятеро, так что ж мне теперь прикажете, весь скот перерезать?

— Тогда и всех нас уж пускай режут! — сказал Бурабай. — Лучше уж от ножа погибнуть, чем от голода!

И толпа сразу зашумела, закричала, задвигалась.

— И перережем! — крикнул кто-то с другой стороны. — Вы думаете, пожалеем? А вы нас жалели?

— Жабагы, Жабагы, где твоя жена? — закричал кто-то. — Не снится? Подожди, приснится, старый боров!

И пошло, и закипело. Споры и даже драки не редкость на аульных сходках, когда делят землю, а сегодня дело дошло бы до настоящего столкновения — уже были сжаты кулаки, уже занесены камчи с обеих сторон. Уже кто-то кого-то схватил за ворот и рванул, как вдруг раздался крик:

— Смотрите, смотрите!

Из-за юрт показались всадники. Это был отряд милиции, посланный за Жабагы и его молодчиками.

Буркут сидит в небольшой комнате за сценой и ждет вызова. Сегодня его принимают в члены КазАППа — Казахской ассоциации пролетарских писателей. Сейчас идут прения, его вызовут через несколько минут. Вчера целый день и ночь он готовился к тому, что скажет сегодня собранию, а сейчас чувствует, что ничего этого не надо. В своем заявлении он написал все, все, что считал самым главным в своей жизни, перечислил заслуги, не умолчал об ошибках — их, пожалуй, даже больше, чем заслуг. В общем, написал откровенно, искренне, не скрыл ни хорошего, ни плохого и нигде не перешел на невятыщу. Он действительно многое понял за это время. Год отделял его от женитьбы на Ольге и поездки в аул. Десять месяцев от той статьи, которую он считал началом своей новой жизни. Статья была хлесткая, босвая. Буркут подробно описывал историю жизни, любви и смерти двух влюбленных. О смерти их он писал особенно взволнованно и страстно. Описывал он страшный, черный, обгоревший остров, где все хрустело и сыпалось, и то чувство, с которым трое: Такежан и они — двое посторонних людей — ходили по этому уже сухому пеплу. А потом он описывал убийцу — нечистоплотного брюхатого старика с совинными глазами и спотыкающейся речью, спокойно запалившего этот гигантский жертвенный костер. «Если не мне, так никому!» — сказал он. И, кончая, Буркут спрашивал, какой же мерой следует мерить злодеяние преступника. Статья вызвала много разговоров и откликов. Мэру нашли быстро. Она была высшая — Жабагы расстреляли, а его сообщников услали в Сибирь. К этому времени Буркут уже переехал в Алма-Ату (так переименовали город Верный), ставшую столицей Казахстана. Город (впрочем, в то время скорее городок) сразу понравился Буркуту. Правда, здесь не было такой широкой, то бурной, то молчаливо-величавой реки, на которой стоит Акшатыр, зато стоял город у подножия Алатау, под самыми снежными вершинами и весь утопал в садах. Каждая улица походила на тополевую аллею, и тополя здесь росли высокие, стройные — словно столетние гиганты с морщинистой слоновой кожей. И потом арыки! Вдоль улиц несется быстрая ледниковая вода, а над ней висят тяжелые ветки, все в желтых и красных плодах. И люди в Алма-Ате другие — более открытые, разговорчивые, общительные. С ними Буркут быстро сошелся. Хуже у него обстояло с земляками. Здесь работали Акпар и Каражан, но с ними обоими он встречаться не хотел. С Каражаном потому, что тот был родственником Жабагы, а об этом человеке и обо всем том, что его касается, Буркут не мог думать без содрогания. А между тем работал

Каражан в Народном комиссариате просвещения, занимал ответственный пост и очень мог бы пригодиться Буркуту.

И только одному земляку Буркут искренне обрадовался — Хасену. Тот работал в редакции республиканской газеты и недавно только вернулся из поездки. Он ездил по аулам, читал и растолковывал новый указ о земле, привез массу впечатлений и охотно делился ими.

Они проговорили до поздней ночи, и Хасен несколько раз похвалил статью Буркута: «Хорошая статья, очень нужная, искренняя. Я даже всплакнул, когда читал». И под конец дал совет — вступить в КазАПП. «Ты пойми,— сказал он Буркуту,— сейчас тебе и посоветоваться не с кем, жена тут не в счет, а там ты будешь в большом коллективе, у тебя появятся друзья — это очень много значит. Завтра же иди к председателю, я тоже зайду, увидишь, он встретит тебя, как знакомого». Буркут послушался совета, и все произошло именно так, как сказал Хасен. Именно поэтому Буркут сегодня сидит в маленькой комнате за сценой и ждет, когда его позвуют. Наконец позвали. Он вошел, его посадили в первом ряду. Докладывал председатель. Это был плотный круглолицый человек среднего роста. Сказал он очень немного. Вот что он сказал:

— Мы знаем Буркута как поэта давно. Еще в первые годы Советской власти я пел его песни. Думаю, что и многие из вас — тоже. Надо сказать, это были очень хорошие песни. Пишет песни он и сейчас. Не все в них нас, конечно, устраивает. Но, как видно из заявления товарища Буркута Кунтуарова, он сам это понимает и хочет отделаться от всего наносного, ошибочного, что в нем есть. Заявление его я сейчас зачитаю. Вот слушайте и решайте, товарищи.

Он зачитал это заявление и сказал:

— Давайте обсуждать. Кто возьмет первое слово?

И на трибуну поднялся первый оратор, плотный седоватый человек в френче; жесткие короткие волосы стояли ежиком. Прежде чем говорить, он откашлялся и провел рукой по волосам.

— Мне очень понравилось заявление товарища Кунтуарова,— сказал он,— написано ясно, откровенно, без всяких вылиний. Ошибался, заблуждался, писал и делал не то, что нужно, сейчас все понял и покончил с прошлым. «А вас я прошу понять меня: заблуждался я искренне и исправлял свои ошибки тоже искренне, но и тогда и сейчас я хотел только добра». Вот что нам, собственно, сказал Буркут. Я верю ему и поднимаю руку за прием в нашу организацию.

Он сказал и сошел с трибуны, «Спасибо»,— шепнул ему Буркут, когда тот проходил мимо.

На трибуну поднялся высокий пышноволосый человек в очках. Он откинул волосы со лба, посмотрел в зал и сказал:

— Товарищи, мы все писатели, и это учреждение — Союз писателей. Нет людей более ответственных перед народом и историей, чем писатели. Особенно сейчас. Эпоха ставит перед нами задачу невиданной важности и сложности, которую...

— Кто это? — спросил Буркут у соседа. Тот усмехнулся:

— Не знаю, но на каждом собрании выступает обязательно. Вот так и шпарит и шпарит, как граммофон. И не остановишь его.

Оратор наконец довел до счастливого конца свой закрученный, многоступенчатый монолог и продолжал:

— Это почетные задачи! Но трудности на пути их осуществления встают немалые, и мы должны...

Он проговорил еще минут пять и закончил:

— Так вот, если товарищ Буркут Кунтуаров даст нам торжественное обещание выполнять обязательства, возложенные народом на пролетарского писателя, — я думаю, принять его следует. Я — за. Но товарищ Кунтуаров должен здраво отдать себе отчет в том, что за обязательства он берет на себя. Вот так.

И он сошел с трибуны, строго взглянув на Буркута.

Затем говорил молодой военный в галифе и с портупеей через плечо. Речь его была очень короткой:

— Я — за. Товарищ Кунтуаров зрелый мастер, и нам есть чему у него поучиться. Ошибки он свои признал — это тоже очень важно, пусть теперь на своих ошибках учит других.

Затем произошло что-то не совсем понятное. Буркут увидел у двери двух человек: один был Акпар, и второй... Поэт поневоле подался вперед. «Да ведь это Каражан! Как он изменился!» Выглядел он очень солидно и даже «ответственно». Добротные брюки военного покроя, полевая сумка через плечо, на боку кобура, армейские начищенные сапоги. Пенсне. Когда военный сошел с трибуны и председатель спросил: «Ну, еще есть желающие?» — Каражан не торопясь поднял руку и сказал: «Разрешите мне». На трибуне он снял пенсне, протер его и, вертя в руке, начал:

— Я не являюсь членом вашей ассоциации, товарищи, но отношение к ней имею самое непосредственное. Моя фамилия Айбасов. Я ведаю в Народном комиссариате просвещения тем отделом, через который и осуществляется связь наркомата с вашей ассоциацией.

— Мы вас все, товарищ Каражан, знаем, — отозвался председатель, — очень хотим вас послушать.

«Каражан! Двоюродный брат Жбагаы, — пронеслось в голове Буркута, — но он ведь герой, герой! Спас жизнь ком-

муниста Нуралы и трех его товарищей. Рискуя жизнью, проник в стаи колчаковцев, вошел в их доверие, вызвался командовать расстрелом красных и увел их всех. Устроил им побег в пути. Белые его искали, хотели расстрелять, но тут Акшатыр — а там все это и произошло — заняли красные». Сомнения во всей этой истории у Буркута не было, да и не могло быть — все трое спасенных коммунистов рассказали о своем спасении именно так.

Каражан надел пенсне и продолжал:

— Прекрасное письмо написал товарищ Буркут, поистине прекрасное, я слушал, и у меня слезы навертывались на глаза. Вот даже пенсне запотело, — улыбнулся он, сделал паузу, как будто задумался на минуту, и продолжал: — Но таково было только первое чувство. А потом я подумал: а так ли это? Действительно ли товарищ Буркут так рассказывает, как об этом пишет? Ведь он — поэт, он написать все может. Мы плачем, когда слушаем его песни. Плачем и сейчас. Но давайте подумаем, а где доказательство этого перерождения? А ведь вопрос-то идет именно о перерождении. Ведь не так же, товарищи, бывает... Утром поэт один, а ночью ему что-то приснилось, и вот уже встает с постели новый человек. Встает и идет подавать заявление о принятии его в партию или в ассоциацию пролетарских писателей. Ведь это же полная чепуха, товарищи. Для того чтоб такого человека приняли в партию или в ассоциацию, надо, чтоб в нем появилось что-то совершенно новое. Так есть ли оно у Буркута? Нам говорят, есть статья в областной газете о зверском поступке Жабагы. И есть доказательство этого. Доказательство чего? Ведь Жабагы — один человек, осудить его преступление — не значит еще осудить его класс, правда? А если дело рассматривать более подробно, то ведь выйдет так: товарищ Буркут бая-то Жабагы осудил, а класс-то его воспел. Именно этот класс, по его песням, оказывается носителем и хранителем всех священных традиций казахского народа. Стихи, что говорить, отличные, но если вы, товарищ Буркут, уж осознали свои ошибки, то мы вправе ждать от вас других песен, тоже идущих от сердца, и вот по ним-то мы и будем судить о вас. А пока таких песен нет, нам и судить не о чем. Поэтому я, товарищ председатель, заявление от товарища Кунтуарова учел бы, а принимать его в члены ассоциации воздержался бы — просто подождал бы. Посмотрел бы. Время-то у нас есть. Вот так, по-моему, товарищи! — И он сошел с трибуны.

В зале поднялся шум. Кто-то крикнул: «Правильно!» Кто-то восторженно воскликнул: «Вот дает!» А кто-то запальчиво спросил: «Так почему же тогда, по-вашему, Буркут подал такое заявление?» И тут Каражан повернулся и ответил вопросом: «А басню про волка в овечьей шкуре вы слышали?» И по-

шел дальше. Тут уж Буркут не выдержал. Он вскочил и заступил ему дорогу. Весь трясаясь от возбуждения, он спросил:

— Так что же, я волк, а?

Каражан усмехнулся.

— Ты что же, бить меня собираешься?— спросил он.— Как же нет, когда кулаки сжал. Ну что ж, я тебе отвечу — не верю я тебе, Буркут. Потому не верю, что больно уж ты в нужное для себя время задумал вступить в ассоциацию. Именно тогда, когда ничего иного уже не осталось. Знаешь, когда хлынет ливень — тогда уж некогда выбирать крышу, в любую хатенку сунешься, а прошел ливень — и прощай, хатенка, ты мне больше не нужна, я иду своим путем. Но нам таких ночлежников не надо. Ну, что ты опять кулаки сучишь? Кулак, дорогой мой, плохой аргумент, для писателя особенно. Тут нужны иные доказательства.

— Своими песнями докажу, что ты лжец!— крикнул Буркут в полном запале.

— Какими песнями? Если теми, которых еще нет, то я и все здесь сидящие будем очень рады их услышать, но где они? Ну, а если о прошлых говорить — ты же сам знаешь, кого они воспевали,— того же Жабагы! Да разве его одного? Хочешь, я перечислю имена?

Все это он сказал тихо, мягко, с печальной улыбкой, и зал опять заволновался.

— Правильно, правильно, Каражан, пусть сначала докажет!— кричал кто-то.

— А что старое ворошить!— кричали из другого угла.— Вон Брюсов тоже когда-то восхвалял войну, а умер членом партии. Да мало ли кто... Если на это смотреть...

Буркут вдруг повернулся и пошел из зала. Его остановил хлесткий окрик председателя:

— Товарищ Кунтуаров! А ну-ка займите свое место.

Буркут вернулся и сел.

— Вот так. Мне ваши слова, товарищ Каражан, очень не понравились. Какие-то очень злые, несправедливые эти слова. Как будто вы не о товарище говорите, а о враге. Нет, не так нужно подходить к поэту Буркуту Кунтуарову. Он еще молод. Вся жизнь перед ним. Ну что, товарищи?— сказал он, оборачиваясь к присутствующим.— Я думаю, можно уж приступить к голосованию. Товарищ Кунтуаров, теперь мы опять попросим вас выйти и подождать в той комнате. Это минут десять, не больше.

Позвали его, однако, только через полчаса — видимо, по ходу голосования возникли какие-то разговоры или прения. Каражана в зале не было. Председательствующий подозвал к себе Буркута.

— Ну вот,— сказал он,— собрание решило рассмотрение вашего заявления отложить на полгода. Собрание ждет, что за это время вы безусловно вместе напишите несколько таких произведений, которые дадут возможность вам и нам заткнуть рот всем, кто попробует выступить с речами, подобными сегодняшней. Не считайте это наше решение за отказ — считайте его проверкой нас и вас. Вас в тех обязательствах, которые вы на себя взяли, нас — в том, что мы им поверили. Мы уверены, что...

Буркут повернулся и молча вышел. Злость клокотала в нем. Злость, от которой трудно было дышать.

...Он ничего не видит. По лицу его бьют ветки (он зашел в парк), башмаки хлопают, прохожие шарахаются, потому что он идет прямо на людей, как слепой или сумасшедший,— идет и не замечает, что и еще один человек следует за ним.

Остановился Буркут на самой окраине, у реки Алма-Аттики — быстрой, мелкой, но сумасшедшей речки, грохочущей по валунам. И только сейчас он почувствовал, как устал. Он слепо опустился на огромный черный валун. Так просидел несколько минут, смотря в землю и ни о чем не думая. А когда поднял голову, то увидел: перед ним Акпар. Он молча отвернулся. Акпар опустился рядом на корточки и стал бросать в воду гальку. Так прошло еще несколько минут. Оба молчали. Наконец Акпар сказал:

— Плохо тебе, дорогой? Плакать хочется? Не плачь: когда ребенок плачет, ему рассказывают волшебную сказку, и он успокаивается. А поэт тот же — только большой — ребенок. Рассказать тебе сказку?

Буркут ничего не ответил.

— Ладно, слушай. Жил-был как-то на свете поэт. Все у него было: и талант, и ум, и трудолюбие — он писал целые ночи напролет, а вот счастьем аллах его обидел — не везло ему, да и только. Могли бы, конечно, друзья помочь, и были у него эти друзья. Да вот несчастье — и друзьям его не везло тоже. О других поэтах статьи в газетах пишут, портреты их в разных «Огоньках» помещают, а об этом поэте, у которого и талант, и ум, и трудолюбие,— нигде ни слова. Ну, разве это не обидно? Обидно, конечно, а поделывать-то нечего! Вот он однажды и спрашивает у одного критика: «Скажи мне, пожалуйста, почему всех хвалят, а обо мне молчат? Что я, хуже всех?»—«Нет,— говорит критик,— ты лучше всех, но хвалить тебя не за что. Мы же красные, и те поэты красные — вот мы и хвалим за это. А ты, брат, белый, на нас не похожий, нам ты не пара, зачем же мы тебя хвалить будем? Пусть тебя уж белые хвалят». А где там белым хвалить, когда они кто за решеткой, кто под замком, а кто там, где на собаках ездят, сидят. «Плохо мое дело,— думает поэт.— Надо становиться

красным, а то так и сдохнешь». И спрашивает он критика: «Скажи, а мне красным сделаться нельзя?»—«Отчего нельзя,— отвечает критик,— да сколько угодно, только продай нам своих друзей — и сразу покраснеешь». Ну, великое ли дело продать друзей? По нынешним временам — раз плюнуть! Говорит поэт: «Согласен». И тотчас замился румянцем. Стал не белым, как знамя наших праотцев, не зеленым, как флаг Магомета и Кенесары, а красным, как кумач. Покраснел и говорит: «Ну вот, я красный, берите меня к себе. Что вам, еще нужно?» Понимаешь?

— Понимаю,— ответил Буркут.— Слушай, отстань от меня ради адлаха, не до того мне.

— Вижу, вижу, что не до того,— усмехнулся Акпар,— по сказочке скоро конец и так. Так они его не приняли — красные-то, они его к шайтану послали. «Ты, говорят, только снаружи красный, а в середине ты белый, как редиска. Иди, иди, нам таких не нужно». Видишь, они тоже не дураки. Черного кобеля не отмоешь добела — это ведь русская поговорка. И пошел бедный поэт по городу и не знает, куда ему деваться: красные не берут, а белых он продал. Дошел до реки поэт, сел на берегу и думает: то ли бежать от стыда на край света, где меня никто не знает, то ли с пятого этажа сигануть.

— Уйди!— крикнул Буркут и вскочил.— Ну что тебе надо? Ты что, издеваться надо мной сюда пришел?

— Пришел спасти дурака!— вдруг серьезно сказал Акпар.— Без меня ты пропал, что, разве не понял этого? Ты и утопиться в этой луже не сможешь — все равно к берегу прибьет, как навоз. Не к этому, так к другому. Так и будешь болтаться. Нет, ты в самом деле решил утопиться?

— Да от таких благодетелей и верно бросишься в воду,— зло сказал Буркут.

— Опять, значит, я виноват! Эх ты! Все виновных вокруг себя ищешь? Плюнул бы я на тебя, если бы не дружба. Так вот, слушай. Я через несколько дней перейду китайскую границу. Пойдем со мной. Там кочуют наши роды. Они ушли за границу еще в шестнадцатом году. Землю они потеряли, а язык сохранили — за хорошую песню душу отдадут. Тебя они с ног до головы золотом осыплют. Это люди богатые, у них всего много. Решайся! Там найдешь и кров, и семью, и славу. Девушку — за тебя любая пойдет, на что тебе эта русская?

Пока он говорил, Буркут сидел молча. Даже слова об Ольге не тронули его — он только спросил:

— Ну, ты кончил?

Акпар кивнул головой.

— Ну так вот, дорогой,— сказал Буркут, вставая с камня,— сам ты беги, тебе на этой земле, верно, нечего делать, а меня оставь в покое. Я своего добыю. Когда ты будешь ски-



таться по Китаю и поглядывать, как волк, на нашу сторону, я буду петь свои песни. И ты их там услышишь! Обещаю тебе — обязательно услышишь! А сейчас прощай! Даже такие, как ты, оказывается, не вовсе без пользы. Не было тебя, так мне было горько и обидно, что, верно, хоть топись, а вот послушал твои речи и подумал: а ведь товарищи правы. С кем я дружил, за кого я восвал, чьи речи слушал? Раз ты мне посмел посоветовать бежать с тобой — значит, уж очень плохо мое дело, и правильно, что товарищи не поверили мне сразу, а сказали — иди, подумай еще, соберись с мыслями. Прощай, Акпар, не помняй меня лихом, но больше мы с тобой не увидимся. — И он быстро пошел прочь.

Акпар еще долго стоял и смотрел во тьму, куда он исчез. Потом пожал плечами и рассмеялся.

— Ну что ж, — сказал он, — ну что ж, товарищ Буркут, раз вы избрали такую дорогу... Ну, посмотрим.

...Ольга чуть не заплакала, когда увидела мужа, — такое темное было у него лицо.

— А я уж ждала тебя, ждала, — сказала она. — Смотри, уж двенадцатый час. Где ты был до сих пор?

— На Алма-Атинке сидел, — усмехнулся Буркут.

— Что-о? — изумилась Ольга и сейчас же поняла. — Тебе отказали?

— Нет, — ответил Буркут, — отложили на полгода. Ладно, об этом потом, но ты знаешь, кого я видел? Акпара!

— Боже мой! — пробормотала Ольга. — И он...

— Советовал бросить тебя и бежать в Китай. Сказал, что я как редиска и нутро у меня белое. Я послал его к черту, а когда шел, все ждал, что он выстрелит мне в затылок. Место-то было пустынное: Алма-Атинка; нет, побоялся чего-то, а может, браунинг не захватил. В общем, с ним покончено. А вот что со мной будет... — И он, усмехаясь, покачал головой.

— Знаешь что, — вдруг сразу как-то решила Ольга, — у меня есть бутылка коньяка, я все ее для особого случая берегла — давай выпьем.

— Ох, какая ты богатая, — улыбнулся Буркут.

Ольга вынула из чемодана запрятанную там еще с Акшатыра бутылку армянского коньяка, достала из шкафа рюмку, потом сбегала на кухню, принесла хлеб, масло и поставила перед мужем. Он с улыбкой посмотрел на нее:

— Молодец ты у меня, Ольга. Вот шел сейчас домой, так тошно было, что и жить не хотелось, а сейчас опять как будто все в порядке. Ну что ж, раз за радость нельзя выпить, выпьем за горе. Ставь и вторую рюмку, выпьем вместе.

Чокнулись и выпили. Ольга закашлялась.

— Что, горько?— спросил Буркут.

— Как цикута.

— Да, нам, пожалуй, и придется пить с тобой цикуту,— горько усмехнулся Буркут,— и не раз, а много раз. Вот Акпар назвал меня изменником, а ты знаешь, ведь это не только его слова. Так про меня говорят и те и эти. Ведь и Каражан мне примерно то же самое сказал, что Акпар, а Каражан ведь герой — он из-за товарища голову под пули ставил... Ну-ка, налей еще.

Много в этот вечер пришлось переслушать Ольге, много несправедливого по отношению к себе самому и к товарищам сказал в эту ночь Буркут. Он был раздражен, опечален, сбит с толку, и Ольга видела это. Она не стала ему возражать, а просто уложила спать. «Главное, чтобы он не опустил руки, не утратил веру в себя. Сейчас наступила пора испытаний — надо, чтоб он вынес ее». А потом подумала: «И денег у нас два двугривенных. Надо что-то придумать».

И она придумала. Рано утром выскользнула из постели, осторожно, стараясь не шуметь, раскрыла шкаф и вынула оттуда свою белую пуховую шаль.

«Пойду снова к той купчихе,— подумала она (все почему-то называли так вдову, которая занималась скупкой и продажей носильных вещей и ссужала деньги под проценты).— Авось, даст пятерку». Купчиха жила недалеко, в трехконном белом домике с резным крыльцом. Ольга постучалась, никто не ответил. Она стукнула еще. «Входи, входи,— раздался женский голос.— Я здесь, во дворе». Видно, купчиха только что окончила стирку. Между яблонями была натянута веревка, красные плоды висели над лиловыми и розовыми скатертями. Купчиха была дебелий и краснощекой бабой лет сорока, в блузке с закатанными рукавами. Она несла таз с отжатым бельем. Увидев Ольгу, купчиха поставила таз на табуретку и обтерла руки о фартук.

— Ну, ну,— сказала она,— развертывай, показывай, что такое.— Ольга развернула газету.— Шаль? Пуховая?— Она набросила шаль на плечи и слегка повертелась как перед зеркалом.— Ну, что же, шаль как шаль,— сказала она, снимая ее,— только мне не надо. Да к тому она и молью побита.

— Да не может быть,— возмутилась Ольга,— она у меня все время в сундуке под нафталином лежала, где вы что увидели?

— А везде, везде побита, милая; нет, сейчас лето, шали не в ходу. Бери.— Она сложила и сунула ей шаль обратно.

— А я бы недорого уступила,— сказала Ольга печально.— Деньги нужны.

— Деньги всем, милая, нужны, да что-то ни у кого их

нет,—наставительно произнесла купчиха.— Ты вот мне колечко золотое продай.

— Да ведь это подарок мужа!

— Да? Видно, хороший муж, он еще купит. Вот у меня тоже такой был, да умер, теперь самой приходится покупать! Так уступишь или нет?

— Да я уж и не знаю,—замялась Ольга. Деньги ей были очень нужны.— Ведь это муж подарил.

— Будет муж, будет и колечко,—отрезала купчиха.— Дай-ка взглянуть, я заодно тогда и шаль возьму. Хорошо дам — в торгсине столько не получишь.

Домой Ольга пришла нагруженная. Муж сидел на кровати и надевал сапоги. Вид у него был довольно-таки растерянный. Она засмеялась, бросила свертки на стол, подошла и обняла его.

— Я что? Вчера очень здорово?—спросил он несмело.— Я не помню, как заснул.

— А голова не болит?—спросила Ольга.— Ну и отлично. Сейчас будем готовить обед. Вставай, будешь мне помогать чистить картошку.

— Слушай, но откуда у тебя все это?—спросил Буркут, когда с картошкой было покончено.— Ведь деньги давно должны бы кончиться.

— Еще на неделю хватит,—успокоила его Ольга.

— Ну и отлично, и отлично,—обрадовался Буркут,— а через неделю я получу деньги из «Красного Казахстана», значит, мы выйдем из положения.

Позавтракав, он отправился в редакцию. Завотделом прозы, высокий худой человек средних лет, приветствовал его кивком головы.

— Вы велели мне прийти сегодня,—сказал Буркут.

— Да, да,—радушно ответил заведующий отделом,— только, к сожалению, ничего утешительного вам сказать я не смогу, из журнала повесть выпала.

— То есть пойдет в следующем номере?—робко улыбнулся Буркут.

— Если я говорю «выпала из журнала», значит, повесть в нашем журнале не пойдет вообще,—объяснил заведующий.

— Здорово!—сказал ошалело Буркут.— А почему?

— Указания!

— Какие указания?—не понял Буркут.

— Указания свыше,—сказал заведующий и ткнул на потолок.— А что это значит конкретно—спросите у редактора. Буркут пошел к редактору.

— Ничего не можем сделать,—развел руками редактор.— Каражан против!

— Каражан Айбасов?

— Он самый. Говорит, что повесть полна недопустимых намеков.

— Каких же, например?

— Ну, примеров много. В образе волка показаны коммунисты и раскулачивание в аулах.

— Да что вы, смеетесь?

— Какой уж там смех!— сказал редактор.— Хорошо еще, если меня не притянут за потерю классового чутья. У вашего волка красная пасть! Красной пастью он пожирает белых овец— это рассматривается как антисоветская пропаганда.

— Нет, вы не смеетесь?

Редактор вдруг горестно рассмеялся.

— Какой уж тут, дорогой, смех!— повторил он просто, подошел и обнял Буркута за плечи.— Вот вам совет, поставьте пока на наш журнал крест и идите в другие редакции. Туда, где рука Каражана вас не достанет. Мы ведь в ведении Наркомпроса. А вы напечатаете где-нибудь несколько стихотворений, а потом смело идите к нам. Тогда вам уже никакой Айбазов не будет страшен. А сейчас вы на него управу не найдете.

— Куда же мне идти?

— Да куда-нибудь подальше от нас, грешных,— в молодежные газеты, что ли. Там ребята сидят смелые. Для них Каражан не авторитет. Идите туда.

Он никуда не пошел. Он вернулся домой. Сел за стол и открыл папку с рукописью поэмы «Еркебулан и Нуржамал». Он читал и перечитывал ее до ночи, а потом опять до утра. Поэма была недавно закончена, но сейчас, просматривая ее вновь, он видел, сколько она еще требует доделок и доработок, как много строк следует заменить или выкинуть. За все это следовало сесть немедленно; он понимал, что самый действенный его аргумент в споре с Каражаном— это поэма, и потому все, что он может сделать, требуется сделать немедленно, не жалея ни сил, ни времени. В том, что борьба будет долгой и ожесточенной, он уже не сомневался. Пусть Ольга спит— он будет работать день и ночь.

Ольга не спала. Она лежала, смотрела на него из-за полусомкнутых век и думала, что денег, полученных ею сегодня, хватит на неделю, а потом что?

#### IV

Два всадника едут один за другим по узкой горной тропинке. Под одним черный конь, под другим— белый. Впереди мужчина, позади женщина. Женщину зовут Шолпан (что значит «утренняя звезда»— Венера), мужчину— Акпар.

Тихо и безлюдно. Осеннее солнце то прорывает легкие

белые тучки, то снова скрывается за ними. По склону горы далеко от всадников движутся люди и скот. Доносится всхрапывание лошадей, мычанье, крики пастухов. Аул Такежана пересезжает от озера Қоныр-Айғыр на займку. Аул бедный, и это видно сразу. У мужчины рваные чекпены, женщины одеты в тряпки, но на той, что гарцует на белом коне, камзол из красного бархата, серебряный пояс и на голове пышный малахай из лисьего меха. Это невеста Акпара, вернее, это бывшая невеста Акпара. Ее просватали за Акпара, когда она еще только родилась. Она и была той девушкой, которую увидел ранним утром Буркут, когда жил в ауле Такежана. Тогда она шла с ведрами и цела, и Буркут сразу подумал: «Вот беззаботная певунья». И действительно, Шолпан была такой, пока жизнь не повернулась к ней боком. Во-первых, разорился ее отец — его стадо попало в джут и пало почти все. Джут — одно из самых страшных несчастий, которое может только постичь казаха. От резкой перемены погоды — сначала дождь, потом мороз или сначала оттепель, потом заморозки — степь покрывается тонкой ледяной коркой. Трава, находящаяся под этой коркой, становится недоступной. Ни корова, ни овца, ни даже лошадь не могут пробить, этот лед копытом и погибают. Джут — это бескормица, сломанные и вывихнутые ноги скота, голодная смерть, обнищание. Вот отец Шолпан и обнищал (говорят же, цена богачу — один джут). Это было первое горе, которое свалилось на плечи девочки. Затем их семью сразу же постигло второе — Қарымсак отказался от сватовства, и, наконец, совсем доконало эту семью то, что пришлось вернуть стоимость скота, который они получили лет восемнадцать тому назад как калым за Шолпан. Итак, и сватовство и свадьба расстроились, но ведь Шолпан-то осталась. Даже больше того, она стала взрослеть, хорошеть, заневестилась, и на нее стали заглядываться соседские джигиты. Такой ее и увидел Акпар. Надо сказать, что на первых порах ему повезло. В ауле девушки смотрели только на него, говорили только с ним, думали о нем. Еще бы! Ведь он был студентом, горожаннином, ученым. Потом опять наступила довольно долгая разлука, Акпар три года не был, а когда он приехал, то глазам своим не поверил: Шолпан стала настоящей красавицей, но теперь она любила Қасым-Қостю. Был сговор. Свадьбу решили сыграть на следующий год, после переселения на новое место. Дело в том, что с этим переселением люди аула связывали многое: они решили на новом месте выстроить избы и начать сеять. И вот сейчас аул переселяется. Половина молодежи уже на месте — они замеряют землю, поднимают пар и ставят времянки. Командует всем Қасым. Вот именно поэтому Акпар и очутился сейчас рядом с Шолпан. Родители Шолпан не помнили зла — они приня-

ли бывшего жениха своей дочери, как родного, угостили и напоили чаем, уложили спать, а утром уговорили ехать вместе. Акпар сразу же согласился. Аул кочевал в сторону города, и поэтому ему (так он объяснил им) с ними по пути. Он знал, что в кочевках допускается известное послабление, юноши и девушки заводят игры, поют песни, скачут то наперегонки, то рядом. Вот и сейчас бывший жених и бывшая невеста едут конь о конь. «Конечно, отец хорошо сделал,— думает Акпар, смотря на девушку,— что он расплевался с этими пишманн. Наверное, дохода всего семейства только и хватает на то, чтобы одеть Шолпан. Впрочем, конечно, и русский помогает. Ну погоди, погоди, приятель, кажется, я тебе покажу невесту. Упустить такую девушку! Бедь потом все пальцы себе обкусает. Нет, тот не мужчина, который уступит такую красотку! Ну, ты меня попомнишь, русачок. До зимовки еще полтора суток пути, что-нибудь да выдумаю. Тут образованием не возьмешь, вздохами тоже — она и не такое видела,— тут надо, пожалуй, на прошлое бить».

— Да,— говорит он, грустно улыбаясь,— правду сказал какой-то поэт: «Нет большего несчастья, чем в дни печали счастье вспоминать». Вот так и со мной. До сих пор я помню нашу последнюю встречу. Помнишь, ночью на джайляу. Было много народу, и все пели песни, и девушки и юноши, а ты мне спела:

Ты так вежен со мной был, любимый,  
Что ж сейчас ты проходишь мимо?  
Ведь пока мы вместе, дотеле  
Не боюсь я ни горя, ни боли.

Да и я верил тебе, и вот прошло три года...

Шолпан ничего не ответила.

— Молчишь? Сердишься? А ведь я не виноват ни в чем! Уж слишком много несчастий свалилось разом на меня. Отец бежал, учитель погиб, друг изменил, сестра ушла к врагу, близкие отвернулись. Вот приехал я в аул, где родился, и все на меня смотрят, как на волка. И твой отец тоже. Ну еще бы! Я байский сынок, а он красный дехканин, бедняк, столп советской власти в ауле. Разве я это не понимаю? А что мне было делать? Бежать тоже в Китай? А родина? А друзья? А ты? Вот так мечусь и не знаю, куда себя деть, и так уж мне плохо, что и жить не хочется.

Девушка молчала. Он посмотрел на нее и стиснул в руке поводья:

— Ну так как же, Шолпан, что ты мне скажешь?

Девушка удивленно посмотрела на него:

— А что я тебе должна сказать?

— Что? Ты ведь любила меня когда-то.— И Акпар вдруг пропел:

Это теперь не так, Шолпан?

Она посмотрела на него.

— Прошло три года, сказал ты, а ведь столько перемен произошло вокруг. Помнишь, как ты приезжал из города? В городском пиджаке, с галстуком, на руке браслетка. В первый раз такие часы я увидела на тебе. Может быть, не это было то главное, что меня повлекло к тебе, но все же... Ты был весь какой-то особенный, не здешний, не похожий ни на кого.

— А потом?

— А потом пошло другое. Как ты приедешь в аул — сразу пьянки, драки, карты, похабные песни. Помнишь, какой был скандал, когда молодой джигит проиграл тебе и коня и седло? Как проклинал тебя его отец? А потом это несчастье с Жибек. Как ты с ней поступил! Неужели тебе до сих пор не жаль эту сиротку?..

Акпар вздрогнул, но промолчал. Да, видимо, историю с Жибек ему не скоро забудут. А история была такая. Жила эта Жибек у дальних родственников в ауле Шолпан, тонкая, как тростника, и робкая, как горная серна, девочка. Она была так тиха, что редко кто слышал от нее слово. И кажется, никогда никто не видел, чтоб она смеялась. Вот ее-то и ославил Акпар. Проезжая раз по ущелью, он увидел девочку, соскочил с седла, подозвал, схватил и утащил в кустарник. Вот и все. Девочка даже не кричала, да и дома никто ничего в то время не узнал. Узнали позже, через месяц, когда ее полумертвую принес домой Костя-Касым.

Оказывается, девочка бросилась в озеро, и, если бы не Костя, который в это время как раз проверял сети, никто бы больше не видел ее живой. Но и после этого она никому ничего не рассказала.

Но по аулу поползли нехорошие слухи. Жибек оказалась больной, и молва обвиняла в этом Акпара. Кончилось это тем, что Костя увез девочку в город и привез через месяц. Девочка еще больше ушла в себя. О происшедшем по-прежнему ни с кем не говорила.

— Да, хорош, хорош,— сказала Шолпан зло.— Люди привозят из города детям гостинцы: книги с картинками, душистое мыло, ленты. А что ты подарил этому ребенку? И никто тебя не смел даже упрекнуть! Ну, еще бы, ты джигит, городской человек, куришь папиросы, знаешь всякие культурные слова, от тебя духами пахнет! Эх ты! Это первое, что оттолкнуло меня от тебя.

— А что второе?

— Второе... уж больно ты злой, Акпар! Все-то тебе у нас

не нравится. Вот говоришь, что отец мой на тебя волком смотрит, а ведь он тебя как дорогого гостя принял. Как самого-самого дорогого. А что ты сейчас сказал про него? А про моего Касыма что говоришь? «Русачок»! Иного слова у тебя для него нет. Что б он ни сделал, все тебе смешно. Вот он сейчас собрал джигитов и уехал строить аул, они там рубят, роют, сван вбивают, у них ни дня, ни ночи свободных нет, а ты смеешься. А что ты смеешься? А то ты смеешься, что у тебя никогда в руках не было ни лопаты, ни топора, да и как хлеб растет, ты, наверное, видел всего раз или два — вот тебе и смешно. Эх, Акпар, Акпар! Как будто на смех тебя так назвали родители.

Акпар побледнел, но сдержался.

— Это еще почему же? — спросил он.

— А потому, что Акпар — это по арабски «великий». А какой ты великий? Кто о тебе что скажет хорошего? Только одно плохое и слышишь.

Акпар еще сдерживался.

— Что же такого ты плохого слышала обо мне? — پرسил он. — Поведай!

— Да что там ведасть! Сам же ты сказал, что на тебя все смотрят волком, — волк ты и есть. А как любить волка? Его только опасаются. Плохой ты человек, Акпар, очень-очень плохой. Вот что я тебе скажу от чистого сердца.

— Ах ты сучка! Я тебе покажу чистое сердце! — И, встав на стременах, Акпар вдруг несколько раз наискосок полоснул ее камчой по лицу. Она закричала и упала на седло. Ее лицо сразу залилось кровью. Акпар оглянувшись, увидел мчавшихся к нему джигитов — и еще раз, стиснув зубы, врезал ей камчой — по спине, по плечам и по голове. Потом ударил своего вороного и ускакал. За ним гнались, ему что-то кричали, грозили нагайками — но ни у кого не было такого скакуна, как у Акпара, и скоро погоня исчезла из глаз.

К ночи он опустил поводья и слез с коня. Было так темно, что он видел только кусты тальника да что-то смутно-серое — не то каменную бабу, не то столб. Он опустился на землю и заплакал. И даже не заплакал, а зарыдал громко, не сдерживаясь.

Он плакал от всего: от злобы, от бессилия, от обиды, оттого, что жизнь у него складывается так неудачно, что он не знает, как же с ней поступать, и он действительно был похож сейчас на волка — всеми гонимого, одинокого серого бродягу, которого все боятся и который тоже боится всех. Мало-помалу его рыдания перешли в тоскливый вой. Только тогда он и опомнился. Встал и вытер глаза. Было тихо и безветренно.



На черном высоком небе сверкали огромные голубые звезды. Они стояли спокойные, тихие и успокаивали, как холодная вода. Только они одни и не были враждебны сейчас Акпару.

— Вот так,— сказал Акпар громко, и сам не понял, что это он разговаривает сам с собой,— вот так, значит, товарищи. Вы решили меня преследовать? Очень хорошо! Но только имейте в виду, что я так задаром не дамся — война так война! Ах, вы меня гоните за то, что мой отец ушел в Китай, а я не люблю ни вас, ни вашей власти, за то, что мое — то мое, а не ваше! Отлично! Давайте померяемся. Я, конечно, один, а вас много. Но посмотрим! И эти мои слезы, дорогие товарищи,— вот эти слезы в эту ночь в степи я вам тоже не забуду! Имейте это в виду! Хоть золотую юрту мне ставьте, а слезы мои я вам припомню. Смерть за смерть, кровь за кровь, а слезы за слезы. Вы у меня все поплачете! Кровавыми слезами поплачете, дорогие товарищи. Вот так!

Через день он был в Акшатыре, продал коня (на прощанье даже поцеловал его в лоб — так он и отца не целовал в день разлуки) и в тот же день выехал в Алма-Ату. О побеге в Китай он теперь почему-то больше не думал. Деньги у него были.

(Эти деньги он отыскал в старой отцовской зимовке. Они были зарыты у него в условном месте — несколько сот золотых монет, и Акпар носил их постоянно при себе в сумке. «Чтоб расплатиться с друзьями, хватит»,— подумал он улыбаясь, называя друзьями и Буркута, и Шолпан, и Хасена, и свою сестру.) От вокзала до города (а в то время это было расстояние немалое) пришлось добираться на извозчике. Он назвал адрес и через некоторое время уже входил во двор небольшого одноэтажного дома с ядовито-зелеными ставнями и наличниками, около головного арыка. Каражан стоял над цинковым корытом посредине сада голый по пояс и растирался мохнатым полотенцем. Он поздоровался с Акпаром кивком головы и спросил:

— Уже вернулся?

— Как видишь!

— Быстро. Что? Только с поезда?

— Только-только. Думал, что ты еще спишь.

Каражан засмеялся, поднял ведро и вылил его на голову.

— Как это сплю? Я с детства привык рано вставать и делать гимнастику. Это моя, так сказать, исконная привычка.

— Кадетская, говоришь?— прищурился Акпар.

— Слушай лучше! Военная! Ну ладно, что нового?

«Значит, от кадетского корпуса ты отрекся,— подумал Акпар,— а так гордился им когда-то, просто не подступись!»

— Да что нового?— сказал он задумчиво.— Вот съездил

в аул, посмотрел родные места. Кое-кого встретил. В общем, и много нового, и ничего нет. Поговорить надо!

— Ладно, поговорим. Подожди, сделаю еще пару упражнений.— И Каражан пошел к турнику.

Он подтянулся, высоко подкидывая свое ладное, мускулистое тело, а Акпар с завистью смотрел на его мощные округлые плечи, широкую полукруглую грудь и думал, что как-никак, а этот бывший кадет ловок, быстр в движениях и похож на аргамака, приготовленного для байги. «У меня вот брюшко,— подумал он,— а у него живота и совсем нет, обязательно надо заниматься гимнастикой».

— Смотри!— крикнул Каражан, взлетел над турником и застыл на одной руке. Затем спрыгнул, изготовился, прыгнул опять на турник и вдруг завертелся, как огненное колесо. Такое Акпар видел на празднике в губернаторском салу. «А говорят еще, что он попадает в пятак на лету,— вспомнил Акпар.— Да кадетский корпус для него даром не прошел».

Наконец Каражан спрыгнул на землю, перевел дыхание.

— Ну, пойдем в дом,— сказал он, надевая рубашку,— хозяйка еще не проснулась, так мы в столовой пока посидим.

Комната, в которую они вошли, блистала чистотой и убранством. В середине помещался круглый стол, застеленный зеленой бархатной скатертью. На нем стоял серебряный поднос и цветастые фарфоровые чашечки с золотым ободком. Все это отражалось в огромном трюмо красного дерева.

— Садись сюда на диван, будем разговаривать,— сказал Каражан.— Кого видел, что слышал, рассказывай.

Они не проговорили и пяти минут, дверь распахнулась, и появилась высокая белокурая женщина в малиновом халате. Она вся была увешана разными цацками. Коралловые бусы лежали у нее на шее, золотые браслеты спадали с запястий, в ушах сидели круглые жемчужины в оправе из белого металла. Она была крупна, красива, породиста и походила на дорогую кобылицу из ханских конюшен. Походка у нее была тихая, ровная, движения округлые, спокойные, а глаза смеялись, и полные губы тоже смеялись и были сочны и как-то по-особому податливы. Она подошла к Акпару и протянула ему руку.

— Он не хотел меня с вами знакомить, а вот мы все равно познакомимся,— засмеялась она.

Рука ее была мягкая, нежная, горячая, но пожатие почти мужское. Акпар назвал себя:

— Я старый друг вашего мужа.

— Значит, и мой друг,— сказала женщина.— Каражан, распорядись приготовить нам чай!— И опять обернулась к Акпару:— Скажите, где я вас могла видеть?

«Если бы я тебе сказал где...» — внутренне усмехнулся Акпар.

...Видел Марукей Акпар всего один раз, и, конечно, она его тогда не заметила. Она пронеслась перед ним — молодая, прекрасная, разгоряченная ездой — в саях, и несущий ее аргамак был под голубой шелковой сеткой. Случилось это во время традиционных зимних скачек в Акшатыре. Тогда вокруг стояло много народу, и Акпар ошеломленно спросил: «Кто это?» Ему ответили со смехом — Марукей, и он узнал что ее отец Галиулла — крещеный татарин, купец первой гильдии, владелец самых больших колоннальных магазинов в Петропавловске, Акмолинске, Семипалатинске, и Атбасаре. Марукей его единственная дочь и наследница всего (мать умерла от родов), и женихов у нее набиралось много, да что-то никто не остался...

— Марукей — это такая девушка, что знакомится только в постели, — объяснили ему немного погодя.

С тех пор прошло много времени. Пришла Советская власть, отец сбежал, Марукей осталась с мачехой (это и была та «купчиха», которая купила у Ольги кольцо и шаль), а женихов у нее стало не меньше, а больше. Но замуж она вышла, видимо, все-таки недавно.

Как только Марукей вышла, Каражан сказал быстрой скороговоркой:

— Тут такое дело: ее мужа посадили за торговлю анашой, и вот уж полгода она живет у меня. — И, видя, что Акпар молчит, добавил: — Ну что ж? Все равно жениться надо.

— Да, — сказал Акпар, — надо. Конечно, надо. — А сам подумал: «Тут, пожалуй, и мне есть что делать. Не унывай, Акпар».

— Ну ладно, — произнес Каражан, — рассказал о других, теперь говори о себе. Во-первых, я тебя не видел с того собрания. Ты с Буркутом так больше и не встречался?

— Только той ночью, — ответил Акпар. — В общем, Буркута надо сбросить со счетов. Он не наш или того хуже — он наш враг. — Последние слова он произнес вполголоса.

Каражан посмотрел на него и засмеялся:

— Марукей ничего не слышит. У нее, как говорят русские, уши завешаны золотом, а белые или красные — ей это все равно, было бы только золото в ушах да еще джигиты в постели, без них она умрет сразу.

«Эге, — подумал Акпар, — так ты и обижаться особенно, значит, не будешь. Учтем!»

И он быстро рассказал ему обо всем, что произошло с ним в ауле Такежана.

— Понимаешь, она меня в лицо назвала волком, тут я обломал об нее всю камчу и ускакал...

— А гнались?

— Еще бы!

— Та-ак!— с удовольствием протянул Каражан.— Та-ак, дорогой, значит, белый волк напал на красную овечку? Забавно!

— Да тебе-то, конечно, забавно,— нахмурился Акпар.

— Да я что-то не вижу, чтобы и ты плакал,— засмеялся Каражан,— и правильно, конечно. Ну, а дальше ты что думаешь делать?

Акпар пожал плечами.

— Да,— произнес Каражан. — Да. Тут есть о чем подумать. Показываться теперь тебе в Акшатыре нельзя. Да и в Алма-Ате ты не в полной безопасности. Тебе надо пока уехать.— Акпар молчал и смотрел на Каражана.— Ну как же? Раз они тебя не догнали, значит, будут писать. Напишут в суд, в милицию. Начнут разыскивать. Кроме того — Буркут. Ты уверен, что он завтра же не побежит с доносом? Так вот, никакого иного выхода для тебя, кроме как уехать подальше, я не вижу. Кроме того, и обстановка неблагоприятная — ты же сам говоришь, смотрят на тебя исподлобья, говорят сквозь зубы. Значит, надо переждать. Сколько? Это другое дело. Я думаю, что очень недолго. Но год или два все равно где-то надо прожить. Теперь вопрос: как и где? Есть два пути. Первый — самый простой: вербуйся и уезжай в Караганду. Тебя примут, если будут наводить справки о тебе в ауле — там скажут, что ты разошелся с отцом, потому что отказался бежать в Китай. А раз так, то никто не станет тебя спрашивать, с чего ты вдруг решил сделаться пролетарием, понятию — нужда заставила. Ну, а потом... Знаешь — «кишжал остер, мешок протер», не век тебе быть рабочим — станешь бригадиром, и откроется перед тобой зеленая дорога — это первая возможность. Но, как я вижу, она тебя не очень устраивает. Хорошо! Есть вторая: поступай учиться. Мы дадим тебе путевку и стипендию. Сейчас как раз требуются геологи. Что ты покачал головой? Тебя это тоже не устраивает?

— Нет, это было бы великолепно,— сказал Акпар,— но ты учишься, что мой отец бежал в Китай, что я сын бая, ну и все остальное?

Каражан засмеялся:

— Это ты что? Насчет документов? Ничего, все будет в порядке. Вот на сегодня у меня имеется два свободных места в Свердловском институте цветных металлов — поезжай туда. Ну что, руку, что ли?

Акпар, улыбаясь, протянул ему руку:

— Спасибо. А когда ехать?

— Как можно скорее. Сегодня? Отлично! Поезд отходит

в десять часов вечера, бумагу получишь после обеда. Сейчас я позволю, прикажу секретарю приготовить. Идем за стол,

— ...Ну,— сказал Акпар в коридоре, пожимая руку Марукей,— видите, как недолго длилось наше знакомство. Уезжаю вечером. Так что если не увидимся — не поминайте меня лихом.

Она посмотрела ему прямо в лицо.

— До вечера еще много времени,— сказала она.— Вы сейчас куда?

— Да с Каражаном в наркомат за направлением.

— До вечера еще много времени,— повторила Марукей и вышла.

Зашел Каражан, уже в пальто, и сказал:

— Готов? Прощайся с Марукей, и идем. Бумага уже есть, сейчас понесу ее на подпись.

В комиссариате Акпар задержался не больше того времени, чем требовалось для получения бумаг. Он сказал, что у него есть еще одно дельце.

— А тебе,— он растроганно посмотрел на Каражана,— я благодарен по гроб жизни. То, что ты сделал для меня сегодня, может сделать только брат брату. Ну ничего, если придут иные времена, может быть, и разочтемся.

Они обнялись, и Акпар даже прослезился.

«Расцелся» он с Каражаном буквально через полчаса. Нагруженный вином и фруктами, он снова постучался в дверь его дома. Открыла Марукей. Она была, как и утром, в малиновом халате с открытой грудью.

— Вот я...— начал что-то Акпар.

Она засмеялась.

— Я ведь знала, что ты вернешься,— сказала она— проходи,— и поцеловала его в губы.

## V

Прошло полтора года. Очень многое изменилось за это время. Был проложен Турксиб. В степи встали стальные гиганты невиданной мощности, в газетах замелькали названия «Караганда», «Джезказган», «Риддер». Прошла коллективизация. В степи выросли новые города, и вчерашние пастухи взяли в руки отбойный молоток. По просторам Сарыарки, Семиречья, Сырдарьи зашагали иные люди, зазвучали другие песни. Только у Буркута ничего в жизни существенно не изменилось. По-прежнему его не печатали, правда, за это время молодежная газета поместила в трех номерах его поэму «Еркебулан и Нуржамал», но на этом дело и кончилось.

Каражан, вообще-то человек осторожный и даже медлительный, по отношению к Буркуту вдруг проявил необычайно кипучую энергию. Во время республиканского совещания он выступил с развернутым докладом «О пережитках национализма в республиканской печати» и особо остановился на стихах и песнях «некоего Кунтуарова».

— Вот разрешите почитать без всяких пока комментариев,— сказал он и действительно около получаса читал самые ранние стихи Буркута. Потом отложил папку с вырезками и сказал:— Ну, можно бы было читать еще часа два, но, кажется, довольно, товарищи. Я думаю, вопрос ясен. Как назвать эти стихи? Я думаю, «политически несвыдержанные» или даже «политически ошибочные»— это не те слова по отношению к таким стихам. Ошибка и есть ошибка, а здесь автор отлично знает, чего он добивается.

— Да это просто-напросто антисоветщина!— выкрикнул кто-то из рядов.

— Ну, можно назвать это как угодно,— поморщился Каражан,— но дело, конечно, не в словах, а в сущности. А сущность у этого, с позволения сказать, поэта такая, что его уже арестовывали органы в Акшатыре. Арестовали и освободили. Почему освободили, мы не знаем— это их дело, но наше-то дело состоит в том, чтобы вот таким поэтам вход в советскую печать был запрещен строго-настрога. Нельзя предоставлять трибуну врагу. Я думаю, этот вопрос мы дебатировать не будем.

— Я прошу слово для вопроса,— вдруг раздался чей-то голос, и на трибуну поднялся высокий черный джигит, редактор молодежной газеты.— Вопрос у меня вот какой,— продолжал он,— те стихи, которые нам читал почтенный докладчик, верно, ни в каком советском органе напечатаны быть не могут, но ведь они в них и не печатались. Это старые стихи— стихи десятилетней давности. Товарищ Кунтуаров публично от них отрекся. Ничего подобного больше он не пишет. Именно поэтому он и подал заявление в КазАПП. Вы были на этом собрании, слышали его.

— Позвольте, позвольте,— перебил его Каражан,— но вы сказали, что хотите задать мне вопрос.

— Сейчас я и подхожу к вопросу. Вы слышали, как председательствующий, объявляя Буркуту Кунтуарову решение бюро— вернуться к его заявлению через полгода, сказал: «За это время вы безусловно сумеете написать несколько таких произведений, которые докажут всем, что с прошлым у вас покончено раз и навсегда и наша литература приобрела нового замечательного поэта». Значит, Кунтуаров должен печататься. А как же он будет печататься, если мы ему закроем дорогу в печать?

Речь произвела впечатление. В зале зашептались, закивали головами.

— Это и есть ваш вопрос?— спросил Каражан, улыбаясь.

— Это первый мой вопрос,— сказал джигит,— есть и второй, уже узкопрактический. Со следующего номера мы собираемся печатать поэму Кунтуарова «Еркебулан и Нуржамал». Тема этой поэмы, как вы понимаете, самая актуальная. Подобных произведений у нас еще не было. Мы обсуждали ее, и она вызвала единогласное одобрение. Очень хорошо отозвался о поэме секретарь по пропаганде. Он сам из этих мест, участвовал в расследовании и прислал письменный отзыв. Вот он у меня с собой. Хотите, я зачитаю. Так вот, у меня вопрос — что делать с этой поэмой? Она набрана — рассыпать?

Голос джигита звучал насмешливо.

Каражан пожал плечами — он был человек бывалый и понимал, когда надо отступить.

— Ну зачем же вы мне говорите такое, я ведь только предупредил о том, что Буркут, как он подписывается, человек с далеко неблагоприятным прошлым, и это всегда надо иметь в виду, а так...— Он развел руками.— Если поэма хороша, то, конечно, печатайте. Вы ответственный редактор, значит, и на вас весь ответ.

— На мне весь ответ,— согласился джигит и сел.

Конечно, при других условиях Каражан без всякого зарубил бы поэму Буркута. Просто организовал бы звонок в редакцию, и материал полетел бы из номера. С его повестью он так уже поступил. Но сейчас за поэму вдруг вступилось руководство КазАППа. Очень неприятный разговор у него вышел неделю назад. Председатель ассоциации, старый заслуженный писатель, позвонил ему по телефону и, предупредив, что он говорит не только от своего имени, сказал:

— Нас очень тревожит ваше отношение к поэту Буркуту. Он был недавно у нас и жаловался, вы сняли его повесть из журнала, и он знает это. Теперь в этом месяце должна появиться его поэма «Еркебулан и Нуржамал». Нам было бы очень неприятно, если бы и на этот раз случилось что-нибудь такое, чтоб поэму опять выбросили. Тогда мы будем вынуждены обратиться в крайком.

И Каражан ответил искренне, хотя и не вполне по существу:

— Я эту поэму Буркута даже и не читал.

— Ну тем более,— согласился председатель.— Потом еще вот что: Буркут — преподаватель литературы, он хочет устроиться в одну из школ, а его нигде не берут. Мы узнавали, говорят, есть об этом какое-то специальное распоряжение вашего отдела. Это несправедливо,

— А это уж предоставьте нам знать,— ласково ответил Каражан,— мы считаем, что человек, сидевший в тюрьме за контрреволюцию, ничему доброму наших ребят научить не может, для этого нужны люди совсем иных качеств,— и повесил трубку.

Поэма появилась, была расхвалена, но после нее положение Буркута, пожалуй, стало еще более двусмысленным. От него требовали не только обличения старого аула, но и произведений о новой жизни, о стройках, о рабочем классе. Надо было не только клеймить, но и показывать новую жизнь, а этого он еще не умел. Из-под его пера выходило что-то в высшей степени бесцветное, высокопарное. Далее различных вариантов на тему «Да здравствует!» он не пошел, и начались разговоры о том, что Буркут исписался, что новая жизнь ему чужда, что он весь в прошлом. А затем эти же упреки были высказаны в краевой газете. «Мы знаем старые песни акына Буркута,— писала газета.— В них прославлялся старый быт, байга, состязание певцов, даже драки и единоборство — словом, все то, что отошло в далекое и, как мы говорим, безвозвратное прошлое. Стихи были звонкие, звучные, красочные. Их охотно пели и разучивали. Затем пришла революция, и байский быт вместе с теми же драками стал отходить в прошлое, но и драки, байга и состязания, где певцы состязаются не только в звонкости глоток, но и в отборном сквернословии и где победит тот, кто хлеще выругается, все равно продолжались. И опять-таки певцом всего этого уходящего, полумертвого, но никак еще не желающего умирать, был тот же Буркут. И, надо сознаться, это были опять-таки очень звучные стихи. Затем певец замолчал и молчал что-то долго — год или три, он переживал процесс ломки, перестройки, кризиса. Что ж? Мы глубоко сочувствуем человеку, имеющему мужество зачеркнуть свое прошлое и вернуться на новый путь. Мы приветствуем таких людей и хотим их видеть в своих рядах. Но вот появились новые песни Буркута, читаем их и не понимаем, что произошло с поэтом? Неужели это вялое сцепление бесцветных строк — это все тот же Буркут? Все длинно, нудно, вымученно, словно наспех отстукано на машинке. Мы, повторяю, приветствуем великого поэта Буркута и охотно прощаем ему его прошлые заблуждения, но если он и вправду захотел с нами жить и работать, если он отрекся от своего прошлого, почему же он так вяло и нудно пишет об этом? Почему стихи о драках ему удавались великолепно, а стихи о новой жизни и читать противно? В чем тут дело?» После этой статьи Буркут и упал духом окончательно, этому способствовало еще одно очень резкое столкновение в редакции, после него Буркута вообще перестали печатать. Каражан мог быть доволен, еще бы немного, и с его врагом как с поэтом



было бы вообще покончено. Но тут судьба наконец сжалась и послала друга.

...Стояла ранняя непогожая весна. С тучами, туманами и то с солнцем, то с дождем, то с дождем и снегом. Кое-где на пригорках уже пробивалась трава, а под заборами и в тени зданий лежал еще бурый и ноздреватый снег. Буркуту в такие дни всегда было не по себе. Сейчас он лежал на диване и читал. Ольга рядом на доске гладила белье. В комнате ничего не было, ни самовара, ни часов — все продано. В это время в дверь постучали. Пришел почтальон с пакетом. Буркут рванул пакет вкось и вынул общую тетрадь. Открыл тетрадь, и оттуда выпал бланк редакции. Он прочитал и отбросил на стол.

— Ну, все, — сказал он.

— Что такое? — спросила Ольга, хотя уже понимала все.

— Не подходит. «Песня степей» в нашем журнале напечатана быть не может. С приветом...» Ну, если с приветом, то все в порядке, — зло рассмеялся Буркут. — А отчего не может — о том ни слова. А я знаю отчего — оттого, что автор им не подходит. Вот так бы и сказали: иди куда хочешь, делай что угодно, а печатать тебя не будем, поэтому не мучайся зря. А то чего-то тянут, хитрят, обнадеживают. Да иди они все к дьяволу! Все! Не подходит вам мой рассказ? Плох, говорите? Ну так вот, вот ему. — Он схватил рукопись и стал ее рвать в клочья и бросать по комнате. Ольга кинулась к нему и схватила его за руку, — он оттолкнул ее так, что она чуть не упала, но опять бросилась к нему.

— Буркут! — крикнула она, рыдая.

Рыча и ничего не слушая, Буркут подлетел к шкафу и выхватил из него рукопись.

— А ну оставь! — раздался от дверей чей-то спокойный голос. В дверях стоял Хасен.

Он был весь мокрый: попал под ливень. Буркут посмотрел на него, остановился было на секунду в раздумье, потом рванул дверь и выскочил на улицу.

— Буркут, стой, куда ты! — крикнул вслед Хасен, но Буркута уже не было.

А гроза между тем вдруг разыгралась вовсю, небо грохотало, как огромный железный лист. Раскат следовал за раскатом, и при вспышке молнии можно было увидеть небо, смешавшееся с землей. Что-то просвистело возле самого лица Буркута. Это ветром сорвало сук. Про такие грозы казахи говорят — богатырь Хазретгали гоняется на коне Дульдуде за дьяволами.

Ветер свистел, завывал и казался почти плотным телом.

Качались могучие карагачи, со столетних дубов летели листья и ветки.

Буркут еле шел. Он оглох и ослеп от ветра, раз он даже упал, но сейчас же опять поднялся и упрямо пошел: дошел до большого старого дуба, остановился, прижался к нему спиной и сказал отчетливо и просто:

— Ну убей, убей! В эти дубы любят бить молнии! Если ты на самом деле существуешь, пожалей меня, пошли за мной молнию. Вот сюда и бей,— и он откинул волосы и истоиво посмотрел на небо. Есть старинное казахское предание: стоит во время грозы открыть голову, и тебя сразу же сразит молнией.

Ветер рванул его так, что он еле устоял на ногах; тогда он повернулся, руками обхватил дуб и прижался к нему лицом.

— Так убей, убей же!— повторял он уже почти бессмысленно и вдруг закричал:— Зачем ты меня сотворил? Чтобы жить, надо уметь, а я не умею. Меня отовсюду выгоняют, выгоняют, выпырывают, как собаку! Убирайся, говорят, нам такие не нужны. А какие же вам нужны, какие?..

Он задавал вопросы громко, осмысленно и, кажется, действительно ждал ответа. Но только выл ветер да в лесу стоял треск и звон от дождя.

— Ах, ты не хочешь?— сказал вдруг Буркут спокойно.— Ах, тебе мало еще моих страданий и унижений. Ну, хорошо, хорошо, всевышний!— Он полез в боковой карман и вынул оттуда большой складной ножик. Это была сталь высокой чистой закалки. Буркут никогда не расставался с этим ножом. В свободные минуты он любил вырезать им из корней разные фигурки, и вся комната у него была заставлена ими.

— Вот теперь ты мне понадобишься по-настоящему,— сказал он ножу ласково,— а то разве дело резать шахматы?!— Он открыл его и поднес к горлу.— Ну вот и все!— сказал он тихо. Одно движение руки, и всему конец — мучениям, издевательствам, врагам, всей этой жизни вообще. Надо было закрыть глаза, стиснуть зубы и слепо полоснуть по горлу, но рука у него словно закаменела, и он как-то уже со стороны поглядел на нее. Острая чистая сталь теперь отливала почти голубым светом.

Потом Буркут потерял сознание и ощущение времени, а когда пришел в себя снова, то оказалось, что он стоит по-прежнему спиной к дубу и рука дрожит глубокой внутренней дрожью. А в голове неслись и бушевали обрывками мыслей куски одного, второго, третьего.

«Вот умрешь, и сразу все кончится. И никогда уже ты не поправишь этого. И никто не поправит. Ничем. Во веки веков».

И еще он думал:

«Да, Ахан, очевидно, поступил правильно — иначе он и не мог бы. Он искал выход и нашел его. То же самое найдет и он, Буркут.— Он думал о себе теперь почему-то в третьем лице.— Одно движение рукой, и он никогда уж не ответит на вопрос Ольги: «Почему ты бросил меня в самый трудный момент моей жизни? Неужели ты несколько не любил меня, что даже не подумал, как же я-то останусь?» Он все еще сжимал нож, но смерть уже отступила от него, и он чувствовал это. Сколько он так простоял, не видя и не ощущая ничего, в каком-то странном состоянии полусна и яви, он не помнит. Наверно, долго. И только когда дождь прекратился, а ветер замолк, он посмотрел и увидел, что ножа в руке нет.

Не было его и под ногами. Очевидно, Буркут затоптал его в грязь.

Они не виделись с Хасеном года два. Именно столько времени Хасен пробыл в Москве в Институте красной профессуры. Вместе с ним ездила Ханшанм. Там у них родилась дочка, и Хасен написал в Алма-Ату, что в их семье теперь завелась прирожденная москвичка, Буркут и Ольга поздравили супругов. В общем, они переписывались довольно часто, но о своих неудачах Буркут ему не писал. Тем не менее кое-что Хасен, конечно, знал.

— Так,— сказал Хасен, выслушав все,— значит, ты как Гоголь или, вернее, как какой-то тургеневский герой: «...и сжег все, чему поклонялся, поклонялся тому, что сжигал». В общем, и так и так нехорошо.

Они сидели за столом, и Ольга наливала им чай в пиалы. На кухне готовился бесбармак — это вчера Ольга продала последнее свое достояние — золотые наручные часы, подарок отца в день совершеннолетия. Хасен протянул руку, взял палку, лежавшую на тумбочке, и прочел:

Я неустанно пел, как в роще соловей,  
Но был я одинок, и песнь моя терялась.  
Одно отчаянье в моей душе осталось,  
И не было живого места в ней.  
Она еще кровоточит доныне,  
Но светел я, и грусть моя тиха —  
Ни близких, ни друзей, я одинок в пустыне,  
Но ты со мной, мой друг,— мелодия стиха.

— Это откуда?— спросил он.— Это ты про себя?

— Ну, зачем про себя?— махнул рукой Буркут.— Поэма моя называется «Исповедь Коркыта». Действие относится к восемнадцатому веку.

— К восемнадцатому веку, говоришь?— Хасен перекинул несколько страниц и прочел:

Нет у меня ни скота, ни добра,  
Только одна золотая домбра.  
Нищ я всегда и всегда именит,  
Песня моя словно ветер летит.  
Юноши, девушки, видите — пьян  
В гости спешит к вам веселый Аян,  
И не касается пусть никого,  
Что только домбра — богатство его.

— Хлестко,— сказал Хасен,— и, наверное, твой Аян нечто вроде эдакого аульного Тиля Уленшпигеля, ходит и поет, и в него влюбляется дочка какого-нибудь хана,— продолжал он, листая поэму,— ну вот. Так и есть. Отсюда конфликт, столкновение, тупик и бунт поэта. Ну что ж.— Он захлопнул папку.— Ты всегда был романтиком, и таким тебя и следует принимать. И эту поэму ты никак не можешь пробить? Да, время сейчас, пожалуй, не совсем подходящее для эдаких историй, да еще двухвековой давности. Придется подождать. Ничего! У искусства жизнь долгая!

— А человеческая уж больно коротка,— усмехнулся Буркут.

— Конечно,— кивнул головой Хасен,— но великому кораблю великое плавание, то, что поэт пишет для вечности, в вечности и останется. Если только поэт не ниже своего времени. Совсем маленькое «только», правда? Но вечность вечностью, а ведь у нынешнего дня есть и свои нужды. В первый раз в степи происходят такие события, как раздел земли беднякам, изгнание баев, в степь приехали доктора, учителя, инженеры, строятся новые города, прокладываются железные дороги. Ты современник всех этих событий — неужели они не достойны твоей песни?

Буркут пожал плечами:

— Что я об этом знаю? И потом сегодняшнее добро может завтра обернуться злом. «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии»,— сказал поэт. Придут историки и разберутся.

— Здорово!— усмехнулся Хасен.— А ты, современник, не свидетель и не очевидец? Каким же материалом будут пользоваться историки, если ты им не поможешь? Но нет и не будет вечности для того, кто не смог правильно осознать свой сегодняшний день в масштабе вечности. Только хороший современник своего века — современник всех грядущих веков. Помни это.

— Хлестко сказано,— покачал головой Буркут,— очень, очень хлестко! Это, наверное, там, в Институте красной профессуры, вас так учат. Ну и правильно учат. Хороший журналист нужен сегодня, и необходим завтра, и через тысячу лет. Для современника — строителя или бухгалтера — он одnodневка, а для историка — он голос времени. Все это так, но

ведь я не журналист и не газетчик, дорогой Хасен. Мое дело — писать о душе человеческой. А здесь я что-то души и не вижу. О стройках напишет историк, а мое дело — писать о человеке, о его внутреннем мире, о том, как он изменяется.

— Вот-вот,— обрадовался Хасен и даже с места вскочил.— Как он изменяется! Именно! А почему изменяется? Девушка любимая изменила? Покинул человек родину и уехал в другие края? Отец и мать у него умерли? Это, правда, большая ломка! Ну, а то, что он был пастухом, а стал студентом, был студентом, а стал инженером, был инженером, а стал членом правительства,— разве это не ломка? Скажи, как заговорили бы твой Еркебулан и его Нуржамал, если бы они успели в ту ночь добраться до города и ты встретился бы с ними сегодня на стройке? Разве это не интересует тебя, поэт, а?

Буркут развел руками:

— Интересует, конечно, но старый аул я видел своими глазами и при гибели моих влюбленных тоже почти присутствовал — вот и пишу об этом. А как я могу писать о том, чего не видел?

— И ты никогда не был на стройках?— удивился Хасен.

— Нет.

— Ну ничего, это исправимо,— улыбнулся Хасен. В это время появилась Ольга с подносом.

— Хасен, Буркут, руки мыть!— крикнула она весело.— Все уже на столе.

— Пойдем!— Буркут дружески подтолкнул Хасена под лопатки.— Надо было бы для такого гостя зарезать барана, да что поделаешь? За мысли пока никто денег не платит.

— Заплатят, заплатят, и не только за мысли, а и за дела,— успокоил его Хасен, проходя вместе с ним к рукомойнику,— за большие твои дела. Ольга Павловна, а ведь Буркут уезжает.

— Куда?— удивилась Ольга.

— К моей жене на стройку. Вместе они выедут на строительство совхоза «Коктогай». И дочка Зура поедет. Там есть детский садик. Вот и я их провожать поеду. С этим я к вам и шел.

— И столько спорили?— засмеялась Ольга.

— А с умным человеком приятно и поспорить. Так вот завтра, дорогой, пойдешь в крайком, получишь путевку и поедешь. Так, что ли?

— Так,— ответил Буркут.

— Так,— подтвердила Ольга.

Через неделю Буркут выехал на станцию Коктогай.

## Часть третья

### ЖИЗНЬ — ПОБЕДА

#### I

«Коктогай» в буквальном переводе означает голубая роща, но когда Буркут приехал сюда, то увидел не рощу, а степь и сопки. Холодный, пронизывающий ветер сек глаза, вздымал груды песка, и небо от него казалось пыльно-желтым. Буркут с мешком за плечами стоял посреди степи, смотрел и думал: ну почему же все-таки эту станцию назвали «Голубая роща» — «Коктогай»? Впрочем, в степи и названия степные, казахские — Аягуз, Сары-Озек, Чемолган, Огар, Уштобе, и только одна имеет русское и, кстати сказать, вполне справедливое название — Луговая. Что же касается строительства «Коктогай», то он закладывался в степи, от станции до него нужно было просхать еще с полсотни верст на машинах. Ныне на этом месте были только котлованы да сбитые на скорую руку временки с круглыми железными печами. Сейчас, в ноябре, без этих временок не прожить потому, что холод в степи стоял пронизывающий и дули ветры. Буркут в своей кожанке заоченел совсем, кроме того, он был утомлен, зол и измучен дорогой. В кабинку его шофер не пустил — сказал, что нет места, там поместилась подружка шофера, кругленькая, постоянно хихикающая женщина, и он всю дорогу сидел в кузове среди двух перекатывающихся железных бочек. Приехали они в совхоз уже под вечер, машину подогнали к самому красному уголку — так назывался барак в середине поселка, — и первой, кого увидел Буркут, перепрыгнув через борт, была высокая, смуглая казашка в фуфайке и платке, которая вышла их встречать. Он посмотрел на нее и уловил в ее лице что-то знакомое.

— Ханшанм, вы? — крикнул он.

— О, боже мой! Буркут! — обрадовалась Ханшанм. — А мы-то вас ждали в конце недели! А замрзли-то как! На вас даже и смотреть холодно. Ну, идемте. Там у нас к печке не подойдешь — так пышет. Я ведь секретарь комсомольской ячейки. Не знали? Вот вам и байская дочка!

Эти слова она уже говорила в бараке, стаскивая с Буркута кожанку и усаживая его поближе к печке. Основания для это-

го, надо сказать, были — только у этой раскаленной печки и было жарко, а то по всему помещению гулял ветер, как и на улице. Зато кипел чайник, и вокруг него сидело несколько человек с жестянками. Налили и Буркату, и он выпил четыре кружки kloкочущего кипятка. Потом Ханшаним сказала:

— Поселим мы вас версты за две отсюда, там есть хорошие, крепкие бараки, а здесь так, временки. Видите, мы тут мост строим — очень трудный район попался. Почва скверная, песчаная, сыпучая. Один раз комиссия уже не приняла от нас дорогу — и, оказывается, хорошо сделала: через неделю после этого берег рухнул, пришлось все начинать сызнова. Неделю две потом возились. В общем, занимаем последнее место, но ничего, работаем не жалея сил. Вы что же, чай выпили, а поесть так и не поели. Стойте, я вам хоть хлеба дам. У нас с хлебом часто бывает туговато, но вертимся.

Она ушла и вернулась с полкраюхой хлеба и большим куском брынзы.

— Вот, ешьте, — сказала она. — Сейчас со строительства вернутся повара — поехали раздавать ужин, — я накормлю вас горячим, а потом провожу до барака. Ничего, ага, не падайте духом, все образуется.

«Образуются-то образуется, — подумал Буркут, — но от меня что останется? Ты молодая, тебе все ничего».

Через час они вышли из красного уголка и пошли в поселок. Уже совсем стемнело, и выплыла луна. Было очень тихо и, как ни странно для этих мест, безветренно. Они прошли мимо бараков и брезентовых палаток, заглянули в одну, в другую — никого нет, несколько человек спят.

— А где все остальные? — спросил Буркут.

— Сейчас их увидим. Работают. Я же говорю, что мы в прорыве, так что приходится день и ночь гнать.

— И люди выдерживают такое напряжение? — удивился Буркут.

— Приходится выдерживать, — улыбнулась Ханшаним.

— А с питанием как? Неважно?

— Кормят нас, просто сказать, паршиво, — нахмурилась Ханшаним, — никак не наладят завоз. На базе ничего нет. Придется опять, как говорится, заострять вопрос, а то определенно не вытянем.

«Завоз», «база», «заострять вопрос», «не вытянем» — да ты ли это, Ханша, — подумал Буркут, — ты ли это, шальная байская дочка? Действительно, труд делает чудеса. Молодец, Хасен! — И сейчас же подумал: — А я? Неужели я слабее этой девчонки?»

Вскоре они подошли к самой стройке. Река лежала в низине, они стояли на краю обрыва. Светила полная луна, и было светло почти как днем. Люди отсюда казались муравьями.

Они таскали носилки, катали тачки. В нескольких местах горели костры, и работающие то по одному, то группой в несколько человек подходили к ним.

— Теперь работаем по сменам,— сказала Ханшанм.— Целые сутки. Ничего, вырвемся из прорыва.

Когда через час Буркут сел за стол и вынул карандаш и тетрадь, в его ушах еще звенели лопаты, грохотали по щепню кирки, кричали люди, и все катились и катились тачки. Когда он встал из-за стола и вышел на улицу, уже вставало солнце. Несмотря на ранний час, было людно, около барачков над рукотомойниками стояло несколько человек. Один голый до пояса кудрявый гигант растирал грудь полотенцем. Рядом стояла Ханшанм и что-то ему говорила. Оба смеялись. Буркут поздоровался. Ханшанм, увидев поэта, сразу загорелась, схватила его за руку и сказала гиганту:

— Вот это и есть наш знаменитый поэт Буркут-ага. Знакомьтесь. А это Буреке — наш прораб. Вот вчера, Буркут-ага, мы были на его участке. Здорово ведь работают люди, а?

— Настолько здорово, мне даже завидно стало,— ответил Буркут.— А что, если и я попрошу у прораба лопату?

— Зачем она вам?— удивилась Ханшанм.

— Да вот хочу тоже погнуть спину вместе с вами. Посмотреть, как это у меня выйдет.

Ханшанм растерянно взглянула на прораба, а тот кончил растирать грудь, перебросил полотенце через плечо, спрятал в мыльницу мыло, закрыл ее и только тогда коротко сказал:

— Ну что ж! Идемте! Я вас познакомлю с бригадиром. Но только вам переодеться надо будет.

— А так что?

— А так от вашего костюма сразу одни лохмотья останутся. Ведь вы видели, как работаем? Ну, вот!

Буркут на стройке моста проработал с неделю. Но эту неделю он запомнил на всю жизнь. К концу этого срока он обветрился, обгорел, обтрепался окончательно.

В таком виде его и встретило одно важное лицо.

В тот день на эту стройку, объявленную ударной, приехала группа работников искусства. В красном уголке висела афиша о встрече работников искусства со строителями ударной стройки. Встреча была назначена на вечер, а днем эти работники и артисты в сопровождении ответственного товарища из наркомата посетили стройку. Они походили по трассе, постояли на берегу, посмотрели на работающих, и тут один из известных артистов остановил землекопа. Землекоп этот гнал тачку, нагруженную доверху мокрым песком. Когда его остановили, он перевел дух и сбросил волосы с лица. Артист спросил, каков его месячный заработок. Землекоп постоял, по-



думал и ответил, что не знает. Почему? А потому, что он еще ни разу не получал зарплаты.

— Это как же так?— удивился артист и оглянулся на стоящего сзади представителя наркомата.

— А он работает здесь без году неделю,— объяснил представитель.— Это бывший поэт Кунтуаров. Он променял перо на тачку, и правильно, конечно, сделал. Что, разве не так, Буркут, а? Что стихи — землю возить надо!

— Ты еще услышишь мои стихи! И еще заплачешь от них, Каражан! И как еще заплачешь — кровавыми слезами,— ответил Буркут и, кивнув артисту, погнался тачку.

Поэма о стройке «Железный тулпар», сначала в отрывках, появилась в краевой газете. Потом полностью ее опубликовал журнал. Отзывы на нее были самые положительные, и еще месяца через два краевая газета предложила Буркуту посетить Кызыл-Айгырские рудники уже в качестве специального корреспондента. «Кстати,— сказали ему,— с вами поедет Хасен, собственно говоря, по его совету мы и предложили вам эту поездку. Поезжайте. Эти рудники нас очень интересуют. Мы этому материалу отводим целую страницу». И Буркут поехал.

От последней станции до рудников пришлось добираться на лошади. В поселке им дали арбу и худого старого рысака. И погонщик тоже был под стать коню — высокий угрюмый старик лет семидесяти. Всю дорогу он сидел на передке, не вмешиваясь в разговоры, с трудом и неохотно отвечал на вопросы и все молчал и думал, а потом во время роздыха вдруг подошел к Буркуту, блаженно валявшемуся на траве, и сказал:

— А я вот что вас хочу спросить. Вы в городе Акшатыре когда-нибудь проживали?

— Жил,— ответил Буркут.

— А у вас товарища не было? Такого высокого, смуглого, ваших лет?

— Был! Акпар.

— Вот, вот, товарищ Акпаров. Совершенно точно. И ходили вы к писателю Аханову, тому, что во время Первого мая из окошка выскочил. Вы до этого у него сидели.

— Слушайте, откуда вы это...— крикнул Буркут.

— Хм!— горько усмехнулся возчик.— Да из-за этого эпизода я вот тут и очутился. Судить нас хотели.

— Кого вас?

— Ну меня и еще двух...

— Это за что же?

— За недогляд. Ведь Аханов-то насмерть разбился.

— А вы при чем?

— Вот! Поговорите с ними,— горько усмехнулся возчик.— В том-то и дело, что как я на улице мог знать, что он в своей голове задумал там, в комнате.

Буркут ошалело поглядел на Хасена.

— Постоите,— сказал Хасен, он лежал рядом, кусал травинку и до сих пор в разговор не вмешивался.— Ну, во-первых, как вас звать?

— Дьяков звать, Петр Максимович Дьяков.

— Так вот, Петр Максимович, раз вы уже сами начали, то расскажите вразумительно. Какое отношение вы имеете к самоубийству Ахана, почему с вас что-то спросили? Что спросили?

— Вот видите,— хмуро обрадовался Петр Максимович,— вы человек ответственный. Вы это понимаете, нам было сказано: Первого мая не спускайте с него глаз — с Ахана то есть! Не то чтоб там его утеснить или что, а просто смотреть, чтоб Первого мая он ничего такого не произвел. А то, говорят, он может, потому он человек отчаянный. Вот мы и смотрели. И все заприметили, ну, а в самый этот день немножечко того... не в форме были... то есть не то что пьяные, а так... веселые. Вот тут и произошло это несоответствие. На несчастье, два наших в красноармейских формах, как то есть положено в праздник, с демонстрации и решили зайти в гости к своим дамам, так сказать, да на грех и перепутали квартиру. Позвоили ему. Он и решился: в окно прыгнул. И опять грех — виском о камень угодил. Ну и все. Его «Скорая помощь» забрала, а нас — в отделение. Что да как? А мы тут же в садике сидели. Еще с теми красноармейцами разговаривали. Они с нами попрощались и пошли.

Объясняем, а начальник и слушать не хочет. «Э, да вы, говорит, пьяные». А мы хоть и не пьяные, а так, граммов по двести пропустили. Это, если беспристрастно, все равно как ничего. Говорим ему, а он как психанет, как раскричится. Написал рапорт. Потом объяснил: «Если бы, говорит, еще жив остался, а раз разбился, то и разговора нет. К увольнению! Не соответствуете». Так и уволили. Ну вот тут теперь работаю. А я разве виноват?

Буркут вздохнул и встал с травы.

— Нет, вы не виноваты,— сказал он,— и никто тут не виноват, и он сам не виноват. Просто эпоха оказалась бесконечно выше его, а он считал себя выше эпохи и не мог примириться с тем, что его правда маленькая, а правда века великая. Не понимал он этого.

— Это точно,— согласился ямщик Петр Максимович Дьяков.— Да разве они могут понять? Как заладил: «На дежурстве пьяный» — и все.

После этого они долго ехали молча. Буркут не заметил, как они миновали голую степь и выехали в предгорье. Зачастил густой цепкий кустарник, и вдруг откуда-то из-за поворота показались острые черные скалы — все в кустарнике. Заходило солнце, и вершины скал казались алыми. Жара, совершенно нестерпимая в степи, вдруг спала и сменилась вечерней прохладой. И вдруг в природе стало очень-очень тихо. Замолкли даже кузнечики. Буркут сидел закрыв ладонью глаза и думал о чем-то своем.

— Да,— сказал Хасен,— погиб Ахан-ага! Жалко! Очень, очень жалко. И знаешь, почему особенно жалко? Да потому, что в сущности только мы его и жалеем. Больше он никому не нужен. Песни его не поются, стихи не читаются. Блеснул, сгорел и следа не оставил. А ведь это был поэт. И какой поэт!

— Ну, мне об этом, положим, говорить не надо,— ответил Буркут.

И они оба замолчали.

Дорога вдруг сделала крутой круговой поворот, и внизу под ногами показалась звездная гладь, а над ней тростниковая заросль. Светила почти багровая луна. Они выехали на берег озера.

— Смотри, смотри!— сказал Хасен.

Буркут посмотрел: среди скал висела огненная россыпь — тысячи огней словно повторили небесный свод.

— Что это?— спросил Буркут.

— Коныр-Айгырский рудник,— ответил Хасен.

— А-а!..— протянул Буркут.— Помню.

И это воспоминание было тоже не из приятных. Лет десять тому назад он уже был в этих местах и видел это озеро. Тогда он ехал в гости к Карымсаку и по дороге остановился в ауле Такежана. Тогда он в первый раз услышал, как рвут скалы.

— Что это?— спросил он тогда у своего спутника, юркого байского джигита Арына.

— Да горы рвут!— ответил тот.— Что-то там ищут в них. А может, вообще хотят их снести, чтоб все гладко было. Аллах их ведает. Русские.

— А ну, поедем посмотрим,— предложил Буркут.

Арын покачал головой, но поехать поехал. Вот тогда Буркут и познакомился со всей геологической партией, с начальником Алексеем Владимировичем и его помощником Нурланом. Нурлан ему рассказал о плане работ и закончил: «Через год здесь будет рабочий поселок». Он тогда только сомнительно хмыкнул и поспешил уехать. И вот они едут смотреть свинцовоплавильный завод, возникший на этом месте.

— Сейчас тут спуск,— сказал ямщик,— держитесь крепче. Но, милый!

Поселок стоял у подножия горы. Около полусотни кирпич-

ных барачков и возле них множество юрт и палаток. Палатки брезентовые, юрты войлочные. Все это вместе составляет длинную прямую улицу, конец которой теряется под горой. Там, очевидно, низина и продолжение поселка, потому что огней много и там.

— Куда везти?— спросил Дьяков.

— К конторе,— ответил Хасен.

— Значит, опять под гору — контора вон, фонари горят.

Поехали вдоль главной улицы. Хотя уже совсем стемнело, народу на улице было много. Ходят, разговаривают, смеются, поют. По обочинам улицы горят костры, кипят казаны. Около некоторых костров постелена кошма, и на ней люди. Ну, чем не мирный казахский аул под вечер? Только собачьего лая не слышно да вместо керосиновых плашек всюду ровный электрический свет.

— Душно в юртах, вот они все и вылезли,— сказал Дьяков.

Буркут только успевал поворачиваться. Вот на лавочке компания молодых джигитов, и среди них две девушки в тюбетейках с перьями. Разговаривают, смеются.

— Хорошие кызымочки,— похвалил проводник.

— Да,— задумчиво согласился Буркут,— да-а...

Около одного костра пили чай. Медленно двигались палаты. Во главе сидел старик и о чем-то чинно рассказывал.

И вдруг раздалась песня.

— О,— сказал Хасен,— послушайте-ка. Это ведь Сакен Сейфуллин. «Марсельеза» молодежи.

Дьяков послушал и сказал:

— В конторе поют. Наверное, там спевка сегодня.

«Да,— подумал Буркут,— вот тебе и новый аул! И песни тоже новые. И не разберешь, аул это или прииск. Но поют эти люди Сейфуллина, а не меня». И он вспомнил слова Хасена про Ахана: «Песни его не поются, стихи его не читаются. Блеснул, сгорел и следа не оставил, а ведь какой был поэт» — и его даже передернуло.

Бричка остановилась около конторы.

Молодой джигит сбежал со ступенек и бросился к бричке.

— Вы приехали, Буркут-ага и Хасен-ага,— крикнул он весело,— а мы вас еще днем ждали!

— Что, телеграмма была?— спросил Хасен, вылезая.

— А как же? Дайте руку, сюда, за мной.

Голос показался Буркуту очень знакомым, и когда они вошли в полосу света, Буркут узнал Нурлана.

— Вы все еще здесь?— удивился Буркут.

Нурлан ответил ласково:

— А как же! Директор прииска! Милости прошу.

Квартира его в три комнаты помещалась тут же, только с

другой стороны конторы. Одна из них, самая большая, была подготовлена специально для гостей. Нурлан познакомил Буркута с домашними: женой — она казалась девочкой, худенькая, тоненькая, в простом неярком платьице — и отцом, настоящим аксакалом, — это был высокий, плечистый старец с красиво подстриженной белой бородой. Войдя, он не торопясь опустился на край кровати и сказал:

— Доброго здоровья. Как досхали?

Поблагодарили.

— Вы из какого аула? — спросил аксакал.

— Мы сейчас из Алма-Аты, ата, а вообще-то мы из этих мест, мы из айдабола.

— Ну, значит, правда, наши, — снисходительно кивнул головой старик, — так как же там, в Алма-Ате?

— Строится город, ата, — ответил Хасен. — Что день — то дом. Да какой! Весь этот прииск уберется в одно такое здание.

— Неплохо, неплохо, — заметил старик, поглаживая бороду, — а вот мы из Чубартау приехали. Как только Нурлана избрали дректором, мы собрались — и сюда!

— Не дректором, а директором, ата, — засмеялся Нурлан. — И не избрали меня, а поставили. Понимаешь! Я директор, а избирали волостного.

— Понимаю, понимаю, — лукаво улыбнулся старик, — ты ведь сам как-то сказал: «Раз меня поставила партия...» Так ведь?

— Ну так.

— Так! А вот я тебе расскажу, как мы, то есть наша партия, избирали волостного. Мы-то, бедняки, хотели одного, а другая партия хотела бая Толебая. Мы свое орем, они — свое. Но у них глоток было больше, они и перекричали. Стал волостным Толебай, понимаешь? А теперь твоя партия победила, вот она тебя и поставила. Так?

Сын махнул рукой. Старик опять повернулся к гостям:

— Ну вот, значит, как сделали Нурлана директором, мы переселились к нему. Да и не мы одни. Этот рудник многих спас от смерти, ох многих! — Он помолчал, подумал. — Тут ведь что вышло? Как началась коллективизация — пошли слушки, наверное, кто-то нарочно распускал, что твоего уже ничего в колхозе не будет, все общее: ложки, плошки, жены, дети, скотина. На одной кровати, говорят, будем лежать, одним одеялом покрываться, из одной ложки есть. Режьте скорее скот, а то даже на кеспе не останется... Ну, и стали резать. И всю скотину перерезали. Ладно, вступили мы в колхоз, не дали власти нам сдохнуть, выдали неимущим скотину, а весной дали семян и отправили сеяться. Посеяли. Опять беда. За все лето не выпало ни капли дождя. Все посохло. Вот тут и по-

могли эти рудники. Они всех принимали! Вот тут работа и закипела, пошла молодежь на работу, начали ее учить — всякие курсы пооткрывались.

— Да уж тут без похвальбы можно сказать — потрудились мы на славу, — подтвердил Нурлан. — У нас тут и курсы электросварщиков, и токарные, и школа плотницкого мастерства. Вы бы посмотрели, какие золотые руки оказались у вчерашних пастухов! Даже их русские учителя удивлялись.

— Я помню, мы об этом писали, — кивнул головой Хасен. Буркут сидел молча и думал.

— Все это, конечно, хорошо, — сказал он, — но вот вы сами говорите: перегибы, неурожай, народ хлынул на заводы — так ведь это голодная смерть их пригнала к вам. Я так вас понял?

— Так ведь этот рудник возник еще до коллективизации, — повернулся к нему Нурлан. — Тогда пришли к нам первые кадры — три четверти из них были пастухи и батраки. Мы уж тогда удивлялись их способностям: пришел неграмотный — и через шесть месяцев уже может собрать и разобрать мотор. Помните, вы к нам приезжали лет восемь тому назад. Вы, кажется, из аула Акпара ехали...

— Здорово! — удивился Буркут. — Ну и память у вас, вы до сих пор помните это имя!

— Так как же не помнить, когда он у нас работает! Что вы так удивились? Приехал как практикант, через год получит инженерный диплом.

— И он сейчас тут? — вскочил Буркут.

— Сейчас он как раз там, откуда вы приехали. В Алма-Ате. Отпустил я его на несколько дней. Говорит, неотложные семейные дела. Через пару дней тут будет. Что вы нахмурились, Хасен-ага?

— Длинные руки у байских сынков. — покачал головой Хасен, — ох и длинные же! Кто устроил его учиться? Теперь получит диплом, и опять не доберешься до него.

— А что до него добираться? — возразил Буркут. — Жизнь и медведя учит! Наверное, не с камнем за пазухой он сюда приехал.

— Ну, дай бог, чтобы так, — вздохнул Хасен, — дай бог, мы никого не отталкиваем. Кем ты был раньше — неважно, только будь сейчас человеком — вот мое отношение к людям. Только вот Акпару-то я не верю. Старик в Китай сбежал тоже не без его помощи. Уверен, что это так.

Нурлан только развел руками.

— А нагадить и кошка может, — вздохнул Хасен, — а такой злой да пробивной мужик, как... Ну да ладно, посмотрим.

Вошел Дьяков и остановился у порога.

— Здравствуйте, — сказал он.

— А, друг! — обрадовался аксакал. — Проходи, проходи.

Вот здесь садись. Сейчас есть будем. А потом чайку с тобой попьем. Мы оба с ним любители на это,— повернулся он к Хасну,— а Акпар это что же, сын Карымсака?

— Его самого.

— Видел я его раз. Суровый человек. Никогда не улыбается, только хмурится. А отец его, верно, бежал в Китай... Слышал я про его зимовку, отдали под завхоз.

— Под совхоз, аке,— засмеялся Нурлан,— завхоз это человек, а совхоз — советское хозяйство.

— Ну все одно: завхоз или совхоз. Я тебе не о том говорю. Я о том, что досталась зимовка бая Карымсака беднякам из аула Такежана. А ведь это какая зимовка! Шесть кирпичных домов, крыши железные, в каждом доме сто человек поместится, да еще сарай, да бочки, да всякое добро, а директором поставили Касыма — с таким директором жить можно, он сам не обидит и другому в обиду не даст. В засушливый год он ведь что сделал? Он с весны погнал людей яму рыть. Вырыли, загрунтовали — все цементом, цементом, налили до краев — вот и засуха не страшна. Только знай черпай да поливай. У других все погорело, а у него все цело. И картофель и капуста (старик выговаривал «картопель и карпуста»). Он и соседям помог. А в прошлом году рыболовецкую артель сбил возле озера — опять-таки, знаешь, сколько народу от голода спаслось? Вот что значит хороший хозяин.

— Это что за Касым?— спросил Буркут.

— Да это Костя, Костя сухорукий,— ответил Дьяков,— он родом русский, только у казахов вырос, вот его зовут Касым.

— Ах, Касым?— воскликнул Буркут.— Стойте, да ведь я его...

И он вдруг вспомнил то далекое утро в ауле Такежана — озеро, и на берегу его сухорукого Касыма-Костю, а рядом девушка с косами до самой земли. «Ее, кажется, звали Шолпан,— вспомнил он,— ну конечно Шолпан! Она так смотрела на этого Костю, что даже я позавидовал, я тогда же подумал: что надо у нас этому русскому? Почему казахской девушке понравился этот чужак? Ну, вот сегодня старик объяснил это. Спас целый аул, то есть сделал то, что я как раз сделать не смог бы».

В это время старик обидчиво попрекнул Дьякова:

— Да что ты его в Костю перекрестил? Такого имени у казахов нет. Касым он. Казах! И жена у него казашка, и дети будут казахи. Какой же он Костя?

Дьяков замешкался, а старуха посмотрела на мужа и махнула рукой:

— Совсем ты с ума сходишь, старик. Костя, Касым — какая разница? Кто как хочет, тот так и называет. А от своего

аула — русский ли, казах ли он — все равно не уйдет. Вот и все, а то заладил...

— Ну, ну,— сказал старик, видя, что гости засмеялись,— я слово, ты десять. Такая культурная стала, что хоть радио не слушай! Да,— обернулся он снова к Буркуту,— я все про Карымсака думаю. Вот драл он с живого и мертвого, не спал ни день, ни ночь, скопил, говорят, мешок золота. Целый аул для себя выстроил. Дом десятикомнатный, и вот чужие люди будут теперь жить в нем, а он ни при чем.

— Ничего, он и с собой увез порядком,— усмехнулся Хасен,— такой никогда не растеряется.— И спросил Нурлана:— А что, Акпар верно в Алма-Ате?

Нурлан пожал плечами:

— А кто же его знает! Отпрашивался точно в Алма-Ату, а там... да нет, в родном ауле у него дел быть не может.

— А может, все-таки есть?— спросил Хасен задумчиво.

Тут вошла жена Нурлана и пригласила всех к столу.

...Засиделись далеко за полночь. Потом, когда убрали мясо и принесли чай, Буркут поднялся, шагнул к двери конторы, распахнул ее прямо на улицу и встал, прислонясь к косяку. Подошел Хасен.

— Что это ты?— спросил он его вполголоса.

— Да вот смотрю,— ответил Буркут неопределенно.

Хасен обнял его за плечи и подвел к столу:

— Идем, а то чай остынет.

Буркут сел, и хозяин протянул ему через стол целую пиа-лу чаю.

— Пейте, ага, и потом ляжем спать. Завтра у нас хлопот полон рот. Будем рвать камни у подножия Мохнатой сопки. А мне хочется вас спросить — что вам пришло в голову, когда вы смотрели на наш прииск? Вот типичный казахский аул — подумали вы. Так?

— Так,— удивился Буркут,— но откуда вы...

— А потому что не вы первый, это каждому приходит в голову. Так вот, говорю я, завтра мы рванем сопку, так кое-где стекла даже посыплются, а ведь люди и ухом не поведут. Как работали, так и будут работать, взрыв для них дело привычное. Вот это уж точно необычное для аула, тут уже не новые улицы, не каменные дома и даже не казах на тракторе, а новое сознание людей, крушение аульной психологии.

— Да, это так,— согласился Буркут (ему вспомнилось, как восемь лет тому назад, услышав первый взрыв, он подумал: «Лучше бы они мне сердце взорвали»)— Скажите,— продолжал он, помолчав,— а нам нельзя будет присутствовать при этом взрыве?



— Милости просим,— улыбнулся Нурлан, но тут Хасен сказал:

— Завтра не выйдет, пожалуй. Я совсем забыл, что завтра должно состояться первое собрание нового совхоза на зимовке бай Карымсака. Весь аул Такежана будет там.

— Ну и что?— спросил Буркут.

— Так вот, я думаю, нам надо быть там. Понимаешь, сердце у меня вдруг заломило. Ведь это аул Акпара. Вот, наверное, поэтому он и отпросился у вас. Разве он удержится, когда будут раздавать его исконную землю? Ведь он и до сих пор считает ее своей. Кроме того, там Шолпан. А ее он Касыму не простит.

— Поедем, поедем,— подхватил Буркут и даже для чего-то встал с места.— Надо обязательно завтра быть в ауле.

— Тарангас я вам дам— сказал Нурлан,— и кучера тоже. Пусть Петр Максимыч отдохнет.

...Выехали они на рассвете. Как раз тогда, когда по ту сторону горы раздался взрыв и черный столб поднялся к небу.

— Вот с этого взрыва я и начну свою новую поэму,— сказал Буркут.— Взрыв— символ новой жизни, расчет со старой. Не знаю, что у меня получится, но в голове бродит столько...

— Получится,— заверил его Хасен,— обязательно получится. Надо только захотеть. Ты ведь такой человек — тебе бы только захотеть. Ты посмотри,— он кивнул головой на лошадей,— тут и лошади уж не пугаются взрывов. Эй!— крикнул он молодому джигиту, сидящему на облучке.— Ну-ка, милый, гони. Во весь опор!

Джигит ударил лошадь камчой, гикнул что-то свое, и они понеслись.

— Главное, чтоб успеть,— вдруг непонятно к чему и о чем сказал Хасен.— Ну, да авось...

## II

С высоты сопки они смотрели вниз на озеро, и аул, расположенный на его южном берегу.

— Вот эти войлочные юрты среди тростников — это все аул Такежана,— сказал Хасен,— видишь, их еще и разбить как следует не успели. А зимовка Карымсака дальше в степь.

— Да, я знаю,— кивнул головой Буркут, вспоминая, в каких обстоятельствах он видел эти одноэтажные крепкие постройки из красного кирпича. Их было пять или шесть. Самая большая — дом Карымсака, и поменьше — дом для сына, дом для дочери, дом для старшей жены, для младшей, для гостей. Рядом с этими постройками стоят загоны, сараи и амбары. Все каменное. Здесь бай хранил муку и овес, тут же зимой стоял мясной скот и отборные скакуны, которых он не пускал

в табун. Еще дальше прямо на земле виднелись плоские крыши с подслеповатыми оконцами — в этих землянках жили батраки, чабаны и родичи, те, которые победнее. А еще дальше шла степь — отсюда километров на пятьдесят тянулись дедовские и прадедовские уголья Карымсака. Лучший кумыс в краю был от его кобылиц!

— Да,— сказал Хасен, и глаза его насмешливо блеснули.— Еще недавно можно было сказать:

Богат и славен Кочубей!  
Его воля необозрима!  
Там табуны его коней  
Пасутся вольны, нехранимы..

Теперь все это наше. Вот приведут в порядок все это байское хозяйство и заселят его. Пожалуй, к осени справятся с этим. Тут в десяти верстах каменоломня Кулан-гас, там камня на всю страну хватит.

Они съехали с сопки и только достигли первых построек, как сразу очутились среди галдящей толпы — люди стояли и смотрели на дорогу в город. Стояли женщины с грудными ребятами на руках, стояли ребятишки, столпившиеся в кучу, стояли всадники на конях, к ним теснились джигиты и бородастые старцы. Все это галдело, гудело, смеялось, переговаривалось.

— Что это они?— спросил Буркут.

Хасен пожал плечами:

— Увидим.

И тут вдруг все закричали и задвигались разом.

Из-за поворота дороги показались два грохочущих чудовища, совершенно черных. Они шли покачиваясь и грохоча, и этот грохот рос и рос и наконец стал уже таким, что заглушил голоса. Заревели дети. Одна лошадь вдруг взвилась на дыбы. А чудовища приближались, гудя и рокоча. Земля дрожала от их стального шага, и в такт ему из труб на голове чудовищ вылетал голубой дымок. Два молодых загорелых улыбающихся парня сидели за рулем. Чудовища остановились. Юноша на первом чудовище поднялся и помахал красным флажком. В толпе засмеялись и закричали.

— Тракторы,— сказал Хасен почти расслабленно.— Тракторы в нашей степи.

И вдруг Буркут схватил его за руку и крикнул:

— Ну, смотри, смотри, что это?

Передний трактор поравнялся с ними, и оказалось, что правит им женщина.

— Шолпан!— воскликнул Буркут.

Да, это была точно она. На ней был голубой комбинезон и платок. Волосы собраны на затылке в тугую узел.

— С ума сойти,— пробормотал Буркут.

— А ты разве не знал?— быстро повернулся к нему Хасен.— Как же! Закончила недавно шестимесячные курсы в Алма-Ате и получила права. И та, сзади, тоже женщина. А тракторы они гонят из города. Им это поручено как отличникам.

...Идут машины по степи, и за ними валит толпа. Впереди мужчина Костя-Касым. Идет улыбаясь, рубаха нараспашку, картуз в руке, что-то говорит, но ничего не слышно. И особенно всех умиляет искусство трактористок.

— Нет, ты смотри, как они сидят!— кричит через толпу какой-то здоровенный джигит.— Я бы хотел так сидеть на коне, как они.

— Вот тебе и баба,— отвечают ему,— вот тебе и жена. Пожалуй, теперь не покричишь на такую.

— Ну, теперь держись, Касым!— крикнул кто-то, и все засмеялись.

К приезжим через толпу подошел Такежан:

— Вы не обижайтесь, дорогие, что они и о вас позабыли на радостях. Ведь никто из нас не верил, что нам все-таки выдают тракторы. А тут еще ведут их женщины!

— Ничего, мы свои, аксакал,— сказал Хасен,— и рады меньше вас. И за ваш аул рады и за весь наш народ. Когда пахать-то думаете?

— Да вот земля немного просохнет, и начнем. Семена у нас есть. Правительство ссудило.

— А к севу вы не опоздали?— посомневался Буркут.

— Нет, дорогой,— махнул рукой старик,— здесь же внизу — сверху подсохнет, а внизу все равно сыро: мы и семена запросили специальные, скороспелые, их когда угодно можно высевать. Касым в этом понимает толк. Вот уж подлинно послал нам аллах человека! Он нам и зимовку Карымсака отвоевал. Если бы не он, мы бы и этих мест не видели.

— А сына вы его знали? Акпара? Он в этих местах не показывался?— спросил Буркут.

— Да, вот в том-то и дело, что, наверное, где-то здесь он бродил,— ответил старик.— Только вчера чабан говорил, что видели они какого-то джигита, около озера коня поил. Про наш аул спрашивал. По приметам похож на него, так вот мы и подумали — не он ли? А там аллах его ведает, он или не он.

На этом разговор и кончился. Никто к нему серьезно не отнесся, потому что никто не думал, что этот джигит мог быть действительно Акпаром. А на самом деле это был все-таки Акпар. Он даже сам не особенно хорошо понимал, что его влекло сюда, кого он искал. Впрочем, кого он искал, Акпар, конечно, знал. Искал Акпар Касыма-Костю. О, с этим человеком его связывало многое! И совсем не то, что Шолпан вышла замуж

за этого однорукого русского парня, привело его сюда. Во всяком случае, не одно это. Он ненавидел Костю тяжелой, затаенной ненавистью. Еще очень давно, тогда, на поминках Ахана, он решил во что бы то ни стало увидеть и разоблачить этого странного русского.

Вся история его, несмотря на кажущуюся полную достоверность, казалась Акпару совершенно невероятной. Чтоб русский пустил в себя пулю из-за слез старой казашки?! Из-за того только, что дутовцы разорили один аул? Так вот из-за этого русский стрелял в себя и только чудом остался жив?! Да пусть идут все к черту, кто рассказывает такие сказки! «Но так действительно было»,— возражали ему. «Пока не увижу его, не поговорю с ним, не поверю»,— отрезал Акпар. И вот им действительно пришлось увидеться.

После свадьбы Буркута Акпар не сразу перешел кордон. Он решил какое-то время выждать, спрятаться и поехал в родные места. По пути он остановился в ауле Такежана. Однако, к его великому неудовольствию, слухи о приезде важного городского гостя быстро разнеслись по округе. В юрту, где он остановился, вдруг пришло много гостей, и среди них Акпар сразу отметил высокого, синеглазого русского с рукавом, заложленным за пояс. «Так вот он, значит, какой, этот Касым-Костя,— подумал Акпар.— Да, красив, красив, тут ничего не скажешь. Такой может вскружить голову не только одной Шолпан!»

Разговор начался издали, с городских новостей, потом перекинулся на местные дела. Заговорили о рыболовецкой артели. Акпар знал, что сколотил ее Костя, и поэтому спросил, как идут дела у рыбаков.

— Да работаем!— уклончиво ответил Костя.— Денег вот только маловато. Не можем даже хорошие снасти купить. На старье работаем.

— Как же так?— неприятно улыбнулся Акпар.— Значит, работаете, и впустую? Известно ведь, старая снасть отдохнуть не даст. Нет, у хозяина так не было. У хозяина так было: кто работал, тот и денежки имел.

— Деньги и у нас будут,— сухо ответил Костя.

— Откуда же?— усмехнулся Акпар.— Что ж, государство вам, что ли, их подкинет?

И тут Костя в первый раз посмотрел Акпару в глаза и не улыбнулся.

— Государство,— ответил он.

— Здорово!— зло рассмеялся Акпар.— Да из какого же кармана? Нет, на государство, друзья, вам сейчас рассчитывать не приходится. Оно само еле-еле дышит. Теперь купцов нет! Повывели.

— Да не всех повывели-то! Но ничего, скоро всех выве-

дут,— ответил Костя.— Вот их деньгами государство нам и поможет.

— Это как же? У нас отберет, а вам даст, так, что ли?

— Так!— ответил Костя.— У бая Карымсака отберет, а нам даст!

— Здорово это у вас получится,— покачал головой Акпар.— Ах, как здорово!

На этом вот они и расстались.

«Вот кому бы надо первую пулю,— подумал Акпар.— Пошли мне только аллах хоть раз увидеть его наедине. Да ведь не увидишь!»

Тем не менее увиделись они на другой день.

Утром Акпар повел коня на водопой.

Солнце еще не всходило, но восток уже пояснил и порозвел. Озеро Коныр-Айгыр лежало в ложбине. По нему гулял слабый ветер, и к ногам Акпара бежали мелкие волны. Акпар поил коня и думал:

«У Карымсака возьмет, а нам даст! Вот как они теперь заговорили! И голос не дрогнул, когда он мне преподнес эдакое! Нет, с такими не сговоришься! Таким головы надо обрывать — вот это да!» И вдруг он увидел посередине озера лодку.

«Э, да это он и есть,— понял Акпар.— А что он тут делает? А! Сети он свои драные проверяет. Смотрит и не кланяется! Ну, погоди, погоди, однорукий черт! Подплыви к берегу!»

И вдруг случилось нечто почти невероятное. На совершенно спокойное, почти гладкое озеро налетел летучий шквал. Он прошелся над водой, пригнул тростник, закрутил волны, и лодка завертелась в воронке, как волчок. Через секунду однорукий очутился в воде. По существу, конечно, ничего особенного не произошло, такие молниеносные вихри часто пролетают в этих местах, и хорошему пловцу они не страшны. Но ведь Костя-то однорукий! Ну-ка, ну-ка! Акпар весь превратился в зренье, даже повод уронил. Голова Кости исчезла, а через несколько секунд показалась снова на этом же самом месте, затем он снова ушел под воду и вынырнул опять там же. «Что же он не плывет?— удивился Акпар и вдруг понял: да он запутался в лунке! А лунка-то вбита в дно.— Ну, теперь тебе каюк. Нет, есть все-таки аллах! Есть, есть! Кончил ты теперь ловить рыбку! Теперь рыбки поймают тебя!»

Он стоял и смотрел, как выбивается из сил однорукий. Но вырваться из лунки, намертво прикрепленной к шесту, совсем не легко. Тут нужно две руки, и было ясно, что надолго Касыма уже не хватит. Кроме того, его тянула намокшая одежда. «Конец!— подумал Акпар злорадно.— Все! Надо уходить». Он взял коня за повод и пошел.

«И ведь не кричит даже — вот упрямая сволочь! Знает,

что не пожалею», — подумал он, а когда обернулся через несколько шагов, то увидел: однорукий медленно и тяжело плывет к берегу. Значит, все-таки ухитрился вырвать лунку! Однако плыть ему было тяжело, он часто уходил под воду и, когда выныривал, хватал воздух ртом. Однако ни одного звука не издавал этот тонущий человек, даже и не глядел на Акпара. Через минуту он добрался до мелкого места, встал и перевел дыхание. Акпар вскочил на коня и ускакал не оглядываясь.

Так вот этот однорукий черт женился на его нареченной и собирается поселиться вместе с ней и своими голодранцами в отцовской усадьбе! И Акпар, законный наследник, бессилем ему помешать. Вот тогда-то он и решил окончательно: надо уходить. Поэтому он и приехал на рудник Ковыр-Айгыр. Здесь до пограничной полосы рукой подать, но раньше он решил свести счет с врагами. Вот почему уже третий день крутится около своей усадьбы, скрываясь то в камышах, то в тальниках, но выследить Касыма он все-таки не смог, — очевидно, тот не покидал усадьбы, а сунуться туда Акпар никак не решался.

Всего этого люди не знали, поэтому и Буркут никакого особенного внимания на рассказ старика не обратил. Тракторы проехали по дороге еще с полкилометра и свернули в степь к каменным сараям. Снова появился Касым. Он отдал какие-то приказания, и сразу же несколько джигитов бросились в сарай и вытащили оттуда один за другим пару плугов. Их прицепили к трактору — удивительно весело все это делалось, со смехом, прибаутками, визгом, — и вот тракторы с плугами стронулись с места, и первая борозда прошла по степи. Люди смотрели на то, как ровно, словно масло, разрезается земля и какие ровные черные жирные пласты ложатся.

— Подойдем поближе, — предложил Хасен, и опять их встретили смех и крики. Ведь это действительно чудо: трактор в этой степи. Трактор пашет землю. Трактор ведет женщина аула, и эта женщина — жена нашего Касыма — Шолпан. Чудо из чудес все это.

Слышались голоса:

— Да, это тебе уж не лошадка.

— Целый табун лошадей в этой одной машине.

— Ни есть, ни пить не просит.

— И не заболевает, небось.

Но кое-кто посомневался:

— Не болеет, так ломается.

— И сломается, так навсегда.

— Да, докторов нет.

— А встанет — так камчой-то не погонишь, придется в город ехать.

И тут Касым вдруг поднял над толпой свою единственную, но такую сильную и загорелую руку:

— Я буду доктором. Любой трактор на месте вылечу. Недаром на войне механиком был. Все знаю.

До позднего вечера люди толпились вокруг юрт и толковали о тракторах, а вечером собрались в доме старика Такежана, и Касым поделился своими планами: о том, сколько гектаров он думает поднять и засеять в этом году, сколько в будущем, какой скот они заведут, какое производство наладят. Разошлись глубокой ночью, и Буркут уже спал, когда его разбудил крик: «Пожар!».

Пылали сарай. Внезапно среди ночи неизвестно отчего загорелись металлические бочки с бензином.

Когда Буркут с Хасеном выскочили из зимовки, на месте сарая бушевал огненный смерч. Сила огня была такова, что кровельное железо горело, гремело, коробилось и скатывалось на глазах. Огонь выл и ревел. В воздухе носились огненные галки, иногда здание стреляло целым фонтаном желтых угарных искр или клубами иссиня-черного дыма. Вой и треск стояли в воздухе. Никто не решался подойти поближе, там бушевал огненный ураган — жар был такой, что в ближайших домах лопнули стекла. И вдруг Хасен вскрикнул и бросился к крайнему сараю.

— Тракторы! Тракторы! — крикнул он джигитам. — Надо вывести тракторы!

Бросились за ключами. Они были у Касыма, а он как нарочно куда-то запропастился. Шолпан же вместе с джигитами стояла в тени около озера, и ведра — пустые и полные — так и встали в ее руках. Но ключей у нее не было.

— Ломайте двери! — приказал Хасен. — Есть ломик?

Ломик нашелся. Взломали запоры и вывели тракторы как раз в то время, когда огонь подошел к сараям.

А затушили, затопили огонь только к рассвету. И тогда опять спохватились: а где же Касым?

— Уж не случилось ли что? — упавшим голосом спросила Шолпан, и тут на нее все набросились: что могло случиться, когда он никуда не отлучался и кругом люди. Придет!

— Не нравится мне это, — сказал Хасен Буркуту, когда они возвращались с пожара, — и пожар не нравится, и это исчезновение... Хотя кто мог поджечь? Как? Зачем? И где Касым?

Они сидели за чаем у Такежана, когда вбежали двое джигитов, и взглянув на их лица, Буркут вдруг все понял.

— Касым? — крикнул он, и тут один из джигитов вдруг заплакал.

— Что с ним? — спросил Хасен, подходя к другому джигиту.

— Убит,— ответил джигит,— пуля в затылок...— И рассказал о том, что труп Касыма они нашли в том самом месте, куда завели тракторы. Там стоял ларь для хозяйственных принадлежностей: лопаты, метлы, тряпки — так вот в этих тряпках и был труп Касыма. Очевидно, в него выстрелили, когда он подходил к сараю. «Зачем же он ночью туда пошел?» — удивился Буркут, но Хасен ответил: «Очевидно, чувствовал что-то неладное и пошел проверить. Он ведь знал, что Акпар где-то здесь...»

Так второй раз за сутки было произнесено имя Акпара.

А в третий раз Акпара назвал Буркут уже у следователя. Следователь приехал на следующий день и начал вызывать по одному всех взрослых колхозников. Когда дошло до Буркута, он и сказал: «Подозреваю Акпара». И, очевидно, это имя следователю было уже знакомо, потому что он даже не спросил, что это за Акпар, а просто попросил обосновать свое подозрение. «Ну, этого всего еще недостаточно», — поморщился он, когда Буркут сказал ему, что эти земли принадлежали отцу Акпара и Акпар их до сих пор считает своими. Кроме того, позавчера, очевидно, его видели здесь, у озера; в ауле он так и не появился. «Мало, мало, — повторил следователь, — даже для подозрения и то мало». Буркут сам знал, что мало, но уверенность от этого в нем не поколебалась. Он был просто убежден, что и убийство и пожар дело рук Акпара. После него следователь вызвал Шолпан, но она только плакала и повторяла: «Акпар! Акпар все может! Все, все!»

Вечером следователь зашел к Такежану и предложил Буркуту пройтись (Хасен спешно выехал в город). Это был высокий светловолосый русский парень, курчавый, голубоглазый, чем-то очень похожий на Кольцова.

— Я ведь первый раз в ауле, — сказал он просто, — а здесь такая красота! Вот и хочется после всего этого ужаса просто спокойно побродить по степи.

Они пошли на берег озера. Было тихо и безветренно. Солнце не палило, а, закутанное в облако, стояло над землей. Воздух был напоен речной свежестью и запахом трав.

— Какое приволье! — вздохнул следователь. — И что же, все это, — он сделал круговой жест рукой, — принадлежало одному человеку?

— До горизонта и еще верст на пятьдесят все вокруг было родовой собственностью отца Акпара, — ответил Буркут.

— Да, да, Акпара. Акпар! — задумчиво кивнул головой следователь. — После вас я это слышал сегодня раз пятьсот!

— Ну и что? — спросил Буркут.

Следователь наклонился и сорвал какую-то травинку.

— Да что? Мало! Все-таки очень, очень мало! Конечно, мы его сразу же вызовем, допросим, узнаем, где он был в эти



дни, даже возьмем, очевидно, подписку о невыезде, но это и все, что пока возможно. Ведь никаких прямых указаний на него нет. В этот день в ауле он вообще не появлялся, так что, если он скажет, что ночь провел в степи, придется поверить. Да и он ли еще это был? Опознает ли его этот чабан? В общем, сплошной туман. Ни один прокурор не даст санкцию на арест.

— Но труп-то Касыма не туман,— сказал Буркут. Ему и нравился и очень раздражал его этот следователь — раздражал своей нерешительностью, осторожностью и даже, как ему казалось, робостью.

— Да, труп в ларе с тряпками и пожар — это, к сожалению, не туман,— согласился он,— это, конечно, факт классово-вой борьбы в ауле или, как пишут в газете, вылазка классового врага. Что делать? Таких смертей еще будет немало.— Он вдруг посмотрел на него и улыбнулся:— Вот так-то, дорогой товарищ писатель. Очень мне понравилась ваша статья об убийстве девушки и ее жениха: с настоящей страстью была она написана. И вы, верно разглядели, что тут была не только месть людям, но и месть классу — с байской бы дочкой он, небось, так не поступил бы. Получил бы отступное, и все! Его особенно ведь что обидело? «Кто это меня оскорбил? Перекаганая голь мной пренебрегла! Новые порядки, видишь, почувствовала! Так я им покажу новые порядки!» И тут то же самое: «Мы вам покажем, что такое «наша земля, наши тракторы, наш аул».

— Да, это так,— вздохнул Буркут.— Очевидно, все обстоит именно так. Я буду писать об этом.

— И отлично сделаете,— подхватил следователь,— тогда, что бы там ни выяснилось в дальнейшем, смерть Касыма не пройдет даром, а это очень важно!

Они пробродили до темноты, и, когда Буркут вернулся, всюду в ауле уже зажгли огни.

— А мы вас уже искали,— сказал старик Такежан,— потом ребята сказали, что вы около озера бродите. Доктор приехал.

На другой день в сарае, где стояли тракторы, было произведено вскрытие, вынута и приобщена к делу пуля, Буркут с Такежаном одели Касыма в новый костюм (Шолпан стояла около сарая, но к телу мужа ее так и не допустили).

Вечером начались похоронные обряды. Хоронили Касыма по старому казахскому обычаю. В степи, метров за сто от аула, поставили черную юрту и у входа повесили конский хвост. Теперь всякий приезжий знал, что в ауле покойник. С подветренной стороны под черной попоной привязали коня Касыма. Хвост и гриву ему остригли. Таков обычай. Вечером из города вернулся и Хасен. И они все — следователь, доктор,

Хасен, Буркут — пошли проститься с телом. Когда они приблизились к юрте, Хасен вдруг схватил Буркута за руку: «Смотри!» По степи мчались три джигита — они плакали и кричали. «Родимый, родимый! Что с тобой стало!» Не доскакивав шагов пятьдесят до юрты, всадники соскочили с коней и пошли пешком. Так почтили умершего джигиты из соседнего аула. Когда толпа провожающих вошла в юрту, сразу же завыли, заплакали, закричали женщины. Целую ночь они просыдели над телом, целую ночь пели они и плакали. Поют они и сейчас, подперев бока и раскачиваясь. От слез лица их распухли, глаза стали красными. Песня над покойным называется жоктау. Она состоит из нескольких четверостиший. Поют ее по очереди. Одна женщина начинает, другие продолжают. Каждая поет только свое жоктау.

Шолпан поет:

Как будто мой родник иссяк,  
Трава моя завяла.  
Когда он к нам пришел в аул,  
Едва солнце засияло.

Касым лежит под простыней. Его одежда — белье, бархатный чепан, брюки военного покроя — висит рядом. Так и не довелось ему надеть, на праздники все берет, и вот...

Поют и поют женщины. Приехал названный отец и сидит в изголовье гроба — неподвижный, суровый, как будто каменный. Никто с ним не смеет заговорить. Но ведь надо договориться о похоронах. И вот самый пожилой гость наклонился к Такежану:

— Вы видите, аксакал, что и мы, ваши соседи, переживаем вашу потерю, как свою. Весь род каржасов плачет вместе с вами, но слезами мертвого не воскресить. Давайте думать о том, как мы будем хоронить Касымжана.

Все замолчали. Вопрос действительно был сложным.

— Да ведь он большайбек, — робко сказала Шолпан.

— Да, а большайбека хоронят как-то по-особому, — сказал Такежан, — и над могилой его ставят не полумесяц, а звезду. Красную звезду с серпом и молотом.

Но старец, сидящий в изголовье, решил иначе:

— Аллах есть у всех — все мы его дети, а большайбек или же большайбек — это ему безразлично. Хороший неверующий ему всегда угоднее правоверного злодея. И тот, кто убил Касыма, обязательно попадет в ад, хоть читай он Коран день и ночь. А похоронить Касыма надо по-мусульмански, чтобы он попал прямо в рай. Так что давайте читать Коран и петь похвальные — жаназы, как над правоверным.

И, сказав эту, видно, непривычно большую для него речь, аксакал замолчал и больше уже не сказал ни слова.

...Похоронили Кэстю-Касыма на старом полузаброшенном кладбище, некогда принадлежавшем дому карымсаков. Здесь лежали прадеды и пращуры этого рода. Над некоторыми из них стояли каменные или глиняные мазары, купола, каменные чалмы, полумесяцы, плиты с изречениями из Корана. Некоторые могилы уже начали разваливаться. Покосились каменные плиты, обрушились глиняные купола. Кочевники не особо часто посещают кладбище, ведь шиче они здесь, завтра — там, так где же им смотреть за могилами? После бегства Карымсака в Китай никто здесь не был, и кладбище пришло в ветхость, часть могил провалилась, и на месте холмов стояли ямы с зеленой и черной водой, другие оползли, заросли травами, превратились в простые зеленые холмики. Кладбище стоит на горе, и его видно отовсюду на много верст. На самом верху холма и выкопали эту новую могилу. Тело Касыма обернули в двойной войлок и положили головой к западу, только лицо, открытое до половины, все еще смотрело на солнце. Постояли в молчанье сколько положено и по приказу Такежана начали засыпать могилу. Старик Такежан тоже наклонился, взяв кусок глины из могильного холма, раскрошил его между пальцами и бросил в яму.

— Да будет тебе земля пухом, спи мягко, Касымжан! — сказал он. — Прощай, родной!

Когда вырос холм, старики молча расселись. Один открыл книгу.

— Агузу билляхи имана шайтан... — прочел он распевно.

...Хасен и Буркут еще с неделю прожили в ауле. Хасен ходил с джигитами по полям и что-то объяснял им, а Буркуту хотелось быть поближе к центру событий. Он думал почему-то, что в ближайшее время убийство будет обязательно раскрыто, но и через неделю ничего толком не удалось выяснить. Приезжал еще раз следователь и сказал, что пуля револьверная — скорее всего выпущенная из бельгийского браунинга. Такой браунинг Буркут действительно видел много лет тому назад в руках у Акпара. Тот даже дарил ему этот браунинг, «у меня еще есть», но, разумеется, и это еще ничего не значило. Подумав, что уж слишком многое пришлось бы рассказать, он даже не сказал об этом следователю.

Когда они выехали из аула, он уже знал, как будет начинаться его поэма о Касыме.

### III

Ханшаим проснулась оттого, что кто-то осторожно царапал ногтем стекло. Она встала, накинула халат и подошла к окну.

Плотный человек стоял за кустом и глядел на нее через ветки. Лица его она не различила. «Кто-нибудь от Хасена»,— подумала она. Он иногда посылал к ней колхозников с запиской: «Походи по магазинам с такой-то, помоги выбрать материал» или «сходи с такой-то в наркомат и постарайся выяснить для нее то-то и то-то». Иногда и просто слал людей, чтобы она их устроила у себя. Правда, до сих пор с такими записками приходили все больше женщины и днем, но мало ли что. В общем, она открыла форточку.

Человек вышел из кустов, и она узнала его. И так была поражена, что только и спросила:

— Ты?

— Я,— сухо ответил гость.— Открой окно.

И, не понимая, как и почему, Ханшаим послушно подняла шпингалет.

— Не распахивай!— предостерег он и легко перемахнул через подоконник. На нем был брезентовый плащ и светлый летний костюм.

— Вот где пришлось увидеться,— сказал он, проходя и всматриваясь в ее лицо.— Ну что ж, а мужа-то нет?

— Нет,— ответила она все в том же странном оцепенении. Его грубое, смуглое, чисто выбритое лицо при лунном свете казалось таинственным и значимым.

— Ну что ж, тогда, может, пригласишь зайти?— усмехнулся Акпар.

«Теперь уж все равно»,— подумала она и молча прошла вперед.

— Это столовая?— спросил Акпар, проходя за ней, и остановился возле большого трюмо.— А вы, я смотрю, обставились: трюмо, ковер, фарфор, шкаф, скатерть шелковая. Ну что ж, дай вам аллах!

«Но что ему все-таки надо?»— подумала Ханшаим и спросила:

— Есть хочешь?

Он усмехнулся:

— Да не откажусь, не откажусь, сестра. Но сначала вот что: если тебя кто-нибудь спросит, видела ли ты меня,— не видела и не слышала, понимаешь?

— Понять не трудно,— усмехнулась она.

— Ну вот,— сказал он,— где у вас телефон?

Она секунду поколебалась и ответила:

— Там.

Он быстро отворил дверь в соседнюю комнату. Телефон стоял на ночном столике. Он подошел и поднял трубку, послушал и снова опустил.

— Ты хотела мне принести поесть,— сказал он,

Она пошла на кухню и принесла хлеб и миску с холодным мясом. Потом подумала и достала из шкафа бутылку с водкой.

— Иди,— сказала она.

Он встал и пошел в столовую. Увидел водку и засмеялся.

— Я ведь туго пьянею, сестра,— сказал он,— особенно сейчас.— Взял стакан и налил себе половину.— Ну, за встречу! Ты, конечно, не пьешь? И правильно делаешь, жить с таким мужем и пить...— Он выпил, налил себе еще.— А я вот пью, сестра! Приходится! Жизнь такая.

Она вдруг совершенно успокоилась. Ей все стало понятно. Акпар, конечно, скрывается. Поводов для этого сколько угодно. Как его жизнь ни учит, а от своих повадок отказаться не может. Ему кажется, что он все еще байский сынок, что его слово — закон, а камча — его довод. А так как нрав у него дикий, то и приходится после очередного скандала срываться с места и спасать свою шкуру. А кажется, чего бы не жить? Зарабатывает неплохо, силен, молод, собой не плох, за него любая девушка пойдет — и вот же нет, не живется ему как человеку! Постоянные истории! В общем, ничего уж больно плохого она не подумала. К тому же и сам Акпар (после второго стакана его изрядно развезло) развалился на стуле и начал жаловаться. Впрочем, даже хорошо не поймешь, жаловался он или попрекал: выходило так, что в его несчастьях виноваты все, только не он сам. Когда Ханшаим намекнула ему об этом, он впал в полный раж.

— Да что ты такое говоришь?!— закричал он.— Нет, ты подумай сама — что такое ты сказала?! Меня гонят, как зверя, за то, что я сын своего отца. Зачем ты родился в семье бая?— спрашивают меня. Хорошо, отвечаю, я виноват, но родился же! Что мне теперь делать? Пойти к дедовскому озеру, да и утопиться? Так бы и сказали бы! А то нет, дали мне сначала образование, назначение, велели — иди, мол, работай, а потом начали вызывать на собеседования. Где твой отец, да как это он бежал, да не с твоей ли помощью? И тебя еще поминают! Как же, спрашивают, твоя сестра не послушалась отца, сбежала с дороги, а ты ее за это до полусмерти камчай засек. Да еще где — в доме мужа?! Это ты, что ли, рассказывала?— спросил он в упор. Она покачала головой.— Ну, значит, твой муженек! Ему я, оказывается, чем-то еще дорогу пересек! Ладно, сейчас об этом разговора нет. Дальше: отдай золото. Какое такое золото? То, что тебе отец оставил! Никакого он мне золота не оставлял, все увез с собой, и живу я на зарплату. Брось, говорят, на зарплату так не живут: ты пьешь, гуляешь, коня себе купил, каждый год в свои места ездешь, там деньгами сорешь — так на зарплату не живу! Ну, что там еще толковать? Нет, сестра, здесь мне не жизнь!

И есть у меня только два пути: либо в омут, либо в Китай. Тебе хорошо, ты, как собачка, приластилась к человеку — и вот уж от тебя ничего не осталось — вся его. Даже фамилия его. Мне так не жить. Я сам по себе. А деньги... деньги, хм! Есть деньги! Есть! Только им-то их не видать. Все с собой возьму. Ни копейки не оставлю никому. Правильно?..

Он говорил ожесточаясь, все больше размахивая руками, смеясь и грозя кому-то. Допил бутылку до конца и заснул в кресле.

Утром Ханшаим разбудил телефон. Она взяла трубку. Говорил Буркут. Он сказал, что у него письмо от Хасена. Сам он задержался в районе в связи с убийством Касыма. «Кого?» — спросила она, и Буркут объяснил:

— Кости-Касыма. Ну он, когда приедет, объяснит вам все. Убили молодого джигита. Убили и засунули тело в деревянный ларь в сарае. А сарай подожгли. Хотели тракторы сжечь.

— Боже мой! Кто же это? — спросила она.

Буркут замялся.

— Тут многое говорят, — сказал он, — ведь аул-то Карымсака, вашего батюшки.

— Ну и что ж? — крикнула она.

— Ну и вот... — еще неловче и путанее продолжал Буркут, запинаясь на каждом слове, — сам-то он бежал в Китай, а сына его видели недавно в этих местах. До этого он лет шесть тому назад изувечил камчой жену Касыма.

— Акпар! — воскликнула она и обернулась.

Акпар стоял возле нее. Она быстро простилась с Буркутом, сказала, что ждет его с письмом. С минуту брат и сестра стояли друг против друга и молчали.

— Так вот какие дела, — сказала она. — Вот почему ты тут.

— А что такое? — спросил он.

Она все еще стояла с трубкой в руке.

— Убили Касыма и сожгли склады, — сказала она. — И на нашей зимовке. В это время ты тоже был там.

— Я не был там, — сказал Акпар.

— Кроме того, ты избил жену Касыма...

— Она была моей невестой.

— А я была твоей сестрой, — усмехнулась Ханшаим. — А всех, кого ты считаешь своими, ты lupишь камчой. Так вот что, брат. Я не считаю, что ты убийца и поджигатель, и это дело, конечно, разъяснится, но уходи от меня немедленно. Ночь ты проспал, сейчас раннее утро...

Он сжал кулаки, и лицо его уже покраснело.

— А если я не уйду? — спросил он тихо. — Ты что, позволишь в милицию?

Она положила трубку и подошла к ребенку,

— Звонить я не буду,— сказала она, подтыкая под ребенка со всех сторон одеяло,— но через полчаса придет Буркут, и тебе придется говорить с ним.

— Та-ак!— протянул он, глубоко вздохнул и на секунду закрыл глаза. Было видно, каких невероятных сил ему стоит сдержаться.— Та-ак!— повторил он и открыл глаза.— Значит, ты меня выгоняешь? Ну хорошо! Но если я выйду, а ты позвонишь по телефону...

Она раздраженно пожала плечами и отвернулась. Он постоял и вышел. На пороге обернулся.

— Ну, помни, сестра,— сказал он,— помни, что я пришел, а ты меня прогнала. Помни об этом, пожалуйста.

Все это Ханшаим рассказала Буркуту, когда он пришел к ней с письмом. Услышав, что Акпар только что был здесь, Буркут взволновался настолько, что с минуту не мог даже говорить. Потом спросил: «Куда же он пошел?» Ханшаим сказала, что не знает, но что вообще-то он решил перебраться в Китай к отцу. «Ну это мы еще посмотрим»,— зло сказал Буркут и ушел.

В милицию, однако, он не пошел. Вовремя сообразил, что тогда ему пришлось бы обязательно говорить и о Ханшаим. «Пусть уж придет Хасен,— подумал он,— ему виднее».

А Хасен приехал через три дня вечером и сразу же позвонил Буркуту. У него был утомленный глухой голос.

— Ты зайди, пожалуйста, завтра,— сказал он,— есть о чем поговорить.

— А что такое?— спросил Буркут.

— Да вот зайдешь, поговорим,— ответил невнятно Хасен,— эдак часов в пять,— и повесил трубку.

«Значит, жена ему рассказала об Акпаре,— подумал Буркут,— и он, конечно, страшно рассердился на нее. Глупо. Надо будет ему сказать».

Ровно в пять часов он подошел к Хасену и увидел, что около его дома народ, а во дворе и у входа стоят милиционеры. Он сначала ничего не понял, поднялся уже на крыльцо, но кто-то взял его за рукав и сказал:

— Туда нельзя.

— Почему?— спросил он.

— Там их всех убили.

— Как?— воскликнул Буркут, и ему показалось, что не то над ним смеются, не то он не понял, что ему сказали.— Как убили? Кого? Кто?

— А вы что, родной им, наверно?— спросила какая-то старуха, стоящая рядом, и утерла глаза концом платка.

— Злодей убили,— повернулся к Буркуту благообразный седенький старичок в черной поддевке.— Он их, надо пола-

гать, во сне всех положил, потому что никакого крика не было. Я сосед их, сплю чутко, слышал бы.

— Пустите! — отчаянно крикнул Буркут и полез через толпу. — Пустите! Я должен быть там! Я знаю, кто это...

Он так кричал, что на крыльцо из комнаты вышел человек в штатском, посмотрел на него и что-то негромко сказал милиционеру, дежурящему около двери.

— Товарищ, который кричал, — сказал милиционер, — поднимитесь-ка, просят пройти.

В комнату, где произошло убийство, его не пустили.

— Вот через это окно он пролез, — сказал штатский (он оказался следователем) и чуть приоткрыл раму. — Видите, рама неплотно прилегает к косяку. Сюда он просунул нож и откинул крючок. На стекле есть отпечатки пальцев, может быть, преступника!

— Да, — сказал Буркут. — Да!

Штатский оказался знакомым. Буркуту как-то уже приходилось встречаться с ним. Однажды редакция послала его в уголовный розыск, чтобы получить сведения о каком-то деле, и его принимал вот этот самый человек. Тут же, стоя около окна, Буркут начал рассказывать ему о вчерашнем разговоре по телефону, но тот после первой же фразы прервал его:

— Все это вы расскажете в управлении. Пока посидите. Я сейчас освобожусь и поеду, — и опять вошел в спальню.

Из управления Буркут вышел уже ночью. Он остановился посередине мостовой и с минуту простоял неподвижно. Страшная, поистине кладбищенская тишина наполняла его, и не хотелось уже ни идти, ни кого-нибудь видеть. И разговор с Ольгой был бы ему непереносим.

Он перешел улицу и вошел в парк. Это был старый, известный каждому алмаатинцу парк, посаженный лет пятьдесят тому назад отцами города. Сейчас его называли «сосновым», потому что в нем росли огромные сизые тянь-шаньские ели, и «детским», потому что его отдали пионерам. Днем он был заполошным, шумным и пестрым, как попугайчик. Сейчас он молчал, и даже ели были темны, черны и походили на кладбищенские кипарисы. Буркут сидел и думал. Значит, после того как его прогнала сестра, Акпар пошел искать себе пристанище и где-то нашел его, где — неизвестно, и, пожалуй, не особенно важно, но нашел, — из города, во всяком случае он не уехал. Сидел где-то и ждал. И дождался приезда Хасена. Как он узнал об этом — тоже неизвестно, но в первую же ночь он и пришел к нему. Помогал ли ему кто-нибудь? Сказать трудно, но по всей вероятности, нет. Просто не требовалось ему помощников, да и не любил он их. «Значит, — думал Буркут, — ночью он вышел из дома. Прошел по сонным улицам и, наверное, не встретил ни одного человека. У него было все наготове:



пож, чтобы убивать, револьвер, чтобы отстреливаться, а может быть, где-нибудь во дворе и лошадь, чтобы скрыться, если его заметят. Мучила ли его совесть, когда он перепрыгивал через забор, открывая лезвием ножа запор окна, и, наконец, перепрыгивал через подоконник? Задумался ли он хоть на секунду перед тем, как толкнуть дверь комнаты? Что он чувствовал, когда смаху полоснул ножом по горлу сестры? Когда с ревом, еще толком спросонок не поняв, в чем дело, на него накинулся Хасен, а он точно рассчитанным коротким движением саданул его под сердце? И потом, когда он, осторожно обходя трупы и кровь (ни на полу, ни на кровати не обнаружили ни одного следа), покинул комнату, чувствовал ли он что-нибудь, кроме желанья скорее уйти подальше?» Буркут знал, что нет — совесть Акпара не тревожила. Да и с чего бы она стала его тревожить? Он никогда не нарушал адата — а убийство сестры, отрекшейся от своего рода и веры предков, по этому самому адату можно было даже, пожалуй, счесть подвигом. А во всем остальном он был мало-мало но свят: долгов не делал, не воровал, товарищей не предавал, советскую власть искренне считал исчадием ада, так что двери в рай были перед ним широко распахнуты. Подумав о рае и Акпаре, в белоснежной одежде шествующем в этот рай, Буркут вдруг вскочил с места, сел и опять вскочил. И другая мысль, неотвязная и мучительная, как бред, пришла ему в голову. Он подумал, что совсем недавно этот человек считал его своим другом, а он считал его своим героем. Он вспомнил, что за Акпаром и тогда было несколько дел, меньших, конечно, чем это убийство, но все равно таких, от которых можно было прийти в отчаяние. Но тогда он не только мирился с ними, но даже считал их необходимыми, так как они свершались во имя их общего дела, — так вот оно, их дело! Залитая кровью кровать и два любимых им человека, зарезанные во время сна. Двухлетний ребенок, потерявший в одно мгновение мать и отца, убийца, бегущий от заслуженной им пули, — вот их общее дело. Он опять вскочил, прошел пару шагов, что-то бормоча, и опять сел. И он был с ним! И если бы это знали люди, которые допрашивали его, то они говорили бы с ним совсем иначе, и это было бы заслуженно, заслуженно! Сто раз он заслужил и недоверие, и подозрительность, и насмешку — и все, с чем к нему могли бы обратиться эти люди, если бы знали!

Так он сидел, раскачивался, морщился, как от боли, и бормотал что-то, когда до его плеча осторожно дотронулись. Он вскочил в ужасе. Перед ним стояла Ольга.

— Милый, — сказала она тихо и, присев, обняла его за плечи, — у тебя все лицо мокрое.

Он вцепился в ее руку, прижал ее к лицу и заплакал уже освобожденно и тихо. Казалось, как будто какой-то нарыв на-

конец созрел и прорвался в его душе. Сразу стало легче. Она молчала и гладила его по голове. Через минуту он утих.

— Откуда ты?— спросил он, еще всхлипывая.

— Я искала тебя,— ответила она,— пошла к Хасену. Там парод, и меня не пустили. Сказали, что ты здесь. Я позвонила и нашла нужный кабинет. Мне сказали, что ты уже час как вышел. Я и подумала: наверное, ты где-нибудь тут, только у тебя нет сил подняться — ну вот и пришла сюда.

— Ольга,— сказал он,— милая моя! Только, ради бога, будь всегда такой хорошей, как вот сейчас. Будь, пожалуйста, всегда такой же.

Она улыбнулась и поцеловала его в мокрую щеку.

— Хорошо,— сказала она,— буду! Поднимайся, идем! У нас Зура!

— Зура?— спросил он удивленно.

— Ну да, я ее взяла к себе! Не оставлять же ее там. И знаешь, что я думаю? Если у нее не найдется родственников, пускай она вообще всегда живет с нами, а?

Так Зура Хасенова стала дочерью Буркута.

В день похорон Хасена в республиканской газете появилось стихотворение Буркута «Клятва», и в тот же день перевод его появился в русской газете... Вот так он выглядел:

Мой друг, ты пал от вражьиx рук,  
И кровью слезы стали наши.  
Ты недвижим в гробу, мой друг,  
И бледный лик твой тих и страшен.  
Я клятву страшную даю:  
Отмстить врагу за смерть твою!  
Всю жизнь ловил свою я тень,  
Но только окровавил ноги  
И, заплутавшийся в дороге,  
Вдруг принял ночь за ясный день.  
Мой груз был губельно тяжел,  
Влачил я под тяжкой ношей,  
Но рухнул ты, мой друг хороший,  
Как пулей срезанный орел.  
И снова я огонь обрел  
В душе, подернутой порошей.  
Все, все теперь я отдаю  
На утверждение жизни новой,  
И старую домбру мою  
На лад настроил я суровый.  
И будет голос мой остер,  
И будет песня, как костер!  
Той песней клятву я даю  
Отмстить врагу за смерть твою.

Отмстить, однако, не удалось — Акпар как в воду канул. Был объявлен всесоюзный розыск, но и он ничего не дал. Через два года дело закрыли — ведь что ни говори, а вина Акпара документально доказана не была. Следов-то убийца не ос-

тавил. И все уже забыли о поисках убийцы, когда вдруг через пять лет Буркута вызвали повесткой в Верховный суд республики.

За несколько дней до его вызова в Верховный суд он зашел за письменным столом. Издательство подписало с ним договор на перевод «Хождения по мукам», и он спешил. Уже подходили и даже проходили все сроки. А эту книгу он хотел перевести во что бы то ни стало.

— Ты понимаешь, Оля,— говорил он жене,— это самое нужное нам сейчас. Каким путем интеллигенция шла к революции? Конечно, у каждого народа свой путь, но нам было намного труднее, чем русским. Ведь все наше прошлое было связано с мусульманским Востоком, а Россия нас пугала — она была завоевательницей. Вспомни-ка трагедию Чокана Валиханова. Увидев, что творят войска белого царя, он бросил все: друзей, науку, чины, привязанности — и уехал умирать в степь. Разве этот пример не стоял у нас перед глазами? Ведь у русских не было национального, народного вопроса — в том виде, в каком он стоял перед нами. Вот и вышло, что народ оказался мудрее, прозорливее своей интеллигенции,— он пошел прямо, а мы стали плутать, отсюда трагедия Ахана и моя.

Так вот он сидел над романом Толстого и, тихонечко постукивая карандашом, думал, как бы ему получше ухватить и передать простую, но очень энергичную реплику одного из действующих лиц, как вдруг раздался звонок. Он мгновенно похолодел, но сейчас же встал с места и пошел к двери. Около самого порога остановился и вошел в спальню. Ольга спала, сложив руки на груди. Зура разметалась в кровати: одеяло лежало на полу, подушка тоже. Он постоял немного над ней, потом поднял одеяло, укрыл ее и подоткнул со всех сторон.

— Ну спите спокойно,— сказал он, прошел в переднюю и спросил:— Кто?

— Телеграмма,— ответили ему.

Он улыбнулся и стпер дверь. Перед ним стояли двое военных и управдом. Управдом улыбался.

— Буркут Кунтуарович?— любезно спросил военный, стоящий впереди.— Здравствуйте. Простите, что мы вас побеспокоили в такой поздний час. Мы вас попросим подняться с нами на один этаж. Будете понятым.

— Как? — не понял и отступил Буркут.— Я? — Он всего ожидал, только не этого:— Понятым?

— Ничего, ничего,— заторопился управдом,— это как раз над вами. Знаете, тот профессор...— Он был добрым человеком, улыбнулся нарочно: ему хотелось успокоить Буркута, сказать ясно, так, чтобы он понял, что пришли не по его душу,

а по соседскую, по военный, сохраняя любезное выражение лица, повернул голову и так посмотрел на него, что управдом сразу замешкался, покраснел и смолк.

— Так идемте,— сказал военный.— Никого предупреждать не надо. Вы сейчас же вернетесь.

Вернулся Буркут только под утро. Ольга в кухне у плиты готовила завтрак. Зура прыгала рядом. Буркут молча прошел и сел на табуретку. Ольга мельком взглянула на него, но ничего не спросила. Заговорил он сам.

— Ты знаешь, Ольга,— сказал он серьезно,— я что-то ничего не понимаю. Я присутствовал сейчас на обыске. Увезли того старичка с собачкой. Ну, помнишь, мы еще гадали, кто он такой, и оказался археологом. Он и его жена такие потешные, маленькие. Так вот его уводят, а она стоит и кричит ему: не садись около окна, а то продует, ведь у тебя экссудативный плеврит.— Он скрипнул зубами:— Экссудативный!— и мелко замотал головой, как будто желая сбросить навязчивую боль.— Эк-ссу-да-тив-ный! Эх!

Ольга отставила молоко, которое кипятила, подошла и обняла его за плечи.

— Ну не надо,— сказала она успокаивающе,— что мы с тобой знаем? Разберутся, отпустят. Ведь надо же...

Но она и сама, так же как и он, не знала, что сейчас надо, что нет, и замолчала, беспокойно и неуверенно смотря на него. Он встал и сказал:

— Если кто будет звонить, скажи, что приду через час. Пойду пройдуся, голова что-то...

Он почти до вечера проходил по улицам. Дошел до Алма-Атинки — быстрой веселой речонки на окраине города — и уже на обратном пути встретил директора того издательства, где должен был печататься его перевод. Директор был невысоким плечистым мужчиной с гривой жестких полуседых волос. Он вечно спешил: то с работы на заседание, то с заседания домой, и сейчас, увидев Буркута, он тоже поднял руку, чтобы помахать и промчатся мимо, но вдруг, что-то вспомнив, остановился и спросил:

— Вас еще насчет Айбасова не вызывали?

— Насчет кого?— не понял Буркут.

— Ну насчет Айбасова Каражана,— объяснил директор.— Нет? Ну, наверное еще позовут, вы ведь с ним на ножах были. Я сказал об этом. Он и в издательство нам звонил, предупреждал: не связывайтесь с Кунтуаровым — очень подозрительный тип. А сам-то, сам...

И директор быстро рассказал Буркуту, что боевой подвиг Каражана на поверку оказался предательством, что не освобождал он партизан и красноармейцев от неминуемого расстрела, как это он приписал себе, на самом деле вел их под пу-

ли, ибо командовал карательным отрядом, что освобождение произошло случайно и от него не зависело — просто каратели наткнулись на залегший отряд и в панике бежали, бросив смертников, что единственно правда — это то, что он получил крупную взятку от брата одного из осужденных, купца Файзоллы, и должен был спасти всего-навсего одного человека — коммуниста Нуруллу — и так бы, конечно, и сделал, если бы не этот случай — партизанский отряд залег где-то в ложбине около места казни. Все это было рассказано несколько путанно, а кое-где даже весьма невнятно, но самое главное Буркут понял, и поэтому, когда его через неделю рано утром вызвали в прокуратуру республики, разговор, который ему пришлось там вести, не был для него неожиданностью. Но одна встреча в прокуратуре поразила его очень сильно. Следователь прокуратуры принял его не сразу: пришлось ждать. И вот пока он сидел и читал газету, вошла женщина и спросила: «Вы к Феофанову?» — и уселась рядом. Буркут посмотрел на нее. Ей было около тридцати пяти лет, она была красива — эдакая жгучая, стройная, немного худощавая женщина в последнем цвете яркой, но уже ущербной красоты. «Где же я ее видел?» — смутно подумал Буркут и вдруг вспомнил где: в Акшатыре лет пятнадцать тому назад, а если совсем точно, то зимой 1923 года. Тогда был наурыз-айт. Гулянье, много народу, разнаряженные тройки, и вот она пронеслась мимо него в легких санях, украшенных лентами и бумажными розами. Из всего ее убора Буркут заметил только брововую шапочку да черные перчатки с кружевами. Но лицо ее он запомнил навсегда. Жесткие, правильно очерченные брови, сочные губы и улыбку, такую улыбку, что... Тогда же ему объяснили, что это Марукей, дочь богатого купца, его единственная наследница. Сказали и другое: старик в дочке души не чает, матери нет, и поэтому удержу эта дочка ни в чем не знает, что хочет, то и творит. Больше Буркут ее не видел. Слышал, правда, что она вышла замуж за Караяна, но как-то никакого значения этому не придал. И вот довелось же им встретиться в коридоре прокуратуры и даже сидеть рядом. Чудна судьба! Что она только не выкинет? Он размышлял об этом и вдруг почувствовал легкое прикосновение.

Он обернулся — Марукей смотрела на него.

— Вы по делу Айбасова? — спросила она.

Он кивнул головой.

— Повесткой вызвали? Вот как! Вы долго были знакомы? Я что-то вас не помню. Я бывшая жена Айбасова, Я, понимаете...

Но тут отворилась дверь, и товарищ Феофанов показался в коридоре.

— Товарищ Култуаров?— спросил он.— Отлично. А вы?..— обернулся он к Марукей.

Та вскочила и сразу засыпала его вопросами и заявлениями, так что тот даже попятился. Она хочет развестись с Айбасовым. Как это можно сделать? Когда? А немедленно невозможно? Жаль! Она заявляет, что ни одного часа не пробыла бы с этим проходимцем под одной крышей, если бы знала, кто он такой. Но он так маскировался, так маскировался!..

— А кто же он такой?— спросил Феофанов.

— Раз вы его арестовали, значит, враг народа,— ответила она. Затем вот она сообщает, что ей удалось найти на чердаке стопку книг и тетрадок, и она принесла их в сумке — может, окажется что интересное для следствия, кстати, вот и заявление о разводе.

— Стойте, стойте,— сказал совершенно оглушенный следователь.— Бумаги у вас примут и дадут расписку в секретариате, а заявление вы снесите в загс, это к нам отношения не имеет.— И, не выдержав, вдруг усмехнулся и покачал головой:— Быстро вы это, очень быстро. Ничего не скажешь!— И кивнул Буркуту:— Вам придется подождать, товарищ, я сейчас закончу с этой гражданкой и займусь с вами.

Занимался он с Марукей больше часа, и, когда наконец позвал Буркута, вид у него был слегка растерянный.

— Хорошо,— сказал следователь, когда протокол допроса был заполнен,— теперь скажите, когда вы сегодня вышли из дому?

— Утром, очень рано,— ответил Буркут, слегка недоумевая,— вы же назначили в восемь.

— Да, да!— усмехнулся следователь.— А вы, наверное, даже газету не читали. Не успели? Ну вот, пожалуйста.— Он полез в стол, вынул газету и подал ее Буркуту.— Вот читайте сбведенное синим карандашом,— сказал он,— а я пока...— И он заслонился какой-то бумагой.

Через десять минут Буркут положил газету на стол и сказал:

— Да-а! И статья называется «На поводу у классового врага».

— Как вы ее расцениваете?— спросил следователь.

Буркут подумал. Он был почему-то удивительно спокоен. Так спокоен, что ему самому стало странно и страшно. Впрочем, это всегда находило на него в минуты опасности, а здесь опасность была крайняя, смертельная, и он осознавал это.

— Видите ли,— сказал он,— меня обвиняют в каком-то пособничестве Каражану, в каком именно — не поймешь, вот что могут, например, означать такие строчки: «Итак, Каражан разоблачен и обезврежен, но перед нами встает другой вопрос — как мог этот матерый враг, бывший белогвардеец, офи-

цер, палач и каратель, так долго работать среди нас незамеченным и перазоблаченным. Идиотская болезнь благодушия очень заразительная болезнь, но дело не только в ней. Что, например, сказать о Буркуте Кунтуарове, бывшем алашординце, которому Каражан Айбасов в свое время помог пробраться в Союз советских писателей и который отплатил ему тем же? Дальше идет уже не обо мне, но что значат эти строчки? Как это я отплатил Айбасову тем же? Чем именно? Принял его в Союз писателей, что ли?

— Вы знакомы с автором статьи?— спросил следователь.

— В том-то и дело, что знаком. И его и Каражана я увидел и услышал в один и тот же день, очень для меня памятный. Меня принимали в Союз писателей. И вот во время обсуждения и выступил этот самый Жолыбеков. Я сразу обратил на него внимание.

— Почему? Он был против вас?

— Нет. За! Против был Каражан, он ругал меня на чем свет стоит, и именно поэтому меня и не приняли. Жолыбеков же, наоборот, меня поддерживал. Но говорил общими трескучими фразами. Через пять минут я уже не понимал, о чем идет речь. Вот тогда я запомнил его на всю жизнь, и видите — недаром. Он и написал обо мне эту статью.

— И в ней нет ни одного слова правды?— спросил следователь.

— Да, в ней прежде всего нет ни одного слова обвинения. Потому что, если в обвинении нет конкретности, оно зовется просто бранью. А брань — по русской пословице — на воротах не виснет. Ведь даже трудно понять, что хотел сказать Жолыбеков фразой о том, что Каражан помог мне пробраться в Союз писателей, а я отплатил ему тем же. Как все это понять? Я не знаю... Если вы знаете, объясните.

Следователь засмеялся:

— Нет, я не знаю тоже. Давайте-ка я подпишу вам пропуск. До свидания!

Буркут в редакцию не пошел. Он вернулся домой.

— Что-то болит голова,— сказал он Ольге.— Полежу, отдохну. Если кто зайдет, скажи, что нет дома. Хорошо?

Эти дни потом вспоминались Буркуту, как какой-то угарный сон. Все случилось наоборот, все люди делали обратное тому, что следовало, как будто нарочно хотели казаться хуже, чем они есть. И, надо сознаться, достигали этого вполне. Одним словом, очень много неприятного произошло в эти дни, и каждая такая неприятность бросала Буркута в жар и холод.

Через несколько дней после первого вызова в прокуратуру последовал второй. На этот раз следователь встретил Буркута вежливо, даже, пожалуй, гостеприимно, но с какой-то, как сразу понял Буркут, затаенной мыслью. Он начал откуда-то очень

издалека, спросил о литературных делах, о том, над чем Буркут сейчас работает, потом заговорил о временах отдаленных, о деле Жабасы и потом вдруг спросил об Акпаре. И не просто об Акпаре, а о том, убежден ли он, Буркут, в том, что убийство супругов Хасеновых — дело его рук. Буркут сказал, что убежден. «Почему?» — спросил следователь, и Буркут опять изложил свои соображения и рассказал о последнем разговоре с Ханшанм. Она сказала, что Акпар, уходя от нее, угрожал: «Помни, сестра, что я к тебе пришел, а ты меня прогнала. Помни об этом, пожалуйста». Ханшанм была встревожена, когда передавала эти слова Буркуту. Убийство произошло через несколько дней после их последнего разговора.

— Да, это звучит довольно убедительно, — сказал следователь, — но тем не менее на основании только этих слов человека не осудишь. Ну, хорошо, значит, все эти дни от посещения сестры до убийства Акпар должен был быть в Алма-Ате, так? — Буркут кивнул головой. — Отлично. Где же он находился все это время? У него есть знакомые? Он мог быть у Каражана? Не знаете?

Следователь не допрашивал, а говорил, и даже не говорил, а спрашивал, горячо, настойчиво, и Буркуту во всем этом почувствовалось что-то личное.

— Нет, не знаю, — ответил он, — я их видел, правда, один раз вместе, это было в Акшатыре, и я уже рассказывал вам об этом, но больше ничего об их знакомстве сказать не могу. Ведь вам нужны факты, а не мои предположения.

— Да, да, именно факты, — кивнул головой следователь, — только факты, и больше ничего... Так вот, установлено документально, что в эти дни Каражана Айбасова в городе не было и находится он у него не мог, но в городе была его жена Марукей... — И он снова значительно поглядел на Буркута: — Скажите, говорит вам что-нибудь это имя?

Буркут пожал одним плечом:

— Если в этой связи, то ровно ничего.

— И никакие разговоры по городу об этом не ходили?

— Я по крайней мере не слышал ничего, — ответил Буркут, — об Акпаре говорили много, но совершенно по иным поводам.

Следователь встал и прошелся по кабинету.

— Ну, а вообще вы что-нибудь о Марукей знаете? Вы ее видели?

«Нет, ему что-то определенно нужно, — подумал Буркут, — и не по линии следствия». И ответил:

— Я ее видел два раза — несколько дней тому назад у вас и пятнадцать лет тому назад в Акшатыре. Вот и все.

Следователь потер руки:



— Так! Значит, вы не допускаете, что Акпар мог спрятаться у Марукей?

— Да нет, я просто ничего не знаю,— ответил Буркут.

И был составлен протокол допроса, в котором среди прочего было написано, что ничего предосудительного о Марукей Буркут не знает и считает недопустимой самой мыслью о том, что убийство супругов Хасновых как-то связано с ее именем. Он-то, правда, сказал «необоснованной», но следователь записал «недопустимой» и объяснил: «Бросать тень на женщину без всяких на то оснований — глупо и преступно.— Потом расчеркнулся на его пропуске и протянул руку:— До свиданья. Мы вас больше не потревожим».

Действительно, этот следователь больше Буркута не вызывал. Вызывал его совершенно другой следователь и разговор повел иной. Было это через два месяца после последнего вызова. В кабинете находились двое: высокий и низенький. Высокий представился Буркуту как прокурор республики по спецделам. Разговор сразу принял какой-то колючий оборот.

— С чего вы взяли ручаться за то, что Акпар не мог ночевать в доме Каражана Айбасова? Вот у нас есть все основания считать, что его жена принимала убийцу в отсутствие мужа. Что вы знаете об этом?

Буркут пожал плечами:

— Ничего не знаю.

— А пишете!— сказал, словно выругался, прокурор.— А вы знаете, что Феофанов арестован? Он женился на этой Марукей, не официально, конечно... но... и закрыл ее дело. Так вот сейчас оно возобновлено производством, и вам опять придется дать ответ на ряд вопросов, которые интересуют следствие. Садитесь. Будем заполнять снова протокол. Ваше имя, отчество, год рождения, занятие отца...

Низенький сидел, смотрел на Буркута и сдержанно улыбался. Очень нехорошо улыбался низенький, как будто бы знал что-то нехорошее.

...Буркут вернулся домой поздно, и на душе его было так темно и пусто, что он чуть ли не в первый раз в жизни подумал: «Напиться, что ли?» И тут к нему бросилась дочка.

— Папа,— крикнула она,— смотри, что сегодня получила!— И она сунула ему школьный дневник. Там стояла двойка.

— Это отметка, папа!— крикнула Зура, вся дрожа от возбуждения и всматриваясь в лицо отца.

Он улыбнулся, погладил ее по голове и поцеловал в лобик.

— Поздравляю тебя с первой отметкой, дорогая.

Утром он пошел в издательство. Шел сосредоточенный, затаившийся, готовый к любому столкновению с редактором. Но встретили его как обычно, и сразу же завпроизводством

схватил его за плечо и потащил в художественный отдел потому, что какие-то там заставки оказались неподписанными. Он подмахнул их не глядя и пошел домой успокоенный — все было в порядке.

А ночью вдруг вскочил и босиком подошел к окну. Ему слышался шум мотора. Чья-то машина остановилась под окном. Хлопнула дверь парадного, он ждал до тех пор, пока из дома не вышел таксист, а с ним вместе женщина — соседка по площадке. Женщина причитала и что-то доказывала шоферу, тот только кивал головой и ухмылялся. Муж соседки был пьяница. Его опять привезли домой. Соседка плакала. Буркут вздохнул и отошел от окна. «Я схожу с ума,— подумал он спокойно и горько.— Больше ничего. Схожу с ума. Надо лечь и заснуть». Он лег, но так и не заснул.

Заключенного из камеры сорок восемь вызвали в необычное время — ночью. Он шел по коридору и думал о том, что случилось, вероятно, что-то совершенно необычное, и ему предъявят какие-то совершенно неожиданные материалы. Например, обвинение в убийстве Хасена. Однако все оказалось значительно проще. Его провели через коридоры в другое крыло здания, подняли на лифте, снова спустили по лестнице, и вот уж конвоир постучался в высокую дверь, обитую черной клеенкой.

В комнате было светло, как днем, лежали и висели ковры, у стены стоял книжный шкаф, и человек, поднявшийся из-за стола, был совершенно незнаком.

— Давайте знакомиться,— сказал он спокойно.— Заместитель наркома Гаврилов. Садитесь за этот столик, курите. Как вы себя чувствуете?

«Что он хочет?»— подумал Каражан и сказал, что чувствует себя он хорошо, но только вот томит неизвестность, следствие настолько затянулось, что...

Гаврилов слушал и кивал головой.

— Вот для этого я вас и вызвал,— сказал он,— следствие кончаем в этом месяце, но у меня есть неясности. Вот вы, например, часто вспоминаете имя Буркута как своего прямого сообщника, в то же время, несмотря на вашу категоричность, никаких конкретных фактов не приводите. Где вы познакомились?

Каражан подумал и ответил, что в КазАППе.

— Но каким образом?— продолжал Гаврилов.— Вы же не член КазАППа.

Каражан на минуту стал в тупик: раньше никто таких вопросов ему не задавал — важно было показание: такой-то участвовал, помогал, был осведомлен и т. д.,

— Мы познакомились во время его приезда в члены КазАППа,— ответил Каражан.— Это было...— Он остановился, чтобы ответить. Ведь когда врешь, так легко запутаться в датах, деталях, но Гаврилов прервал его.

— Как это было — неважно,— сказал он,— важно другое — какая это была встреча? Вы что? Рекомендовали Буркута в члены ассоциации или...

«Ловит»,— подумал Каражан и ответил:

— Рекомендовать я не мог потому, что сам не состоял в организации, но поддержать поддержал.

— Словесно поддержали?

— Словесно.

Гаврилов порылся в бумагах, нашел какой-то лист и протянул Каражану.

— Это ваша рука?

«В дополнение ко всему сказанному мной на собрании,— писал Каражан в письме на имя председателя КазАППа,— я должен сказать по поводу возможного принятия Буркута в члены ассоциации следующее: ученик печально известного своей антисоветской деятельностью так называемого поэта Ахана Буркут Кунтуаров является подголоском той байской поэзии, которая непримиримо враждебна пролетарской революции...»

«Черт возьми, писал и забыл,— растерянно подумал Каражан,— да и кто знал, что эта бумажка сохранилась?»

— Что вы сможете сказать по этому поводу?— спросил Гаврилов.

И Каражану не оставалось ничего, как пожать плечами.

— Так!— Гаврилов встал из-за стола и подошел к Каражану.— Дело-то в том,— сказал он так же мягко,— что Буркута я хорошо знаю. В свое время арестовал его и выпустил, так что все ваши материалы мной проверены, так сказать, еще до написания. Зачем вам понадобилось запутать этого человека? Вы же совсем не знали его, а топили всю жизнь. И знаете, почему топили? Потому что он был не ваш, а наш, и вы чувствовали это. Слушайте, неужели вы и дальше будете путать следствие?

Каражан упрямо молчал.

Гаврилов вынул папиросу, но курить ее не стал, только поднес ко рту, да так и забыл в руке.

— Еще вопрос,— сказал он,— вы статью Кунтуарова о Жабагы помните?

— Помню,— ответил Каражан уныло.

— Жабагы получил высшую меру и был расстрелян, так? Он ваш близкий родственник. Как вы считаете, человек вашего склада и ваших возможностей может простить

эту статью ее автору? Не делается ли он его смертельным врагом? А?

...Когда Каражана увели, на столе у замнаркома оказался следующий документ:

«Настоящим я заявляю, что все мои обвинения в адрес поэта Буркута Кунтуарова совершенно не соответствуют действительности и полностью мной выдуманы из личных целей».

— Вот это правда,— сказал Гаврилов и снял телефонную трубку.

Всего этого Буркут не знал. Не знал он и того, что готовый ордер на его арест лежал уже на столе Гаврилова и не хватало только подписи замнаркома.

Но именно эта подпись так и не была получена.

Зато она была получена на бумаге о направлении дела профессора на следствие. Резкая, все зачеркивающая надпись: «Освободить за отсутствием состава преступления. Это чепуха — четвертый следователь — и никакой вины».

Так Буркут пережил зиму. Началась весна.

#### IV

У казахов есть такая пословица: «У горя седина в бороде, у радости солнце в очах». За последние два года Буркут даже внешне помолодел на десять лет.

Так преображается береза, пережив степную засуху. Он видел вокруг себя гигантские стройки, начисто изменившие лицо страны, и верил, что и в дальнейшем, все будет хорошо. Он и сам работал, не жалея своих сил, и никогда не чувствовал себя таким бодрым и сильным, как после удачной ночи, проведенной за письменным столом.

Месяц назад до описанных событий он наконец приехал на рудник Коныр-Айгыр к Нурлану. Нурлан уже не первый год работал директором и каждое лето звал своего друга к себе (в письмах он называл его почтительно «ага», что значит старший брат, хотя разница в годах была не такая уж большая), но «ага» или «акын-ага», как он называл его еще, все не мог выбрать свободного времени, хотя и обещал каждый год. И вот теперь наконец он «вырвался из долговых обязательств». Впрочем, нет, не вырвался, конечно, и эта поездка тоже была выполнением одного из таких обязательств. На руднике — он уже стал целым городом — работали теперь не только русские и казахи (их, правда, было большинство), но и украинцы, белорусы, татары, калмыки и башкиры. Вот об этой дружной согласованной работе, вернее, о дружбе этих людей Буркут собирался написать поэму. Условное название поэмы было «Дружба народов», но оно несколько пугало его

своей традиционностью. «А впрочем,— говорил он,— название — дело не только самое первое, но и самое последнее. Главное — писать».

И он не мог пожаловаться — писалось ему хорошо. В течение месяца вчерне поэма была готова. Она росла, как здание, кирпич за кирпичом, этаж за этажом, корпус за корпусом. Еще неделя — и поэма будет кончена. И вот произошел случай, на первый взгляд, настолько пустяковый, что на него и внимания обращать не следовало. Буркут увидел сон (он работал всю ночь и заснул только на рассвете) — ему приснилось, что они втроем — Ахан, Акпар и он — сидят в той самой комнате, из окна которой выбросился учитель. Разговор идет в повышенных тонах — и вдруг Акпар вскакивает и хватается за горло. Он видит бледное от ненависти лицо, прыгающие желваки, слышит его каркающий голос, оборачивается к учителю, но его уже нет — он исчез неизвестно куда, а комната темнеет, и раздается удар грома. Сразу мрак окутывает все, кто-то невидимый выкрикивает что-то угрожающее, раздается песня, похожая не то на хрип, не то на карканье. Отчетливые солдатские шаги звучат за окном.

А Акпар сжимает его за горло и кричит:

«Стишки хочешь писать? Новую власть нахваливать будешь! Дудки! Мы уничтожим и тебя и тебе подобных! Мы объявили вам войну. Понимаешь? Война! Война! Никуда тебе от нее не спрятаться!»

Он сжимает Буркута все сильнее, тот уже задыхается.

Проснулся от собственного крика. Над ним стоял Нурлан и осторожно тряс его за плечо.

— Что с тобой, Буркут-ага? — тревожно спросил он. — Тебе приснилось что-то страшное?

Буркут оторвал тяжелую голову от подушки, поглядел на своего друга и ответил:

— Да так, так, челуха!

И коротко рассказал про сон.

Нурлан покачал головой:

— Страшен сон, да милостив бог, говорят русские, — все челуха! Сон и есть сон. Наверно, вчера переутомился, вот и причудилось.

— Может быть, — ответил тускло Буркут, — может быть, я, верно, переутомился.

— Скорее всего, что так. — Нурлан подумал. — Хотя про Акпара это, пожалуй, не зря. Такие друзья только и ждут минуты, чтобы вцепиться в горло. А в мире-то сейчас ох как беспокойно. Коричневая чума подступает все ближе.

— Да была бы одна коричневая, — вздохнул Буркут, — а то и Япония, и Италия, и финны там что-то такое... Так

что без войны, пожалуй, не обойдемся. Весь вопрос: готовы ли мы к ней? Ведь таких, как Акнар, миллионы.

— Ну, друзей-то у нас все-таки больше,— спокойно улыбнулся Нурлан: нет, врасплох не застанут их. Он посмотрел на часы.— Однако мне пора.— Он пошел к двери и остановился:— Ничего не бойтесь, акын-ага, спокойно работайте. А о врагах не думайте. Мы сильнее, поверьте.

Нурлан ушел, а Буркут сидел и думал.

«Все это так, но пока все еще только слова, надеяться на друзей необходимо, но верить только в них невозможно. Ведь и сталь самой лучшей марки порой не выдерживает сверхнагрузки. А в общем, что можно знать про то, чего еще нет?!»

Эти мысли обуревали его целый день, а к вечеру он пошел на давно облюбованное место к озеру Копыр-Айгыр. Тут он сел на свой любимый камень и опять задумался.

И вдруг услышал глубокий, почти трубный звук. Он поднял голову. Это пел лебедь. Буркут привстал и посмотрел. По озерной глади плыли две белых царственных птицы. Плыли и переговаривались друг с другом. В глубокой озерной тишине был слышен каждый отдельный звук их голосов. И Буркут вспомнил: первый раз он увидел лебедей на этом же озере десять лет тому назад. Это было в то лето, когда он вместе с Арыном (где он теперь?) ехали в аул и повстречали геологическую партию. В этот год Буркут вдруг получил известность. Его песни начали петь, стихи его цитировать. Но особенно прославил поэт поэма «Не стреляйте в лебедя». Он написал поэму после того, как первый раз увидел это озеро. Лебедь у казахов священная птица, стрелять в нее грех великий, а убить — престо непрощаемый. В любви казахов к лебедю есть что-то напоминающее тревожное и сверверное отношение английских моряков к буревестнику. Тот, кто убьет эту птицу, верят они, навлечет на себя и своих спутников нескончаемые бедствия. Поэт Кольридж в прошлом веке написал об этом поэму, которую знает хотя бы понаслышке всякий грамотный человек. И Буркут тоже когда-то читал ее, но мрачный и туманный колорит поэмы — ее льды и снега — совершенно не сказался на произведении Буркута. Оно светло, грустно и лирично. Читаящий ее дышит воздухом степного озера. В час заката два лебедя, писал Буркут, мирно плавали по водам Копыр-Айгыра, но вот подкрался пришелец и застрелил птицу. Он не знал, да и не хотел знать законы степи. Ге поэтому его выстрел нарушил всю гармонию природы. Потемнело небо, началась гроза. Дальше идет песня осиротевшего лебедя. Он потерял свою подругу и плачет о ней. К его голосу присоеди-

няет свой голос и поэт. Он просит аллаха покарать нечестивца. Он отнял у озера его красоту, отнял у народа его обычай и нарушил покой степи. Да будет же он проклят во веки веков!

Вот как раз эта поэма и оказалась тем поворотным пунктом, с которого началась громкая известность поэта. Плач лебедя и проклятие поэта положили на музыку. Буркута называли певцом степи и хранителем ее исконной вековечной тишины.

Так оно в то время, конечно, и было. А сейчас Буркут думал о своей поэме и своих заклятиях с некоторым недоумением. Покой! Тишина! Разве это самое главное? Вот перед ним опять то же самое озеро, и опять по нему плавают лебеди. И, как нарочно, их тоже пара. А между тем не один выстрел, а целая канонада их, бесчисленные залпы взрывов прогремели здесь. Взорваны горы. Прошли железные дороги. Построен город — и вот теперь по этому месту ходят туристы и поют, идут автомашины и гремят, сотни молодых загорелых ребят шумно приезжают сюда из всех мест Казахстана. Но разве от этого потеряло Коныр-Айгыр свою поэтичность, свою хрустальную тишину, свой тихий и горный покой? А степь — разве она не стала еще прекраснее? А лебеди? Разве они не поверили человеку, не заселили озеро десятками и сотнями пар? Теперь они здесь даже гнездятся, и никому не придет в голову не только стрелять, но даже просто прийти с ружьем.

И не одни казахи хранят тишину и обаяние этой степи — вот сидят на пригорке русский мальчишка-пастушок, — разве ему не дорога эта степь? Красоту лебедя все, она общечеловечна. И тут он вспомнил почему-то другое: похороны Хасена и Ханшаним. Провожать убитых вышел весь город. В изголовье гроба шли двое: он и Такежан, а за ними двигалась толпа. Были тут и солдаты, и ученые, и рабочие. Татары и башкиры, казахи и калмыки, русские и украинцы. Многие плакали. Оркестр играл Шопена. И печаль этого поляка, умершего очень давно, была тоже понятна всем русским и казахам, ученым и чабанам. Потому что истинное горе — скорбь по молодым, сильным, красивым людям, ушедшим слишком рано, — понятно всем! Так вот попробуй наליши, чтоб это дошло до каждого русского, казаха, солдата и агронома так, как до всех тогда доходил похоронный этот марш!

Он думал про это и глядел на озеро. Так прошло много времени. И уже русский паренек угнал своих коров, и солнце стало заходить, а вода сделалась из голубой сначала золотистой, потом розовой, потом красной, затем просто черной, а он все сидел и думал. И вдруг ему показав

лось, что кто-то подошел сзади. Он быстро обернулся. В пяти шагах стоял высокий, прямой человек в самотканом черном башлыке и смотрел на Буркута. «Знакомый кто-то,— смущенно подумал Буркут,— да нет, что-то не припоминаю такого. Да и усы такие, колечками, я уже давно не видел».

— Буркут-ага,— сказал человек.— Здравствуйте!

— Здравствуйте,— ответил Буркут, поднимаясь.— Что-то я вас... Арын!

Человек улыбнулся.

— Что, трудно узнать? Тот самый, тот самый! А вы вот мало изменились.— Он подошел и подал руку.— Ну что ж, очень рад вас видеть живым и здоровым.

Наступила неловкая пауза.

— Так какими же судьбами ты здесь очутился?— спросил Буркут.— Я ведь думал, что ты не здесь, а там.

— А я там и есть,— ответил Арын,— как ушел тогда с Карымсаком, так там и остался. Правда, здесь мне тоже приходится бывать, но тут я уж не задерживаюсь, сделаю, что надо, и туда.— Он подмигнул:— Обстоятельства не те.

Буркут смотрел на него не отрываясь:

— А зачем ты сейчас пришел, мне можешь сказать?

— Немного попозже.

— Ага! Ну, ладно. Так как вы там устроились?

Арын опять усмехнулся:

— Как устраниваются люди в чужой стране! Плохо, конечно.

— Здорово! Так вы разве не к родственникам ушли? А я ведь слышал, что вы кочуете у Алтайских гор, выше Черного Иртыша? Что, разве не так?

— Да нет, так.

— Ну так в чем же тогда дело? Там ваши роды найман и керей испокон веков ходят. Тысяча лет, как казахи там пасут скот.

Арын усмехнулся:

— А толку что? Хозяева говорят, все здесь наше. Да они бы давно нас всех перевели, да руки не доходят. Во-первых, сами между собой передрались, а во-вторых, живем высоко — не достанешь.

Буркут покачал головой:

— А знаешь казахскую пословицу: «Куда крыса залезет, туда и змея проползет». Нет, горы вас не спасут. Вот другое дело, если народная власть победит...

— Не больно-то нас народная власть жалует,— вздохнул Арын,— она вот и здесь победила, а вон куда бежать от нее пришлось.

Буркут посмотрел на него:



— Да ведь не тебе же пришлось бежать, а Карымсаку, дурак ты эдакий! Он же тебя, как вещь, с собой захватил! Взял под мышку и унес. А хозяева до вас и в горах доберутся, будь спокоен! Им не впервой вырезать народы. Ты слышал, что случилось в тысяча семьсот пятьдесят шестом году в Китае?

Арын развел руками:

— Откуда же мне слышать! Это вы ученые... Старики, может, знают, конечно.

— Старики-то, конечно, знают, да вам-то они не скажут. На краю пропасти вы живете, и каждый год земля у вас под ногами обваливается, а вы не видите. Была Джунгария — огромное царство. Оно весь северо-запад Китая занимало. А вот в этом несчастном тысяча семьсот пятьдесят шестом году китайский император повздорил с джунгарским контайши и отдал приказ: «Смести джунгарцев с лица земли». И смели. Ни детей, ни жен не оставили, одних молодых, которые покрасивее, ну тех пощадили. Вот и конец всей Джунгарии. В лето от нее один пепел остался — вот ты этого не забывай. И как бы тебе не пришлось попомнить мои слова! Не дай аллах тебе этого!

(Арын вспомнил слова Буркута через пятнадцать лет, когда весь аул Карымсакбая — несколько сотен голодных и разутых людей — снова перешел кордон и появился уже в Советском Казахстане. Горем и смертями пришлось им заплатить за свою измену, но до этого еще должно было пройти пятнадцать лет, и каких лет!)

— Да, не дай аллах,— повторил Арын,— бежали мы от ветра, а попали, кажется, в ураган. Теперь бы Карымсак так легко не уговорил бы нас. Здесь люди живут куда лучше, это верно. Я походил, посмотрел.

— Ну и хорошо! И оставайся с нами!

Арын коротко, но решительно мотнул головой:

— Не выйдет. Акпар моего брата оставил заложником. Если, говорит, не будешь в срок — и брата твоего в живых не будет.

— Акпар! — Буркут вцепился в плечо Арына и сам не заметил этого. — Так, значит, он жив?

— Еще как жив-то! — усмехнулся Арын. — Первый человек у нас! Только недавно вернулся из поездки. Где-то в Европе был. Говорят, в Берлин ездил. Отобрал десяток наших джигитов и послал куда-то. Говорят, учиться.

— Чему учиться?

— А чему хорошему может Акпар научить! Наверное, какому-нибудь бандитскому делу. Обучит да будет потом их сюда засылать, как вот меня.

— Так, так! — Буркут провел рукой по лицу, стараясь

собраться с мыслями.— Так, так! Ну-ка, идем сядем, а то столько новостей сразу... Так, значит, это он тебя и послал.

— Он.

— Зачем?

— За вами и Марукей.

— Зачем?

— Чтоб вы вместе со мной подались к нему.

— Так, так! И видел ты Марукей?

— Видел.

— И что она ответила?

Арын усмехнулся:

— Она крепко ответила. Шел бы, она говорит, со своим Акпаром!— мне и тут мужиков хватает,

Буркут засмеялся:

— Здорово! С тем ты и ушел от нее?

— А что же? Повернулся и ушел.

— Значит, выполнил приказ до конца?

— Нет, не совсем. Я ведь должен был в этом случае тут же ей пулю в лоб всадить.

— Так! И мне тоже?

— Конечно!

— Утешительно!— усмехнулся Буркут.— С этим ты, значит, и шел ко мне.

Буркут посмотрел на него и быстро решил, что надо делать.

— Ну что ж,— вздохнул он,— давай выполняй, что задумал.

— Ну, что вы, ага,— испугался Арын.— У меня и пуля-то осталась одна. Берегу ее для себя. Но это уж там. Придется вернуться. Акпар в таких случаях свое слово сдержит.

— Такая у него там сила?

— А как же?!— изумился Арын.— А как же, Буркут-ага?! Единственный наследник Қарымсака! А Қарымсак — это две тысячи голов коней! Да каких коней! На него там как на аллаха смотрят. Только на кого головой кивнет — и все! И нет того на свете! У него знаете, сколько там мастеров на эти дела? Не мог ваши головы снять — что ж, свою принесу взамен! Да и потом,— он грустно усмехнулся,— тут хотя и спокойнее стало, а все равно идет война, я походил по аулам, спрашивал — знаю. Пошел среди казахов разлад. И я здесь уже чужой... Так что от кого мне гибнуть — от своих или от чужих, от Акпара или за Акпара — какая мне разница?

Буркут долго молчал.

— Хорошо,— сказал он наконец.— Возвращайся. Возвращайся туда, на чужбину. Но всегда помни, родился ты тут, а не там, а родной земли на подошвах не унесешь — так сказал один умный человек, когда ему предлагали бежать за границу! И еще помни, все наши великие учителя — Абай, Чокан,

Ибрай — родились, жили и похоронены тут, и звали они не от русских, а к русским. Так вот, если будет возможность бежать, приходи ко мне. Я тебе все достану. Вот тебе моя на это рука. И жену приводи. И ее мы примем, как родную сестру.

Арын грустно улыбнулся:

— Да я не женат, Буркут-ага. Это там не так легко. Вот в этот год я должен был жениться, да не вышло.— Он что-то замылся и вдруг добавил:— Акпар обещал привести невесту и дать еще пару косяков коней, если я принесу вашу голову. Так вот видите, как мне не везет! Прощайте!

Он молча повернулся и пошел, через несколько минут его фигура совершенно растворилась в темноте.

— Арын, береги себя!— крикнул Буркут, понимая, что нужно что-то крикнуть ему на прощание, и не зная, что же именно.

И в ответ ему вдруг, как показалось, совсем близко, темнота откликнулась:

— Спасибо... Спасибо!

Буркут шел домой. Уже высоко вошла луна, и между пригорков вспыхнули белые, синие, зеленые и красные огоньки. Там работал рудник, жил поселок и катились бункера свинцовой руды.

«Так вот, значит, почему мне снился Акпар,— думал он,— в самом деле сон в руку. И он в эти дни думает обо мне и гадает, на чьей стороне я окажусь в грядущей схватке. Так вот я ему отвечу поэмой, где есть специальные строки, посвященные ему; так всеми буквами и напишу: Акпар Карымсаков!»

И еще он думал:

«А Арын не пропадет. Он уже многое понял. А скоро поймет все! И если, не дай аллах, налетят стервятники...»

## V

Стервятники налетели через год. Началась война. Буркут стал разъездным корреспондентом военной газеты. Сначала он был на Ленинградском фронте и писал очерки об отдельном казахском подразделении, стоявшем на смерть где-то возле Невеля. Затем, после того как его статьи вошли в сборник лучших военных очерков и были переведены за границей, его вызвали в редакцию «Красной Звезды» и вручили ему корреспондентский билет. «Я слышал, что вы хотите книгу писать,— сказал ему редактор,— так что вроде я вас отрываю от прямого дела, но только книга, поверьте, от вас никуда не уйдет. Просто для нее еще время не пришло. Вы давайте нам ее по частям, в виде очерков и зарисовок, мы и будем их печатать из номера в номер. Вот вам и книга. А до больших полотен с фило-

софскими обобщениями и выводами дело еще, поверьте, не дошло. Лев Николаевич свои размышления о войне изложил через двенадцать лет после Севастополя, а «Севастопольские рассказы» написал сразу же во время военных действий. Доходит до вас этот пример?» — «Вполне», — ответил Буркут и уехал в свою часть. С ней он проделал тяжелый путь отступления. С ней он дожид до Сталинграда, а потом до великого сражения на Курской дуге.

Тогда впервые немцы ввели в сражение сверхмощный танк «тигр», и поэтому книга, которую написал Буркут, называлась «Охота на «тигров». Она имела успех и тоже была переведена на иностранные языки.

Вот тогда-то с ним случилось одно очень памятное происшествие. В ту пору он уже работал редактором полковой газеты и в эту ночь лишь только кончил отсылку в номер материалов, как его разбудили. Он очнулся оттого, что кто-то стоял над ними и громко повторял:

— Товарищ Кунтуаров, вас просят немедленно приехать в штаб. Там прибыл представитель из Ставки.

Он сразу же вскочил. Перед ним стоял адъютант полковника.

Только вчера кончилось сражение за населенный пункт, где окопались крупные силы врага. За этот пункт вместе с немцами сражался так называемый Туркестанский легион, и каждый день звучала казахская, киргизская, таджикская речь. Все это было донельзя противно, и Буркут буквально изнывал от тоскливой злобы и какого-то непередаваемого неудобства. Так врать! Говорить на таком языке! Выдумывать такие небылицы! Однажды ему даже довелось услышать голос Жакана Сыздыкова, старого большого поэта, которого он отлично знал по Алма-Ате и письмо от которого получил на прошлой неделе. «Господи, какие идиоты! — подумал он. — Даже не звери, не убийцы — и это, конечно, в первую очередь, — но еще просто-напросто кретины, на что они рассчитывают?»

Ему хотелось тоскливо выть, когда он слышал голос диктора.

И вот вчера наконец состоялось сражение, и проклятый голос замолк. Но Буркут был так изнеможен, что еле волочил ноги. Его окончательно доконало даже не само сражение, а все, что за ним последовало — допрос пленных, сбор и отправка раненых, приезд начальства, корреспонденция в центральную газету, которую пришлось кончить внезапно, скомкав самое существенное, потому что оказия уезжала через полчаса. Затем почти целые сутки бойцы крутили пластинки. В немецком штабе оказался полный шкаф пластинок, и среди них комплекты двух или трех казахских опер (очевидно, на-

следство радиоброневика). День и ночь пела Куляш, и в комнате всегда толпились солдаты. В общем, за последние трое суток Буркут едва ли спал несколько часов. И вот только отправив всех и отделавшись от всех дел — и добровольных и обязательных, — он прилег на тахту, и как раз явился этот лейтенант.

Буркут еще спал, когда одевался и затягивал ремень, спал, когда шел по улице, сонный поднимался он на крыльцо, сонным ждал, пока о нем докладывали, и только когда дошли до штаба и он услышал суховатый и чем-то очень знакомый голос: «А, Буркут! Жду, жду!» — только тогда сон с него как рукой сняло.

Генерал сидел за столом и слушал доклад. Военный юрист второго ранга стоял перед ним. Когда вошел Буркут, генерал помахал ему рукой: «Одна минута!» И снова зарылся в бумагах. Так прошло минут пять, потом генерал вдруг положил на бумагу руку и сказал:

— Ну вот и все. Если вы так им ответите, я думаю, они успокоятся. До свиданья, дорогой! Вот тут ко мне пришел такой гость...

Он посмотрел на Буркута и засмеялся:

— Ну вы меня, конечно, не узнали, но я-то вас сразу признал. Вы ведь совсем не изменились. А я посolidнел и постарел, конечно. Вам, если не секрет, сколько лет? На пятый десяток перевалило?..

— Уже третий год, как перевалило, — ответил Буркут.

— Мальчишка! Мне уже до шестидесяти год остался, — весело пожаловался генерал и снова обернулся к капитану. — Вот все, будем ждать ответа, — сказал он, — немедленно пошлите! Как придет, сразу доложите! Так?

— Так! — ответил капитан, козырнул и вышел.

Генерал уставился на Буркута.

— А ведь вы меня не вспоминаете, — сказал он уверенно. — Нет? Ну, а Акшатыр помните?

— Помню, — пробормотал Буркут, — но, позвольте, позвольте...

— А двадцать шестой год помните? Лето! Разговор в ГПУ! Ливень! Вы только от нас вышли, и ливень как сыплет! Вас сразу до нитки!

— Боже мой, — пробормотал Буркут. — Товарищ Гаврилов... Да нет...

— Ну, вот «нет»! Самое настоящее «да»! — засмеялся генерал. — Садитесь, садитесь! Ну, молодец-то вы, и сейчас еще хоть куда! И корреспонденции пишете отличные! Я тогда еще, когда прочел вашу статью о деле Жбабгы, сказал: вышел парень на правильную дорогу! Теперь его никто уж не собьет.

**И вот, видите, не ошибся же! Садитесь, пожалуйста. Мебель здесь дубовая со львами. На ней и посидеть приятно.**

— Если бы вы знали, как я вам обязан,— сказал Буркут. Генерал засмеялся и подмигнул.

— Ну, я-то, положим, знаю,— сказал он,— а вот вы-то, наверное, нет. С вашим именем мне на протяжении десяти лет пришлось встречаться дважды. Первый раз во время следствия по делу Жабагы — ну, это-то понятно. Вашу статью использовал прокурор в обвинительной речи! А вот второй-то раз все обстояло много сложнее. Вы такого Каражана знали?

— Лично очень мало,— ответил Буркут,— но крови он мне попортил порядком. Его, кажется, расстреляли?

— Дали десять лет! Но до лагеря не доехал. Убили уголовники,— сказал генерал.— Он с ними тоже какую-то хорошую штуку сыграл, а у них на этот счет разговор короткий. В общем, убили! Так вы говорите, он из вас крови попил? Ну, еще бы, вы его кровный враг. Этот проклятый Жабагы ему за отца был. Он, верно, его и научил головы рубить.

— Рубить головы?

— Рубил, рубил, прохвост! Только один человек про это и знал. Он и открыл. Этот Каражан был штатным палачом у атамана. Никто так не умел обезглавливать с одного взмаха, как он. Вот Дутов его и приблизил. И работал этот палач у него не покладая рук. Свидетелей не боялся. Все свидетели у него на три аршина под землей лежали. Вот так-то.

— Так ни одного и не оказалось в живых?— воскликнул Буркут.

— Нет, в конце концов один все-таки нашелся — старший конвойный. Он попал по другому делу, а открыл это. Видно, хотел поблажку получить. Ну, конечно, его рассказ тоже еще не доказательство, пост-то Каражан занимал немалый. Год я возился. Архивы поднимал, документы сличал, карточки Каражана рассылал по разным адресам. Из настоящих-то участников уже мало кто в живых остался, однако кое-кто все-таки остался. Да и что удивляться? История тех лет, да еще в Казахстане, настолько запутанна, что еще долго мы будем встречаться с подобными сюрпризами. Хорошо, теперь вот такое дело.— Генерал снял трубку и вызвал «Пчелу».

— Я сам бы хотел присутствовать на допросе этого пленного,— сказал он «Пчеле»,— я и еще один товарищ. Нет, нет, вы ведите, ведите допрос, я просто приду посидеть и послушать.— Он обернулся к Буркуту.— Ну, кажется, сегодня я покажу вам интересное зрелище,— сказал он.— Да, дело теперь прошлое, но, попав к нам, этот сукин сын Каражан всячески старался нас путать и назвал вас своим сообщником, но тут дело передали мне, а я уже полностью имел представление о вас и о том, какой камень он против вас таит за пазухой. Ведь дело

его нареченного отца я знал во всех его гнусных подробностях. Так что, когда я его вызвал, мы быстро нашли общий язык. Каражан человек бывалый и сразу понял, что тянуть пустой номер незачем. В чем, в чем, а в уме ему никак не откажешь. Вот так и с вами было,— когда я припер, он сразу от всего отказался.

И генерал быстро рассказал Буркуту обо всем, что происходило семь лет тому назад вокруг его имени и о чем Буркут мог только смутно догадываться. И только что они кончили говорить, как зазвонил телефон. Генерал снял трубку.

— Уже?— сказал он.— Ну отлично! Сейчас идем.— И он слегка дотронулся до плеча Буркута:— Ну, приготовьтесь к встрече с земляком. Дело в том, что мы захватили их диктора. Он говорит, что он татарин, но мне что-то не верится. Он казах или киргиз. Ну и еще есть одно подозрение у меня лично. Пойдемте посмотрим.

Это был, конечно, казах, и Буркут теперь даже знал, кто это. Говорил он складно и легко; у него была отлично выработанная дикция и хорошо поставленный голос. Он даже не говорил, а выступал.

— Ну, положим, чему вы учили ваш народ — мы это слышали и знаем,— сказал вдруг генерал,— но должен вас огорчить, во-первых, ничего оригинального вы не выдумали, это типично эмигрантская болтовня. Точно так же говорят своему народу армянские дашнаки, грузинские меньшевики и украинские самостийники. Ну, а если уж по-существу, то пленили-то вас, господин хороший, солдаты национальной бригады! Вот и сюда я пришел с казахом. Он писатель и пишет именно на своем языке. Стало быть, ни ему, ни его читателям эту басню об уничтожении национального языка и самого понятия «казах» вы не расскажете. Как бы вы себя ни называли, а национализм у вас только внешняя форма, содержание же — антисоветское. Есть у нас такая пословица: «Заладила сорока Якова — знай про всякого». Если и у этого господина тот же самый багаж...

Немец — высокий, худощавый и все еще высокомерный — улыбнулся и покачал головой.

— Я распет, а не националист, господин генерал,— сказал он,— а это все-таки разница.

— Это-то мне, положим, понятно!— засмеялся генерал.— Только вот он-то тут при чем? Ну, ладно, вы раса господ. Вы нордраса, и все такое. Все, что есть хорошего на свете, все ваше. Нас вы либо перебьете, либо заставите под кнутом работать на себя. Это-то ясно. Но вот он-то при чем? Если вы сверхчеловек, я подчеловек, то он-то кто? Он-то что получит при дележке?

— Он получит свою страну,— пышно ответил немец и по-

трогал пенсне.— Как верный сын своего народа, он займет в ней подобающее место.

— То есть он ваш холуй, и место вы ему найдете! Конечно! Колониализм держится не только на плетке завоевателя, но и на услугах вот таких полурептилий. Ладно! Меня интересует теперь другое — это уж не для допроса, а, так сказать, для моего личного просвещения. На что вы надсетесь? Вот начинная эту войну против нас — на что у вас был расчет?— Капитан кашлянул и двинул стулом. Этот вопрос явно не шел к допросу. Впрочем, он уже привык к причудам генерала.

— То есть как?— высокомерно вскинул голову немец.— Я не понимаю вас.

— Сейчас объясню. Вот смотрите. Советский Союз, когда вы его втравили в войну, надеялся на дружбу наших народов, на общность их интересов. У нас нет расы господ, как нет и расы слуг. Я русский, воюю за свой дом, и вот он, казах, тоже воюет за свой дом. И, значит, мы оба воюем за наш дом. И за меня он воюет потому, что и я воюю за него. А за что будет воевать в вашей армии, скажем, казах, чех, француз, поляк? За ваше господство? За ваш порядок? За свое поражение? Ведь раса господ — это вы, а пушечное-то мясо — это они, так вот за что же может воевать пушечное мясо? За собственную могилу? Разве вы не видите, что ваши действующие армии все больше превращаются в конвойные войска, а завоеванные страны в концентрационные лагеря, где сидят целые народы? Вот вы задавили Европу, а что это вам дало? Двести миллионов врагов, которые вас ненавидят и которых вам приходится охранять. Они сковали ваших солдат и заморозили их на своей территории. И у нас вы захватили целые республики, но даже спокойно ходить по ним не можете. Каждое дерево готовит там вам гроб! На что же вы рассчитываете? На таких, как вот этот?

Немец в пенсне усмехнулся:

— О нет, все далеко не так уж безнадежно для нас, как это себе представляете вы, господин красный генерал. Этот человек уже дорос до национализма, ему, значит, с нами по пути. Ведь чтобы быть сознательным расистом, надо сперва хорошо усвоить уроки национализма. Нацизм и национализм — это низшая степень усвоения одной и той же идеи.

«Да,— подумал Буркут,— вот это и есть то самое, что приходило в голову, когда я однажды снимал с дерева повешенного мальчишка. Научное оправдание! Они найдут его для каждого трупа, для каждой капли крови».

— Товарищ генерал,— обернулся он к генералу,— позвольте обратиться к моему земляку?

Гаврилов кивнул головой.

— Здравствуй, Акпар,— сказал Буркут.— Я узнал тебя



сразу. Как зашел, так понял, что это ты. Я сидел и думал, ведь я тоже мог сидеть сегодня на этом же самом стуле и пороть ту же ерунду — я ведь начинал так же, как и ты. Да, пожалуй, это могло бы быть — если бы не эта вот рука, — он кивнул на Гаврилова. — Эта рука поддержала меня. Он сказал: «Твоя судьба принадлежит тебе, иди и думай. Ты стоишь на диком и отдаленном берегу, тебе следует переплыть ночную реку и присоединиться к своему народу — это будет опасная переправа, но ты ее должен преодолеть! Должен, если хочешь остаться человеком. Должен, если просто хочешь жить!»

В комнате наступила тишина. Капитан с недоумением смотрел то на Буркута, то на пленного. И только пленный по-прежнему неподвижно стоял перед столом следователя, заложив руки за спину.

— Так это Акпар! — как будто бы удивился генерал. — А ведь он у нас... — и посмотрел на капитана, — как он у вас числится?

— Да! — сказал капитан. — Да имя-то он назвал нам другое! Ну, ничего, ничего!

— Здравствуй, Буркут, — вдруг произнес Акпар громко. — Вот как привелось увидеться. Руку я тебе не протягиваю, знаю, не пожмешь.

— Не пожму, — ответил Буркут.

— И вот ты сидишь, а я стою перед тобой навытяжку. «Судьба играет человеком» — поется в старой песне. Но я всегда помнил о тебе.

— А Касыма ты помнишь? — спросил Буркут.

В лице Акпара ничего не изменилось, он только слегка пожал плечами:

— Какого Касыма?

— Ну, жену которого ты избил нагайкой. Помнишь, во время перекочевков...

— Много было чего, Буреке, — усмехнулся Акпар, — разве все упомнишь. Вот Ахан-ага при двух учениках в окно выпрыгнул и насмерть расшибся — разве теперь об этом кто помнит? Да и не о том сейчас идет разговор.

— Раз вы Акпар, то разговор пойдет о многом, — вмешался генерал, — в том числе и о вашей сестре.

— А что с ней? — вдруг как будто несколько оживился пленный.

Капитан взглянул на Гаврилова.

— Товарищ генерал, — сказал он, — если за пленным числятся какие-нибудь старые дела, то сейчас об этом говорить не следует. Предстоит следствие.

— Да, будет следствие! Обязательно будет следствие! — сказал генерал. — И вам придется отвечать на все вопросы,

которые мы вам зададим. И вам тоже,— обернулся он к немцу.— Вы за все ответите, дикарь вы эдакий.

Немец в пенсне слегка пожал плечом и улыбнулся.

— Я кончил Гейдельбергский университет и преподавал философию. Я доцент и доктор,— сказал он с апломбом.

— Я видел позавчера в лесу повешенного ребенка,— сказал Буркут,— маленького, худенького, личико с кулачок — не живут дети там, куда вы приходите,— и вот я подумал: а встретя мне сейчас доцент или доктор наук — он сразу же научно обоснует мне этот трупик. И руки, замотанные проволокой, обоснует. Вы знаете,— обратился он к генералу,— у него были черные чугунные ручонки, проволока так вошла в тело, что ее было не видно. Они били его нагайкой! Это все расизм, господин хороший. А вот много лет тому назад один богатый старик сжег девочку. Он купил ее, а девочка сбежала, так вот тогда он ее сжег вместе с женихом. Они укрылись от него на тростниковом островке, а он этот островок подпалил и стоял на берегу, усмехался и подсчитывал, во сколько голов скота обойдется ему этот тростник, потому что он чужой. И тогда я понял, что такое национализм. Одна цена что вам, доктор наук, что тому людоеду, который ел-слел может по-арабски вывести свое имя. Стойте, стойте — прикрикнул он, видя, что немец хочет что-то возразить,— я перед войной прочел письма Флобера — он писал их в то время, когда немцы захватили пол-Франции, я это помню почти наизусть. «Какая ненависть, какая ненависть! — пишет он.— Все то, что мы видели на войне, меня не особенно страшит, она всегда ведь была не только убийством, но и грабежом, и всегда захватчики были зверями. Но вот доктор философии, грабящий умирающих, приват-доценты, стреляющие в зеркало, вот это совершенно новое и невиданное до сих пор в мировой истории». А если бы он увидел, какое поколение воспитали эти доктора и доценты! Но про отцов он говорил «дикари». Про детей он мог бы сказать только «скоты и звери».

— Тем не менее мы их будем судить только как дикарей,— сказал генерал, вставая.— И докторский диплом в таких случаях отягчающее обстоятельство! Ну, а с вами, Акпар, особый разговор! Вы все совместили: национализм, расизм, измену, просто убийства, только хватит ли вам одной головы, чтобы заплатить за все это?!

## ЭПИЛОГ

Наутро после возвращения Зуры из поездки Ольга осторожно постучалась в кабинет Буркута. В эти дни он готовил к выходу новую, итоговую книгу стихов (она называлась «За полстолетье»), и работы внезапно навалилось столько, что он и засыпал за письменным столом.

Вчера же старику было особенно беспокойно, дом наполнился молодежью, и его дочь раздавала подарки и сувениры, со всеми пила и танцевала, и, когда в три часа ночи гости наконец разошлись, родители чуть ли не на руках перенесли ее в постель, а мать так даже и раздеваться помогла. Но Буркут не ворчал: во-первых, он души не чаял в дочери, во-вторых, любил молодежь, в-третьих, и день-то был особенный — дочь вернулась из Франции; она там гостила по приглашению старинного парижского издательства, которое издало и уже распродало книгу ее стихов. Зура знала французский язык так же, как свои два родных, и недоброжелатели говорили, что успеху книги за рубежом много способствовало то, что добрая четверть ее была посвящена Франции, а программная поэма «Узник» рассказывала о последних днях Пруста. Смертельная болезнь сделала его калекой, удалила от людей, засадила в глухую пробковую комнату. В ней Пруст и написал свою гениальную книгу «В поисках утраченного времени» — надгробное слово себе самому. Поэма наталкивала на аналогии и сейчас же была переведена на русский язык, а затем на французский. Вот тогда Зуру и пригласили во Францию. После шумного вечера и пьяноватой ночи Буркут сидел над гранками и дремал. Ольга осторожно коснулась его плеча. Он сразу же встрепенулся:

— О, уже так поздно?! Зура...

— Спит, спит, — успокоила его жена, — еще семи нет. Слушай, не хотела я тебе говорить, но вот Зура приехала, я думаю, ей самой судить лучше...

— Да что такое? — обеспокоился Буркут и вскочил с кресла.

— Сиди, сиди. Ничего пока особенного! Вот пришло письмо Зуре. Я ей его еще не давала.— И она достала из кармана конверт.

— Ну и что?— не понял Буркут.

— Да ты посмотри, посмотри.

Буркут взял конверт, повертел его в руках и вдруг воскликнул:

— Слушай! Да оно распечатано.— Он поглядел на Ольгу, она молчала.— Как же ты...— Он бросил письмо на стол:— Не буду я его читать! Я чужие письма не читаю.

— Письмо от Акпара,— сухо сказала Ольга,— поэтому я его и распечатала.

— Что! Да разве он не..?

— Жив! Пишет, что скоро выйдет из заключения. Вот нашей Зуре и пришло письмо на адрес Союза писателей. Его переслали сюда.

— С ума сойти, просто с ума...— Буркут был так растерян, что, когда он потянулся к термосу, чтоб налить себе чая, у него дрожали руки, но он все же еще не решился прочитать чужое письмо, а только со страхом смотрел на него.

— Ну, слушай, я тебе его прочитаю! Мой грех!— нахмурилась Ольга.—«Дорогая племянница, ты одна осталась у меня на свете...»

— Вот гад! Вот змея!— сжал кулак Буркут.

Далее Акпар писал о том, что он за измену родные получил двадцать лет, и вот срок его летом кончается, и его отпустят. Он стар, болен, дряхл, ему уже шестьдесят семь, и прямая дорога ему в дом инвалидов. Он и пойдет в него, но перед смертью он хотел бы посмотреть родные места и встретиться с племянницей. О ее существовании он узнал из газет. В статье «Казахская литература завоевывает мир» он прочел о том, что поэма Зуры Кунтуаровой переведена на французский язык и вызвала обширные отклики в зарубежной печати. Издательство «Галлимар» выпускает ее второй сборник. Далее очень коротко излагалась история поэтессы (родни или погибли от руки озверелого классового врага) и сообщалось, что стихи ее названного отца Буркута Кунтуарова тоже переведены на ряд языков народов Советского Союза и на два западных. «Поэтому,— писал Акпар,— я и понял, что речь идет о моей племяннице. Я должен сказать тебе, девочка,— писал он дальше,— что вокруг смерти твоего отца наговорено и напутано очень много всего. Убийцу не обнаружили, подозревались многие. Кое-кто называл в этой связи даже меня, пусть это останется на их совести. Я в то время ушел в Китай, и на меня, конечно, можно было взваливать что угодно. Двадцать лет тому назад суд признал, что никаких доказательств моей вины не существует. От себя же я тебе скажу, что Хасен был рьяным приверженцем

советской власти, ездил по аулам, отнимал и распределял байскую землю, так что врагов у него было, конечно, много».

— Какой подлец!— воскликнул Буркут и даже ударил ладонью по столу.— Он теперь от всего будет отречься! А его угрозы Ханшаим накануне ее гибели?

— Слушай дальше,— продолжала Ольга.— «Но в одном твой названный отец все-таки прав. Истина была на его стороне. Из нас тронх — Ахан, я, Акпар, и он, Буркут,— только твой отец выдержал с честью эту опасную переправу. Двое погибли, один физически, другой морально. Да, я ничто для родной страны! Я тень, которая видна только ночью, а утром тает бесследно! Я призрак, я туман. Пройдет еще год-два, и меня не будет совсем. Даже если считать меня злодеем, то и то я сейчас очень и очень немного стою. Но что вспоминать о прошлом? Я хотел бы видеть тебя, девочка. В августе я буду в Алма-Ате и позвоню тебе по телефону. Я не хочу заставить тебя врасплох и поэтому вот пишу тебе. Подумай, взвесь и реши. Мне ведь немного нужно. Только побыть с тобой часок, посмотреть на тебя — ты ведь, наверно, похожа на мать — и уйти уже навсегда».

— Негодяй!— опять вскочил Буркут.— И он может так спокойно писать об этом...— Он наткнулся на взгляд жены и осекся.— Но ведь надо как-то решать,— сказал он растерянно.— Август?.. Значит, скоро он уже будет тут? Надо немедленно написать ему письмо, чтоб...— он остановился.

— Что?

Он молчал.

Она подождала немного и встала.

— Зура спит,— сказала она,— я пойду положу ей письмо на стол. Пусть решает сама.

— Да, пусть решает сама,— повторил он задумчиво,— пусть. Она может. Ей не грозит опасная переправа. Она все может.





*Золотые кони  
просыпаются*





## Часть первая

### Глава первая

Снова пришла весна. На оттаявшей земле враз поднялись клевер, пырей, щавель... Ландыши еще не расцвели, но уже радуют взор распутившиеся за одну ночь желтые и красные головки тюльпанов... На березы, клены будто кто-то волшебной рукой набросил нежное изумрудное покрывало. А скалы белоголового Алатау хотя и покрыты снегом, закутаны в легкие облака, на солнечной стороне хребтов лениво клубится туман. По темно-коричневым долинам с грохотом несут свои воды жгуче-холодные реки. Пришла весна и вернулись в родные просторы перелетные птицы. От мощного хлопанья их крыльев и призывных кликов можно оглохнуть...

Полновластными хозяевами чувствуют себя птицы и здесь, в большом старом саду, примыкающем к одинокому дому под железной крышей.

Этот дом и сад принадлежат археологу Кунтуару Кудайбергенову. Просторное окно раскрыто, за столом — сам ученый. Вот так всегда — чуть повест весной, Кунтуар распахивает створки настежь. Живительные соки, новые жизненные силы вливаются в него с потоком бодрящего воздуха. Весной — новые сборы в экспедицию, новые поиски.

Сейчас Кунтуар придвинул древний, почерневший от времени сосуд, взял лупу, склонился над ней... Да, сомнений нет — это сосуд работы древних саков. Сосуд найден близ озера Тенгиз. Экспедиция принесла и другие находки. Но особенно интересен вот этот хорошо сохранившийся кувшин.

Если учесть место раскопок, то находка принадлежит племени аргиппиев, которые жили на земле казахов давно, еще до Геродота... По сведениям этого древнего ученого, на севере Хазарского моря соседями аргиппиев были савроматы, с ними соседствовали массагеты, занимавшие юго-восточное побережье моря Атрау и долину Джейхун-Дарьи. Многочисленные племена населяли обширную территорию от берегов Сейхун-Дарьи на юге до отрогов Памира и Тянь-Шаня на востоке, озера Кокшетенгиз — на севере. Массагеты, аргиппии были сакскими племенами, Изучение культурного насле-

дия древних саков стало смыслом жизни ученого-археолога Кунтуара Кудайбергенова.

Вот и сегодня он пытается найти ответ на жизненно важный для себя вопрос — о культуре древнего народа.

Нет, Кунтуар не льстит себя надеждой, что тотчас сделает научное открытие. Взгляд скользит неотрывно по стенкам сосуда, а мысли археолога далеко, далеко... Наконец очнулся, встал из-за стола. Прошелся взад и вперед, словно измерил шагами свой просторный кабинет. Хотя Кунтуар не молод, но походка у него бодрая. Только большие карие глаза выдают глубокую усталость. Он среднего роста, плотный. Густые, с еле пробивающейся сединой волосы ниспадают до плеч. Сегодня Кунтуар чем-то явно встревожен. На лице — и смятение, и печаль.

Что же могло потрясти старого археолога, человека обычно спокойного и уравновешенного?

Оказывается, причина — слово, обидное слово, сказанное другом. Иной, будь на месте Кунтуара, может, махнул бы на все рукой: мол, жизнь мудрее слов и не стал бы держать обиды. Но оскорбление со стороны близкого человека, которому он доверял, как самому себе, к которому питал теплые чувства, пережить было нелегко.

Ведь они с Ергазы друзья, можно сказать, с детства: вместе росли, вместе учились. Особенно сблизили их годы студенчества. Когда началась война, Кунтуар тотчас отправился на фронт. За ним призвали и Ергазы. И надо же было такому случиться — чуть ли не в первом бою Кунтуара ранило в ногу. Из госпиталя списали в тыл. Вскоре вернулся домой и раненный в руку Ергазы. Что скрывать: друзья плакали при встрече. Кунтуару до глубины души было жаль товарища.

Чтобы хоть как-то облегчить его участь, Кунтуар предложил:

— Видимо, на фронт тебя теперь не отправят... На заводе или в лаборатории ты работать не сможешь. Иди в наше учреждение, а поправишься — решишь, что делать дальше.

Ергазы был искренне рад предложению. Он и сам хотел просить друга об этом.

— Лучшего мне не надо, только уговоришь ли ты свое начальство? Врачи освободили меня от фронта пока на полгода. А в вашем учреждении ведь можно получить и бронь?

Эти слова кольнули Кунтуара, но он взял себя в руки: «Кого не испугает фронт, а Ергазы, видно, хлебнул лиха досыта...» Этим и заглушил шевельнувшееся было в душе недоброе чувство к товарищу.

Через два дня он привел Ергазы в кабинет своего начальника — энергичного человека, видного организатора. Ермагамбетов в принципе не возражал, чтобы принять на работу

коммуниста-фронтовика. Но прежде захотел побеседовать с ним. Разговаривали около часу. Затем Ермагамбетов вызвал к себе Кунтуара, оставшись с ним наедине, спросил:

— Давно ты знаешь этого парня?

Кунтуар с готовностью ответил:

— Как же, с самого детства! Он постарше меня года на два. Жил в селе, в университет поступил... учился хорошо. Выдержанный, верный в дружбе, отзывчивый, мужественный джигит.

— Мужественный, говоришь?

Ермагамбетов обычно сдержан, лишь по лицу можно заметить, если он чем-то недоволен. Вот и сейчас:

— Говоришь, смелый, честный?— И откинулся в кресле.— А ты знаешь, что смущает меня? Ранен он в правую руку. Похоже, пуля вошла в ладонь. Указательный палец заострен, не гнется... И как это пуля нашла именно ладонь?

Кунтуар чуть было не задохнулся от гнева. Произнеси сейчас Ермагамбетов еще хоть слово против друга, Кунтуар не выдержит: «Мало тяжких испытаний перенес человек на фронте! Хорошо, сидя в мягком кресле, чернить другого!» Не то понял Ермагамбетов состояние Кунтуара, не то из других соображений, но смолк.

Через некоторое время уже с обычным своим спокойствием произнес:

— Короче, парень не подходит. Да и диплома, оказывается, у него еще нет. Думаю, те полгода, на которые врачи освободили его от фронта, полезнее всего потратить на защиту диплома. А там посмотрим...

Как же так, Кунтуар был уверен, что у друга есть диплом. Ведь когда сам он отправился на фронт, Ергазы учился на последнем курсе. Конечно, это такой довод, что не выразишь... Молча вышел он из кабинета начальника. Слово в слово передал Ергазы разговор с Ермагамбетовым. Вот только о ранении умолчал, да и не мог он подозревать товарища. Мыслимое ли дело, бросать такое в лицо человеку, у которого и так душа измотана до предела!

Выслушав все, Ергазы согласился:

— Пожалуй, Ермагамбетов прав, диплом, конечно, необходим. Но дело в том, что у меня сейчас нет ни сил, ни здоровья для его защиты. Кто-кто, а ты-то знаешь, что в свое время ни учиться, ни защищаться для меня не составило бы труда. Диплом что — одна формальность. Ты же помнишь, теоретический курс университета я окончил полностью.

— Да я-то все помню. Но диплом тебе нужен. Ермагамбетов в данном случае прав.

Ергазы взмолился:

— Ты что, не видишь, в каком я состоянии? До защиты ли

мне сейчас?! Помоги, если в самом деле вернешь мне, как человеку, если ты истинный друг...

— Успокойся, успокойся, Ереке. Как я могу помочь тебе?

— Сейчас инвалидам войны идут навстречу. Похлопочи, пусть в университете проверят мои последние курсовые работы и выдадут диплом. Чтобы тебя это не шокировало, обещаю: поправлюсь немного — за какие-нибудь полгода напишу дипломную. Клянусь честью, вот моя рука!

Кунтуар, искренне желая помочь другу, не задумываясь, согласился. Еще бы, еще бы... Ергазы учился хорошо, знания, несомненно, у него есть, помешала эта проклятая война, а тут еще ранение...

И он переговорил о Ергазы с проректором университета Арташевым. Старый профессор, добряк по натуре, хорошо помнил способного студента. Он был уверен, что Ергазы оправдает надежды и в будущем из него выйдет не только хороший специалист, но и крупный ученый. Арташев дал слово поставить вопрос о выдаче диплома на ближайшем ученом совете.

Все пошло по намеченному плану.

На следующий же день, как только Ергазы получил диплом, Кунтуар пошел — только теперь не к Ермагамбетову... прямо к директору института товарищу Гудкину. Просьба была все та же — взять на работу недавнего фронтовика. Сам Кунтуар пользовался в институте заслуженным уважением не только как инвалид Отечественной войны, но и как исключительно трудолюбивый, добросовестный работник, честный и скромный человек. Неизвестно, что больше произвело впечатление на товарища Гудкина: искренняя просьба Кунтуара или сам молодой специалист, не так давно вернувшийся с фронта. Только вскоре был подписан приказ о зачислении Ергазы на работу. Позднее никто об этом не пожалел: Ергазы был точен и исполнительен. Работая над кандидатской диссертацией, он оформил часть материала дипломной работой и сдал в университет. Сдержал слово, не подвел ни своего друга, ни старого профессора.

Победой окончилась кровопролитная война. К этому времени Ергазы уже работал по специальности. Он был женат на вдове по имени Акгуль. Жена привела в дом и своего трехлетнего сынишку Армана. Акгуль от природы — приятная, умная женщина. Она нравилась окружающим доверчивым и прямым взглядом больших черных глаз, открытым нравом. У нее всегда ровное настроение. Умом и характером Акгуль и покорила Ергазы, жизнь которого после женитьбы набрала стремительный разбег.

Ергазы с головой окунулся в работу. Год спустя после окончания войны успешно защитил кандидатскую диссертацию. Предприимчивый в житейских делах, он за это время постарался обзавестись влиятельными покровителями. Не без их помощи переехал затем в один из южных промышленных городов, где возглавил научно-исследовательский институт. Вскоре появился в Алма-Ате с готовой докторской диссертацией. Как и кандидатскую, успешно защитил ее. И вот он — доктор наук, профессор. Вроде бы выходит, что Кунтуар вовсе не напрасно оказал ему в свое время поддержку.

Однако неудачи не миновали Ергазы. Несмотря на титул доктора, профессора, его за какие-то упущения по службе скоро сняли с поста директора и назначили замом. И в другом Ергазы не повезло: выставлял свою кандидатуру в члены-корреспонденты на выборах в Академию, но положенное число голосов не набрал.

С новым директором у Ергазы сразу же начались трения и стычки. К удивлению Кунтуара, во всех своих злоключениях друг обвинял не кого-нибудь, а самого академика Вергинского — научного шефа института, крупного ученого. Когда-то Ергазы учился с ним в одной школе, потом им пришлось общаться по службе, а с тех пор, как Ергазы ведет научно-исследовательскую работу по археологии, он непосредственно подчиняется Вергинскому. И вот, зная о расположении академика к Кунтуару, Ергазы пришел вновь просить друга замолвить за него словечко перед влиятельным ученым. При этом настойчиво твердил: «Это точно, кто-то очернил меня в глазах Вергинского. Сходи, дорогой, объясни — совесть моя перед ним чиста».

Кунтуар не смог отказать товарищу. К тому же всегда верил в справедливость и человечность академика. Алексей Максимович Вергинский и впрямь был одним из душевных, отзывчивых на просьбы людей. Помогал он и Кунтуару в тяжелые дни, всячески поддерживал его в научных изысканиях. Так что Кунтуар не случайно считал Вергинского в душе своим ангелом-хранителем. Он уважал академика не только за дружеское расположение. Уважал как крупного ученого в области археологии. Да и не верил, будто Вергинский встал на дороге Ергазы и способствовал понижению того в должности. Вместе с тем археологу припомнились и недавние встречи с академиком. Было это как раз в то время, когда Ергазы сняли с должности директора и подыскивали на его место новое начальство. Сказав обычные при встрече слова приветствия, расспросив о житейском бытии, об успехах в работе, Вергинский несколько неожиданно для Кунтуара сообщил:

— Твоего приятеля сняли с поста директора. Мало нынче

быть доктором и профессором. Он же и дня не работал на производстве!

Кунтуар сразу даже и не сообразил:

— Какого приятеля?

— Ергазы, конечно. Вы же, помнится, старые друзья, да и работали вместе.

— Друзья-то мы друзья, а вот в жизни наши дороги как-то разошлись.

Помнится, академик и еще раз завел разговор о Ергазы.

— Твой друг,— сухо сказал он тогда,— мешает работать новому директору. Чего он, собственно, добивается?

Кунтуар ответил, не кривя душой:

— Не думаю, что Ергазы преследует какую-то личную корысть. Просто ему много виднее — столько лет руководил институтом! Некоторые вещи он знает лучше, чем новый человек. А может, тут и самолюбие — подчиняться человеку, ниже себя по ученому званию и степени! Здесь, как говорят, ничего не попишешь — слабость человеческая, порок многих. Но таков уж он, Ергазы.

— В науке надо не подчиняться, а работать.

— Что поделаешь, на том и свет стоит, что одни с плачем достигают своей мечты, другие — с песней. Бедный Ергазы всю жизнь только и мечтал, чтобы быть на посту руководителя.

— Вот-вот, в том-то и беда,— рассмеялся академик.— Всем почему-то по душе кресло руководителя!.. Я не перестаю удивляться,— продолжал он в раздумье,— как же это мог человек, ни дня не проработавший на производстве, столько лет возглавлять крупный научно-исследовательский институт, обслуживающий... производство?!

Кунтуар ничего не нашелся сказать в защиту друга. Да, к тому же, он толком не знал, как Ергазы справлялся с руководством НИИ там, на юге.

И вот теперь, по просьбе Ергазы, ему снова пришлось заводить разговор на эту же самую тему с Вергинским.

— Мой друг Ергазы очень переживает,— начал он, встретив Алексея Максимовича.— Вы обещали, что вызовете и поговорите с ним о его делах. С тех пор он все ждет. Прямо извелся весь.

Вергинский в ответ не проронил ни слова.

Кунтуар еще несколько раз пытался возобновить беседу, но академик всем видом давал понять, что говорить о Ергазы не расположен.

Старый археолог почувствовал неловкость своего положения: с одной стороны, он искренне хотел заступиться за друга, с другой — Ергазы, видимо, сумел обидеть чем-то академика. Тот ведь тоже живой человек.

Ергазы же, в свою очередь, смекнул, что Кунтуар в данном случае оказался не тем человеком, на которого можно делать ставку, и резко переменял к нему отношение. Археологу теперь не раз приходилось слышать от людей: «Говорят, ты передашь Вергинскому каждое слово Ергазы?» Сначала Кунтуар не обращал на эти вопросы особого внимания. Тем более, что от Ергазы он ничего подобного ни разу не слышал. И сам от природы презирал всякие наветы и сплетни. Но вот вчера неожиданно встретился с приятелем, как говорят, лицом к лицу.

Хотя обида где-то в душе и затаилась, он все еще считал Ергазы своим другом. И потому со свойственной ему искренностью спросил:

— Ты что это, Ереке, вроде бы и здороваться со мною перестал? В чем дело?

— Э-э, тебе лучше знать! — отрезал Ергазы.

— То есть, как это лучше?!

— Не криви душой. Я виделся с Вергинским и говорил с ним. Он ответил прямо: «Свое мнение о вас я составил в основном со слов Кунтуара, которому у меня нет оснований не доверять!» А я-то, глупец, всю жизнь считал тебя лучшим другом, на деле же — змею пригрел на груди. Оказывается, именно ты доносил Вергинскому каждое мое слово, сказанное тебе в минуты откровенности...

Кунтуар вначале просто опешил, смысл сказанного не доходил до его сознания. Когда же, наконец, понял, в чем обвиняет его Ергазы, то пришел в крайнее негодование:

— Да ты что? Что ты сказал? — закричал он.

— Что слышал! — Губы Ергазы скривились в презрительной улыбке. — Мне сообщил сам академик: «Вини не меня, а своего дружка Кунтуара!» Попробуй тут не поверить!

Это уж точно, как тут не поверишь... Видно, вправду Вергинский так и сказал. Однако, это же глупость, это же невозможно!

— Что, что же все-таки я сообщил Вергинскому о тебе? Подло: обвинять человека за глаза, оговаривать! Как он мог придумать слова, порочащие тебя, если я их никогда не произносил?!

— Не знаю, спроси у своего высокого покровителя!

— Уж я спрошу, поверь, спрошу у него!

— Правильно сделаешь, хоть будешь знать, кто из вас двоих подлец! — С победоносным видом Ергазы удалился.

А Кунтуар остался стоять, как пригвожденный. Несправедливость, ложь сразили его. Он был озадачен, в растерянности пытался дать себе отчет, что же такое произошло, где причина случившемуся? Ведь не произнеси подобных слов Вергинский, откуда бы их взять Ергазы?..

В эту ночь Кунтуар не сомкнул глаз. Утром, чуть сравнялось десять, позвонил секретарше Вергинского и попросил записать его на прием. Оказалось, Алексея Максимовича нет, он вылетел по делам в Восточный Казахстан. Кунтуару ничего не оставалось делать, как ждать.

Вот и сейчас он весь во власти переживаний от этой нелепой истории.

Вергинского нет целую неделю, говорят, возвратится еще дня через два-три... Кунтуар не понимал, что можно предпринять, чтобы выяснить все, забыть и обрести душевное равновесие? Получается, те, кому он всю жизнь верил, как самому себе, на кого равнялся, оказались мелочны и лживы.

Как ни поверни, а правду говорят в народе: скот пестрый снаружи, человек — изнутри. Он не мог отделаться от навязчивых мыслей: «Как же это я до сих пор не распознал, что за человек Вергинский! Или он мои же слова истолковал по-своему? А может, перепутал их с чьими-то другими, просто помнит меня лучше, чем других? Как можно ни за что ни про что оклеветать невинного? Нет, это не делает чести такому крупному ученому. Предположим, я оговорил Ергазы, но где же твое собственное мнение, сам-то ты ослеп, что ли? Да и составить отрицательное мнение о человеке с чьих-то слов... Это попросту непорядочно. И все-таки здесь что-то не так. Надо самому как можно быстрее во всем разобраться».

Обида на Вергинского несколько улеглась, но гнев и негодование на Ергазы вспыхнули с новой силой. Старый археолог с тяжким стоном ворочался в постели: «... допустим, допустим, дорогой мой, что Вергинский сказал именно эти слова, но почему же ты так поспешно поверил ему?— обращался он к невидимому Ергазы.— И чего ради тебе обливать друга грязью? Значит, очень уж хочется выставить меня подлецом... Столько лет вместе работали, и все это время, получается, ты верил, что я способен на подлость... Или же превыше собственной и моей чести поставил авторитет академика и смог повторить клевету? Да что это со мной? Зачем так болею душой, потеряв дружбу клеветника: не сейчас, так в любой другой момент он оговорит и предаст! Как же все-таки быть? Порвать навсегда, забыть его, выбросить из головы и сердца?»

Да, похоже, Кунтуар был настроен так не только к Ергазы, но и к Акгуль, всегда с ним душевной и приветливой. «Неужели она знала обо всем и поверила? Чепуха! Пусть Ергазы способен на черную зависть, но Акгуль... Она не может заводить мне».

И еще одно обстоятельство крайне тяготило Кунтуара. Собственный сын — Даниель не унаследовал склонности отца к археологии, стремился проявить себя как писатель, а неродный сын Ергазы — Арман окончил университет, стал тоже ар-



хеологом и теперь начал работать под руководством Кунтуара. Ученый всеми силами старался помочь молодому специалисту, надеялся увидеть в ученике своего преемника.

Как теперь все обернется, не перешла бы неприязнь с Ергазы на парня. Кунтуар старался взять себя в руки, не терять трезвого разума. Нет, сын за отца не ответчик. Но ведь живы в народе слова: коль заведется в яблони червоточина, то и яблочкам быть червивыми.

Кунтуар присел к столу, вновь придвинул к себе сосуд, попытался сосредоточиться. Мысли по-прежнему вразброд. Теперь думы его об Армане и Даниеле. Они — ровесники, давни и хорошо знают друг друга. Однако не похоже, чтобы дружили. Причиной тому — вовсе не распри родителей. Причина — Жаннат. На глазах расцвела, похорошела и только вчера, кажется, готова была жизнь отдать за Даниеля. Что же случилось с нею теперь? Или девичье сердце так ветренно и непостоянно, как ранняя весна?

Конечно, Арман представительнее Даниеля, пожалуй, и симпатичнее. Да что красота? Если заглядываться на каждого и идти за каждым, что станет с девичьей гордостью?

А что станет с Даниелем, единственным сыном? Мать умерла рано, отец — плохой помощник в сердечных делах. Как и чем поддержать его, как стать для него другом и опорой? Сейчас сын один на один со своими переживаниями. Молод он, неопытен. И характером уж очень мягок.

Кунтуар, чтобы хоть на время отойти от горьких мыслей, выпрямляется, опять отодвигает в сторону сосуд, склоняется над толстой рукописью. Это своеобразный дневник. В нем — интересные рассказы об археологических экспедициях и их ходах, плоды глубоких раздумий о жизни, о науке. Немало в книге и слов, обращенных к молодежи. Много лет писал ее Кунтуар. В минуты усталости и печали он неизменно обращался к своему детищу, как к верному другу. Стоило углубиться в текст и на душе становилось светлее. Покой, вера в завтрашний день и вдохновение нисходили к нему.

Однако на этот раз и работа над рукописью не приносила удовлетворения. Прочитал каких-то две-три страницы и не ощутил отзвука в душе. Не оставили его ни прежние мысли, ни настроение.

Кунтуар встал, подошел к окну. Сгустились сумерки. Небо будто затянулось прозрачным черным шелком, по которому, вышитые гладью, засияли золотые монеты звезд. Ночной воздух стал прохладным и влажным.

«Что-то долго нет сегодня сына... Задерживается, пора бы домой...»

Не успел Кунтуар подумать об этом, как со стороны сада раздался крик: «Помогите, помогите!..» Ему показалось, это

голос Жаннат. Превозмогая сердечную боль, выскочил на улицу. Пока добежал до сарая, из дома напротив подоспели парни. В самом деле, кричала Жаннат. Бледную, ее ввели под руки в дом Кунтуара. Девушка объяснила, что шла сюда к Даниелю. И когда была уже у самого дома, из-за деревьев выскочили двое, набросились на нее, отняли сумочку... Жаннат отбивалась и успела крикнуть. Хулиганы скрылись, как только увидели бегущих к ним людей.

Кунтуар, слушая Жаннат, постепенно приходил в себя. Он начал успокаивать девушку, все еще охваченную страхом и волнением: «Сейчас придет Даниель...»— и... осекся! Жаннат оторопело взглянула на него, глазами спрашивая: «В чем дело?»

— О боже, ведь только что лежала здесь, на столе,— растерянно проговорил археолог.— Или я положил ее в ящик? Будь она неладна, эта старость, забываю, где что кладу.— Он суетился, заглядывая в ящики стола, шарил на книжных полках...

— Отец, что вы ищете?— с сочувствием спросила Жаннат.

— Рукопись, деточка, рукопись... Только что я работал над нею. Услышал твой крик и бросился на улицу, а она осталась на столе, вот здесь. Неужели кто-то влез в окно?.. Кому они понадобились, чужие мысли? Что за напасть! Или я отнес ее в столовую?

Кунтуар прошел в соседнюю комнату, Жаннат осталась в кабинете. Постояв минуту в раздумье, девушка взяла карандаш и чистый листок бумаги, быстро написала записку, положила ее на краешек стола и... вышла.

Бледный, Кунтуар вернулся в кабинет, грузно опустился на диван. Долго сидел в оцепенении, с опущенной головой. Старый археолог даже не заметил, как вошел сын, стройный и высокий, с тонкими чертами лица и большими, как у покойной матери, карими глазами. Даниель был озадачен состоянием отца — обычно тот встречал его радостно.

— Коке<sup>1</sup>, коке!— Сын обнял отца за плечи. Кунтуар с трудом поднял непомерно отяжелевшую голову.

— Почему-то закололо сердце, сынок... Сейчас украли мою рукопись.

— Рукопись?! Куда же она девалась?— не понял Даниель.

— Когда закричала Жаннат, рукопись была здесь. Я выбежал на помощь. Вернулся — на столе ничего...

— Ты сказал — Жаннат? Она что, была у нас?

— Да, только что стояла здесь, а рукопись...

Даниель в недоумении оглядел комнату, край стола, куда

---

<sup>1</sup> Коке — папочка.

указывал отец. Там белела записка. Юноша поспешно схватил ее.

— Что за наваждение?!— воскликнул он.

— В чем дело?

— Да вот, Жаннат пишет...— и стал читать:— «Даниель, прости за все. Хотела объясниться, поговорить — не получилось, тебя нет дома. Знай, между нами все кончено, я уезжаю с Арманом. Тебя жаль, но что поделаешь, любовь сильнее нас обоих. Вашему дому я приношу одни несчастья. Кажется, и на дядю Кунтуара навлекла беду. Прощай, Жаннат».

Собственные невзгоды Кунтуара разом отодвинулись. По вздрагивающим плечам уткнувшегося в стол Даниеля отец понял: плачет.

Кунтуар всей душой любил сына. Если он и молил о чем-то судьбу, так это о том, чтобы умереть раньше Даниеля, утрату которого он бы не перенес. С годами все яснее отдавал себе отчет, что в жизни у него две важные заботы: первая — Даниель и его будущее, вторая — достижение поставленной научной цели.

Кунтуару вдруг захотелось взять сына на руки, приласкать его, как малыша.

— Дорогой мой,— Кунтуар старался говорить как можно бодрее и мягче,— послушай своего старого отца: слезы — плохой помощник в беде, не вешай головы. Пусть горе закалит твои силы и сердце. В годы войны люди теряли родных, любимых. Что бы случилось, если бы твои ровесники тогда, переживая личное горе, теряли и стойкость духа? Возьми себя в руки, вернись к работе над книгой.

Даниель после некоторого молчания произнес:

— Ты прав, отец. Прости меня.

В комнате воцарилось молчание.

## *Глава вторая*

Полноводная Сырдарья лениво перекачивает свои волны. Черными хребтами виднеется вдаль Каратау. Эти хребты огибают огромную долину. Почва растрескалась от безводья и покрылась серой пылью. Задолго до наступления осени, а иногда — с самой середины лета здесь все выгорает. Торчат лишь кое-где жухлая полынь да жесткая верблюжья колючка. Распластались по земле редкие кусты боярышника.

Эти граничащие с песками пустынные солончаки, голые, открытые зною и ветрам, не привлекают птиц. Дрофы с синезелтым отливом перьев, коричневатые стрепеты, длинноногие фазаны облюбовали только берега Сырдарьи, густо поросшие камышом и джидой.

Зато богаты солончаки зверьем. Носятся здесь стада антилоп. Ближе к Каратау обитают горные козлы — таутеке, горные архары с круто завитыми огромными рогами, чернохвостые косули. Много темно-серых волков, огненно-рыжих лисиц.

Недра пустыни таят в себе несметные клады, открыта же человеком лишь часть из них: свинец, цинк, фосфориты...

Между Сырдарьей и Каратау вырос город. От него тянутся асфальтовые магистрали в Ташкент, Чимкент, Туркестан. По обе стороны их ветвятся колен проселочных дорог и узкие тропы, которые ведут к понсковым экспедициям разведчиков воды, ископаемых и... памятников древности.

В этот город несколько дней назад приехали двое молодых людей: студентка последнего курса пединститута Орик — на практику и будущий ученый-историк Пейлжан — собирать материалы для своей диссертации.

...Сегодня день особенно жаркий. Сухой, обжигающий ветер бьет в лицо. Перед полуднем над горизонтом нависло дрожащее серебристое марево. Волшебно переливаясь, оно манит взор всплесками моря, перед освежающей синевой которого блекнет само высокое небо. И на земле, и в воздухе все будто вымерло: ни зверя, ни птицы...

Кажется, во всем этом безмолвии жив один-единственный человек — Пейлжан.

Приехав в Кайракты по своим делам, он познакомился здесь с Орик. Пейлжан знал, что полгода назад после окончания института начальником одной из гидрогеологических экспедиций сюда был назначен его брат — Нурали. Оказалось, Нурали собирался жениться на этой нежной, веселой девушке. Сейчас он в отъезде, где-то в песках, с буровиками. Пейлжан под предлогом, будто разыскивает брата, стал искать встречи с Орик. Он нашел девушку в общежитии.

За первым свиданием последовали другие. Скоро Нурали отступил на второй план не только для Пейлжана, но и для Орик. Какая-то непонятная сила поднимала ее, заставляла поступать вопреки разуму.

Сегодня Пейлжан на ногах чуть свет. День воскресный, не заполненный делами, тянулся бесконечно долго. Молодой человек то ложился на диван в своем гостиничном номере, то вставал, то брался за книгу и снова откладывал ее — читать не хотелось.

Помнил ли он сейчас о сверстнике своего детства? Родители Нурали умерли рано, и рос он в доме родного дяди, отца Пейлжана. Теперь мальчишки повзрослели. Неужели он, Пейлжан, способен причинить брату такую боль?

В собственных глазах у него гогово оправдание: любовь. Да, кажется, любовь. Иначе как назвать это чувство, заставляющее его бежать к Орик, ловить ее взгляд, слово. Он не

хочет задумываться о последствиях, ему просто надо, надо видеть ее глаза, губы...

Пенлжану не откажешь в силе чувства, но какого? Он готов продать душу дьяволу, лишь бы Орик была здесь, рядом.

Внешне это, пожалуй, даже обаятельный человек, мастер поговорить, душа компании. Однако за приветливыми словами и сладкой улыбкой на первом месте у него собственные прихоти. Уж если что задумал, готов помешать любому ради исполнения собственных желаний.

Вот и сейчас он уже ничуть не терзается всякими там угрызениями совести. Есть у него удивительное качество — забывчивость. В один миг он умест отбросить нежеланные мысли, перестать думать о неприятном, забыть все, что тяготит, что вызывает к совести...

Наконец, дневной зной уступил место приятной прохладе. Пенлжан спешно оделся и вышел. Он направился к садам на окраине города. Южная мягкая ночь постепенно укрывала землю. Редкие звездочки ободрающе подмигивали в такт скорым шагам Пенлжана: «Поторапливайся, поторапливайся, молодой человек!» Он еще издали различил Орик. Девушка стояла у самых крайних деревьев сада. Сердце затрепетало, он еле сдержался, чтобы не броситься к ней. Ноги сами собой зашагали чаще. Орик тоже поспешила навстречу. Невидимое глазу — видит сердце. Пенлжан почувствовал, что Орик ждала его с нетерпением. Он пошел еще быстрее, почти подбежал:

— Я думал, ты не придешь...

— Почему? — Показалось, голос девушки прозвенел серебристо и ласково, как колокольчик. Пенлжан слышал в нем затаенный призыв и нежность.

— Не знаю, я считаю это незаслуженным счастьем.

Орик помолчала, потом засмеялась:

— Кажется, звезды сегодня особенно крупные и близкие, светят ярче, чем всегда.

— Это правда. Самая яркая из них находится рядом со мной.

— Звезды на небе, а не на земле...

— Тогда с чем же сравнить ту, которая стоит рядом?

Она кокетливо погрозила ему.

— Со мной рядом самая красивая девушка в мире. Ее можно сравнить только с зарей, со звездой, нет, с луной! — разошелся Пенлжан и вдруг совсем тихо, почти шепотом произнес:

— Я поцелую тебя...

— Нет, стыдно же...

— Почему?

- Грех на душу берешь.
- И что же будет, если согрешу?
- Будешь гореть в аду.
- Да я и без ада весь как в огне, пощади!..

Он обнял ее. Тесно прижавшись, оба брели по саду. Когда их укрыл раскидистый карагач, вокруг которого росли душистая полынь и мягкий ковыль, Пейлжан не пошел дальше, будто невиданный груз сковал ему ноги. Он вновь притянул девушку к себе.

Луна, царившая в вышине, медленно плывет вдоль горизонта. Светло, как днем. Возле раскидистого дерева — парень и девушка. Причудливые тени от веток карагача похожи на диковинных чудовищ. Звезды срываются с высоты и исчезают — будто сторает вмиг чье-то счастье...

Тишина. Эту гармонию неба, ночи и тишины нарушает лишь девичий плач. Но почему-то он не тревожит душу.

Плачет Орик. Рядом лежит Пейлжан. Руки закинута за голову, взгляд устремлен в ночное небо. Только когда там срывается и гаснет очередная звезда, в его бесцветных глазах мелькает недобрая усмешка. Он не обращает внимания на слезы Орик. А она, не убрав рассыпавшихся волос, сидит, обхватив колени тонкими руками. Куда исчезло радостное волнение, только вчера переполнявшее все ее существо? Сегодня душу жжет горькое раскаяние. И... обида. Девушка вдруг разом поняла всю низость случившегося.

Пейлжан не утешает ее. А Орик в этот миг видит перед собой только Нурали. Кого теперь винить? Себя? Да! Но Пейлжан пренебрег даже тем, что Нурали — его брат!

Вспомнились долгие вечера, проведенные с Нурали.

...Тоже светила луна. Так же плыла она, полная и золотая, заливая просторы лучезарным светом. Так же с неба падали, срываясь и сторая, звезды. А они успевали загадывать сокровенное желание и верили, что оно непременно сбудется. Подставляли ладони навстречу падающей звезде и чудилось, что это летят к ним их светлые мечты...

Они с Нурали перед тем свиданием не виделись целый год и, встретившись у реки, вот так же сидели среди желтых и красных тюльпанов.

Нурали впервые тогда сказал ей о своем чувстве.

Окончив институт, он и уехал в эту экспедицию. Орик молила судьбу лишь о том, чтобы поскорее вновь свидеться с любимым. Три месяца без него показались ей тремя годами. И именно в эту пору подвернулся на пути Пейлжан. Вместо того, чтобы как-то развеять ее тоску, успокоить, он надругался над их любовью.

Горечь и раскаяние переполняли сердце Орик. «Как же я теперь посмотрю ему в лицо? Как?!» — повторяла она,

Пеилжан лениво шевельнулся:

— Кому?! Кому тебе надо смотреть в глаза?!

Девушка заплакала еще сильнее:

— Кому? Твоему брату, Нурали!

Пеилжан подал голос:

— Он еще не скоро появится...

Орик взглянула на парня. «И это все, на что он способен!»

— Чего ты плачешь? Если сама никому не расскажешь, это еще не грех. Не мучайся попусту.

Орик стало дурно. Но слова Пеилжана вместе с тем оказались той соломинкой, за которую хватается утопающий, они внесли хоть какую-то разрядку в ее душевное смятение. Пеилжан тем временем продолжал:

— Я же... ты сама согласилась, по доброй воле...

— Как это?.. Как по доброй воле?! Как же мне теперь жить? Нурали...

— А чем я хуже Нурали? — перебил ее Пеилжан и потянулся рукой, стараясь привлечь к себе.

— Не трогай меня!

— А если я люблю тебя? — голос Пеилжана окреп.

«Любит? Правда это? Любит? Может, потому и решился... потому так поступил... Разве виноват, что любит?.. Наверное, это надо прощать...»

Но едва воображение ее воскресило образ Нурали, как сердце снова сжалось от боли, слезы комом подкатили к горлу.

А голос Пеилжана звучал уверенно:

— Ну да, люблю сильнее, чем твой Нурали! Да и какое мне до него дело! — Пеилжан опять привлек к себе Орик.

Через два дня они встретились снова, затем еще и еще. Свидания стали частыми. И когда из экспедиции возвратился Нурали, Пеилжан и Орик жили одной семьей и уже ждали первенца.

А для Нурали началась полоса невезения. Экспедиция под его началом пробурила несколько скважин в песках, близ Каратау. Но воды не обнаружила. Пока перебрасывали оборудование на новое место, наступили осенние холода. Однако, несмотря на заморозки и холодный ветер, Нурали решил не сворачивать работы до глубокой зимы. В Кайракты он приехал, чтобы послать в Алма-Ату телеграмму с просьбой разрешить вести буровые работы и зимой. К тому же, надо было отчитаться на техническом совете о том, что сделано на предыдущих скважинах, не давших воды. И, конечно же, не толь-

ко по делам торопился в Кайракты молодой инженер. Он спешил, чтобы увидеть Орик. Худая молва всегда найдет тысячи дорог и тысячи голосов, долетит, куда и не предполагаешь. О связи Орик с Пенлжаном Нурали узнал еще две недели назад. Один молодой техник, только что возвратившийся тогда из Кайракты, сообщил во всеуслышание: «А новость в Кайракты одна-единственная: появилась молодая парочка — красавица Орик и молодой ученый Пенлжан, скоро их свадьба!» Нурали не верил своим ушам.

Чем ближе он подъезжал к городу, тем больше волновался. Закравшееся в душу сомнение, мысли, что все это неправда, с новой силой одолевали его.

Сейчас, устроившись в гостинице, уже собрался было идти в общежитие к Орик. Вдруг кто-то постучал в дверь номера.

— Войдите,— пригласил Нурали, завязывая на ходу галстук.

Вошел главный инженер треста Жаркын. Он закончил тот же институт, что и Нурали, только тремя годами раньше. К Нурали испытывал теплое чувство дружбы и некоторого покровительства. Его обветренное, загорелое лицо светилось улыбкой. Обнялись.

— Увидел твоего шофера — он машину ставил в гараж, узнал, что ты приехал, и поспешил сюда,— говорил, все еще радостно улыбаясь, Жаркын.

— Да, всего час назад прибыли. Решил прогуляться, по дороге позвонить тебе.

Жаркын внимательно посмотрел на друга:

— Ты, кажется, спешишь?

Нурали неопределенно улыбнулся, затем сказал:

— Ты прав, соскучился по Орик, хотел заглянуть к ней в общежитие.

— А-а...

Жаркын знал о случившемся. После некоторой заминки посоветовал:

— Чего спешить? Сама придет, когда узнает, что приехал...

Нурали уловил в голосе Жаркына скрытый смысл. Нахмурился:

— Станный совет...

— Нет, нет, я просто так.— У Жаркына мелькнуло желание рассказать другу все, что знал, но он взял себя в руки:— Ладно, иди. Разберетесь сами.

— В чем?

— Что значит, в чем? У молодых людей после разлуки всегда найдется о чем поговорить. Только прошу тебя: как освободишься — сразу же приходи ко мне. Не вздумай укатить, не повидавшись.



— С чего бы это? И почему ты так торопишься проводить меня в обратную дорогу?— Нурали рассердился.— У меня к тебе дела накопились. Планировал зайти завтра, после отчета. Надо о многом посоветоваться.— И поглядел прямо в лицо Жаркыну:— Кажется, хочешь что-то сообщить мне, так выкладывай!

Жаркын отвел взгляд:

— Ты устал с дороги, не хочется тебя огорчать. Да и не могу я, пусть чужие люди скажут, не я.— Он направился к двери.— Давай все же встретимся сегодня вечером, хорошо?— И ушел, не прощаясь.

До сознания Нурали ясно дошло: случилось худшее... Руки забило мелкой нервной дрожью, расслабил на шее галстук, опустился в кресло.

Перед глазами поплыли картины детства, проведенные вместе с Пенлжаном...

Когда мальчишка переселился в их дом, отец Пенлжана — Сурыкбай не слыл богатым, но жил в достатке и был разворотлив в делах. В старину в казахских семьях было принято баловать сыновей. Этому обычаю следовал и Сурыкбай. Но сирота Нурали больше, чем праздную лень и шалости, любил слушать сказки, песни, кюи<sup>1</sup>. А худющий, с вечно разбитым носом Пенлжан рос неслухом и сорванцом. Ему ничего не стоило посквернословить при гостях, приезжавших в дом отца, не раз заставлял он плакать и младшего по возрасту, более тихого по характеру Нурали. Одну драку Нурали хорошо помнит до сих пор. Доведенный насмешками и подзатыльниками Пенлжана, он не выдержал, бросился на него и отобрал биту-кулжа<sup>2</sup>. Заревев, разбрызгивая слюны, Пенлжан кинулся к печке, схватил кочергу и ударил ею Нурали.

Другой мальчишка тут же и испугался бы, проникся бы жалостью. А Пенлжан с ликованием захопал в ладоши и победоносно заорал: «Так тебе и надо!»

Теперь, когда они выросли, старший брат снова перешел дорогу Нурали. Что же это за человек, его брат, безжалостный и черствый от рождения?

В это время вновь раздался настойчивый стук в дверь.

— Войдите,— собрав силы, проговорил Нурали. Дверь отворилась. В комнату вошел... Пенлжан.

Нурали всего заколотило. «Япырмай<sup>3</sup>! Да он собственной персоной явился, не стыдится говорить со мною, идет на все, лишь бы предупредить мою встречу с Орик! Нет, видно, и вправду у него камень в груди вместо сердца...»

<sup>1</sup> К ю и — короткая музыкальная пьеса.

<sup>2</sup> Б и т а - к у л ж а — кость от ноги животного, чаще теленка, для игры в асыки (или русск. «в бабки»).

<sup>3</sup> Я п ы р м а й — возглас удивления.

— Хорошо ли доехал, как здоровье?— задавал, как ни в чем не бывало, обычные при встрече вопросы Пеилжан, удобно усаживаясь в кресле напротив.

Нурали еле выдавил в ответ:

— Как видишь, приехал.

— По слухам, ваша экспедиция работает убыточно. Не падай духом, раз решил и зимою бурить, значит, найдешь воду, если только она там есть.

Нурали опомнился:

— Ты сюда явился, чтобы сказать мне об этом?

Пеилжан несколько поежился под взглядом младшего брата.

— Нет.— Он старался говорить как можно увереннее, но голос звучал фальшиво, глухо.— Нурали...— Приняв горестную позу, Пеилжан делал многозначительные паузы после каждого слова:— Птенцы, вырастая, покидают гнездо. Братья, выросшие в одном доме, умирают в разных. Неразлучны они тоже только в детстве, а вырастут — каждый идет своим путем. Каждый живет так, как подсказывают ему разум и сердце. Вот и мы росли вместе, а дороги в жизни выпали нам разные. Не обижайся, у меня тоже есть и сердце, и чувство сострадания к тебе, но любовь — это своенравный тулпар<sup>1</sup>, с ним не совладаешь. У меня не хватило сил обуздать его. Мы с Орик договорились...— Он заглянул в глаза Нурали, тот молчал.— Знаю, нелегко услышать все это, но сказать тебе в утешение у меня нечего.

— Отчего же, говори, скажи еще что-нибудь!

— Нет,— поднимаясь с кресла, сочувствующим голосом ответил Пеилжан.— Прошу только об одном: не волнуй понапрасну Орик, не ищи с нею встречи. Ничего не изменишь.

Он вышел.

Нурали стоял посреди комнаты бледный, покачиваясь с носков на пятки, крепко сжав кулаки, затем тяжелым шагом подошел к креслу, вновь опустился в него и так сидел, закрыв лицо руками. В нем кипел гнев оттого, что с таким безразличием и вероломством втоптан в грязь его самое светлое чувство — любовь к девушке. Обида, оскорбленная гордость, стыд — все смешалось и восстало против подлости и предательства, которые нанес ему его собственный брат. Наконец, собравшись с силами, он откинулся на спинку кресла, в котором только что с гордостью восседал Пеилжан, стал размышлять...

Теперь случившееся лишало его не только Орик, но и Пеилжана. В детстве было всякое: ссоры, споры... И все-таки тяжело терять единственного брата. А вдруг... вдруг эта краса-

---

<sup>1</sup> Тулпар — легендарный крылатый конь (из казахского фольклора).

вица сама соблазнила его? На беду мне, может, случилось так, что виновата Орик, а вовсе не он, не Пеилжан? Тогда... Тогда, может, и не следует его так жестоко осуждать, кто знает...

Час спустя, Нурали, с трудом передвигая ноги, медленной походкой подходил к общежитию треста. Орик завидела его еще издали и... поспешила навстречу.

На лице — ни тени смущения (не то что страдания!). Выглядит она прекрасно, кажется, чуть похудела только. Но... его встречного взгляда избегает.

— Здравствуй, Нурали!— Голос осекся, задрожал, сквозь смуглую кожу проступил румянец.— Идем, поговорим.

Шли молча. Обогнули общежитие, присели на скамейке чьего-то палисадника. И... ни слова друг другу. Первой заговорила она:

— Наверное, Пеилжан сказал тебе уже...

— Сказал, но хотелось бы послушать и тебя.

Орик помолчала, потом заговорила опять, уже более твердо и уверенно.

— Я нашла свое счастье.

— Тогда... выходит... ты лгала мне?

— Лгала — не лгала, какое это теперь имеет значение?

Порезвились, как дети, но все прошло.

— Порезвились!— Нурали не в силах был больше сдерживать себя, он почти кричал:— Если ты забавлялась, так нечего было мучать меня! Ты не верила мне? Любовь, что, по-твоему, дается на один день? Ты понимаешь сама-то, что говоришь? Ты... ты...

— Хочешь сказать, что предала, так ведь?— разволновалась в свою очередь Орик.— Может, и так. Но что теперь поделаешь? Да, потеряла совесть! Да, люблю тебя, а замуж иду за твоего брата! Да, я виновата, одна я! Ты это хотел услышать? Уходи...

Он поднялся со скамейки.

Превозмогая слабость, шатаясь, побрел, сам не сознавая куда. Вдоль улицы — редкие фонари. В голове кто-то будто выстукивал одно только слово «Орик».

Нурали оглянулся. Увидел идущую по асфальту машину, попросил шофера подбросить до гостиницы.

Открыл дверь номера, постоял в темноте. Затем включил свет, взглянул на часы. Стрелки циферблата показывали двенадцать ночи. Нурали — как во сне. Однако он понимал, что все происшедшее с ним — не сон, а явь. Не выключая света, не раздеваясь, лег на диван, уткнувшись в спинку разгоряченной головой. Сон не приходил, будто не было ни усталости с дороги, ни вымотавших силы переживаний.

Утром он не пошел в трест. Не хотелось видеть сочувствующие взгляды сослуживцев. Вот в таком, не самом лучшем, состоянии его и застал Жаркын.

— Конечно, тебе тяжело, но причем здесь твое затворничество?— пытался начать разговор Жаркын.

В глазах Нурали была безысходная тоска. Вдруг он вспыхнул:

— Прости, но в личном горе не может быть ни советчиков, ни помощников!

— О каком горе ты говоришь?

— Может, тебе непонятно, но когда человек теряет любовь — это не радость.

— Вот сказал! Да любовь — это когда люди безгранично уважают друг друга! Настоящая любовь возвышенна, за нее, может быть, в самом деле не жаль пожертвовать и жизнью. А если это... не любовь?

— Да знаешь ли ты, что такое...

— Ладно, ладно,— остановил его Жаркын,— в твоем положении и вправду советы излишни. Сам все понимаешь.— Он помолчал, затем добавил:

— Я к тебе по делу. Надо срочно ехать в экспедицию...

— Что случилось?

— Авария...

— Какая авария?— перебил Нурали, не дав Жаркыну закончить фразы.

— Умер молодой паренек... Казикен.

— Что, что ты сказал?!— Нурали вскочил с места.

— Да, только что сообщили радиogramмой. Убило током...

— Ка-зи-к-ен...

Нурали припомнился недавний свадебный вечер, всего каких-то три месяца назад. Казикен и Кунимжан. Все любовались юной парой, прекрасной, как Кыз-Жибек и Тулеген. В тот праздничный вечер Нурали считал их самыми счастливыми на свете, а сейчас представил Кунимжан в трауре и содрогнулся. Собственные страдания показались ему ничтожными и недостойными человека по сравнению с тяжелым горем Кунимжан. Он заторопился в дорогу:

— Еду! Сейчас еду!

Жаркын, придерживая дверцу машины, сказал на прощанье:

— Нелегкие дни свалились на твои плечи. Но я верю, ты выступишь, справишься...

— Спасибо,— ответил Нурали.— Я постараюсь, иначе... Разве можно иначе?

Жаркына обрадовали слова друга.

— Счастливого пути!

По-разному складывается человеческая жизнь. Для одного она — само торжество природы, ее вершина, ее совершенство. Это — когда человек нашел свою дорогу в жизни. Он идет по ней уверенно. Не быстро и не всегда легко выпадает такое счастье, немало мужества требуется на пути к самой заветной, самой желанной цели. Горе тому, кто так и не находит в себе сил и мужества, кто так и кружит по окольным тропинкам, не сумев определить главного направления, не достигнув мечты.

Да и каждого ли озаряет мечта, эта сладкоголосая птица юности, способная на своих крыльях унести человека до заоблачных высот? Бывает ведь, что долгие-долгие годы она лишь манит, зовет в неведомое, словно огонь желанного ночлега в ночи, а жизнь между тем преподносит человеку свои сюрпризы, оборачивается тем необъезженным диким куланом, который — с какой стороны ни подойди — все норовит отбросить тебя, да подальше.

Данисель, казалось, был в числе счастливиц, но вот и ему рано пришлось испытать на себе незримости судьбы. Сердце не хотело подчиняться разуму и лишило джигит чувства радости жизни, которая превратилась теперь в тоскливое существование, полное горьких раскаяний. Он искал выхода, и, как спасение, каждый раз приходили на память слова отца: «Работать, надо работать...» «Труд и мечта всегда рядом, везде должны сопутствовать друг другу. В них — исцеление...»

Данисель прислушался к мудрым отцовским наставлениям и, как мог, боролся с тоскою о Жаннат. Сегодня он приступил к невольно прерванной работе над рукописью своего романа. Читая отцу вслух страницы уже написанного, рассуждал:

— Думаю, что общественный строй саков будет более понятен и исторически верен, если подробнее описать их экономические отношения, то, как они пользовались землей, водой, орудиями труда. По сведениям Геродота, древние племена саков землю и воду делили между собой по количеству скота. Для защиты общих богатств от врага и объединялись. Причем к ним, в случае опасности, присоединялись и дружественные племена массагетов, аргиппиев, других кочевых народов. Ты знаешь, что в отличие от саков, которые осели в предгорьях Алтая и Тарбагатая, сакские племена, кочевавшие от этих мест до самого Хазарского моря, пастбища и водопой считали общими, к личному имуществу причислялся скот, средства передвижения...

— Все верно, — отвечал Кунтуар, — во время войн саки защищали не только земельные угодья и водоемы, но и

личное имущество. Мне припомнились слова персидского царя Кира, приведенные, кажется, у Ксенофонта. Помнишь, когда в союзе с саками Кир захватил Вавилон, на торжестве в честь победы были организованы скачки. Владыка персов тогда поставил условие: «Пришедший первым — пусть возьмет себе все, мне же — отдаст скакуна». Мог ли всемогущий Кир снизойти до такой просьбы к простым воинам, если скакун не был личной собственностью участника скачек? Конечно, нет.

— Я, отец, считаю, что именно благодаря своему сплочению племена саков и представляли внушительную силу, способную захватить торговые караванные пути на севере Персии. Чем же иначе объяснить попытку непобедимого Кира в 530 году до нашей эры покорить соседние с ним племена массагетов, а уже несколько позднее — в 517 году — и саков? С этой же целью пять лет спустя другой, не менее прославленный, царь Персии — Дарий выставил свои войска против черноморских скифов. И что удивительно: во всех трех сражениях могущественные персы потерпели поражение и отступили. Удивляет тонкость дипломатии тех времен. Несмотря на все эти войны, в пору общей опасности саки и персы объединяли свои армии. По сведениям того же Геродота, саки вместе с персами служили на кораблях персидского царя Ксеркса. Конные войска саков показывали примеры храбрости, сражаясь на стороне персов, вместе с их великими войсками, в битве при Платенде. А предводитель саков Аморг дважды оказал неоцененную помощь все тому же всеильному Киру: в его сражении против царя Лидии — Крета и во время ранения Кира при поражении в битве с дербитцами, когда Аморг подоспел к месту сражения с десятью тысячами пехотинцев и тысячной конницей и спас Кира от позора и верной смерти.

— Такого преданного союзника сам Кир и умертвил?!

— Да, таковы законы дорвавшихся до царского трона...

Кунтуар все еще переживал за сына, здоровье которого заметно сдало после разрыва с Жаннат. Свои страдания отец старательно скрывал, но Даниель видел все и был огорчен, что причиняет боль самому родному для него человеку. Сын также опасался за здоровье, за жизнь престарелого отца. Порою ему казалось, что отец, доведенный до крайности всем случившимся за последние дни, не выдержит... Это страшило его, вместе с тем помогло усилием одной воли засадить себя за стол и... писать. В первые дни работа не клеилась, ни единой мысли, даже самой ничтожной, не приходило на ум. Слова были чужими, и он перечеркивал все написанное...

Однако мало-помалу Даниель возвращался к прежней жизни, все чаще склонялся за столом над рукописью, в глазах

горел неподдельный интерес к тому, что выходило из-под его неторопливого пера. И первым перемену в сыне понял, ощутил каким-то внутренним чутьем старый археолог.

Сегодня, слушая Даниеля, читающего рукопись, Кунтуар особенно переживал приятное волнение. Абажур настольной лампы мягким зеленоватым светом заливал центр стола, падал на лицо сына. Отец с легкой грустью любовался и гордился им, слушая бархатистый, мягкий баритон Даниеля.

— «Свинцовые волны Жаксарта<sup>1</sup> вздымались и тут же обрушивались вниз невиданным ливнем. Они на мгновение разбегались и, словно набрав новые силы, кидались, как обезумевшие, друг к другу. Волны бесновались, в неистовой ярости опять вздымались к небу, не зная покоя. Вот они, зародившись где-то в невидимой дали, с нарастающим ревом таранят правый берег реки, подмытый снизу, и крутой суглинистый яр обрывается. В бурлящую воду опрокидываются огромные оползни вместе с деревьями джиды, только что украшающими берег. Будто этого и ждало стремительное течение — подхватило добычу и понесло ее вперед, образуя глубокие воронки. Из них, вихрь в бесовской пляске, торчат макушки деревьев. На одной — чудом уцелевшее гнездо из травы и перьев, в котором истошно пищат неоперившиеся птенцы белого ястреба... В тот самый миг, когда волна готова была поглотить несчастных, невесть откуда камнем упала в гнездо крошечная, с кулачок, птичка. Она схватила за кожу затылка одного из своих питомцев и метнулась на берег. Второго мать не успела спасти, его, вместе с ветхим гнездом, захлестнул холодный вал. На месте, где только что испуганно пищал птенец, мутная, пепельного цвета вода лишь покачивала перья и стебли трав, из которых было свито ястребиное гнездо.

К берегам Жаксарта подступают бесконечные равнинные степи. Сейчас, в разгар весны, они покрыты изумрудно-зеленым ковром. Спешат отцвести яркие тюльпаны, гордо возносятся купола обелисков. Как задумчивые девичьи очи, смотрят в бездонное синее небо серебристые воды бесчисленных озер. Они образовались после паводка реки и ждут, изнывая, жаркого пагубного лета... Изредка воздух переполняется оглашенными криками всполошившейся дичи. Ее вспугнул ястреб или сокол, молнией налетев на добычу с высоты небес.

На бескрайней равнине возвышается голубоватый Бозтайлак. Склоны этого большого холма, что богатая юрта, засланы ковром из кошмы — текеметом. Он затейливо соткан из белой шерсти, умело отделан орнаментом из звериных шкур. Рисунок то причудливо извивается в форме бараньих

---

<sup>1</sup> Ж а к с а р т — название Сырдарьи до н. э.

рогов, то переплетается, как клетки остова юрты. У самой вершины холма раскинут ковер с изображением портрета сакской царицы. В руках ее — дивные райские цветы — красные, белые, желтые... Над портретом — сияет трон из чеканного золота.

Он свободен. В степь пришла ужасающая весть: владыка саков царь Аморг убит в ставке персидского царя Кира. Вчера саки провозгласили нового своего властелина, который должен ступить на трон сегодня. Вот почему все обширное пространство у подножия Бозтайлака буквально забито пешими и конными воинами. Свои войска выставило каждое союзное племя: саки Жаксарта и Джетыеу, аргиппи с берегов Кокшетенгиза, массагеты, кочующие вокруг Арала, неседоны — с востока Туркестана и с Тянь-Шапя.

Вдоль северного склона Бозтайлака осели на своих каурых и вороных скакунах аргиппи.

Рядом выстроились воины саков Тянь-Шапя, такие же скуластые, широколицые. Они родственны тюркам. Чуть восточнее раскинули шатры саки, похожие на афганцев и индусов. Их многочисленные племена населяют междуречье Амударьи и Жаксарта и далее, по всему плоскогорью, простирающемуся до Памира. Смыкают круг войск прославленные в битвах массагеты. Они не спешили, как другие, и стоят плотным, литым строем на своих гнедых, саврасых, белых в яблоках боевых конях. Хвосты и гривы коней обрзаны, словно воины приготовились к скачкам.

Чуть слышен говор собравшихся. У каждого племени, как уже говорилось, свой язык, свой цвет кожи и облик, но одинаковы их образ жизни, культура и обычаи.

Вооружены воины также были одинаково. На правом плече — щит из круглых струганых палок, связанных сыромятными ремнями. На всем востоке такое снаряжение известно как «сакское». Коня воинов широкоруды, с сухими, как у сайгаков, ногами, круто выгнутыми, что колеса арбы, шеями, с пушистыми гривами и хвостами. Они выносливы и в скачке по степи не знают усталости. Сбруя: нагрудник, петлицы, подпруги — все сплетено из кожи. Многие выделяются сверкающей на солнце сбруей, отделанной серебром и золотом.

Своеобразна и одежда саков. В отличие от народов юга — Парфии, Персии, а также севера — монголов, гольдов, нагайцев — платье саков удобно для верховой езды. Кожаные или из тонкой кошмы камзолы с короткими рукавами, кожаные или кошмовые тонкие шаровары, ичиги с валяными из шерсти длинными роскошными чулками. Верх чулок, вышитый узорами из тонкой цветной кожи, выступает над голенищем ичигов. Поверх камзолов наброшены безрукавные легкие чапаны из домотканого сукна. К седлу приторочены



ны шлемы из сыромятной кожи на подкладке из кошмы, на них вонны сменяли во время сражений свои обычные островерхие шапки из звериных шкур. Сакские женщины носили на запястьях золотые и серебряные браслеты, на пальцах — кольца. Они украшали себя дорогими серьгами, ожерельями и колье, накалывали на платья броши с драгоценными камнями. На головах — по особому повязанные высокие белые накидки.

Как ни у одного другого народа, женщины саков не уступали мужчинам в своей воинской доблести. Против врагов родины они сражались наравне с мужчинами. Большая часть конницы таких племен, как массагеты и исседоны, состояла из воинов-женщин. Сакские женщины-воины в сражениях пользовались не саблями, луками и пиками, а только арканами. Мощным ловким броском они накидывали волосяную веревочную петлю на шею врага, стаскивали с коней и... волокли.

Таковыми были пешие и конные войска, со всех сторон плотной волной прихлынувшие к Бозтайлаку. И не только ради восшествия на трон царицы собрались они здесь сегодня. Была тут и другая причина.

Саки в ту пору представляли самую опасную силу на северной границе молодой, только набирающей мощь огромной Персидской империи. Царь персов Кир с неослабевающей тревогой следил за соседями. Он пускал в ход все средства, пытаясь силой или хитростью покорить саков, но ничего не добился. Лишь некоторые племена вступили в союз с Киrom и поставляли войско для борьбы с врагами Персии. Более крепким этот союз был при покойном царе саков Аморге. Аморг поставлял Киру конницу. Вместе с персами саки вошли в победенный Вавилон, одержав общую победу в великой битве с ассирийцами...»

Даншель сделал паузу, затем обратился к отцу:

— Дальше я рассказываю в романе, как Аморг спас жизнь Киру.

— «В битве Кира с дербитцами персы понесли невиданное доселе поражение. Сам Кир был ранен. И не подоспей к нему на помощь верный союзник — сакский владыка, царь Аморг со своим войском, не миновать бы Киру позорного плена.

Своего избавителя, спасшего ему честь и принесшего победу над врагами, Кир пригласил в гости, в ставку. Хитрый и коварный император, выведав тайные помыслы царя саков, убедившись, что тот не намерен принять подданство Персии, и обезглавил Аморга. Эта страшная весть достигла необъятной сакской степи.

Многочисленные и воинственные саки Жаксарта решили немедленно посадить на золотой царский трон вместо Аморга его

жену Спатты, которую греки называли Спаретрой. Вот тогда от Алтайских гор до Хазарского моря и заволновалась, и забурлила степь. Многочисленные племена поднялись и покатились к Бозтайлаку, дружно отозвавшись на призывный клич женщины-царя, обращенный к сородичам. К сакам присоединились массагеты. Надо было срочно обсудить план отмщения коварному повелителю Мидии<sup>1</sup>.

Кир понял, что он недооценивал саков, когда узнал о их готовности выступить под единым началом. Императору пришлось спешно стягивать свои войска на северной границе. Он не гнушался и подкупом, веруя старой истине: «Крепость, которую не могут покорить войска, покоряет осел, нагруженный золотом». Через своих шпионов и послов он направил переметные сумы, набитые золотом, вождем тех сакских племен, в послушании которых не сомневался. И дал им знать, что, коли не выступят они против него, Кира, а пойдут против царицы Спаретры, то получат власть и новые земли — богатство не дешевле золота. Кир рассчитывал, что распри и раздор, посеянные им среди сакских вождей, ослабят силы противника также, как открытое сражение.

Не напрасно говорят казахи: «Звон золота усладит слух самого ангела». В мире имущих, холодном и равнодушном, что лезвие бритвы, — чей слух не ласкают лестные посулы, в чьей груди не горит огонь желанья стать великим и править народом?! Ползучей змеей проникли подкупы и коварство в ряды саков и стали разъедать, как ржа железо, их сплоченность.

Одним из первых на приманку Кира клюнул Кедерей, правитель племени саков, живших у Тянь-Шаня. Помогли же ему ступить на путь предательства выходцы из племени массагетов — Архар и его друг и наставник, скорее в дьявольских, чем в человеческих делах — Катергеп. Между собой эти двое были дружны. Оба усердно плели интриги и сеяли клевету против знатных вельмож. Цель корыстная — очернить тех в глазах правителя, лишить их двора и почестей и возвыситься самим. Действовали сообща, словно высунув четыре руки из одного рукава чапана, словно спаренные лошади в одной упряжке.

У Архара — и еще одна причина не отдаляться от своего дружка. Ни днем, ни ночью не давала ему покоя затаенная мечта о жене Катергепа — Анрук. Так и виделся ее четкий строгий профиль, полные дивного таинственного света глаза...

Архар женился рано и скоро стал равнодушен к своей рыжеволосой избраннице. Он все чаще засматривался на жену Катергепа. Анрук тоже проявила к нему интерес. Чувства

---

<sup>1</sup> Мидия — Персия.

их друг к другу разгорались с такой быстротой и силой, что их трудно становилось скрывать.

По случайно брошенным взглядам, невзначай оброненным словам Катерген догадывался о не совсем обычных отношениях между Архаром и Анрук. Однако, ослепленный жадной властью и богатства, не сразу обратил на это серьезное внимание. Когда же понял, как далеко зашли двое самых, казалось бы, близких ему людей, все существо его содрогнулось от затмившего разум и сердце гнева. Но и ему не смел он дать выхода. Гнев осел в душе черным камнем, который со временем все с большей силой теснил сердце.

А тут последыш, Атыбасар... Уродился точной копией Архара. И сердце Катергена превратилось в лед. Иногда он, как бы желая приласкать ребенка, брал его на руки, тихо напевал колыбельную, а сам усилием воли подавлял в себе желание тотчас расправиться с малышом.

Подрастал сын, похожий на друга, все больше росла и ненависть Катергена к Архару и Анрук. Он не раз готов был подстеречь их и нанести желанную расплату. Но карьеризм, жажда власти брали верх. Катерген понимал, что Архар ему еще будет нужен.

Месть затаилась в душе. Терпеть муки, что страшнее ада, помогало собственное нутро двурушника. Зло, причиняемое ему, было в стиле его собственных дел. Потому-то Катерген, отбросив всякие условности, как и прежде, почитал Анрук своей женой. Пришедшие же, наконец, к нему богатство и власть в орде Кедерея утешили ущемленное ревностью самолюбие. Архар, в свою очередь, прекрасно чувствовал истинное отношение к нему Катергена и играл на слабых струнах его натуры: всячески разжигал алчность к славе и богатству, чтобы тот, ослепленный ими, не замечал ничего вокруг.

На людях Архар и Катерген боготворили друг друга. И посмотреть со стороны — нет в мире более близких друзей, а на поверку — самых лютых врагов.

Архар хоть и носит имя неказистого с виду животного, на самом деле — строен, в его умных, выразительных глазах всегда блуждает улыбка... Только трудно понять — добрая она или злая. А Катерген всем видом своим напоминает болотную жабу».

Кунтуар прервал сына.

— Внешность человека — зеркало души и повадок, — заметил он. — Вместе с тем, часто внешность и обманчива, по ней можно и ошибиться, приняв хорошего человека за дурного и наоборот.

— Вы правы. — Даниель задумался. — Коварство и подлость нередко кроются за вполне пристойной внешностью. Сколько таких примеров в истории...

— Возьмем хотя бы императора Древнего Рима Нерона! По словам современников, внешне он был и приветлив, и недурен собою, а на деле? Намеревался убить даже собственную мать!

Даниель оживился, видя заинтересованность отца в его работе, и добавил:

— А вот худющего и длинного, как жердь, Дон-Кихота и его слугу Санчо, толстого, как бочонок, Сервантес рисует воплощением гуманности.

Кунтуар повеселел, слушая сына:

— Выходит, облик твоих персонажей еще не проливает свет на их характеры. Психику героев следует раскрывать через их поступки, так ведь?

— Да, но у меня дальше появляется третий их союзник — Турымтай. Он тоже хочет, чтобы Кедерей прислушался к его словам... Турымтай — маленький росточком, рыжий, подвижный, имеет прозвище — Летучая мышь.

— Кедерей, что же, живет умом этих трюнов?

— Да нет, он и сам неглуп, и среди приближенных у него есть мудрые люди.

— «Сам Кедерей — человек от природы добрый, доверчивый, но давно правит саками и привык к власти. В последнее время не стал терпеть ничьих возражений. Его когда-то мягкий, как пуховая варежка, характер постепенно стал жестким, непреклонным. Вместо доброты и милосердия — тщеславие и упрямство. Привычка приказывать породила другую — брать все для себя.

В орде стало неписаным законом приближать к вождю и возвеличивать только тех, кто не перечит ему ни словом, ни делом. Нашулав слабость своего покровителя, Архар, как говорят, гладко стелил ему, сам, образно говоря, став и подушкой в изголовье и кошмой под бок. Его переполняло чувство ожидания своего собственного звездного часа. До поры до времени затаившись, он безошибочно угадывал малейшую прихоть Кедерея, ловил на лету каждое его желание. Такая покорность была по нраву правителю.

Но дальше — больше: стоило кому-нибудь из приближенных смело выступить на совете, как его тут же «зажимали», и, не без участия все того же Архара, объявляли врагом трона. Недавно подобная история случилась и с одним из вождей большого племени. Все видели, что тот не представлял никакой опасности для Кедерея. Однако на совещании по военным делам Архар обрушился на вождя с разного рода обвинениями. Кедерей был восхищен дальновидностью своего любимого советника, и вождя племени тут же отстранили от власти.

В другой раз Архар не пожалел слов, чтобы расписать

достоинства одного из родственников Кедерея, и тот без затруднений был поставлен на высокую должность. Этого только и надо было правителю. Своим угодничаньем Архар завладел его сердцем. Хитрый придворный стал нашептывать: «Нет в мире царства, сильнее Мидии. Кир, как смерч, своей силой шута сметает с лица земли целые царства. С таким соседом надобно не тягаться, а искать общий язык, стремиться к союзу. Войдете в милость, с его поддержкой станете властелином всех саков!» Слова, как мерзкое шипение змеи. Однако они подогрели страсти в мыслях и душе Кедерея.

В ответ на советы Архара Кедерей только согласно кивал головой...»

Кунтуар подумал, что сын словно живет рядом со своими героями, пытается ярко воспроизвести обычаи, характеры, повадки людей того древнего времени. Нет, такое перевоплощение невозможно, если человек лишен таланта. Только вдохновенное творчество способно заглушить личные переживания и боль сердца. Если Даниель и дальше будет так же настойчиво трудиться, он не станет больше страдать из-за разрыва с Жаннат. Пусть не забудет ее вовсе, но прежняя боль уйдет.

Старый археолог решил еще больше заинтересовать Даниеля материалом произведения, над которым тот работал.

— Великие события рождаются во время непримиримых противоречий,— заметил он.— Как там у тебя дальше?

— Дальше...— Даниель, как бы стремясь увидеть что-то воочию, изучающе посмотрел на свои бумаги и стал читать:— «Наступил полдень, когда, наконец, съехались к вершине Бозтайлака вожди последних сакских и дружественных с ними племен. Сверкал золотой трон, инкрустированный бараньими рогами. Он стоял на самой вершине холма. Под троном был дорогой ковер с изображением тигра, впившегося в крутую шею горного тура. Из белого шатра, раскинутого в долине, вскоре появилась, гарцуя на белом иноходце, сама царица Спаретра. В окружении знатных воинов-телохранителей она направилась к вершине Бозтайлака. Золоченое оружие блестит под лучами солнца. Всадники остановились почтительно у подножия холма, лишь двое последовали за спешившейся царицей.

Золотая ее корона — с крупным, словно ястребиное яйцо, алмазом в центре. Стройную фигуру Спаретры облачает платье из тонкой желтой материи. По подолу и рукавам — яркий тонкий рисунок: фазаны среди алых цветов. Бока платья украшены мехом выдры, впереди — пелерина из белых песцов, по краю подола — золотое шитье. На ногах царицы — ичиги из красной и синей кожи, искусно прошитой золотыми и серебряными нитями. На плечи небрежно наброшен камзол

без рукавов. Он из шкурок выдры и тоже отделан золотой нитью и каймой из дорогого меха мелких зверушек. Гордая осанка, правильный, резко очерченный профиль, прямой взгляд — все говорит о царственности, воле и благородстве. Вся она будто неземная, снизошедшая к этим людям с небес.

Лишь Спаретра взошла на холм и воссела на трон, лишь по бокам ее застыли в строгой позе телохранители, наверх от подножия горы стали тотчас подниматься с правой стороны — рыжеволосая женщина со светлым лицом, с левой — рыжеватый, крупного телосложения, уже в годах, мужчина.

Женщина по имени Тамерис, как называют ее греки, — супруга царя массагетов Бозрука и дочь прославленного Танира, Муж ее Бозрук тяжело болен, и царица прибыла на это великое совещание вождей саков во главе двадцатитысячной женской конницы, при ней — ее семилетний сын Спаргалис. Тамерис сейчас двадцать пять. Осанкой и благородством она не уступает царице саков. Только на голове красуется не корона, а легкая накидка из шелка. Накидка расшита золотыми попугаями, оленями, маралами и белыми сайгаками. Воздушная одежда Тамерис будто соткана из серебряных и золотых лучей солнца. Женщина эта славится среди саков отменной красотой. Она с западного побережья моря Жейхун. У нее удлиненное, с тонкими чертами лицо, голубые глаза.

Мужчина же, который приближается к трону одновременно с Тамерис, не кто иной, как предводитель саков Тянь-Шаня Кедерей. Одежда его мало отличается от платья знатных воинов: такая же короткая дубленая шуба, украшенная настроченным орнаментом из кожи, меховые шаровары, ичиги с длинными голенищами и кошмовыми чулками. Разница только в том, что на нем белая длинная льняная рубаха, по воротнику и подолу — вышивка красной шерстью. Накинутый на плечи суконный чапан — легкий, он накрыт белым бархатом с серебряной никрусташней. На голове Кедерея — остроухий тымак, обшитый шкурой выдры, поверху сверкают драгоценные камни.

После того, как эти двое одновременно приблизились к царице и сели с разных сторон трона, на холм начали восходить вожди саков, исседонов, аргиппиев, тиссагетов, даюджей и других родственных им племен. Они рассаживались на огромной кошме, каждый на своем, отведенном для него месте.

Это представители племен, которые по-разному вели свое хозяйство. Одни выращивали пшеницу, другие — овощи и фрукты, третьи занимались охотой. Общим для всех было скотоводство. В основном племена кочевали. У них были общие обычаи и традиции, единые самобытные праздники, еди-

ные неписанные правила морали и поведения, только говорили на различных диалектах одного языка. Эти люди считали себя родственными друг другу, а земли, по которым кочуют — единой родиной. Потому-то во время опасности и вставали навстречу врагу неприступной монолитной силой. Они собирались на такие вот советы, как сегодня, на которых рождались военные планы отпора любому противнику. Традиция со временем стала законом. Сегодняшний великий совет — верность этой традиции.

Выждав время, пока все займут свои места, не спеша поднялась с золотого трона царица. Она так же неторопливо, с удовлетворением оглядела заполнившие всю степь, до самого горизонта, войска и начала говорить:

— Прославленные полководцы, вожди родственных нам племен! — Голос звучал властно, как звон кованого булата. — Царь Персии Кир коварно убил нашего супруга и предводителя всех саков царя Аморга. В действиях Кира кроется и подлое предательство и вековая мечта персов — покорить сакский народ. В главном просчитался презренный Кир. Он не учел, что мы, саки, не тот народ, который может кого-то испугаться.

Непомерна наша печаль, но эта же самая сила и поднимает в нас гнев, а не страх перед ничтожным царем мидян. Если он бросает нам вызов и навязывает войну, — мы готовы к отпору! Если надо за родную землю положить жизнь на поле брани, — мы готовы и к этому!

Выслушать мои слова и собрала я вас здесь сегодня, великие воины! Надеюсь, мы трезво обсудим все и плечом к плечу выступим против коварного врага. Что скажете, мудрейшие и прославленные военачальники?

Царица властно посмотрела налево, в сторону Кедерея, словно говоря: «Ваше слово!»

— Великая царица! — Голос Кедерея был звонким и смелым, как клекот степного беркута. — Прежде чем высказать свои соображения, я хотел бы выяснить два обстоятельства!

— Спрашивай, смелый полководец!

— Первое, что неясно мне: убивал ли презренный Кир нашего любимого и великого царя Аморга с мыслью подчинить народ, которым тот правил, или у него была другая причина? Кто может знать теперь истинную правду?

Спаретра была немногословна в своем ответе:

— Какая может быть правда, коли один царь убивает другого? Известно: он хочет захватить власть убитого в свои руки! Кир и сам никогда не скрывает, что мечтает всю жизнь об одном — покорить вольнолюбивых саков. Мужественный Аморг дал понять — саки никогда не подчинятся его власти! Только поэтому он и погиб.

— Допустим, это и есть правда,— вздохнул в раздумье Кедерей.— Хочу узнать еще вот что: Кир, лишив жизни возлюбленного всеми нами Аморга, сам решил не давать выкупа за него и идти на саков войною? Или войну объявили мы, саки, как месть за гибель Аморга и надругательство над честью нашего народа?

Ответ Спаретры был также краток:

— Конечно, саки не смогли бы перенести покорно надругание над их честью, особенно убийство их любимого и великого царя. Но Кир опередил нас и первым начал войну. Три дня назад мы получили известие, что царь Персии ведет к нашей границе триста тысяч воинов.

— Можно ли нам, собравшимся здесь узнать, кто известил обо всем этом великую царицу?

Спаретра посмотрела на Кедерея с явной неприязнью:

— Один человек, которому можно верить.— Она не сочла нужным сообщить, что все вести привез один из любимых слуг Кира, настоятель его гарема, некогда вывезенный персами из сакских земель. Она умышленно отступила на этот раз от правила (царь не должен что-либо скрывать от военачальников) и не назвала имени перебежчика из Персии. Кедерей принял это без явного удовольствия, почувствовав открытое недоверие.

— Благодарю тебя, великая царица,— согласно поклонился вождь.— Свое мнение я скажу, дай мне лишь время на размышление.

— Удовлетворяю просьбу,— ответила Спаретра спокойно и повернула голову направо.

Тамерис, преклонив одно колено, сверкнула в окружении воинов словно бриллиант в оправе. Ее племя слыло многочисленным и храбрым. У массагетов была одна особенность. Их правителями — чаще, чем мужчины,— избирались женщины. И вообще с мнением женщины массагеты считались больше, чем другие племена. Вот и сейчас, на совете не было самого царя Бозрука, но сказанное его супругой Тамерис окружающие готовы были воспринять как собственное решение царя. Потому-то разом и обернулись на голос прекрасной женщины.

— Если ненавистный Кир трусит...— начала свою речь Тамерис, и огонь ненависти засветился в ее голубых очах. Она решительным движением откинула за плечи волну своих медно-рыжих волос и продолжала:— мы готовы первыми нанести удар врагу! Долг и горе призывают нас отомстить убийце за смерть царя Аморга. Массагеты с вами! Ставим тридцать тысяч пеших воинов и пятьдесят тысяч женской конницы.

Спаретра одобрительно кивнула Тамерис и вопрошающе обвела взглядом военачальников других племен,



Те поочередно преклонили перед владычицей колени и прозвещали:

— Мы готовы к отщепеню! Выставляем столько военной силы, сколько потребуется!

Лишь правители исседонов, аргиппиев, других племен, расположенных по соседству с тяньшанскими саками, стояли молча, не сводя глаз с Кедерея, подтверждая ему свою преданность. Спаретра снова повернула голову в его сторону...

Кедерей, как и в первый раз, как предводители остальных племен, преклонил перед нею колени:

— Царь Кир, сын Камбиса, сотворил Персию собственными руками! Разве может простой смертный свершить подобное и завоевать столько стран, сколько захочет? Кира возлюбил сам всевышний и наделил его сверхчеловеческой мощью! — Кедерей оглядел всех, стремясь убедить каждого в справедливости своих слов, и обернулся к Спаретре: — Царь Кир — ставленник бога на земле! Можем ли устоять перед его сверхчеловеческой мощью мы, простые смертные, со своими кривыми саблями? Что случилось с парфиянами, ассирийцами, дербитцами, осмелившимися выступить против мидийцев? Пепел, развеянный по ветру! Вы хотите начать войну с Киром, бросить на наши степи смертоносный пожар? Давайте же хорошо подумаем, прежде чем совершить это. Царь персов непобедим!

Спаретра вспыхнула, слова Кедерея были больнее, чем удар копыта необъезженного коня.

— Эй, Кедерей! — молвила царица, побледнев. — С каких это пор ты разводишь среди нас «воду на курте?»<sup>1</sup>. Оказывается, неспроста тут все недоговариваешь: готовишь предательство — как иголки чертополоха для табунов стелешь под снегом! Потому так искренне стараешься всех нас убедить, что черное — это белое, а белое — это черное! С каких пор пшние персы сильнее конницы саков? Саки двести лет противостояли Парфии, другим государствам и самой Персии! Не под влиянием ли саков находится сегодня половина всей Азии? Или память изменила тебе, и ты забыл о великой битве царицы Зарины? Забыл, как перед нашими мечами склонялись головы не только правители Персии, но и царь Египта Псамметех? Нет, Кедерей, если, по-твоему, Кир — любимый царь бога, то, по-нашему, саки — любимый народ бога!

Лицо Кедерея сделалось пепельно-серым.

— Все так, всемогущая моя владычица! Видно, не точно я истолковал свои мысли, коли вы меня превратно поняли. — Он всеми силами сдерживал готовый вырваться наружу

---

<sup>1</sup> В переносном смысле — «сеешь смуту».

гнев. — Я ни минуты не сомневался, что оружие саков острее булата. Наши воины останавливали на своем пути немалые силы и всегда прокладывали себе дорогу вперед. Но надобно считаться и с истиной: здравый ум всегда сильнее сабли. И бои с Псамметахом, и битва Зарины, о которых ты сказала, тоже ведь в конце концов закончились перемирием. Если и предостерегаю от войны с Киром, это не значит, что я против других средств борьбы с ним. И все же настаиваю на своем решении — не воевать с Персией. Худой мир всегда лучше доброй ссоры».

— Сын, — обратился к Даниелю Кунтуар, — психологически ты правильно рисуешь характеры. Мне сейчас вспомнились интересные факты, которые донесла до нас история. Более, чем 600 лет до нашей эры, когда царем был еще Кияксар, саки завоевали Мидию. После перемирия часть саков-кочевников не покинула этой страны и по просьбе Кияксара обучала его воинов стрельбе из лука и своему языку. Значительная часть войск саков направилась дальше, дошла до самого Египта. Когда они, все сметая на своем пути, достигли Сирии и Палестины, сам царь Египта Псамметох вышел навстречу с дарами и просил воинов остановиться, не идти дальше. Саки дали свое согласие. Они были могущественны, влиятельны и с того дня три десятилетия держали всю Азию под своеобразным контролем. В это время началась многолетняя война бактрийцев с мидийцами. Прославленная царица саков того времени — Зарина после смерти своего мужа — брата Кедерея I, вышла замуж за принца Парфии. По традиции, парфияне и все подвластные им народы должны были теперь подчиняться сакам. Этого не захотел царь Мидии — Астибар, который повиновался до сих пор Парфии. И он начал войну против саков, которая после долгих лет закончилась мирным соглашением. В словах Кедерея, которые ты приводишь в романе, надо видеть и другой, скрытый смысл: если бы Спаретра и Кир, как Зарина и принц Парфии, поженились, то они вдвоем могли бы спасти народы своих стран от кровопролития.

— Ты прав, отец. Хотя Кедерей и не говорит об этом в открытую, но явно дает понять. Однако Спаретра видит тут не простой союз, ее волнует главное — не подчинил бы Кир себе саков. Вот о чем я пишу дальше:

— «Гневом сверкнули глаза царицы, она произнесла угрожающе:

— Молодец, Кедерей! Наконец-то я поняла тебя! Поняла твою песню на чужой мотив! И если бы не отдавала себе отчета, что за тобою стоит твой многочисленный народ, то, может, и сделала бы то, что так хочется: прогнала бы тебя от себя, как последнего предателя! Хочешь, чтобы саки, которые

вот уж семь поколений держат в страхе всех, кто хотел бы покорить их, с выходом замуж одной единственной женщины враз лишились свободы и независимости? Вовек не бывать этому! Мне эти желтые выгоревшие степи во сто крат дороже золотого дворца предателя Кира!

У Тамерис засверкали от гнева глаза.

— Свобода народа — это свобода всех нас! — звонко воскликнула царица массагетов.

Спаретра поднялась с трона и, стоя перед воинами, объявила:

— Саки идут войной на Персию! — Голос ее звучал твердо и властно. — Слово за вами, мои военачальники! Кто сколько выставляет войска?

Тамерис взяла слово первой и вновь подтвердила:

— Племя массагетов — тридцать тысяч пеших и пятьдесят тысяч конных воинов!

Правители племен стали выкрикивать поочередно:

— Исседоны — двадцать пять тысяч пеших воинов!

— Аргиппии — двадцать тысяч конницы!

— Тиссагеты...

— А ты, великий полководец Кедерей, сколько же ты дашь войска против персов? — спросила Спаретра отчужденным, не сулившим пощады голосом.

Кедерей поспешно встал, вытянулся, как в строю, потом произнес с глубоким поклоном:

— Пятьдесят тысяч пеших воинов, моя царица и повелительница! — Однако внешняя его покорность была лишь прикрытием той бури негодования, которая бушевала в груди. Кедерея обуяла злость и не на кого-нибудь, а на Архару. Она жгла его сердце и подстрекала к расплате. «Ну змея, пригревшаяся на груди, погоди у меня!» — мысленно думал он.

Спаретра уже не просто говорила. Голос ее окреп, она приказывала:

— Завтра всем военачальникам вывести свои войска на западное побережье моря, к урочищу Кумтобе. Наши силы будут насчитывать триста тысяч пеших и двести тысяч конных воинов. Пусть потягается с нами на поле брани царь Кир. Где принять великую битву — обсудим после. Сейчас все свободны.

Народ стал растекаться ручейками, каждое войско — к шатрам своего племени. Сердце Кедерея разрывал на части яд отщепенства за сегодняшний позор своему подстрекателю Архару. Он торопливо сел на коня...»

— Ты правильно здесь подчеркиваешь мужество военачальников и храбрость сакского народа, — сказал Кунтуар. — История знает, что Кир потерпел в этой битве жестокое поражение. Помнится, сакские войска пошли в наступление и

встретили врага в степи, на этом месте сейчас станция Сырдарья...

— Да, только на той окраине, которая — в сторону Таджикистана.

— А-а, вот оно что?! Да там же работает моя экспедиция! — радостно воскликнул Кунтуар, но... тут же и опечалнился: — Кажется, там... — Он с тревогой заглянул в лицо сына: — Да, да-а. Чтобы достовернее описать битву саков с войсками Қира, надо побывать в этих местах самому.

— Конечно...

— Однако... однако... там работает, — он не договорил «Жаннат», не в силах был ранить сердце сына.

Даннелъ понял отца, тяжело вздохнул и, помолчав, ответил:

— Что поделаешь, трудно писать о сражении, не видя даже равнины, на которой оно происходило. — И вскинул решительно голову: — Поседу! Обязательно поеду!

#### *Глава четвертая*

Поджаренной чешуей свернулся суглинок раскаленной дороги, его жадно подминают под себя упругие шины колес... Машина мчится на большой скорости. На заднем сиденье в глубокой задумчивости, не отрывая взгляда от маячивших вдаль холмов, сидит Нурали. Его разгоряченные мысли мечутся вокруг одного и того же, словно только что закончивший бешеную скачку скакун вокруг коновязи: «Как недосыгаемы звезды на небе, так трудно дается счастье человеку на земле. Оно не идет само в руки. Оно, как соболь в своей драгоценной шубке, но попробуй, поймай его! Разве же человек рожден не для счастья? Почему иные люди, не задумываясь, позволяют себе вторгаться в жизнь другого? Почему многие рождены разрушителями радостей жизни, а не создателями? Жизнь не возвращается, чтобы ее можно было прожить заново, чище и честнее!»

Думы, думы... Но они не ушли далеко и от Орик. «Говорят, человек переживает в своей жизни и весну, и лето, и осень с зимою. Разве сейчас у нас не светлая весна, а впереди — не жаркое лето? И когда мысленно поднимаешься над всем тем, что произошло, то невольно содрогаяешься: «Чего же тебе не хватало, Орик? Как понять тебя?»

Безысходная тоска овладела им, он боялся пошевелиться, чтобы снова не ощутить боли в сердце...

Вдали, у одинокой гранитной скалы Қзыл-Тас, показался лагерь. Пока подъехали, солнце склонилось почти к самому горизонту.

Среди равнинной пустыни скала издали бросалась в глаза

своей коричневатой-красной массой. Нурали почудилось, что этот бездушный камень обогрел кровью молодого батыра, что не красный цвет камня переливается под скользкими лучами заходящего солнца, а стекает с вершины к подножию — кровь...

Машина затормозила в центре небольшого поселка гидро-геологической экспедиции — несколько небольших домиков и камышитовый, под шифером, барак. Одну половину барака занимала столовая, другую — красный уголок. Снаружи и изнутри помещенные тщательно обмазано и побелено. Поодаль от лагеря в землю вкопаны металлические цистерны с соляндомом, бензином, соляркой. Еще дальше — движок, который снабжает лагерь энергией, левее — склады, справа возвышаются остовы буровых станков ЗИФ-150.

Экспедиция ведет изыскания для будущего здесь — после возведения мощной плотины на Сырдарье — моря. Она должна представить точные расчеты всех предстоящих работ. Собственно, такую же цель преследует и археологическая экспедиция Кайракты, которая находится километрах в пятидесяти отсюда. Хотя у нее своя задача — выявить и вывезти с территории будущего моря ценные памятники старины. Работы ведутся в быстром темпе, даже, может быть, несколько поспешно.

Лишь Нурали вышел из машины, его сразу же окружила толпа. Пожилой мастер, который работал вместе с Казикеном, начал первым:

— Вот так, всего-навсего случай, а парня нет... Никто не виноват, видно, судьба. Такой был толковый электрик, опытный, а тут — на тебе: за оголенный провод под напряжением хватиться незащищенной рукой! Видно, на роду написано, иначе не скажешь...

— Комиссию создали, чтобы установить причину смерти? — спросил Нурали еще как о постороннем деле, еще не понимая всей непоправимости случившегося.

— Нет, ждали вашего приезда, — пояснил стоявший рядом его заместитель.

— В министерство, в инспекцию сообщил? Пока оттуда не придут люди, мы не сможем... — При этих словах Нурала несколько встрепенулся, словно стал ближе к реальности.

— Только что сообщили по радио. Из Алма-Аты вылетает самолет, к ночи будет здесь.

— Где установили гроб, дома?

— Нет, в красном уголке, — ответил пожилой мастер. — Там жена Казикена.

Нурали быстро шагнул вперед, за ним поспешили члены комиссии и несколько рабочих постарше. Он первым открыл дверь помещения и обмер... Черные занавеси на окнах, черный

креп гроба... В изголовье — жена Казикена — Кунимжан. Черные волосы не завязаны, как обычно она носила, в тугий узел, а рассыпались и покрывают плечи, спину. Лицо, которое еще недавно оживляла солнечная улыбка, осунулось, посерело. Не шелохнувшись, застыв в одной позе, женщина смотрит на покойного. Нет, для нее он не обезображен и не обуглен. Он, ее Казикен, самый прекрасный, самый любимый на земле человек.

Нурали не мог собраться с силами, чтобы подойти ближе к Кунимжан, сказать ей нужные слова. В этот миг он совершенно забыл о своем горе. Оно отошло куда-то в сторону.

— Сестрица, — тихо заговорил он, наконец, присаживаясь с правой стороны, — я любил Казеке, как брата. Что теперь поделаешь, крепись, сестренка, пожалей себя.

Молодая женщина подняла на него глаза, полные слез. Узнав Нурали, сказала тихо:

— Осталась я, ага<sup>1</sup>, одна, а без него нет мне счастья на земле... — И не выдержала, зарыдала. — Почему, почему смерть не пожалела его? Он и пожить-то еще не успел...

Было за полночь, когда Нурали добрался до постели, но заснуть не мог. Вот так все эти последние дни: стоит остаться одному, как тяжелые мысли наваливаются на него, а если и забудется в тревожном полусне, подступают кошмары, какие-то видения, связанные то с Орик, то с Пейлжаном, еще более худым и бледным. Сейчас, откуда ни возьмись, Казикен окликает его: «Ага!» и заглядывает со своей юношеской непосредственностью в глаза. Потом все заслоняет горестный образ Кунимжан; она в глубоком трауре и смотрит с укором, словно обвиняет его, Нурали, в смерти любимого.

Нурали просыпается в холодном поту: «Может, в самом деле я повинен в смерти джигита? Не уехал бы в Кайракты, может, не было бы и несчастья... Да полно, — останавливает он себя. — Дело чистой случайности, как сказал старый мастер».

Сон больше не приходил.

Кунимжан тоже не сомкнула глаз. Ее так и не смогли увести от мужа. Приткнувшись на стуле, она пробыла возле него всю ночь, сознавая, что эти часы с ним — последние в жизни.

Наутро приехавшие с вечера представители министерства и инспекции стали обстоятельно расспрашивать свидетелей о подробностях смерти. Лишь после обеда вынесли заключение, что смерть произошла по вине пострадавшего, а к вечеру несколько рабочих с помощью взрывчатки и ломов

---

<sup>1</sup> Ага — обращение к старшему, дословно — «дядя».

вырыли могилу в камне утеса Кзыл-Тас. Сделано это было по решению руководства экспедиции.

— Когда здесь будет море, оно не смоет могилу Казикена,— сказал Нурали.

Довольна ли осталась Кунимжан таким решением? Или разум и сердце ее окаменели от горя? Она ни с кем не говорила и не плакала. И тогда, когда выносили гроб и поднимали его на утес... И когда накрывали поминальный стол... И когда друзья погибшего по очереди проносили теплые о нем слова... Будто угасшая на ветру свеча, Кунимжан сидела, уставив взгляд в одну точку.

Нурали обратился к ней:

— Дорогая наша сестра, мы искренне разделяем твою горе, не таи скорби в себе, открой нам свою душу, поделись, скажи хоть что-нибудь!

Кунимжан глубоко вздохнула, обвела окружающих горестным взглядом, будто только что очнулась от глубокого забытья или сна. Из ее глаз полились слезы. Во весь голос, не в силах сдержать рыданий, женщина заголосила:

— Ты умер, мой муж,  
А я как будто ослепла.  
Почему мое сердце —  
Не горсточка пепла?  
Люди, те,  
что и ангела не похоронят,  
Закопали тебя...  
Этот час разве может быть понят?  
На лицо я была  
И румяной, и белой,  
да судьба  
мою молодость не пожалела.  
Не тебя бы туда,  
где живое немеет,  
а меня...  
Только смерть выбрать не умеет.

Нурали и раньше знал, что Кунимжан сочиняет и поет собственные песни, он даже слушал их как-то на досуге, наслаждаясь ее нежным голосом. Тогда голос вызывал мечту о любимой, вселял в джигита силу молодости.

Сейчас в нем — печаль и слезы. Голос словно состарился вмиг, столько в нем слышалось тоски и муки. Плач Кунимжан был подобен песне раненой лебедушки, которая лишь машет беспомощно крыльями по волнам, не в силах взлететь. Голос словно молил: «Все, кто может, защитите, спасите меня от горя!»

Нурали будто оцепенел от этого пения. Грудь сдавило каким-то непомерным грузом. Не в силах больше оставаться здесь, он вскочил и пошел к двери.

...Ночь. Небо обложили сплошные тучи, только в их разрывах виднеются одинокие звезды. Они — как луч надежды в океане бушующего моря. Вокруг — ни души. Тишина. Молчат даже перепелки, что поздним вечером веселят одинокого путника в дороге.

Шагая в темноте, только сейчас Нурали понял, что в руках у него палка, которую, видимо, прихватил машинально у дверей красного уголка. Словно борясь и угрожая кому-то, наступающему из темноты, он остервенело размахивает ею. От кого отбивается, кому грозит палкой? Он и сам не знает, наверное. Нет, нет, пожалуй, знает! Радость вызывает воспоминания радостные, горе — горестные. Страдания Кунимжан воскресили в нем его собственные. Все видят, как Кунимжан любила своего Казикена, ну, а он разве меньше любил Орик? Жизнь готов был отдать за нее. И что же? Любовь такое чувство, что невозможно забыть и радость, которую она дарит в своем расцвете, и обиды, которые наносит, когда увядает. Кунимжан, возможно, до самой смерти будет верна Казикену. А будет ли он также любить свою Орик? Можно ли вот так истязать себя из-за того, что чувство безжалостно растоптали?..

Нурали все громче выкрикивал: «Нельзя!», «Нельзя!» и все яростнее отмахивался палкой от кого-то неведомого...

Горе Кунимжан священо. От него нет исцеления. Только время может сгладить остроту и боль душевных мук. Чувство такой любви не состарят и годы, стоит вспомнить, и оно вновь вспыхнет, разгорится с новой силой. А что у него? Да его любовь — что заноза в сердце! Ну как он должен оберегать это чувство и любить Орик, которая нанесла такую смертельную боль и обиду?

Нурали хотел было остановиться, но ноги, не повинаясь, снова понесли его вперед. Словно околдованный, кружит в мыслях вокруг одного и того же имени — «Орик». «Да что это я, нашел клад золотой, что ли, кружу вокруг нее?! Почему? Ах, да... ведь так казалось, что и она меня любила искренне! С чего же это любовь ее так быстро угасла?»

Да, он должен забыть Орик, забыть, чтобы поскорее исцелиться от незаслуженных душевных ран.

«Все правильно, все правильно», — твердил он, — только вот как... как это сделать, чтобы — забыть?»

Перед ним, будто наяву, промелькнул образ Кунимжан, будто расступилась ночь и донеслось все то же горестное пение. Вот оно рядом, он слышит этот плач-напев... Он остановился, боясь спугнуть светлое наваждение. Перед глазами все она, Кунимжан. Он опять говорил с нею мысленно: «Ты несчастная, смерть отняла твою любовь, но она осталась в твоём сердце! И будет вечной...»



Нурали держал ориентир на мигающую вдали лампочку буровой машины, веря, что повернул к лагерю. Вдруг он слышал нарастающий шум. Неожиданно что-то метнулось и упало под ноги. Это был беленький беспомощный сайгачонок. «Чего испугался, дурашка?!» — нагнулся к ягненку Нурали.

Только сейчас он понял, как устал. Тело сделалось тяжелым, трудно было даже двигаться, а рядом лежал, прикрыв передними лапками голову, крошечный сайгачонок. Видимо, за бедняжкой гнался какой-то хищник... Что он — ранен, или раньше срока умер от страха? Нурали положил руку на спинку зверенышу. Тот не шелохнулся.

Еще некоторое время сайгачонок лежал без движения, а потом начал подниматься.

Блестящие глаза малыша словно молили о защите. «Не бойся», — проговорил Нурали и погладил ягненка по нежной, как пух, шерстке. Сайгак повернул голову к человеку. Сердце парня зашлось. Ему на миг вспомнилось, как на него смотрела огромными своими глазами, полными слез и горя, Кунимжан.

— Ойбай! — удивился Нурали, — до чего же взгляд этого звереныша похож на человеческий! Уж не Кунимжан ли ты, принявшая облик ягненка? — Сайгачонок с благодарностью, нежно ткнулся в ладонь Нурали своей потешной мордочкой. Между тем совсем близко к ним — Нурали и не заметил — подошла машина ГАЗ-69, в ней — парни из экспедиции.

— Всю ночь искали, — заговорил, спрыгивая на землю, заместитель Нурали. — Недавно, на рассвете, услышали волчий вой с этой стороны. Перепугались — уж не случилось ли что с вами. Сразу и поехали... Ну, хорошо, что вы живы-здоровы...

Сайгачонок, как ни странно, не испугался людей. Он лежал все в той же позе. Сейчас, когда рассвело, было видно, что задние ножки ягненка поранены.

— Оказывается, он идти не может. — Нурали взял сайгачонка на руки. Когда доехали, солнце сияло уже высоко в небе. Переполошившиеся было жители обрадовались, увидав Нурали живым и невредимым. Чуть в стороне от людей стояла Кунимжан. Нурали бережно, как младенца, неся на руках сайгачонка, подошел к ней:

— Сестрица, я привез тебе в подарок вот этого малыша. Он, бедненький, ранен, возьми, выходи его. И крепись, дорогая, не подавайся горю, не обрекай себя на тяжкие страдания...

Кунимжан нагнулась, погладила сайгачонка.

— Спасибо, — произнесла она еле слышно, — я выхожу и выкормлю его.

Дела на Қзыл-Тасе пошли такие, что не только страдать и думать об Орик, Нурали даже спать и есть было некогда. У Волчьего холма, что километрах в пятнадцати от поселка, гидрологи нашли воду. Анализ показал, что вода эта обладает редкими лечебными свойствами и содержит ряд химических элементов, которых нет ни в одной другой. И, как на грех, именно Волчий холм через два-три года должен был стать дном моря. Медлить с исследованиями было просто невозможно. Требовалось выяснить глубину и объем залегания радоновых вод, протяженность на местности. Если результаты будут обнадеживающими, то придется, пожалуй, и перепроектировать котлован будущего моря. По крайней мере, ясно уже сейчас, что берег должен проходить метров на двадцать ниже отметки в проекте. А может, принять такой вариант — линию берега оставить на прежнем уровне, а место с подземными запасами минеральной воды сделать островом? Или, что еще выгоднее — источники по трубам вывести на поверхность моря? Короче, не кто-нибудь, а именно они, гидрологи, в самый кратчайший срок должны ответить на все эти вопросы.

Потому-то от Қзыл-Таса к Волчьему холму была срочно переброшена вся техника. Переброшена — легко сказать. На самом деле свернуть вышки таких буровых великанов, как ЗИФ-150 и ЗИФ-250, а затем перевезти их на новое место и собрать заново — дело трудоемкое и довольно сложное. Нужны и трактора, и автомашины, и люди. Много людей. Нурали был на площадке чуть ли не круглые сутки. Он лично руководил работами. Когда же к концу месяца все четыре станка были установлены и бурение началось, один из ЗИФов-150 наткнулся на такой грунт, который еле-еле проходило победитовое сверло. Второй тоже не оправдал надежд: пробурив метров двадцать, дошел до радонового источника всего в сорок сантиметров толщиной, а дальше — опять горная порода. Другие два станка и вовсе не смогли преодолеть гранитные толщи, захороненные под песками. Так что о каких-то результатах говорить было рано. Но Нурали не сдавался. Его даже небольшой опыт работы подсказывал, что раз есть выход минеральных вод, значит, залегают они где-то неподалеку. И он решил не приостанавливать бурения, хотя чувствовал, что и сам измотался, и люди устали изрядно. Но если рабочие после смены уходили в поселок, отдыхали, то Нурали отдыха не знал. Он здесь, на Волчьем холме, поставил себе палатку и ночевал в ней. В поселок же наведывался примерно раз в неделю. И каждый раз с особым волнением и желанием — здесь он мог повидать Кунимжан.

Молодая женщина работала в лаборатории на исследование состава воды. В радости человек или в беде, а свое дело,

свой служебный долг он обязан выполнять. И Кунимжан, как ей было ни тяжело, заставляла себя работать. Хотя следы постоянного горя лежали на ее лице, незаметно она приходила в себя, оттаивала душой. Маленькие радости приносили минуты, когда она возвращалась домой. Здесь ее ждал сайгачонок.

Стоило хозяйке появиться на пороге своей комнаты, как он подбегал и следил за каждым ее движением. Животное как бы понимало настроение женщины и старалось развеять ее печаль и одиночество.

Однажды, когда из степи послышался вой волков, сайгачонок — в силу извечного инстинкта животного — мордочкой открыл дверь комнаты, где спала хозяйка, и улегся на прикроватном коврик. С тех пор так и повелось: стоило завывать где-то волкам, что было в этих местах не редкостью, сайгачонок приходил к своей покровительнице, ища успокоения и защиты.

Ягненок подрос и превратился в стройную белую сайгачиху. Она научилась сама выходить из дома на улицу, провожала Кунимжан до лаборатории и возвращалась назад. Гулять за пределами поселка — не отваживалась, словно забыла о родных просторах степи.

Как-то сайгачиху увидел возвращающийся в лагерь Нурали. Возможно, умное животное признало своего спасителя — она подошла к джигиту и ткнула холодным носом в его руку. Это своеобразное приветствие стало повторяться каждый раз, как только Нурали приезжал с работы. Только теперь он обязательно вытаскивал из кармана куртки печенье и угощал им сайгачиху. Она с хрустом ела сладости и в следующий раз с нетерпением подкарауливала Нурали у дороги.

Но в один из дней сайгачиха не взяла из рук Нурали печенье, а тихо пошла, оглядываясь на него, словно приглашая идти за ней. Нурали последовал за сайгой. Войдя в дом Кунимжан, увидел — хозяйка, больная, лежит в постели...

Он поспешно объяснил:

— Никогда еще не видел такого умного животного. Она дождалась меня за лагерем и привела к вам.

— Действительно, хорошо придумала, — ответила молодая женщина, но тут же спохватилась, испугавшись, как бы Нурали не истолковал ее слова по-своему, покраснела. Чтобы исправить свою, как ей показалось, оплошность, продолжала для ясности: — Она, как ребенок, привязалась ко мне...

Что влекло его к Кунимжан, Нурали и сам толком не знал. Почти каждый раз, направляясь к ней, он вспоминал прежние, тяжелые для нее дни и очень боялся неосторожным словом или жестом ранить ее сердце. Тем не менее, какое-то смутное, безотчетное чувство не давало ему покоя, и как толь-

ко кончалась рабочая неделя, это чувство тянуло, нет, почти гнало его в поселок. В сердце, помимо воли, вселилась потребность хоть несколько минут говорить, хоть одним-единственным словом обменяться с нею... Он видел, знал точно: мысли и сердце женщины принадлежат не ему, а другому джигиту, хотя того уже и нет вовсе на свете. И все же он желал и ждал этих минут.

Однажды Кунимжан сама поспешила к нему навстречу. Поздоровавшись, с чувством какого-то внутреннего облегчения сообщила:

— Завтра уезжаю в Алма-Ату. Еще весной посылала документы... хочу поступить в мединститут, получила вызов на экзамены. Собиралась пойти к вам в контору, да вот встретила...— И погладила по белой шее сайгачиху, которая стояла рядом.— Как останется здесь без меня? Собралась отпустить ее в степь, а она не уходит, обратно за мной бежит. Если вы не против, я верну вам ваш подарок, примете? Она к вам привязалась не меньше, чем ко мне.

Нурали почти ничего не слышал, что говорит Кунимжан, кроме слов «завтра уезжаю». Он был весь в смятении, искал и не находил, каким же образом отвлечь эту новую для него душевную утрату.

— Конечно,— проговорил он, наконец, как сквозь сон,— оставь ее у меня.

— Если провалюсь на экзаменах и приеду,— продолжала Кунимжан, мягко улыбаясь,— вернете мне свой подарок обратно.— И снова ласково погладила сайгачиху.

— Хорошо, очень хорошо,— твердил, как заведенный, Нурали, все не находя подходящих слов. У него, честно говоря, не было сейчас более искреннего желания, кроме одного: чтобы Кунимжан не приняла в институт... Он просто не думал в этот миг, что одно дело — желание его, другое — жизнь. Не мог он тогда знать, что Кунимжан в Кызыл-Тас не вернется. Она поступит в мединститут, останется жить в Алма-Ате.

## Глава пятая

Нет для человека более святого чувства, чем любовь к Отчизне. Это чувство невидимыми нитями, крепче волосяного аркана связывает каждого с тем местом, где он родился. И как невозможно разорвать волосяной аркан, так невозможно уничтожить в сердце человека его любовь к Родине. Ну, а если случится, что кто-то ненароком порвет с родной землей, сердце его в тоске ни на минуту не даст забыться.

Кунтуар глубоко любил свою Родину, и с тех пор, как помнит себя, бережно хранил в себе это чувство. В дни воен-

ных невзгод он не боялся отдать жизнь за родную Отчизну. И только случай привел к тому, что на передовой вражеская пуля пробила ему не сердце, а ноги.

Иной человек, не сумевший когда-то, еще в дни молодости, осуществить заветную мечту, живет потом всем на свете недовольный. Ему жизнь — не в жизнь и радость — не в радость. Даже если и приходит достаток или удача — ему все не то, все не так.

Кунтуар не из таких. Он умеет радоваться даже самой малой своей удаче. Если день прожит без огорчений, в труде, он считает это счастьем, потому что саму жизнь воспринимает как великий дар, как радость!

Так было и раньше, так это и сейчас.

В последние годы он успешно занимается выявлением и изучением памятников сакской эпохи не только на территории Казахстана, но и всей Средней Азии. Им открыто несколько крепостей саков или родственных с ними племен, живших за пятьсот, за тысячу лет до нашей эры. Эти крепости — на берегах Ишима, Нуры, Иртыша, Сырдарьи, Аральского моря и в Семиречье.

В захоронениях древних саков, в остатках стен их крепостей ученый обнаружил удивительные памятники культуры с рисунками диких зверей. Множество вопросов поставили эти находки перед учеными. Один из них — откуда у народа, вооруженного дубинкой и занимающегося скотоводством, столь богатые возможности? Ведь чтобы создать подобные вещи, надобно, прежде всего, уметь добывать золото, серебро, медь, плавить их. А что, если отбросить давно установившуюся версию, будто саки не имели культуры? Есть реальность — их памятники, вот и судить по ним!

Допустим, найденные памятники пришли к сакам от черноморских скифов... Пусть так, ну а у самих-то скифов такая высоко развитая цивилизация — откуда? Слов нет, истории известен период относительного расцвета культуры скифов, однако многие памятники, найденные на территории сегодняшнего Казахстана, относятся к более раннему времени.

И так: факт за фактом, вывод за выводом... Кунтуар невольно подошел к мысли, что в этих местах задолго до саков проживал неизвестный древний народ. Люди, несомненно, вели оседлый образ жизни, имели города и развитую культуру. Лишь потом, много позднее, казахские степи и Среднюю Азию посетили племена воинственных саков.

Нет, эту догадку Кунтуар не считал неопровержимой. Наоборот, он часто терзался сомнениями, даже, порою, считал свой вывод вовсе ошибочным. Однако в науке всякое сомнение — начало нового уровня исследования, это и вело Кунтуара к новым поискам. Ведь пока буквально почти все, что

открыто в археологии, относится к памятникам эпохи владычества саков.

Пока он не делился мыслями ни с одним человеком. Его идея жила в нем, двигала его сознанием и делами. Только дневнику ученый доверил свою мечту. Теперь вот — дневник исчез. Ученый помнит слово в слово все, что писал в нем: «Найдены археологические памятники, расписанные рисунками в «зверином стиле» сакской эпохи. Вместе с тем, некоторые исследователи считают Кайракты местом, где добывалась руда задолго до саков, также, как в Мугоджарах, на Мангышлаке, в Джебказгане. Рад присоединиться к их мнению. Именно поэтому моя экспедиция вот уже более пяти лет ведет раскопки в Кайракты. К сожалению, еще нет основательных подтверждений в пользу высказанного учеными предположения. Тем не менее результаты Кайрактинской экспедиции говорят о том, что здесь некогда было дно Каспийского моря. В связи с этим у меня родилась новая гипотеза...» Что за гипотеза и что дальше думает в связи с этим предпринять известный археолог, он оставил глубокой тайной.

Жарким полднем Кунтуар и Даниель приближались к Кайрактинской экспедиции. Их ГАЗ-69 мчался по узкой дороге, которая вела на Волчий холм. Вокруг — покрытая такырами и солончаками пустыня. Редко промелькнет за ветровым окном пожухлый кустарник чингил, какая-то дикая, колючая трава. Налево, примерно в километре, единственная отрада этих мест — Сырдарья. Направо — дыбятся, наплывают друг на друга серые хребты. Они несколько неожиданны на этой бескрайней равнине. И чудится, будто это свинцовые воды Сырдарьи когда-то вышли из берегов, да и застыли серым гранитом.

Дорога теряется среди холмов и курганов, близко теснящихся друг к другу. Между ними — свежевырытые, пересекающиеся крест-накрест канавки, шурфы, около которых сложены кирпичи, кучи глины. За раскопками, на склонах холмов — шесть палаток. В них и живут члены экспедиции.

Не снижая скорости, машина остановилась у одного из ровов. Навстречу приехавшим поспешил парень — загорелый, в черных защитных очках и белой матерчатой шапочке набекрень. На бедре — заткнутая небрежно за ремень археологическая лопаточка для очистки находок от глины.

— С приездом! — сказал он Даниелю и Кунтуару и обернулся к вылезавшему из кабины шоферу: — Привет, работага!

Это был бригадир землекопов Михайлов.

Поздоровавшись с ним за руку, Кунтуар спросил:

— Где остальной народ?

— Спасаются в воде, — рассмеялся парень. — Жарища. Ушли купаться час назад и все плещутся.

— Идет работа?

— Порядок, двигаем науку.

— Двигать-то двигаете, но какими темпами?

— Темпы... Они, как знаете, зависят не только от одного желания. Идти вперед — ума не хватает, вернуться назад — план не выполнишь. Мы выбрали золотую середину, — бесшабашно заявил парень и снова рассмеялся, блеснув на солнце зубами, белизну которых подчеркивал густой загар лица: — Роем по бокам шурфов!

— Отлично! — Кунтуар поддержал шутку бригадира и тоже рассмеялся. — Лишь бы не стояли на месте, как эти курганы!

— Да им что, можно и постоять: они же не получают зарплату! — снова ответил в тон Кунтуару парень. Теперь смеялись все.

— Давно из Кайракты? — спросил Михайлов.

— Около двух часов назад.

— Не встретили по дороге профессора?

— Какого профессора?

— Ну, отчима, что ли, нашего Армашки.

— Кто такой Армашка?

— Да они инженера Армана кличут Армашкой, — пояснил шофер.

— А... Вы, значит, имеете в виду профессора Ергазы Аюпова? Что же он подельвает в этих краях?

— Сдается, он и сам этого толком не знает. Два дня шастал здесь, ковырял в разных местах, что-то записывал... Потом уехал. На прощание прихватил с собой и сыночка, хочет в Кайракты пристроить на работу.

— Армана, что ли? Да ведь он же археолог?! Зачем же его забирать отсюда? — удивился Кунтуар.

— Вернее будет назвать его не археолог, а скороспелый алкоголик. — Парень опять благодушно захохотал. — Месяца полтора назад приволок в экспедицию одну красотку, а сам — запил.

Даниелю сделалось дурно. Он, бледный, с помутившимся сознанием, шагнул в сторону, стараясь отвлечься от тягостного для него разговора.

Как ни горько было, но Кунтуар понял, что об Армане у него все это время было ошибочное мнение. Раньше он и предположить не мог, что на исторический факультет Арман поступил нечестно, лишь при поддержке отчима. Закончил учебу кое-как, а что касается археологии, то он ее попросту никогда

не любил. И если месяца полтора находился в прошлом году в экспедиции Кунтуара, так только для того, чтобы ему зачли преддипломную практику. Кунтуар же, светлая душа, ни о чем не подозревая, искренне был рад, когда Арман изъявил желание поработать под его руководством. Он воспринял это так, будто собственный сын пошел по его стопам.

— Да ты, оказывается, любишь археологию?! — не то спрашивал, не то радовался ученый.

— Что вы! «Люблю» — не то слово. Брежу, днем и ночью брежу памятниками старины!

Кунтуар помнит, что тогда его несколько покорило от слов парня — уловил какую-то наигранность тона. Но желание видеть все так, как хотелось ему самому, успокоило старого археолога.

— Если в самом деле все так, как говоришь, — посоветовал Кунтуар юноше, — приезжай работать к нам, когда получишь диплом. У нас, брат, здесь такие проблемы решаются — дух захватывает!

«Как же я не разглядел сразу-то, что за парень этот Арман? — сокрушался теперь Кунтуар. — Что случилось в конце концов из моей собственной затеи? Этот самый Арман увел у сына любимую девушку... Теперь вот пристрастился к водке! А водка — ядовитая змея. Если уж наступил ей на хвост, она обязательно смертельно ужалит! Эх, Арман, Арман! Нет на тебя управы! Ведь надо же... сбежал из экспедиции в самый разгар работ!».

Весной Кунтуар был до предела загружен работой и укомплектование штатов поручил своим помощникам. Кажется, пора разобраться, что за народ подобрался в этом году в экспедиции. Отправив бригадира заниматься делом, он вместе с сыном пошел посмотреть уже отрытые объекты.

Курганы захоронения, останки в них людей — все говорило о том, что в этих местах некогда было густое население. А может, это место ожесточенной битвы? Невдалеке отрыты обрушившиеся стены и хорошо сохранившиеся фундаменты жилищ. В центре поселения — нечто вроде площади, на которой обнаружен даже трон, вытесанный из гранита. Вокруг — железные колышки, скорее всего, коновязь. Но... следов печей или каких-то очагов для плавки металла, таганов, котлов нигде не обнаружено. Ни ям, ни шурфов, ни колодцев, в которых, можно подумать, добывалась руда. Оставалось предположить, что памятники искусства в «зверином стиле» были либо завезены сюда, либо это наследие более древнего народа. Тогда, тогда... не прояснят ли все раскопки более нижних слоев почвы?

Вместе с Даниелем он тщательно осмотрел еще несколько глубоких рвов, шурфы, на дне которых хорошо различались



полы жилищ саков, снова фундаменты... Ничего нового. Стены рвов не осыпались и, хотя были из мелкой гальки и сероватой влажной глины, они затвердели, как камень.

— Знаешь, о чем говорит вот такая прочность стен из шебники и глины?— спросил отец сына.— Чувствуешь, ее не то, что лопатой, ломом и то не возьмешь.

— Да, крепкая, будто зацементированная,— подтвердил Даниель, касаясь краев рва.— Однако закаменел только нижний слой, сверху почва рыхлая.

— Правильно подметил, а понял, почему?

— Нет.

— Верхние слои — более поздние, наносные. Нижний грунт говорит о том, что здесь некогда было дно Жаксарта.

— Тогда глубже не стоит и рыть, не могли же люди жить на дне реки!

— Конечно, не могли. Но рыть надо, обязательно надо.

— Зачем же?

— Если мои предположения подтвердятся, узнаешь все позднее,— уклончиво ответил Кунтуар.

Со стороны моря повеяло влажной прохладой. Полуденная жара чуть спала. Мираж на той стороне реки словно вылинял и начал таять. Даниель отдыхал в тени утеса. Ему почудился смех — мужской и женский. И тут же взлетел в небо высокий, знакомый до боли в сердце, женский голос:

...Давно я уже повзрослела,  
А ты называешь ребенком меня!

Даниель встрепенулся, прислушался, как завороченный. Нет сомнения, пела Жаннат. Только ее голос мог звенеть так высоко и чисто, и только она со своеобразным кокетством и нежностью произносила это «А ты называешь ре-бе-нком меня!» «Чего это я расселся-то здесь, где проходит тропинка? Сейчас все будут по ней возвращаться с купанья!» И тут же в мыслях мелькнуло: «Эх, зачем себя обманывать? Сижу, чтобы хоть одним глазком увидеть Жаннат!»

Не успел Даниель принять какое-либо решение, как из-за поворота показались парни и девушки. Все в джинсах и вязаных безрукавках, на головах — одинаковые белые панамы. Даниель сразу узнал Жаннат. Да, он узнал бы ее и среди тысячи таких! Она, как горящий уголек, так и светится вся радостью, весельем. И до чего идет ей это имя — Жаннат! Она — настоящий златоцвет, пышно распутившийся ранним июльским утром, когда на каждом лепестке, на каждой его тычинке играют и переливаются под лучами солнца изумрудные капли росы...

Даниель и Жаннат учились в одной школе. Только когда она в первом классе, Даниель — уже в третьем. Жили по соседству. Родители их частенько навевывались друг к другу в гости. Бывало, мать девочки просила Даниеля: «Айналайын<sup>1</sup>, рано стало темнеть, дочка боится одна идти из школы. Проводи ее, пожалуйста, сделай милость».

Даниель выделялся среди сверстников своей воспитанностью, просьбу старшего, да еще соседки, не выполнить он не мог. Иногда женщина даже подшучивала над ним: «Молодец, айналайын. Привел дочку живой-здоровой. Береги ее, чтоб никто не обидел. Вырастет — невестой будет!» Даниель краснел от этих слов и дня два-три стеснялся даже подойти к Жаннат.

Но вот у девочки случилось непоправимое горе — умерла мать. Жаннат училась уже в пятом классе. Теперь Даниель считал своим долгом охранять девочку и каждый день провожал ее из школы до дому. Частенько Жаннат и сама забегала к Даниелю: то просила помочь решить трудную задачку, то придумывала другую причину. Дело находилось всегда. Если же случалось, что они долго не виделись, оба скучали.

Даниель, как наяву, видит перед собой потешные давние картины: и то, как они играли в снежки, как гонялись друг за другом, стараясь отобрать книжку или карандаш... Так, в детских играх, шутках крепла дружба. А когда вместе бывали на праздниках, когда отмечался чей-нибудь день рождения, Жаннат предпочитала сидеть только рядом с Даниелем и танцевать только с ним. Она искренне сердилась, если ее друг оказывал внимание другой девушке.

В душе Даниеля проснулось и крепло большое чувство к Жаннат. Разве забудется, как он приглашал ее на выпускной бал. Они тогда до рассвета бродили по площадям и проспектам Алма-Аты. Помнится, уставшие, присели на скамеечку у какого-то дома, и Даниель впервые осмелился поцеловать Жаннат...

Было близко к полудню, когда они вернулись домой. Всякий, кто видел их в тот момент, был свидетелем поистине счастливых минут — любовью были озарены каждый взгляд, жест, каждое слово.

Осенью Даниель успешно выдержал экзамены в университет. Спустя два года туда же поступила и Жаннат. Они снова виделись каждый день, и так хотелось верить, что это счастье надолго, навсегда.

А потом Даниель получил диплом, его оставили работать в Алма-Ате. Они уже мечтали о свадьбе. И вдруг, будто снег

---

<sup>1</sup> Айналайын — дорогой (ласкательное).

на голову, случилось невероятное! Жаннат... ушла! И с кем? С Арманом!

Конечно же, уезжая с отцом сюда, в Кайракты, юноша надеялся повидать Жаннат и от нее самой услышать ответ на раздражающий все его существо вопрос: «Почему? Почему она так поступила...?»

Между тем, парни и девушки, возвращавшиеся с купанья, приблизились к месту, где стоял Даниель. Вот они уже приветствовали его, и, не задерживаясь на узкой тропе, прошли дальше. Остановилась только Жаннат. Стоит, смотрит в землю, молчит. Потом все так же, не поднимая головы, сказала:

— Здравствуй, Даниель!

— Здравствуй!

— Ты... сердисься, ты в обиде на меня?

— С чего это ты взяла?— запальчиво, будто и не он это вовсе, звонким, чужим голосом спросил Даниель.

— Не обижаясь?!— обрадовалась Жаннат.— А я-то переживаю, совесть замучила.

Даниель успел справиться с нахлынувшим волнением:

— Мне, конечно, тяжело от всего, что ты сделала...

— Знаю. Но разве я властна сейчас над собой? Настоящая любовь может делать с человеком все, что захочет...

— Вот как! А я, признаться, и не подозревал о твоих способностях говорить так красиво!

— Все прежние слова — не от сердца. Жаль, поняла это поздно. Прости меня, Даниель, если можешь...

— За что же тебе просить прощения? Обидно только, как сам я раньше не видел ничего и не чувствовал.

— Мне всегда казалось, что люблю тебя. И вдруг поняла — ошибалась. Постарайся забыть прошлое...

— О чем ты говоришь?! Как можешь мне советовать?!

— Верно, советы давать поздно. Но знай, мне всегда так хотелось, чтобы ты... ты ведь ясно видел, знал, что Арман не дает мне проходу, и... даже не попытался защитить меня, а может, и нашу любовь. Потом... потом уже было поздно думать и об этом. Я вынуждена была поехать за ним сюда, в Кайракты.

Даниель сидел молча, низко опустив голову. И нельзя было понять, смутила ли его такая откровенность Жаннат, или он корил себя за нерешительность и ложную деликатность, обернувшиеся бедой.

— Да-а,— наконец произнес он,— как все-таки несправедливо устроен мир. Мало того, что жизнь человеческая коротка, но надо еще перенести в ней и вот такие тяжкие муки!

Девушке в этот момент было искренне жаль Даниеля.

— Зачем так терзаться? Пусть я не оценила, не поняла тебя, но ты же молод и полон сил! Ты такой талантливый, перед тобою открывается блестящее будущее!

— Откуда вдруг столько мудрости?— вскинул голову Даниель.— Опять красиво говоришь: «молод», «полон сил»!..

— Ты... забудь меня, Даниель!

— Что же остается желать?

— Если ты так любишь или, вернее, любил меня, то, наверное, не сможешь не радоваться,— ведь я нашла свое счастье.

— Счастье, говоришь? Ты в самом деле счастлива?— спрашивал Даниель девушку, не отдавая ясного отчета, зачем он это делает. В то же время явственно ощутил, что в голосе ее послышалась скорбная, тщательно скрываемая, нотка. Жаннат однако смотрела на него прямо и говорила громко:

— Конечно, счастлива! Иначе разве бы я об этом говорила тебе?

— Что же, и на этом спасибо,— рассеянно ответил Даниель и поймал себя на мысли, что подделывается под ее фальшивый тон.

Послышался шум приближающейся машины. Даниель и Жаннат враз обернулись. Со стороны города в клубах пыли мчалась «Волга».

— Кажется, едет Пенджап,— заметил Даниель.— Его машина. Всего доброго, Жаннат!

— До свидания! Значит, останемся друзьями? Ты согласен?... Постараешься?..

— Попробую,— пообещал Даниель, сознавая, что все еще продолжается фальшивая игра, навязанная Жаннат.

Гениальное открытие порой кажется очень простым. Иной человек недоумевает: «Как же я-то не сказал миру об этом, ведь все лежало так близко, все так просто». Несведущим людям со стороны и невдомек, что для того, чтобы сделать истину ясной, как солнце, и доходчивой, как его лучи, надо найти свой волшебный ключик в море фактов. Именно в этом ключике за семью печатями и кроется весь секрет.

Предположение ученого-археолога Кунтуара Кудайбергенова, что Кайракты— центр древней цивилизации, имело веские основания. Имн служили вот эти раскопки, которые указывали, что когда-то на бывшем дне реки селились сакские племена.

Если вспомнить историю, то Александр Македонский со своим многочисленным войском дошел до Сырдарьи, а зна-

чит, был он и на земле Кайракты<sup>1</sup>. Об этом говорят многие находки археологов. Здесь найдены походные казаны, пики, щиты, другие воинские доспехи греческого происхождения. Но вот загадка! Зачем потребовалось великому полководцу забираться в эти далекие края? Скорее всего затем, что здесь некогда было не просто поселение саков, а их орда, их столица.

Кунтуар предположил, что в далекие времена, три тысячи лет назад, Жаксарт протекал по северной окраине Кайракты, где и ведутся сейчас работы его экспедиции. Ведь Сырдарья, как и ее сестра Амударья,— реки капризные. Они часто меняют свои русла. На севере — тянется базальтовая гряда хребтов, сложившихся еще в мезозойскую эру. Река, конечно же, не станет пробивать себе путь в горах, коли рядом — мягкие, как пух, почвы: глина, солончаки, песок.

Итак, раскопки подтвердили, что поселение возведено на бывшем дне реки. Но тот ли это желанный для ученого населенный центр с высокой культурой, который стоял на берегу реки и привлек к себе когда-то Александра Македонского? Или, если следовать все той же версии, Сырдарья в свое время могла пробить русло еще южнее и скрыть под водой и наносами ила и песка тот самый мифический город, в существование которого так верит старый археолог?

Сырдарья, видимо, делала постепенно все более крутой изгиб к югу. В этой-то излучине, поверх прежнего, скрытого под наносами реки города и построили саки свою орду. Месторасположение центрального своего поселения древний народ выбрал не случайно. География его была чрезвычайно выгодной: здесь перекрещивались торговые караванные пути Запада и Востока.

Надо срочно искать подтверждение второй части гипотезы,— под речными наносами захоронено более раннее поселение и с более высокой культурой его жителей. Откроют ли эту тайну дальнейшие раскопки?!

Вечером Кунтуар собрал всех членов экспедиции. После подведения итогов работы сказал:

— В дальнейшем, товарищи, будем рыть на этой же глубине, но на два метра севернее.

С места поднялся тот самый бригадир, по фамилии Михайлов:

— Говорите, надо еще рыть. Но видите же, мы дошли до

---

<sup>1</sup> В 329 г. до н. э. Александр Македонский разбил армию персов и вышел к левому побережью Сырдарьи. Там он заложил крепость Эскендер Эсхату, теперешний Ленинабад. По сведениям историка Древнего Рима Квинта Курция, великий завоеватель переправился на правый берег реки и воевал с саками. Саки отступили, затем ушли в глубь страны.

речного дна. Какой смысл рыть дальше? Кости рыб ищем, что ли?— засмеялся он беззлобно, разводя руками.

Кунтуар было хотел пояснить свою мысль, но тут же сдержался: «Вряд ли все, что скажу, будет понятно людям. Ведь это только моя догадка, подсказанная всего-навсего интуицией». И сказал так:

— Друзья, планы требуют исследования грунта дальше, севернее произведенных раскопок.

Открыто ему не возражали, но люди расходились с шумом, о чем-то горячо спорили между собой.

Кунтуар присел к столу у отведенной им с Даниелем палатки. Стол — грубо сколоченный, из свежеструганных досок. Ученый разложил на нем свои бумаги, углубился в записи, сделанные за день. Вдруг за спиной услышал девичий голос:

— Коке, — позвал голос и смолк, словно оборвался.

Кунтуар обернулся. Жаннат. Он уже видел ее, даже поздоровался мимоходом. Девушка в крайнем смущении, стыдливо опустила голову.

— Коке, — повторила она, все еще называя его ласково, как прежде. — Вы уезжаете или останетесь?

— Пока останемся.

Кунтуар снова склонился над записями. Жаннат не отошла, так и стояла смущенная, в прежней позе. Ученый поднял на нее взгляд, пытаясь понять: чего она ждет?

— Хочешь сказать что-то? — спросил он.

— Да.

— Говори, я слушаю.

— Вернули вам рукопись?

— Э-э, вот ты о чем. Кто же ее вернет?!

— Это должен сделать один человек по имени не то Меилжан, не то Сеилжан.

— Откуда ты все это взяла? Может, пояснишь?

Девушка растерялась: в порыве нахлынувшего волнения она, кажется, выдала то, о чем должна была молчать. Потом решительно встряхнула головой и заговорила быстро, сбиваясь и горячась, словно боялась, что ей не поверят:

— Перед самым нашим отъездом в Кайракты к нам позвонил какой-то парень. Армана дома не было, трубку взяла я. Незнакомец говорил сердито и резко: «Передай своему мужу, что я уже неделю таскаю дневники археолога, который не только выкупать, но даже и разыскивать их не помышляет. Сколько мне еще с ними возиться? Если выбросить — найдет кто, будет шум, дойдет до милиции. Уж кому-кому, а твоему Арману не поздоровится. Это точно. Я решил отдать рукопись одному человеку». Дальше он назвал имя... или Сеилжан или Меилжан. И добавил: «Это молодой ученый, тоже археолог, должен знать Кудайбергенова. Приложу записку, пусть от-

даст рукопись старику. И еще скажи мужу, пусть меня не ищет». Я не успела даже спросить, кто звонил, трубку бросили. Когда пришел Арман, рассказала ему все, но он ничего не понял, потому что ни о какой потерянной рукописи не слышал.

— Интересно, очень интересно,— ошарашенно повторял Кунтуар.— Никто пока ничего не приносил, никто не звонил. Ну, дела!

— Должны принести,— уверяла Жаннат.

— Если принести, то уж пора бы: прошло больше двух месяцев с того дня. Так что сомневаюсь. Это не простая рукопись, а дневник. Там есть и ценные записи: научные предположения, мысли, выводы. Попадет дневник в руки заинтересованных людей, вряд ли они расстанутся с ним добровольно.— Археолог вдруг быстро встал, озорно улыбнулся:— Ничего, украли-то всего-навсего рукопись, а не меня! Восстановлю записи по памяти.

На самом деле все обстояло так.

Как-то Арман, уже перед самым отъездом в экспедицию, заглянул к одному из своих приятелей. Тот не изъявлял большого желания где-либо трудиться, любому делу предпочитал вино и карты. Однажды парень проигрался, как говорится, до последней нитки, но азарт брал свое, и он задолжал. Наступил момент, когда он готов был на все, лишь бы добыть денег и отдать долг наседавшим на него партнерам. Арман подсел к нему и сказал, посмеиваясь:

— Разве деньги для такого человека, как ты, проблема? Могу подсказать, если сам не соображаешь. Вон, в доме напротив, проживает одна знаменитость — археолог. Окна всегда нараспашку, а на столе — ценнейшие бумаги. В доме ни души, дворняжки тоже нет. Заходи, бери, что хочешь. Если прихватить важную рукопись, бьюсь об заклад, завтра же в «Вечерке» прочитаешь объявление, что ученый готов дать вознаграждение тому, кто принесет эту самую писанину. Так что можешь не считать меня своим другом, если через день-другой не положишь в карман тыщонку.

— Уж до чего же у тебя все просто, расписал, как по маслу!— невесело улыбнулся парень в ответ. Сам же смекнул, что, пожалуй, это дело может выгореть.

Что было дальше — известно. Не случилось одного: человек, которому была подброшена рукопись, не спешил отдать ее автору. И Кунтуар постепенно свыкся с мыслью, что дневники для него утеряны навсегда.

Правда, сразу после кражи он, можно сказать, лишился покоя, звонил о пропаже в милицию. Но ему и в голову не приходило, что рукопись может быть возвращена за вознаграждение. Он был убежден: раз ее не вернули, зна-

чит, она попала в руки человека, во всяком случае, не желавшего Кунтуару добра. И собирался зимой, когда полевых работ нет, сесть за восстановление дневника по памяти. Это решение несколько успокоило археолога, и утрата самого дорогого для него труда переживалась уже не так остро.

Кунтуар еще некоторое время посидел над своими записями в блокноте, что-то перечеркивая в них, что-то добавляя. Потом подошел к сыну, который стоял с незнакомым джигитом, только что прибывшим на «Волге» из города.

Даниель обратился к отцу:

— Знакомься, папа. Кандидат исторических наук Сурыкбаев. Мы вместе учились в университете.

Молодой человек протянул руку старому ученому:

— Пеилжан!

— Кунтуар...— Археолог пристальным, изучающим взглядом окинул парня: бледное, болезненное лицо, худющий и сутулый. «Нет, я никогда не видел этого человека, но имя его где-то уже слышал...»

— Давно защитились?

— Около трех лет назад.

— Где работаете?

— В институте истории Академии наук.

— А-а... Хорошо. Ваша машина?

— Да.

— Сами и водите?

— Да, вроде бы, пока рановато обзаводиться шофером.— Пеилжан старался вести разговор шутливым, непринужденным тоном.

Кунтуар в раздумье, словно сам себе, говорил:

— В ваши годы у нас, в лучшем случае, имелся собственный простенький костюм. А сейчас... Это же просто замечательно: и кандидат — значит, серьезно занимаетесь наукой, и шофер — значит, смыслите в этом деле. Размах!

Даниель отметил про себя, что отцу явно не по душе этот самый Пеилжан. Археолог между тем спрашивал:

— А в наших краях по какому делу?

Даниель, словно защищая Пеилжана от резких вопросов отца, поспешил ответить:

— Коке, он думает работать над докторской, по археологии.

— Тема?

— Тема пока не определилась.— Даниель снова принял на себя роль посредника.— Он как раз и приехал просить тебя проконсультировать его относительно темы, а потом быть его первым оппонентом на защите.

Кунтуар был зол теперь уже не только на Пеилжана, но и на своего сына:



— Раньше работали в археологии?

— Нет. Думаю заняться этим после утверждения темы: не объять необъятного, надо бить в цель.

— Короче, у вас на первом месте цель — стать доктором, не так ли?

— Честно говоря, вы правы. Все уже, кто со мною защищался когда-то, — доктора. Даже неудобно ходить среди них в кандидатах.

— Если думаете заняться докторской по археологической теме, надо несколько лет поработать в археологии, разобраться, что к чему. Только тогда можно серьезно говорить о каких-то неразрешимых проблемах в нашем деле. Докторскую защитить никогда не поздно: вы молоды и у вас впереди еще много времени.

— Но разве хороший историк не может быть хорошим археологом? Разве одно другому мешает?

— Вы, кажется, верны заповеди дилетанта: «Ученым можешь ты не быть, но доктором ты быть обязан». — Кунтуар не на шутку рассердился. — Нет, молодой человек, благословить вас на подобное не могу, не взыщите! Я помогал и помогаю многим молодым ученым. Но это все парни, которые готовы иголкой рыть колодец, если на дне его скрыта истина. Вы же, догадываюсь, не из их числа. Как вам нравится: подавай ему доктора, да и только! Наперед скажу: доктором, возможно, вы и станете, но ученым — никогда! Извините, но таким, как вы, я не консультант, не оппонент... У меня нет нужды в подобных учениках... Наши взгляды на науку крайне расходятся!

Кунтуар задыхался от охватившего его негодования. Он не стал дожидаться приезжающих утром техников и прорабов и этой же ночью выехал.

Пеилжан же, наоборот, остался и около недели дотошно разбирался в делах экспедиции. Примерно через месяц в центральной газете появилась статья за его подписью — «Заблуждения и ошибки владельца таланта». В ней были довольно глубокие и серьезные раздумья и выводы о делах Кайрактинской археологической экспедиции. Анализируя факты, автор подводил читателя к мысли, что экспедиция бесперспективна, что впустую летят огромные денежные средства. «По государственному ли подошел руководитель работ археолог Кудайбергенов, развернув их в таком огромном масштабе? Или же его заботы — только о собственной славе, для чего и понадобилась вся эта шумиха о поисках древней цивилизации, не имеющих под собою никаких научных основ?» Таким выпадом против Кунтуара заканчивалась статья. Читая ее, старый археолог старался отбросить личное и оценить написанное как можно объективнее. В основном он был

доволен теоретическими выкладками автора. Многие в них перекликалось с его собственными мыслями, которыми сам он ни с кем не делился, считая их сокровенными. У него даже шевельнулось в душе сомнение: правильно ли поступил, отказав Пеилжану в своей помощи? И в это самое время вспомнились слова Жаннат. «Кажется, имя этого джигита похоже на то, которое назвала девушка?» Но если это он, почему не отдал мне рукопись?

Нет, нет, не хватало еще, чтобы я стал подозревать! Без сомнения, автор такой статьи не нуждается в чьих-то мыслях. Ясно, что это не тот парень, о котором говорила Жаннат.

Через месяц Кунтуар услышал, что руководителем докторской диссертации Пеилжана назначен Ергазы, «Лишь бы не попал,— сокрушался археолог,— лишь бы не попал в руки этих двоих мой дневник!»

### *Глава шестая*

В тот год, когда Кунимжан уехала в Алма-Ату, зима выдалась на редкость суровой. Сайгачиха, оставленная на попечение Нурали, почевала обычно в сарайчике рядом с домом. А с середины марта вдруг исчезла. Видимо, инстинкт природы был сильнее привязанности к человеку. «Убежала в степь, искать стадо»,— решили люди. Поговорили, да и стали забывать о ней.

Однако с наступлением новых холодов сайга вернулась в поселок. Как-то утром рабочие шли на работу и увидели поразительную картину: у ворот дома Нурали стояла сайгачиха с двумя маленькими, белыми, как снег, сайгачатами.

— Япыр-ма-а-й!— удивились рабочие.— Не напрасно говорят, что птица стремится туда, откуда впервые взлетела, животное — туда, где выросло. Не забыла сайгачиха, как ей было здесь хорошо.

— Смотрите-ка, сама нашла лагерь!

— Да еще и детенышей привела с собой!

— Скорее всего, сайгачата и заставили ее идти к людям: помнит прошлую суровую зиму, боится, что ягнята погибнут.

— Что значит материнство!

Больше всех ликовали ребяташки. Они наперебой носили животным теплую воду, хлеб, печенье. Радовался возвращению сайги и Нурали. «Может, это предвестие того, что явится к нам и сама хозяйка?»— вспоминал он Кунимжан. Ожиданием встречи с нею он жил все это время.

Однажды, совершенно неожиданно, мечта его сбылась. Стояло лето. В ясный, знойный полдень неподалеку от лаге-

ря приземлился самолет, на котором в Кызыл-Тас прилетела Кунимжан.

Весь прошлый год отряд гидрогеологов работал в две смены. Днем и ночью ревели буровые винты, вгрызаясь в землю. И, наконец, как вознаграждение людям за их труд и упорство — удача! Около Волчьего холма на глубине ста метров обнаружили целое море радоновых вод! Подсчитали объем месторождения, и оказалось, что целебной воды хватит на несколько курортов! Разве можно допустить, чтобы рукотворное море под своими пресными водами похоронило навек такое богатство?! Эта проблема заботила не только членов поискового отряда, но и тех, кто планировал работы.

Всю осень в Кызыл-Тасе прожил руководитель и автор проекта академик Вергинский. Взвесив все «за» и «против», он изменил в чертежах границы будущего затопления пустыни. По прежнему проекту море должно было подойти к Кызыл-Тасу и затопить Волчий холм. Теперь же Волчий холм останется островом, на котором раскинутся в будущем пляжи и санатории. Море, обойдя остров, разольется дальше, за Кызыл-Тас, до самого Кайракты. Гранитная скала уйдет под воду. Но лучше всего — чтобы не мешала судоходству — ее взорвать. Отряд гидрогеологов трудился день и ночь, бился за выполнение этих планов до наступления холодов.

О новом проекте Кайрактинского моря прочитала в центральных газетах и студентка второго курса Алма-Атинского института Кунимжан. Она потеряла покой: как же согласиться, чтобы была взорвана не только могила мужа, но и развеяны по ветру его останки? Молодая женщина решила во что бы то ни стало перевезти гроб с прахом мужа в Алма-Ату и похоронить здесь. На могиле поставить памятник. С этой просьбой она и обратилась в министерство, в системе которого они с Казикеном раньше работали. Там поняли горе вдовы и оказали помощь. Когда вопрос был решен, направили для перевозки гроба санитарный самолет. На нем-то и прибыла сегодня Кунимжан в Кызыл-Тас.

Экспедиция уже получила весть о ее прибытии. Нурали с двумя рабочими заранее прибыл на посадочную площадку, расчищенную неподалеку от лагеря. Когда самолет приземлился, когда сбросили трап, сердце Нурали затрепетало. И было от чего: по трапу, прижимая к груди младенца, осторожно сходила Кунимжан. «Бог ты мой! Что же это? Не успела похоронить мужа... Вот она, женская природа. Все, видно, одинаковы! А я-то, глупец, проклинал Орик, считая только ее выродком из всех остальных, святых. Самое большее, на что способны милые создания, — это увлекаться, но не любить! А любовь требует постоянства на всю жизнь!» Так размышлял Нурали, с трудом заставляя себя приближаться к женщине

с ребенком... И тут у него враз отлегло от сердца: «Ойбай, да это же, наверное, ребенок Казикена!..»

Один из сопровождающих Нурали парней подхватил чемодан, другой — почти на вытянутых руках понес малыша.

А к самолету уже спешили люди: все еще с вечера знали, что приезжает вдова Казикена. Вчера звонил в Кызыл-Тас помощник министра и просил помогать Кунимжан во всем. Нурали, слушая его по телефону, лукаво улыбался: «Ах, дорогой ты мой! Если бы ты знал! Если бы ты только ведал! Тогда не произносил бы этих самых казенных слов: «Оказать должное внимание!» Да позволь она только, разреши, я бы и шагу не дал ей ступить по земле, понес бы на собственных руках... Удастся ли повидаться с глазу на глаз и сказать, открыть ей самое заветное?!»

Когда подъехали к лагерю, навстречу вышла сайгачиха, ведя за собой подростков за зиму детенышей. Сайгачата бежали за степенно вышагивающей матерью, прыгали, резвились.

— Неужто она узнала Кунимжан?— удивлялись люди.

— Говорят, олени, косули, куланы друзей и врагов распознают по запаху...

Кунимжан ласково погладила сайгачиху по шее, приласкала сайгачат.

Гостью поселили в специально приготовленной для нее комнате общежития.

— Устала... Отдохни с дороги,— сказал ей Нурали.

— Пожалуй, ты прав. Самолет сильно качало, а завтра надо чуть свет вылетать обратно...

— Не беспокойся ни о чем. Отдохнешь, сходишь на могилу, а об остальном позаботимся мы с ребятами.

— Спасибо,— поблагодарила Кунимжан. Она не хотела лишний раз тревожить людей своим горем и присутствовать на вскрытии могилы. Боялась, что сердце не выдержит, если она увидит все снова.

Нурали без слов понимал, какую тяжесть судьба взвалила на плечи этой женщины. И, как бы успокаивая ее, давая понять, что готов разделить с нею горькое бремя, повторил:

— Отдохни с дороги!— И вышел, пригласив следовать за ним всех, кто толпился возле Кунимжан и ее малыша.

Вечером Нурали с несколькими рабочими и двумя летчиками с самолета отправился к утесу Кызыл-Тас. Осторожно вскрыли могилу, гроб поставили в другой — цинковый и бережно перенесли останки покойного в самолет.

Уже вспыхнули над лагерем электрические огни, когда Нурали, управившись с делами, заглянул к Кунимжан. Она с малышом стояла возле дома. Нурали взял ребенка и, как драгоценную ношу, осторожно держал его на сильных руках, ощущая тепло и легкое дыхание младенца,

Они медленно пошли к краю поселка. Раздвинув облака, луна, будто указывала им дорогу. Чувствовался легкий прохладный ветерок. С ближней заводи слышались трубные, мелодичные, как звуки флейты, клики лебедей — птицы устроились на ночь в густых зарослях прибрежных камышей. Дорогу то и дело перебегали выскакивающие из-под кустов тушканчики: они словно летели, распластавшись по земле, лишь мелькали пушистые кончики их длинных хвостов.

— Моя белая сайгачиха так рада была встрече, — грустно рассмеялась Кунимжан. — Удивительно, как все еще помнит меня. А эти ее крошечные ягнята — потешные. Мы обе с ней вернулись в родной Кызыл-Тас со своими малышами.

— А я, признаться, подумал о тебе неладное, пока не разглядел личико сынишки.

— Как это понять — «неладное»?

— Ну, как... Ты молода, а молодость, известно, стремится к радостям жизни.

В ответе Кунимжан звучали скорбь и упрек.

— Так волен думать только тот, кто совершенно не знает меня. Ему безразлично, какой болью отзовется во мне его подозрение. Но почему же подумал так обо мне ты? Ты, который знаешь все?! Разве забудешь вчерашний день, если он был радостнее и счастливее, чем сегодняшний? Ты, наверное, никогда не любил по-настоящему, потому тебе и легко судить меня. Бывает, чувства молодых стареют от несбывшихся желаний раньше их самих. И мечты, что дерево без воды, угасают.

— Но как же тогда жить-то тебе? — горячо заговорил Нурали, покоренный скорбью и поэтичностью Кунимжан. — Ты молода, слишком молода. А молодое деревце, даже если оно и погибает от лютых морозов, весной вновь от корней пускает побеги! Не верю, никогда не поверю, говори, что хочешь. Жизнь имеет такую над нами силу и власть, что уж если позовет, то не устоит ни один из смертных.

— Вольному воля. Мне, собственно, безразлично, веришь ты мне или нет. Я потеряла для себя слишком много, даже не хотелось жить. Спас меня вот он, жеребеночек, единственный мой. Успокоение я нашла в материнстве. Воспитываю теперь нашего с Казикеном сына. В нем все — и настоящее, и будущее мое. Только ради него теперь и дышу и хожу по земле.

Они присели у тропинки, чтобы отдохнуть и затем возвратиться в лагерь. Воспоминания всколыхнули в Кунимжан уже далекие дни любви, и она заговорила снова:

— Прошлое навечно осталось со мною, потому что ни радость тех дней, ни горе вернуть невозможно. Если и случится, что встречу в жизни достойного человека... Но разве тот, кого

я любила, не одинокая чинара над утесом Қзыл-Тас, к которой, сколько бы я ни простираала руки, не дотянуться? Қазикена нет. Я тогда поклялась, что никого не полюблю никогда и замуж не выйду. Это не потому что была в горе. Просто поняла: разбито такое чувство, на которое я больше сама не способна.

Нурали ничего не сказал на это, лишь пообещал разыскать ее, когда зимой приедет с отчетом в Алма-Ату.

Наутро самолет улетел. Кунимжан провожали все. Сиротливо было на душе Нурали: ему казалось, что он прощается с Кунимжан навсегда.

Похоронив мужа во второй раз, бедная вдова снова чуть не слегла. Однако правду говорят: время — лучший лекарь. Постепенно боль сердца притуплялась, жизнь брала свое. Кунимжан определила ребенка в круглосуточные ясли. До начала занятий в институте оставалось больше месяца, за это время она устроилась на работу.

Сейчас молодая женщина только что вышла из каменотесной мастерской, где изготавливают памятник на могилу мужа. Для нее стало потребностью: ежедневно, хоть на минутку, но зайти в мастерскую, посмотреть, как продвигаются дела. Вышла, рассеянно взглянула вокруг и... остановилась как вкопанная, чуть не закричала, будто с ног до головы ее ошпарили кипятком. Навстречу шел парень — точная копия Қазикена. Густые вьющиеся волосы, смуглая тонкая кожа лица, шегольские усики над твердым разрезом губ. Тот же рост, та же фигура, наконец, походка... Кунимжан вдруг разом забыла все. Она видела, жаждала видеть... своего Қазикена! Вот уже шагнула навстречу!..

Незнакомый парень прошел мимо. Она готова была крикнуть, остановить: «Қазикен! Куда же ты, стой!» Но сил не хватило. Онемело, словно после колдовского наваждения, стояла она на месте, глядя вслед удаляющемуся, как мираж, незнакомому и страшно знакомому человеку. Сознание снова вернуло ее к действительности и напомнило, кольнув иглою сердце: Қазикена на свете больше нет.

Бежать за парнем вслед Кунимжан постыдилась. Но поспешила обогнуть квартал с другой стороны, надеясь опередить джигита и встретить его еще раз. Она решила, что тот вошел в какой-то дом, когда, выскочив из-за угла, нигде не увидела его. Однако уже через несколько минут заметила снова и... медленно пошла навстречу, с невероятным усилием переставляя вдруг отяжелевшие ноги...

Молодой человек, тоже, видимо, обратил внимание на незнакомку и, поравнявшись, пристально взглянул ей в лицо.

«Кто она? Какая необъяснимая притягательная сила в этом взгляде!» Печать искреннего глубокого страдания на всем облике молодой женщины делала ее по-особому возвышенной и одухотворенной. В глазах словно застыло ожидание несбывшейся прекрасной мечты.

Джигит оказался эстрадным певцом, уже завоевавшим признание публики. И сейчас в его душе зазвучала песня, тревожная и протяжная. Такую мелодию он еще никогда не исполнял сам и не слышал ни от кого другого. Но эта зазвучавшая обжигающая мелодия начала угасать, как только девушка прошла мимо.

Не осознавая ясно, зачем и что он делает, джигит пошел вслед за девушкой.

Кунимжан не оглядывалась, но каким-то внутренним чутьем поняла, что парень, так удивительно похожий на ее Казикена, идет за ней; она боялась даже оглянуться, боялась услышать его шаги. Наконец почти побежала и, задышавшись, не в силах унять гулкого бисения сердца, остановилась у высоких тополей возле самого общежития. Миг — и джигит стоял рядом. Он заговорил, не скрывая волнения:

— Простите... я понял, что с вами что-то случилось. У вас, видимо, большое горе? Может, я смог бы чем-то помочь?

Искреннее участие слышалось в его словах. Кунимжан грустно улыбнулась в ответ: показалось — даже голос джигита был похож на голос Казикена...

— Никто не в силах помочь моему горю.

— Люди бессильны только перед смертью.

Кунимжан поняла искреннее желание молодого человека облегчить ее страдания. И отвечать старалась также искренне и правдиво:

— Смерть и принесла мне горе. Умер муж, а с ним умерло для меня и все вокруг.

— Но разве нет силы, чтобы воскресить радость жизни для вас?

— Не знаю, не знаю...— отвечала задумчиво Кунимжан.— Как не оживить черный камень, так, наверное, не воскресить радость жизни в моем сердце. Смерть любимого превратила его в черный камень.

— А я знаю силу, которая оживляет даже камни!

— Что же это за сила?

— Сама жизнь.

И снова печально улыбнулась Кунимжан в ответ на слова незнакомого джигита. Она было хотела спросить: «А если угасла для меня сама жизнь, тогда что делать?» Но сдержалась, опять подумав: как же похож на Казикена. Тот так же вот, если был с кем-то не согласен, или сталкивался с несправедливостью, с горем, призывал на помощь саму жизнь: «Да,

чего только не бывает в жизни!» Или: «Жизнь покажет, кто прав», «Жизнь, она мудрее человека».

Не наваждение ли?

Боясь одной лишь фразой, одним-единственным словом ранить сердце этого чуткого человека, Кунимжан произнесла как можно мягче:

— Спасибо вам на добром слове!

Так произошло их неожиданное знакомство. Назавтра он снова встретил ее. Кунимжан, и теперь в своих грезах вспоминая Казикена, хранила в душе к нему ту же чистоту и преданность. А в сердце юноши с самой первой их встречи вспыхнуло большое, настоящее чувство.

Однажды они возвращались с прогулки. Возле одного дома джигит придержал Кунимжан за локоть и сказал:

— Я живу здесь. Один... Могу ли просить тебя войти...

Кунимжан ответила на сердечное желание парня:

— Какая тебе радость приглашать в дом меня, убитую горем?

— Я надеюсь развеять твою горе!

И неожиданно джигит запел известную песню «Макпал».

Бархатно-черный  
Косяк лошадей.  
Гривы-ветер.  
Глаза — свет вечерней зари.  
Не жалея коня,  
Прискакал я  
Из далеких степей.  
Эй, Макпал, не косись,  
На меня посмотри.

Слова и мелодия смягчили раненное горем сердце Кунимжан. И к певучему баритону джигита непринужденно и ладно присоединился ее звенящий высокий голос. Песня полилась. Она будила и звала Кунимжан к жизни и любви.

Я остался совсем одинок,  
Что теперь без тебя я значу?  
Я остался один без тебя, Макпал,  
И поэтому горько плачу.  
О тебе, дорогая,  
Слезы лью я, Макпал!  
Мой ровесник счастливей  
Меня оказался.  
Сердце жжет, как в огне,  
Не утешить тоски...  
На призывы твои  
Поздно я отозвался!

Песня согрела и как бы объединила сердца молодых людей, сблизила их. Парень доверчиво и тихо, как заклинание, говорил:



— Вдвоем мы в силах одолеть любую беду!

Кунимжан слушала молча, потом как-то очень поспешно распрощалась и ушла.

Сколько ни возвращалась она мысленно к пережитому сегодня, ничего обидного ни в чем не находила. Оказывается, просто испугалась проснувшейся в сердце неодолимой тяги к этому джигиту, своего расположения к нему. Она с затаенным страхом и укором ловила себя на том, что иногда даже тоскует о парне, если им не удавалось повидаться. Она ходила на его концерты. «Что же со мной происходит?»— спрашивала порою себя Кунимжан. Мысли путались. Постепенно она убедилась в том, что симпатичный певец лишь напомнил, будто вернул бесконечно дорогого ей Казикена, что тоскует она только от разлуки с мужем...

В день, когда памятник был готов и установлен на могиле, Кунимжан не сдержала слова, данного своему новому знакомому, и не пришла на условленное место. Она решила раз и навсегда покончить с этими свиданиями, потому что обманывать не могла ни себя, ни его. Будни по-прежнему до отказа заполнили работа, думы и заботы о сыне...

Проводив Кунимжан, Нурали почти круглые сутки занимался делами. К зиме надо было закончить все исследования и перебросить экспедицию на новое место.

И опять не так-то просто — погрузить на тележки тягачей четыре огромных «Зифа». Их перебросили на другой участок, довольно далеко от Кзыл-Таса. Завершили последние подсчеты, заполнили до единого штриха чертежи будущего моря. Нурали стремился поскорее уехать из этих мест. Слов нет, итоги работ превзошли ожидания. Но сколько горя хлебнул за это время сам Нурали! Навсегда потеряна первая любовь — Орик, погиб прекрасный человек — Казикен, далеко уехала Кунимжан... Удастся ли встретиться с нею? И не будет ли поздно? Может быть, придется пожалеть, что не сумел вовремя сказать Кунимжан самых желанных слов? Да и решится ли он произнести их когда-нибудь, а каков будет ответ? Он уверен, своей клятвы Кунимжан не нарушит. Но неужели никогда не встрепенется ее душа? Ведь все проходит со временем, и беда — тоже. «Вот тогда,— думалось ему,— она и выслушает заветные мои слова».

А белая сайгачиха, видно, не надеялась больше встретить свою приемную мать: увела сайгачат в степь и больше не возвращалась.

Наконец, ничего больше не держало Нурали в Кзыл-Тасе. Он готов был выехать к новому месту изысканий. Но неужи-

данно пришла телеграмма, в которой сообщалось, что в Кызыл-Тас едут академик Вергинский и один из руководителей Академии Амирбек Камбаров. Ничего не поделаешь, пришлось ждать. Высокое начальство по дороге прихватило с собой из Кайракты еще двоих — главного инженера треста Жаркына и Пеилжана. Гости подкатили к лагерю на двух легковых автомашинках. Камбаров, видимо, рассчитывал отдохнуть и поохотиться, потому что Пеилжан, последним вылезая из своей машины, угодливо подал ему зачехленное ружье.

Вергинский, мужчина лет шестидесяти, с густыми седыми волосами, голубоглазый, худощавый. Амирбек — рыжеватый. Ему под сорок. Это плотный и высокий человек.

Вергинский вырос в семье простого рабочего. Собственный упорный труд и незаурядные способности — вот что помогло ему стать крупным ученым. Амирбека считали человеком справедливым, умеющим держать слово.

В руках этих людей сейчас ключ всех решений, связанных со строительством плотины и рукотворного моря здесь, в знойной и сухой пустыне. Они в последний раз объедут колхозы и совхозы, земли которых будут затоплены. По пути проверят, как идет подготовка к эвакуации хозяйств и населения, выяснят, кто в какой помощи нуждается.

Когда Нурали увидел, что из машины вышел Пеилжан, он отнесся к нему, как к человеку чужому, не было чувства омерзения, обиды, зла. Все это время, после разрыва с Орик, он вспоминал только ее, забыв о своем братце. В последние же дни работы некогда было думать и об Орик. А ведь какие муки он испытывал совсем недавно! Да, теперь у него нет больше брата, с которым когда-то вместе резвились мальчишками, как стригунки-однолетки. Человек, что идет сейчас навстречу, вовсе не его брат. Как же, оказывается, бывает велико чувство оскорбленного самолюбия — совершенно уничтожает обидчика в глазах потерпевшего. Нурали не подошел к Пеилжану даже поздороваться и, как положено, справиться о здоровье. Жаркын, свидетель событий, разыгравшихся между Пеилжаном и Нурали, заметил это. Он подумал: «Вот как бывает, братьев, даже выросших вместе, судьба разводит в разные стороны, как бита разбивает надвое плотный строй асыков».

День прошел в хлопотах. Вергинский и Камбаров ознакомились с отчетами по экспедиции, объехали границы будущего моря.

Утром Амирбек с Пеилжаном собрались на озеро, в надежде поохотиться на уток. Нурали, который в присутствии Пеилжана со вчерашнего дня еще не проронил ни слова, сказал, обращаясь к Амирбеку:

— Одно название, что озеро, Это старица реки, она давно

почти заросла камышами. Там и дичь-то не водится. Только ночует пара лебедей, не подстрелите их ненароком.

— Мы что, не знаем, что лебедь — птица особая и стрелять в нее не положено?!— вклинился в разговор Пейлжан.

Нурали промолчал. «Уж кто-кто, а я-то знаю, что для тебя положено и что не положено»,— подумал он про себя. Амирбек не знал о случившемся между братьями, но понял, что родственники не в ладах:

— В лебедей стрелять, конечно, не собираемся.

Нурали ответил:

— Не все так понимают. Некоторые ради минутного удовольствия готовы пойти на все.

Пейлжан понял, о ком эти слова. И без того бледное его лицо стало пепельно-серым от злости.

Любители охоты уехали. Вергинский ушел в палатку, отвешенную под контору. Жаркын и Нурали остались наедине.

— Я рад видеть тебя, старина, в добром здравии,— ободряюще сказал другу Жаркын.

Нурали в ответ улыбнулся, не скрывая горечи:

— Я убедился, что ни один из них, ни Орик, ни Пейлжан, не стоят того, чтобы о них долго страдать. Это в какой-то мере помогло обрести равновесие. Непонятно только одно...

— Что же?

— Как эта связь, эта любовь, купленная ценою подлости, может приносить радость?

— Ты же сам говорил, что Орик называет свое увлечение несчастьем?!

— Называть-то называет. Но ведь они же довольны друг другом!

— Э-э, пустое. Помяни мое слово: такая, как Орик, ради собственного благополучия еще не раз наставит рога этому самому Пейлжану.

— Все-то ты знаешь наперед, дорогой мой дружище,— засмеялся Нурали невесело.

— Поверь, кто ступил на путь подлости, не сразу свернет с него. Трудно предать лишь первый раз, а потом — пошло-поехало. Тут надо хоть что-нибудь иметь святое за душой, чтобы остановиться.

— Да неужели же у Орик ничего за душой святого? Неужели она потеряла веру в чистоту и преданность?!

— Успокойся, не кипятись, прошу тебя!

— Как бы я хотел еще верить в нее! Ведь тот, кто утратил чувство чести и стыда,— несчастный на всю жизнь.

Жаркын снова удивился, что Нурали забыл о нанесенном оскорблении.

Оба направились к Вергинскому. Когда вошли в контору, академик из груды чертежей доставал какой-то один, нужный

ему сейчас. Он интересовался последним проектом, по которому выходило, что бассейн водоема требуется углублять против прежнего еще на метр. Академик обратился к вошедшим инженерам:

— Сколько грунта необходимо взять дополнительно? Сколько на это уйдет средств и времени?

— Думаю, углублять бассейн нет надобности,— отвечал Нурали, всматриваясь в чертежи.— И по прежнему проекту Волчий холм остается незатопленным.

— Меня заботит не только Волчий холм,— в раздумье продолжал Вергинский. Он взял в руки другой чертеж.— Вот здесь, на восточном берегу моря, много лет ведет изыскания археолог Кунтуар Кудайбергенов...

— Знаю, это около Кайрактов,— сказал Нурали.

— Так вот... Кудайбергенов возлагает большие надежды на кайрактинские раскопки. Он надеется — не больше, не меньше — открыть миру неизвестную доселе эпоху, предшествующую сакской. По его планам, работы здесь еще на два-три года. И если согласиться с вашей точкой зрения, то с плотной можно управиться где-то к маю следующего года. Таким образом, уже летом вода зальет окрестности Кайракты. Если же углубить бассейн на метр-полтора, мы дадим возможность археологам завершить раскопки. Кудайбергенову удастся проверить свои предположения.

— Вряд ли на это пойдут в министерстве,— вступил в разговор Жаркын.— Люди ждут не дождутся здесь воду. Не потратим ли впустую золотое время?! Мы и так из-за дополнительного бурения на Волчьем холме немало его ухлопали!

— Я вас понимаю. Но ведь и обводнение пустыни, и сохранение радоновых источников — все на благо народа,— несколько наставительно отпарировал Вергинский.— Все потом окупится с лихвой. О проблемах же археологии с легкостью может судить только несведущий человек. Все не так просто, дорогие мои друзья. А поиск в науке всегда сопряжен с риском. Вот и давайте посчитаем, во что обойдется государству этот самый риск.

Снова сели за подсчеты. И когда закончили, стало ясно, сколько времени и средств уйдет на дополнительные работы по углублению моря, насколько возможно продлить археологические раскопки.

— Если бассейн углубим на метр, археологи могут работать еще год и семь месяцев,— подводя итоги, заключил Нурали.

— Вот и прелестно!— обрадовался Вергинский.— Теперь можно сделать перерыв. Остальное решим потом.

Они успели пообедать и отдохнуть, даже прогуляться, когда с заходом солнца возвратились охотники. По их виду мож-

но было догадаться, что охота оказалась удачной. Пеилжан с азартом начал расписывать, как он метко стрелял. Тут же не забыл, однако, добавить, что Амирбек стрелял лучше его.

— На озере полно дичи. Амирбек ни одного патрона не истратил впустую. Мало того, единым выстрелом сразу срезал вон тех красавцев,— кивнул Пеилжан на двух серых гусей, которых шофер волоком тащил из машины.— Потом, чуть успокоился переполох на озере,— с лета застрелил еще пару вот этих уток. Я еле вытащил их из воды, такие жирные и тяжелые. Можно было настрелять птицы, сколько душе угодно, но Амирбек Мынбаевич — это же человек! Какой, я вам скажу, человек! Не стал ведь больше стрелять «Довольно,— говорит.— Иначе распугаем птицу, и дичь покинет озеро». Как мы там отдохнули! И поохотились, и искупались, и позагорали. Собрались было уже уезжать, вдруг видим — недалеке стадо коз приближается к водою. Прямо везло нам, да и только! Ветер — в нашу сторону, камыши прикрывают нас своей тенью. Разве выпадет в жизни другой такой случай? Мы — в машину и в обход стада!

— Неужто животные не испугались шума мотора?

— Да я же говорю, что машина шла с подветренной стороны. Пока стадо почуяло нас — мы были рядом. Козы повыскакивали из воды и понеслись в открытую степь! Вмиг исчезли вдаль. Только одна, не то слишком жирная, не то ноги у нее когда-то были подбиты, не спешила за стадом. И не ушла-таки от пули! Мы ее прямо из машины на полном ходу! Смотрите: огромная, как теленок. А с первого же выстрела перекувыркнулась через голову и замерла!— Пеилжан указывал на тушу... белой козы.

Нурали первым бросился к животному и воскликнул сокрушенно:

— Это же наша белая сайгачиха!..

— Да, вот у нее и метка на ушах, сам ее делал,— подтвердил, подойдя к сайге, пожилой рабочий. Он с презрением поглядел на Пеилжана.

— Как мы ухаживали за ней...— вздохнул кто-то.

Люди смотрели на незваных гостей с неприязнью.

— Бедняжка, из-за своей доверчивости к людям ты от них же и пострадала,— продолжал жалеть общую любимицу рабочий.

— Откуда ей знать, что за человек на ее пути...

— Успокойтесь, товарищи!— посчитал нужным вмешаться Вергинский.— Ребята застрелили сайгу, не зная, что она ручная. Такое с каждым может случиться.

Все замолчали. Только тот же пожилой рабочий сказал, выступив вперед:

— Пусть в другой раз поостерегутся так охотиться в наших местах. Иначе найдем на них управу!

### Глава седьмая

— Сакскую эпоху еще изучать и изучать, — говорил Кунтуар сыну. — Возьми, например, язык, на котором племена разговаривали? О саках сохранились легенды, герои которых носят имена: Таргытай, Липексай, Аргымпас, Фагимасад. Ты знаешь уже, что Сырдарья, на побережье которой жили саки, в древности называлась Жаксарт. Известны многие слова тех времен: акынак, сауран и другие. В каком значении употреблялись эти слова в те далекие времена? Очень интересный вопрос. Узнать бы это, можно было бы объяснить многие «белые пятна» истории. Как видишь, история нашего народа — прекрасная, полная драматизма и страсти поэма. Это богатый материал для тебя как писателя. Жаль, что памятники древней письменности — большая редкость. Находка одного единственного, на мой взгляд, стоит всех памятников сакской эпохи, которые обнаружены мною за целую жизнь. Да и нельзя пока еще с уверенностью утверждать, что абсолютно все находки — сакского происхождения. А какие надежды в этом плане я возлагал на раскопки в Кайрактах? Однако до сих пор и здесь — мало существенного...

Кунтуар вдруг спохватился и заметил:

— Извини, я, кажется, увлекся... Думаю, в твоей книге довольно ярко выписана картина битвы воинов Спаретры с войсками персидского царя. Бой, победа, ликование, скорбь... Нет, не жалею, что второй год подряд беру тебя сюда, в Кайракты. А вот то, что ты рассказал о жизни джигита и девушки, о их любви, я не встречал ни в одной из легенд. Знаю только, что бытовал такой обычай: девушка не имела права выходить замуж, пока не уничтожит на поле брани хоть одного врага. Этот древний закон был вызван к жизни суровыми условиями борьбы племен за свое существование. У тебя получилось очень интересно, не прочтешь ли мне еще раз это место?

Даниель, довольный вниманием отца, начал читать:

— «Закон предков не велит мне выходить замуж, пока не убью врага своего народа, — сказала Дария. — Только поэтому, Сартар, я отвергаю твое предложение соединить наши жизни.

— Любовь превыше всяких законов! — отвечал юноша. — Есть один выход, если согласна...

— Какой же?

— Надо бежать.

— Нет, Сартар, закон предков запрещает мне это **делать**. Ты можешь забрать мое сердце, но только не меня.

— Как же заберу сердце? Убить тебя я не способен, **потому** что ты мне дороже всего на свете.

— Коли любишь, исполни мою единственную **просьбу!**

— Хорошо,— согласился Сартар.

— Приди ко мне через пять лет. За это время я, конечно же, убью своего врага. Да и проверю твою верность. Свою же любовь к тебе сохранию навеки. Поверь мне!

— Верю,— сказал юноша. И отправился в дальнее путешествие по Парфии, Мидии и Лакидонии. Но уже на следующий день после его ухода на аул девушки напали враги. Дария исполнила долг перед племенем — убила одного из них. Прошел год, другой, третий... Девушка, как говорят, вошла в пору полнолуния и не стала больше ждать любимого, вышла замуж за его друга.

Ровно через пять лет возвратился в родные края Сартар,

— Я не сдержала слова, данного тебе, вышла замуж,— сообщила ему Дария.— А ты верен ли остался обещанию?

— Да, мое слово нерушимо. Меня окрыляли любовь к тебе и вера в твою взаимность.

— Что же теперь будешь делать? Ведь ты говорил, что жить без меня не сможешь?

— Да, жить без тебя не смогу. И в надежде, что ты меня снова полюбишь, буду ждать теперь не пять, а целых десять лет.

Через десять лет Дария и Сартар встретились снова.

— Прошли долгие годы. Они отложили на нас свой отпечаток — мы начали стареть. Не сожалеешь ли ты о бесплодно прожитом времени?

— Не сожалею,— спокойно ответил Сартар.— Я прожил счастливейших пятнадцать лет, потому что каждый их миг был озарен светлой любовью к тебе.

— Если так, ты и вправду счастливейший из смертных. А я загубила свою молодость и теперь день и ночь жалею об этом. Я несчастна, потому что не знаю, что такое любовь».

— Таким однолюбом родится не каждый,— **сказал** Кунтуар.— Для любви надо иметь возвышенное и благородное сердце...

— Как ваше, отец,— добавил сын, и в этом он был глубоко прав.

...Кунтуар женился рано. Жену любил искренне и был счастлив. Беда пришла неожиданно. Фатима скончалась от сердечного приступа, когда Даниелю было всего двенадцать лет. Немало достойных женщин Кунтуар встречал на своем веку — и в молодости, и в зрелые годы. Ему расхваливали их, советовали, сожалели о его личной неустроенности. Сам же

он был глубоко уверен, что жениться второй раз — не имеет смысла. Другьям-товарищам на все их сетования по поводу его одиночества отвечал: «Я не одинок. Со мной наш с Фатимой сын. И никакая даже самая хорошая женщина не заменит ему родную мать. Да и я разве забуду когда-нибудь Фатиму? Зачем же отравлять жизнь сразу троим: себе, сыну и безвинной женщине?» Убеждение Кунтуара не было тайной для сына. Поэтому он так свободно и говорил с отцом об этом.

— Нас разлучила смерть, — продолжал Кунтуар. — А вот твое сердце Жаннат разбила по собственной прихоти. Думаю, не стоит всерьез переживать разрыв с девушкой, которая не сумела тебя оценить.

Даниель не только понимал то, что говорит ему отец, но и то, что он не договаривает. И ответил прямо:

— Мое чувство к Жаннат приносило мне счастье. Я и сейчас, отец, люблю ее, только ее.

— Но нельзя же, чтобы каждая неудача в жизни так глубоко ранила и выбивала из колен. Писатель должен уметь подняться над своим личным.

Кунтуар смолк и задумался. Не слишком ли он бьет по самолюбию сына? Но тут же решил, что никто не сможет говорить с Даниелем прямее и честнее, чем он.

— Конечно, — как бы оправдывался Кунтуар. — Советовать легче, чем пережить все самому. А человек — чем больше талантлив, тем глубже раним. От писка мышей в сарае со страху падает даже слон. Вот почему надо выработать собственную житейскую философию, надо идти вперед, несмотря ни на какие неудачи. — И, как бы торопясь сказать сыну самое главное, добавил:

— На своем веку я повидал всяких людей. Встречались и честные, искренние, благородные люди. Счастье они видели в служении своему народу. За это боролись, ради этого жили. У других словно заморожена в жилах кровь. Они злы и завистливы. Но с этими злопыхателями не так уж трудно было бороться, потому что на всякий яд есть и противоядие. А вот если тебе встречается человек, которого не сразу поймешь, не сразу распознаешь, — это куда опаснее, потому что такие безучастно созерцают, зло творится на их глазах или добро.

— Для меня сейчас самое главное — моя книга, превыше всего — чувство ответственности за нее.

— Я верю в тебя. Но знай, что своей мечты достигает только мужественный человек. Это не так легко, как вскочить на коня. Для писательского труда — мало быть талантливым и работоспособным. Ты должен открыть для себя какую-то заветную тему, разобраться в ней досконально и сделать ее своею. Точно так, как в археологии. Сколько надо перерыть земли и провести исследований, чтобы найти ответ на одну-



единственную загадку истории! Приходится ведь раскопать несметное количество курганов и могильников, прежде чем наткнешься на один нужный. Археолог очищает от грязи и песка уйму черепков, разной утвари, наносит краски на поблекшие от времени картины... И далеко не все найденное имеет хоть какую-то ценность для науки. Я встречал очень талантливых археологов. Но за всю свою жизнь они ничего стоящего в археологии не открыли! Так и у писателя. Пусть он строчит и даже выпускает книги. Но если не нашупал, не откопал собственную тему, его талант не разовьется. У тебя тема большая, интересная. Она, пожалуй, ближе к науке, чем к литературе...

— Работы предстоит много. Хочется, конечно, чтобы книга получилась интересной и нужной. Сознаюсь тебе, когда я писал вот этот кусок про Дарию и Сартара, мне казалось, все это я пережил сам. Сартар любил всю жизнь Дарию. И я горевал его горем, любил его любовью и страдал его страданиями...

Зазвонил телефон. Кунтуар подосадовал, что прервали его беседу с сыном. «Кому-то нет покоя и в воскресенье», — ворчливо произнес он и поднял трубку:

— Да, слушаю. Да, я — Кунтуар Кудайбергенов...

На том конце провода говорили нервно и торопливо. Затем — пауза. Лицо археолога побледнело, напряглось. Сына понял: отцу сообщили неприятную весть. Кунтуар переспросил в трубку:

— Говорите, на ученом совете?.. Значит, на повестке дня один вопрос: «О закрытии Кайрактинской экспедиции?» Ну, что же, хорошо. И кто докладывает? А-а, знаю, знаю я его. Кто будет вести совет? Сам Ергазы? Вот это честь! Значит, спизошел до нас, грешных, проявил заботу. Передайте ему за это мою искреннюю благодарность. Да, так и передайте, я благодарю его за внимание к решению столь сложной проблемы. Хорошо. Завтра в пятнадцать ноль-ноль буду на совете.

Кунтуар осторожно положил трубку на рычажок.

Филиал института здесь, в промышленном городке Кайракты, открылся совсем недавно. Ергазы, у которого были постоянные распри с директором головного института, наметанным глазом сразу же оценил обстановку: «Лучше иметь синицу в руке, чем журавля в небе», — и сумел, устроился директором филиала, решил с насиженного места переехать с семьей в Кайракты. Археологическая экспедиция, которой руководил Кунтуар, была теперь в ведении филиала, а значит — и Ергазы,

Кунтуар все свое время в основном проводил в экспедиции. Направлялся он туда вместе с сыном и сейчас. И лишь на время остановился в гостинице Кайракты. Завтра утром предстоит следовать дальше, на место раскопок.

— Оказывается, на совете будет разбираться мой вопрос, докладывает автор недавней статьи — Пейлжан. Судя по всему, работу экспедиции хотят свернуть...

— Неужели это их серьезные намерения? — участливо спросил Даниель у отца и тут же попросил: — Разреши мне присутствовать на совете. Ведь я же пишу о Кайракты! — Уловив несколько недоумевающий взгляд отца, поправился: — О том, что было на этом месте две с половиной тысячи лет назад... Я добьюсь, чтобы разрешили...

— То-то, — улыбнулся отец и произнес в раздумье: — Не разрешать кому-либо заниматься научными проблемами, над которыми трудиться сам, это то же самое, что навязывать собственную оценку произведения. Так что решай сам, как поступить.

Кайрактинский филиал археологического института Академии наук размещался в большом светлом новом здании. Совещание проводили в конференц-зале. На возвышении, в виде подмостков сцены, за длинным столом, накрытым зеленым сукном, сидел (в единственном числе) сам Ергазы. Людей в зале немного. Видимо, все — специально приглашенные. Кроме членов совета, еще двух-трех кандидатов наук, несколько известных археологов из Москвы. Их исследования близки к проблеме Кунтуара. Пришли студенты, аспиранты, соискатели. К своему удивлению, Кунтуар увидел в зале даже несколько рабочих экспедиции. Среди них — Михайлова.

Чуть расселись по местам, Ергазы поспешно объявил повестку дня, дал слово докладчику, кратко представив его собравшимся:

— Молодой ученый. Думаю, услышав его мысли, раздумья и выводы, содержащиеся в докладе, вы согласитесь со мной, что перед вами — зрелый, сформировавшийся исследователь.

Пейлжан оправдал выданную ему авансом характеристику. Доклад прозвучал довольно солидно. Справедливости ради, надо отметить, что кроме доводов, которые приводил раньше в своей статье, Пейлжан высказал довольно дельные соображения. Основной его тезис: пора, наконец, средства, отпускаемые государством на исследования, распределять не в зависимости от прежних заслуг ученого, а от его пользы в науке сегодня. Затем начал страстно напоминать аудитории, как были открыты известным археологом Окладниковым

петрографы Сакачи-Аляна на Амуре, не менее известным Руденко — памятники древних саков в Пазырыкских курганах на Алтае, как были найдены сокровища Парфии в Каракумах, древнего Хорезма...

И вдруг Кунтуара осенило: «Не мои ли дневники он читает этой почтенной публике?» И тут же: «Э-э, парень, видно, сам не дурак. Препотлично знает древнюю культуру Средней Азии и Казахстана. Да мало сказать «знает», он во многом разбирается и делает правильные, ценные для науки выводы. Чего это мне взбрело в голову оттолкнуть человека от себя только потому, что он решил стать доктором?! Сам-то я... До сих пор не собрался, не оформил материалы, чтобы защитить диссертацию. А жизнь проходит. Хватит, надо садиться и работать. Легко быть умным, когда даешь советы сыну, а сам давно уже упустил свое время».

— Все названные открытия,— между тем изрекал Пеилжан,— конечно же, имели под собой глубочайшую теоретическую основу. Но, позвольте спросить, уважаемые коллеги, на какую же теорию опирается при планировании работ Кайрактинской экспедиции авторитетный ныне исследователь Кунтуар Кудайбергенов? Обнаружить таковую нам при изучении вопроса не удалось. Да вряд ли знает ее и сам старейший археолог! Четыре года летят на ветер огромные средства, летят только по той простой причине, что они — не из собственного кармана Кунтуара Кудайбергенова, а государственные! Полагаю, пора прекратить это варварское хищение. Экспедицию необходимо закрыть, и надо сделать это немедленно!

Он не спеша, почти торжественно, влажными от волнения глазами осмотрел присутствующих. Вид у оратора был такой, будто он только что закончил нелегкое дело. С чувством исполненного долга Пеилжан сошел с трибуны и сел на свое место в третьем ряду.

Слово взял начинающий ученый, закадычный друг Пеилжана, весь всклокоченный, с непомерно большими очками в роговой оправе. Смысл его выступления сводился все к тому же: за четыре года работ Кайрактинской экспедиции ничего не открыто. То и дело поправляя настойчиво сползавшие с его носа тяжелые очки, выступавший закончил:

— Если основная цель экспедиции — найти остатки культуры древних саков, то безрезультатности поисков нечего и удивляться. Всему миру известно, что памятники культуры саков открыты и, следовательно, изучены. Вряд ли возможно найти что-то новое в расчете на сенсацию. Конечно же, раскопки экспедиции надо свернуть и как можно скорее.

Затем слово получил археолог Танысбаев:

— Не каждому человеку дано вкусить сладкие плоды

своей мечты, хоть бейся он над этим всю жизнь. К сожалению, в науке подобные неудачи не редкость. И постигают они исследователей лишь определенного плана, потому что, как хорошо известно присутствующим, одного только желания для успеха мало.— Сделав многозначительную паузу, академик пристально посмотрел поверх очков на Кунтуара.— Еще много лет назад я предвидел подобный финал и по-дружески предупреждал тебя, Кунтуар. Но, как говорят, глухие гласу не внемлют. Самое лучшее, что я бы сделал на твоём месте,— это набрался бы мужества признать свою ошибку. Тебе, дорогой Кунтуар, пора уже понять, что археологические памятники — это не сокровища твоего сундука. И на нет, как говорят, суда нет. Мираж остается миражем, потому что еще не родился такой скакун, чтобы его нагнать.

Танысбаев долго говорил еще что-то, но Даниель уже не слушал его. С детства он привык верить, что отец честен. Без тени сомнения верил он и в то, что отец по-настоящему талантлив. Именно поэтому сейчас отлично понимал и танысбаевых, и пенлжанов, и их прихлебателей — завистников всякого истинного таланта. Это их и им подобных совсем недавно так метко охарактеризовал ему отец. Теперь Даниель, почти довольный своим открытием, злорадствовал про себя: «Так-так... А где же тараканы? Сейчас и они под шумок вылезают из своих щелей, сейчас осмелеют!»

Подобным же образом — как тот, кудлатый в очках, дружок Пеилжана, и как многословный Танысбаев — выступили еще несколько человек. «Ай да ергазы, ай да пенлжаны,— горько усмехался юноша про себя.— Все разыграно у вас, как по нотам. Ну, а где же легкая кавалерия? Ну, ну, вылезайте, нападайте, самое время для вас!» И когда слово попросил бухгалтер экспедиции, Даниель отметил: «Вот она, пошла...»

Бухгалтер прочитал по бумажке, сколько за четыре года израсходовано экспедицией денег, бензина, продовольствия. В заключение обратился к сидящим:

— Граждане, я не ученый и, может быть, поэтому никак не пойму: зачем и кому нужна эта бессмысленная трата огромных государственных средств?

Следующим говорил с багровым от запоя носом завскладом.

— За все четыре года моей работы в экспедиции не было ни единого случая, чтобы нам не выдали вовремя зарплату. Государство четко финансировало нас. Но, оказывается, мыто сами государству за все это время не принесли никакой пользы. И мне стыдно за те деньги, которые я брал у государства ни за что, ни про что. Стыдно так, что готов провалиться на этом вот самом месте!

Да, этих понять можно. У них свое на уме: показать себя честными. Они как бы хотели людям внушить: «Я хороший. И если закроете экспедицию, то не увольняйте, а возьмите на равноценную работу».

Почувствовав настрой, идущий от начальства, один прораб строительного отдела почти кричал:

— Вместо того, чтобы транжирить такие деньги впустую, лучше бы отпустили их на строительство! Мы два года подряд перевыполняем план!

— Средства надо отпускать перспективным экспедициям! А тут роешь, роешь — и все без толку. Тратим денежки государства, как воду льем в песок!

— Это же настоящее вредительство — бросать на ветер такие бешеные деньги!

Предложение было единым — закрыть экспедицию.

Бывает, в сезонные экспедиции волей-неволей подбираются люди, уволенные с другой работы, солидарные друг с другом в одном — «зашибить деньгу». Даниель это знал. Видел он и то, что эта шумиха устроена «под занавес» с помощью все тех же любителей длинного рубля. Но его, однако, охватили неподдельный испуг и отчаяние. Он понял, что экспедицию закроют. «Что же будет с отцом?!»

— На этом заседание совета считаю закрытым. Или... вы что, собираетесь говорить? — спросил Ергазы решительно направляющегося к трибуне Кунтуара.

— Конечно, — ответил тот.

Даниель видел, как отец неторопливо поднялся на трибуну, снял очки, протер их белоснежным платком, снова надел:

— Древние жители черноморского побережья — эллины имели развитую культуру. Они больше других народов оказывали влияние на искусство соседей — скифских кочевников. Сегодня мы с уверенностью можем утверждать, что большинство памятников культуры скифов — это подражание искусству эллинов. И если мы интересуемся самобытной культурой кочевых народов, то надо обратить свой взор дальше, на восток, — говорил, по своему обыкновению, неторопливо и спокойно Кунтуар. — Скифы же — всего лишь западное ответвление многочисленных племен, кочующих в древности по нашим степям. Восточнее скифов, дальше по территории современного Казахстана и Средней Азии, кочевали саки и массагеты. В южной части Сибири проживали племена, родственные сакам, имеющие подобную им культуру.

— Э-э, все это давно известно, — буркнул, нахмутив брови, Ергазы.

— Интересно же, дайте послушать! — раздался вдруг мощный голос с заднего ряда.

← В многочисленных захоронениях сакской знати найдено большое количество бус, кольца, колец, браслетов, искусно отлитых из золота и серебра, других украшений. Кроме того, на рукоятках пожей, книжалов и мечей, на казанах и разной домашней утвари удивительно сохранились изображения животных — коней, маралов, тигров. Выполнены они искусно и реалистично: четко выписаны глаза, уши, копыта, гривы, хвосты. Кажется, что животные вот-вот оживут под лучами дневного света и устремятся в родные степи! К величайшим открытиям XX века относятся памятники Пазырыкских курганов и Башадыр на Алтае. Там, как известно, в слоях вечной мерзлоты остались в своей первозданности захоронения V—IV веков до нашей эры. В них, кроме золотых и серебряных сокровищ, были обнаружены многочисленные предметы домашнего обихода. Сделаны они из отлично сохранившихся материалов: кожи, кошмы, дерева. Самобытность, высокое художественное мастерство, техника изготовления не уступают находкам в захоронениях вождей южных скифов. На рисунках — та же борьба двух тигров, охота на диких зверей или диких куланов, то же приручение диких животных. Многие напоминает и искусство Ближнего Востока, Ирана. Но... одно здесь непонятно. Как же это народы, кочевавшие в далекой древности по земле нашей, породили искусство, отражающее идеологию этого самого Ирана и Ближнего Востока, с которыми они не только соперничали, но и враждовали?

При раскопках на территории Кайракты не обнаружено ни золотых, ни серебряных сокровищ. Видимо, захоронения были разграблены в те же самые древние времена. Однако найдено много домашней утвари — посуды, очагов, обломков инструментов из железа и олова. Основная задача археологов состоит вовсе не в том, чтобы откопать золотые и серебряные вещи, а ответить на вопросы, возникающие при их исследовании. И вот все найденные нами в Кайракты дешевые предметы оказались дороже любых сокровищ.

Правда, результаты исследования находок мы пока еще не опубликовали. Характеристику, анализы, собственные мысли и выводы мы в течение многих лет заносили в отдельные тетради. Жаль, но... подшитые все вместе, они... затерялись.

← Есть слухи, у вас их украли?

— Не могу с уверенностью утверждать это, — отвечал Кунтуар. — Потому что кража чужого труда — это кража чужой жизни, чужого интеллекта. Но разве возможно сделать чужой ум — собственным? И если кто-то сделал это, то непременно со злым намерением подорвать мои силы. Что еще можно сказать? Потерялись записи, но сохранилось основ-

ное — вещи. И если не будет обнаружена рукопись — не беда, напишу все заново. На это, слава богу, пока сил моих хватит.

— Ладно,— словно его уговорили, Ергазы перебил Кунтуара. — Давайте, товарищи, будем снисходительны,— обратился он к присутствующим,— и запишем в протокол, что работы экспедиции первых лет оправдали себя. Насколько я понял из ваших сегодня слов и из прежних отчетов,—Ергазы снова повернул голову в сторону Кунтуара,— исследования эпохи саков на территории Кайракты вами завершены. Так чем же, позвольте спросить, можно объяснить ваше распоряжение углубить шурфы и колодцы, продлить работы? Вы, надеюсь, отдасте отчет, что продлить работы — значит приостановить и затопление этих мест?

— Я отвечу на ваш вопрос,— произнес Кунтуар.— Вспомните, что до саков засвидетельствовано существование таких развитых культур, как Карасукская — на побережье Енисея, на склонах Саяно-Алтайского хребта, Кузылкабинская — на территории Крыма... И правильно ли утверждать, что развитие культуры здесь, на земле казахов, началось лишь со времен саков, а не раньше? По моим предположениям, очаг этой досакской культуры находился на берегу Жаксарта. Там и работает сейчас Кайрактинская экспедиция. Как видите, ничего непонятного нет в том, почему необходимо углубить и продолжить земляные работы именно на северной окраине Кайракты.

Поняв, что разговор клонится не в его пользу, Ергазы переменился в лице. Он, не стесняясь, снова перебил Кунтуара:

— Это всего-навсего предположение, не имеющее под собой достаточного теоретического обоснования, и самовольно вести поисковые работы вам никто не давал права. Планы, как известно, прежде всего необходимо представлять в совет института, и только после их утверждения — начинать изыскания. Этого же, насколько я знаю, вы не сделали. Ну, а представьте противоположные планам результаты? И действительность подтверждает это: ваши предположения оказались бесплодными, по вашей прихоти затрачены впустую огромные государственные средства. Кто же в ответе за это? Мало того, в последнее время по вашему распоряжению ведутся работы сверх утвержденной сметы. Сколько государственных средств израсходовано за это время? Или они не из вашего собственного кармана?! Поэтому вам все безразлично?

— К сожалению, из моего.

— Дело касается чрезвычайно серьезных вещей, так что шутки здесь неуместны! — наставительно заметил Ергазы.

— А я и не собираюсь с вами шутить,— спокойно ответил Кунтуар.— Смета должна быть утверждена. Будет утверждена. И было бы неразумно приостанавливать поиски, распу-

сказать сезонных рабочих только потому, что получилась задержка с оформлением документов. Да, временно я оплачиваю расходы из своего кармана. В нарушение, конечно. Но нарушение — во имя дела. Разве такой уж это большой порок? Да и речь идет всего-то о трех-четыре тысячках...

Ергазы побелел:

— Коли вы так богаты, то, возможно, и дальше будете содержать экспедицию за свой счет?

— Нет, самое большее — продержусь еще месяц. Надеюсь, не сегодня-завтра получу разрешение на продление работ. Все свои планы и выкладки я направил туда несколько недель назад.

— Допустим, разрешат. Но что будете делать, если все-таки ничего не откроете?

— Уверен, открою!

— Это же голословное утверждение! А все же...

— Будет очень жаль, если труд коллектива окажется потраченным напрасно.

— А собственных денег?

— Ничего, перенесу как-нибудь.

— Ну, ну, вот и свет включили! Сейчас тараканы разбегутся! — ликуя и смеясь, воскликнул Даниель. Его никто не понял. Улыбнулся один Кунтуар.

Василий Михайлов родился в войну. Мастер-краснодеревщик отец его — Иван погиб в дни обороны Ленинграда. Воспитывала мальчишку мать, которой ко времени смерти мужа едва минуло восемнадцать...

Трудолюбивая, Пелагея работала не покладая рук. Даже в самые трудные годы мальчишка не знал, что такое нужда. Дома, в свободное от работы время, женщина, бывало, не посидит ни минутки. Вяжет то варежки, то шапочки, то шарфы из отходов шерсти. Вещи продавала — и деньги у нее водились.

Беда в дом тоже пришла от матери. Не выдавшая в молодые годы ни радости, ни веселья, она в свои тридцать лет пристрастилась к легким развлечениям. Вскоре познакомилась с неким Антоном. И когда сынишка пошел учиться в третий класс, мать вышла за Антона замуж. Огромный грубый мужчина, он бросил больную туберкулезом жену с двумя детьми и переехал к ним в дом.

Василию отчим не понравился сразу. Душа мальчика взбунтовалась против всего, с чем он столкнулся. Василий не принимал отчима, но отвернулся и от матери. После школы он теперь частенько шел не домой, а к кому-нибудь из мальчишек-друзей. Дома чувствовал себя чужим, оскорбленным и об-



манутым, старался приютиться где-нибудь в уголке и читать книгу. Не раз хотелось крикнуть матери и отчиму решительные слова. От злости и неутешного горя все кипело внутри.

В это-то время он нечаянно и прочитал валявшийся на столе листок. Это была весточка от фронтового друга отца, которая впоследствии многое решила в его судьбе. В письме рассказывалось, как героически сражался и отдал свою жизнь за Родину рядовой Иван Михайлов. Пелагея и Антон были на работе, когда Василий, заинтересовавшись, прочитал все письмо. Потом завернул в обложку тетради и спрятал в старенький портфель. В этот день он забыл все невзгоды и переживания, был самым счастливым человеком.

Но уже назавтра радость будто рукой сняло. Придя из школы, мальчик увидел, как отчим грубо содрал со стены фотографию отца и матери в день их свадьбы, и вместо нее, маленькой, начал прибивать огромный портрет, где красовался рядом с Пелагеей он сам. Вася не успел даже положить портфель на обычное место, на пол, в углу. В нем все запротестовало и взорвалось истошным криком:

— Не смей снимать фотографию!

Отчим не ожидал ничего подобного и вначале растерялся:

— Почему?

— Это фотография моего отца!

— А я, по-твоему, кем тебе довожусь?

— Ты? Пьяная свинья...

До этого отчим не бил мальчишку. Сейчас он резко рванул его к себе, ударил по лицу...

Василий безуспешно рванулся, потом... впился зубами в волосатую руку Антона.

— Ой, сукин сын, что делает!— заорал верзила-шофер.

Пелагея в другой комнате дремала в постели. Спросонья, не разобравшись, что произошло, лишь заслышав крики и возню, проговорила: «Успокойтесь! Да успокойтесь же, прошу!»

Вася схватил со стола книги, сунул их в портфель и опрометью выскочил из дома.

До полуночи он бродил по улицам, а потом забрел в детский парк и устроился на ночь в игрушечном домике. Злость и волнение не давали заснуть. Да и мороз не щадил, пробирал до костей сквозь легкую одежку.

Чуть свет выбрался из своего укрытия. Умылся из арыка и, голодный, поплелся в школу. А там... Словом, беда никогда не приходит одна.

На первой же перемене на него ни с того, ни с сего налетел мальчишка из третьего класса и сбил с ног. Невыспавшийся, злой на весь мир, Василий поднялся с полу, нагнал обидчика и надавал ему тумаков. Теперь, в свою очередь, упал на пол с разбитым носом мальчишка-задира. Размазывая по лицу

кровь и слезы, озорник с воплем кинулся на второй этаж, где в седьмом классе учился его брат.

На следующей перемене братья грозно надвинулись на Василия. Семиклассник, не раздумывая, кинулся с кулаками. Под конец пригрозил:

— Попробуй, тронь его еще хоть раз!

После этого Василий не пошел ни в школу, ни домой. Скоро пристроился к какой-то уличной компании, научился воровать, курить. И однажды попался...

Исправительно-трудовая колония, казалось, наставила парня на путь истинный. Однако, выйдя на свободу, он не смог отойти от бывших дружков, снова взялся за старое ремесло и снова оказался на скамье подсудимых.

Этой весной Василий вышел из заключения. Ему исполнилось девятнадцать. Тревожные мысли все чаще не давали покоя: «Неужели так будет всю жизнь? Неужели человек не волен сам распоряжаться своей судьбой?» Не проходила тоска по книжкам. Увлечение далекого детства жило в нем. Порой он грезил книжками. Все чаще на память приходило заветное письмо однополчанина, его рассказ об отце, геройски погибшем. Крепла вера в свои силы и желание быть достойным памяти отца. Он твердо решил честно трудиться. Никакой другой работы не подвернулось. Подвернулась вот эта — Василий по договору нанялся рабочим в археологическую экспедицию.

И именно в это время судьба еще раз столкнула его с бывшими приятелями. Как Василий ни старался, а отойти полностью от прежних своих привычек еще не мог. И, в ожидании отъезда на полевые работы, ночи напролет пил и играл в карты.

Вот на таком-то сборище ему однажды и предложил полусерьезно Арман — выкрасть рукописи Кунтуара. «Этой писанине старика», по словам все того же Армана, не было цены. И Василий, как выразались в его кругу, клюнул. Не имея ни гроша за душой, решил: «Почему не получить «легкие деньги»? Старик всю жизнь откапывает клады с золотом. У него денег, конечно же, куры не клюют. Ну, поволнуется немного, что пропали рукописи, зато вознаграждение на радостях отвалит, когда принесу его писанину обратно...»

С этого дня он начал вести наблюдения за квартирой Кунтуара. Подходящий момент для ограбления никак не подворачивался. Однажды сидел в своей засаде за кустами. И вдруг увидел: двое хулиганов напали на девушку, направляющуюся в дом археолога. Василий воспользовался всеобщим переполохом в саду и выкрал дневники Кунтуара. Дальше события развернулись точно так, как рассказывала старому археологу Жаннат.

Работая в экспедиции, Василий находил время и для чтения. Книги потрясли его, впервые раскрыли перед ним и удивительную жизнь археологов. И теперь, стоило парню взяться за кайло и лопату, начать рыть землю, как ему казалось, что он вот-вот отроет не больше, не меньше, как золотую гробницу самого Тутанхамона!

Сегодня Василий Михайлов услышал, что руководитель их работ Кунтуар Кудайбергенов пожертвовал своими сбережениями ради того, чтобы все-таки разгадать правду жизни древних саков! «Вот это ученый!» — подумал он. А тут еще ребята рассказали, что старик защищал в годы Отечественной войны Ленинград! Василий и вовсе проникся к Кунтуару сердечным уважением, как к родному отцу.

«Кто знает, может, и встречались они с моим отцом на фронтовых дорогах? Оба ведь защищали Ленинград, оба из Казахстана..» — размышлял юноша. Но больше всего он теперь не прощал себе, что ввязался в эту грязную историю с дневниками. «Как же это я мог так обидеть человека!» — злился Василий на себя.

Он решил во что бы то ни стало разыскать рукопись и вернуть ее Кунтуару. С этой целью поехал в Алма-Ату. Осторожности ради надел темные очки и явился к Пеилжану домой, вызвал его в коридор.

— Дорогой, вот на этом крыльце, у этой самой двери ты однажды взял рукопись. Прошу возвратить ее мне, — заявил Василий.

— Что за рукопись? — неподдельно удивился Пеилжан. — Чья рукопись?

— Кунтуара Кудайбергенова.

Бледный всегда, Пеилжан стал сейчас блее полотна:

— Шутите? При чем здесь я? Не понимаю.

— По глазам вижу, что лжешь, дорогой. Рукопись у тебя.

Предупреждаю: отдай добром, иначе...

— Отстань-ка ты, парень, со своей выдумкой. Никакой рукописи я в глаза не видал.

— Хорошо, — внушительно произнес Василий. — Не хочешь отдать добром, не помни потом и лиха! — И вышел из дому.

Три дня бывший преступник следил за Пеилжаном, надеясь встретить его в темноте один на один. Но тот оценил грозящую ему опасность и пешком не ходил — до самого крыльца дома подъезжал на «Волге», и всякий раз с ним в машине сидел еще кто-нибудь.

Сегодня Василий снова подстерегает Пеилжана в узкой аллее, ведущей к дому. Дом стоит на отшибе, вокруг пустынно. Тихо. Лишь шелестят над головой листья осенних деревьев, да слышится шипение шин проезжающих по соседней улице

машин. Солнце скатилось за горизонт, торопливо сгущается мгла, вот и совсем стемнело, а Пейлжана почему-то нет и нет. Но Василий не из простаков — не покинул своего укрытия в кустах. «Ничего, дорогуша, другой дорожки к дому не видно...»

Наконец, в просвете аллен выросла фигура Пейлжана. Нет, скорее это был даже не он. Из-за поворота показался только огромный портфель, а уж затем — сам Долговязый, как прозвал про себя Пейлжана Василий, Преследователь, затаившийся за толстым дубом, насторожился. Лишь только Долговязый миновал его засаду, вихляясь и вытянув вперед голову на длинной шее, Василий нагнал его.

— Ойбой! — испуганно вскрикнул Пейлжан. Василий ухватил Долговязого за ворот белой рубахи с галстуком:

— А ну, подлец, гоши рукопись!

— Сейчас, сейчас, только не трогай!

— Не сделаешь, что прошу, пеняй на себя, — шипел в лицо Долговязому Василий. — Я жду пять минут. Ну, живо!

— Ладно, — произнес Пейлжан и побежал в дом. Василий, не таясь, стоял на месте. Буквально через пару минут Долговязый вынес знакомую Василию папку с рукописью, положил на крыльцо у двери и стремглав кинулся назад. Василий не спеша взял рукопись и так же не спеша удалился.

«Вещицу-то чужую, дорогуша, пригрел, так что в милицию, знаю, звонить не будешь», — смеялся он про себя.

Утром следующего дня Михайлов явился к Кунтуару, приехавшему в Алма-Ату, чтобы узнать окончательное решение о судьбе экспедиции. Парень отдал ему рукопись и чисто-сердечно признался, как все произошло. Перед этим уважаемым человеком он не хотел выглядеть ни чудаком, ни хулиганом, а чтобы Кунтуару было понятно все происшедшее, рассказал коротко и свою биографию. Старый ученый слушал со слезами на глазах.

— Да, война разбила многие судьбы, — произнес он.

— Я слышал, что вы участник обороны Ленинграда. И мой отец воевал под Ленинградом, погиб там... Призывался на фронт тоже из Алма-Аты.

— Стой! Стой! — почти закричал Кунтуар. — Как, говоришь, имя и фамилия отца?

— Иван Егорович Михайлов!

— Бог ты мой! Мы же однополчане! Он последнее время служил в моей роте! Я и похоронил его, как земляка! Об этом написал его жене. Так ты его сын?

— Выходит, так... — отвечал Василий. Он весь горел, как в огне. По щекам текли слезы, которых парень не стыдился. Это были слезы очищения, первые за все десять лет, как покинул он отчий дом...

Конечно, как только Кунтуар услышал из уст Пейлжана

свои собственные, выношенные в течение многих лет, сокровенные мысли и выводы, он все чаще стал задумываться над тем, что тот знаком с его дневниками. И все чаще не давал покоя вопрос: «Неужто этот молодой человек все-таки способен на подобную подлость?!» Старый археолог скорее жалел Пейлжана, чем утраченный труд. Теперь, когда рукопись нашлась и все обошлось без ругани и скандала, он радовался, как ребенок.

### *Глава восьмая*

В жизни нередко случается, что двое влюбленных, которые не могли надыхаться, насмотреться один на другого, вдруг охлаждаются — вроде бы без причин — друг к другу. В чем тут дело? Кто из них виноват? Или виноваты оба — не воспитали их в святости к любви и браку? Или развод — результат брака без любви, результат случайной встречи...

Орик расцвела рано, и тут же ее подстерегла любовь... В шестнадцать лет девушка встретила с лучшим, по ее мнению, джигитом. Он учился в десятом, она — в девятом. Не было случая, чтобы выйдя после звонка из класса, она не увидела возле двери Срыма. Он ждал ее вот так каждый день, несколько раз в день... Это было время, когда сердце наполнилось любовью, когда хотелось, чтобы и вокруг все были также любимы и счастливы, но... гремела война. И однажды в холодный февральский день Срыма призвали в армию и отправили на фронт. Его письма с передовой были патристическими и полными веры в победу. Живое воображение уносило Орик на поле боя, когда читала она слова любимого, когда жила ожиданием каждой весточки от него, словно встречи. Чем дольше была разлука, тем крепче становилось чувство Орик.

Шли уже последние дни войны, девушка твердо верила в скорую встречу со своим суженым. И вдруг пришло извещение о его смерти. В этот миг словно померк белый свет, словно наступило вечное затмение солнца.

Однако в молодости сердце быстро справляется с бедоу, быстро заживают и сердечные раны. Прошло три года после войны. Орик училась на втором курсе пединститута, когда повстречала Нурали. Сердце будто только и ждало его. Теперь все помыслы — о нем, вся жизнь — для него... Но появился Пейлжан, которого она встретила в Қайрактах.

С того дня прошло еще три года. Три года совместной жизни. За это время в семье появилось двое детей — сын и дочь. Пейлжан оказался хорошим семьянином. Был и хозяйственным, и заботливым. И на службе — расторопным. Как говорится, одной спичкой умел поджечь сразу два костра. Пусть не отличался он особым талантом или способностями. Но

говорят же: терпение и труд — все перетрут. И Пеилжан, не досыпая, не зная отдыха, строчил диссертацию. В ней одной он видел цель своей жизни, удовлетворение своих честолюбивых желаний. Старания оправдались: Пеилжан стал ученым. Изворотливый характер его тоже сыграл не последнюю роль в том, что в семью поплыли большие деньги, появилась своя «Волга», дача. Был и почет. Но им с Орик казалось этого мало.

В годы благополучия и покоя Орик похорошела еще больше. Она ласкала глаз мягкостью и округлостью форм, в голосе слышались томность и загадочность. Хотелось новых знакомств, новых удовольствий. Скоро она попросту охладела к Пеилжану. Конечно, для внутреннего бунта Орик была своя причина: ее внимание привлек лучший друг мужа — Амирбек. Его как бы случайно оброненные реплики, лукавые, горящие, как угольки, черные глаза говорили больше, чем иные длинные пространные объяснения.

Нет, их нельзя обвинить, что они специально искали друг друга. Как говорится, хоть и имеет джуду семь помощников, но и на него заготовлена рогатина. Все несчастья в дом принес хозяин. Он сам познакомил Орик с Амирбеком. Галантный в обращении, лет на пять постарше Пеилжана, Амирбек с первого взгляда понравился Орик. Она, энергичная, жаждущая новых развлечений, тоже была симпатична ему. Но... скоро Амирбека отправили на повышенные квалификации в Москву.

Уже после, когда он возвратился и получил повышение по работе, будучи в прекрасном расположении духа, Амирбек позвонил Пеилжану. Трубку подняла Орик. Узнав, что звонит не кто-нибудь, а лучший друг мужа, обрадовалась.

— Как здоровье? Давно приехали?— забросала она Амирбека вопросами.— Поздравляю с повышением!

Разговаривали долго, расспрашивали друг друга обо всем на свете: о здоровье, о детях, о жите-бытье. И уже одно это говорило о том, как они сильно соскучились. Наконец, Амирбек попросил пригласить к телефону Пеилжана.

— Пееке<sup>1</sup> в командировке,— весело сообщила Орик.— Вернется через неделю, не раньше. Но я и без него приглашаю вас с женге<sup>2</sup> в гости. Приходите в воскресенье.

— К сожалению,— почти радостно отвечал Амирбек,— ваша женге на курорте. Может, разрешите заглянуть без нее?— шуточно бросил он.

— А что, боитесь?!— подзадоривая, звонко захохотала Орик.— По-моему, ни вы, ни я пока еще не вышли из доверия у своих супругов!

---

<sup>1</sup> Пееке — уважительно-ласкательное от Пеилжан.

<sup>2</sup> Женге — жена старшего брата.

Амирбек с удовольствием вошел в роль и заговорил с на-  
меском:

— Боюсь все-таки, что навлеку подозрение Пееко, если  
приду к вам в его отсутствие.

Орик отвечала тоже игриво, хотя в ее шутке была истин-  
ная правда:

— Пееке знает, на кого стоит обижаться, а на кого нет. На  
вас он ни за что не обидится, боюсь об заклад!

«Ну и женщина!— восхитился Амирбек.— Пеилжан, ко-  
нечно же, закроет глаза на любую проделку жены ради моего  
покровительства». И согласился приехать к Орику.

Пеилжан и в самом деле отреагировал на поведение самых  
близких ему людей — жены и друга — точно так, как они  
предполагали. Когда Орик сообщила, что в гостях был Амир-  
бек, Пеилжан равнодушно спросил:

— Вместе с женге?

— Нет, один. Женге на курорте.

— Он, что же, пришел сам, без твоего приглашения?

— Нет, я пригласила его.

— А еще кого?

— Конечно, никого. Он ведь в таком теперь чине, что я  
подумала, захочет ли с кем встречаться у нас...

Пеилжан обернулся к жене. На его бескровном лице не  
дрогнул ни один мускул:

— Умница. Он очень нужный нам человек.

С этого дня Амирбек стал самым уважаемым гостем в доме  
Пеилжана. Если случалось, что хозяин был в командировке,  
а дома в его отсутствие праздновали день рождения, ска-  
жем, одного из детей, то, возвратясь, он осведомлялся у  
жены:

— Амирбека не забыла пригласить?— и продолжал, до-  
вольный:— Хорошо сделала. Что же, если его жена болеет,  
так ему, бедняге, и в гости теперь не ходить?

Орик про себя удивлялась: «Говорят же, язык любви бес-  
словесен. Неужели он не видит, что Амирбек и я разговари-  
ваем меж собой глазами и душою, понимая без слов друг дру-  
га? Конечно, он все, все видит и понимает, но как тогда объяс-  
нить его отношение к происходящему на глазах?!» И однажды  
спросила об этом прямо:

— Амирбек нужен тебе? Для чего?

— Нужен, еще как нужен!

И рассказал — предстоит длительная командировка в  
Москву. Кого пошлют — пока неизвестно, но предлагают мно-  
гих. Надо бы еще до того, как Амирбек завтра пойдет на ра-  
боту, поговорить с ним...

— О чем?

— Пусть предложит меня.

Все внутри Орик содрогнулось, от стыда и унижения она похолодела. Но виду не подала.

— Вы же друзья. Не лучше разве тебе поговорить с ним об этом самому?— почти прошептала она, опустив голову. Пеилжан — хоть бы что, ни тени смущения, все тем же бесстрастным голосом, не изменившись в лице, произнес:

— Я не думал об этом. Но... он больше послушается тебя, за себя всегда просить трудно.

Орик ясно поняла, для чего нужна Пеилжану ее связь с Амирбеком. Однако она по-прежнему сдержалась, не выдала возмущения. Все так же, не поднимая головы, согласилась:

— Хорошо.

Сразу же после окончания университета Пеилжан ясно определил себе путь, по которому следует идти, и точно наметил двери, которые стоит открывать на этом пути. Он был упрям и делал все возможное, чтобы двери открывались перед ним как можно доброжелательнее. С дипломом преподавателя истории он мог бы ехать в аул или, в лучшем случае, в райцентр и трудиться там на ниве народного просвещения школьным учителем. Пеилжану это представлялось скучным, трудным и долгим в достижении его сокровенных желаний.

Другой возможной для него дорогой была наука. Он знал, что ученым называют в жизни того, кто открыл неизвестный до сего времени закон природы и бытия, внес в науку что-то новое и полезное. Но он также успел заметить вокруг себя и другое: порой ученым слыл и такой человек, который ничего не мог возложить на алтарь науки. Пеилжан уверенно ступил на этот второй, скользкий путь и, имея диплом о высшем специальном образовании, довольно легко открыл двери одного из научно-исследовательских институтов.

Взойти на следующую ступень было уже проще. Пеилжан захотел быть кандидатом и вскоре стал им. Нельзя, конечно, сказать, что обошлось ему это недорого, хотя в науке он и не сказал своего слова. Защита далась с большим трудом и потребовала невероятного психического и физического напряжения. Сколько он перерыл архивных материалов, сколько времени просидел в библиотеках, сколько раз, махнув на совесть, как на «пережиток прошлого», просил помощи и совета у видных ученых. С кем только ни заводил близкого знакомства. кого только ни угощал у себя в гостях, кого ни поддерживал, выступая на различных совещаниях! Он наловчился подлаживаться к любому нужному, влиятельному человеку...

Теперь все его мечты о том, как стать профессором и академиком. Он знал: лучше иметь у себя подчиненных, чем подчиняться кому-то. Однако к этому времени своим поведением,



своими поступками уже многим доказал, что за его серой внешностью кроется не менее серое нутро. Пеилжана не торопились продвигать по службе, и он метался, вынашивал и обдумывал хитроумные пути, но все безрезультатно. Тут-то и попался ему Амирбек.

Пеилжан так и не понял, когда и каким образом Орик успела передать его просьбу «другу семьи». Только через неделю тот пригласил его к себе на прием. Пеилжан вошел в кабинет, они тепло поздоровались, даже обнялись. Хотя Амирбек и не особенно терзался угрызениями совести, но смотреть прямо на Пеилжана избегал.

Он молча сел в мягкое кресло. У него было правило — не обижать никого, хотя бы внешне, пусть видят его человечность и широту натуры. Сейчас он сидел перед Пеилжаном как бы в некотором смущении, вежливо расспрашивал о делах и здоровье, будто готовился попросить у него единственного коня. Когда же убедился, что друг настроен миролюбиво, преобразился и начал с готовностью:

— Говорят, ты хотел поехать в Москву? Я специально пригласил тебя, чтобы поговорить об этом.

— Да, у меня есть такое желание...

— Но ведь не я один решаю вопрос, у меня тоже есть начальство.

— Если будете рекомендовать меня настойчиво, кто возразит?

— Возможно, найдутся такие.

— Зачем же допускать до этого, если знаете заранее, кто — против? Я уверен, если будете просить вы, возражающих не найдется.

— Все так, но...

— Что значит «но»? — вовсе расхрабрился Пеилжан. — Если это ваше собственное мнение, что моя кандидатура не подходит, тогда, конечно, другой разговор.

— Нет, нет, что ты, я сделаю все, что в моих силах. Успокойся, пожалуйста.

Просьба Пеилжана далась Амирбеку нелегко. Он даже задумался: «Сегодня друг просит об этой поездке, а что попросит завтра?»

Жизнь Пеилжана и Орик шла своим чередом. О любви давно не было речи, но супруги сохраняли видимость благополучной семьи. Орик обычно успокаивала себя: «Это еще надо спросить, кто в супружестве живет влюбленным. Хорошо и то, что у нас все идет спокойно».

Она привыкла к нарядам, к беззаботности, к тому, что Пеилжан избавил ее от всех житейских невзгод. Орик почти открыто устраивала свидания с Амирбеком, который повстречался ей вовсе не случайно — она теперь понимала это сама.

Иной раз искренне удивлялась, как могла до сих пор терпеть сложившееся у нее в семье положение? Но тут же и отгоняла эти мысли. Новая любовь опрокинула все запруды и запреты, пришла, словно наводнение.

Еще более доброжелательным стало ее отношение к мужу. Если у Пеилжана было неважное настроение и он хмурился, Орик тотчас спрашивала: «Тебе нездоровится?»

Заметив в глазах жены эти огоньки искреннего участия, Пеилжан вначале был прямо-таки сражен: «Вот это превращение! Как расцвела, похорошела! Даже морщинки на лице разгладились, а походка — чего стоит! Неужто и в самом деле влюбилась в Амирбека?» И сам же укорял себя: «Япырмай, стоит ли ревновать? Это нужно, прежде всего, мне самому, нужно для дела».

Но сегодня все шло не так. Орик металась по квартире, не находя себе места. «Или с Амирбеком у них разлад, или еще какая причина?» Стараясь разрядить гнетущую обстановку, Пеилжан осторожно спросил:

— У нас, кажется, завтра день рождения Жанночки?

— Да, завтра ей три года.

— Вот я и думаю,— продолжал Пеилжан, внимательно всматриваясь в ставшее почти чужим лицо жены,— надо бы отпраздновать... У меня, правда, в эти дни много работы.

— Конечно. Кого пригласим?— охотно отозвалась Орик.

— Смотри сама. Только не забудь позвать Амирбека с женой.

Орик встрепенулась:

— Разве он уже вернулся из командировки? Говорили, что уехал надолго.

«А-а, оказывается, она не знает, что несколько дней назад Амирбек возвратился. Но странно, почему же он медлит, не позвонит ей?» Так и не найдя ответа на свой вопрос, Пеилжан, как бы очнувшись от мыслей, равнодушным голосом произнес:

— Сам я не видел, но слышал, будто приехал дня три назад.

В действительности же Орик не стоило так тревожиться. Пеилжан напрасно испугался, будто Амирбек уходит из его ловких сетей. Оказалось, тот простудился в командировке и прихворнул. Что же касается его увлечения Орик, которое он вначале расценивал, как баловство, то теперь оно перешло в нежное искреннее чувство. Амирбек с каждым днем открывал в этой женщине все новые достоинства.

...Гостей собралось немного. В этом доме не принято было приглашать тех, от кого мало проку. Амирбек, как почти всегда, явился один. Лишь вошел — Орик в какой-то миг переменялась: зазвенела веселым смехом, вся в радостном смущении. «Нет, у них все в порядке, Отношения прямо как у Ромео и

Джультеты!— подумал Пеилжан.— Но что же тогда так угнетает Орик?»

Узнав, что званый обед устроен в честь дня рождения Жаннат, Амирбек говорил:

— Как же это так, друзья мои? Даже не сказали, в чем дело,— и я пришел без подарка! Так что, айналайын Жанночка, от души поздравляю тебя, расти большая. А подарок — за мной.— Он с удовольствием взял на руки и расцеловал в щечки пухленькую девочку, как капля воды, похожую на мать.

— Для Жаннат, для всей нашей семьи лучший подарок — ваш приход к нам!— угодливо произнес Пеилжан.

Амирбеку стало неловко от этих, явно льстивых, слов, он даже оглянулся — не слышит ли кто. И успокоился, увидев, что другие гости увлечены беседой, а на реплику хозяина ответил почти шепотом:

— За честь большое спасибо, но подарок Жанночке — на моей совести.

Пеилжан, чтобы занять гостей до прибытия остальных, вытаскивал из ящика стола карты, принялся ловко тасовать их.

— Давайте развлечемся немного, пока подойдут еще два-три человека,— предложил он собравшимся, усаживаясь за столик в углу комнаты.

— С удовольствием,— первым отозвался Амирбек.

К ним присоединились еще двое. Остальные, окружив игроков, стали с интересом наблюдать.

Пеилжан был опытным картежником. Однако с тех пор, как в дом зачастил Амирбек, хозяин все чаще проигрывал гостю. Амирбек же, хотя и любил карты, но особым умением играть не отличался. И поскольку теперь все одерживал победы, то обычно хвастал: «Меня только и хватает, что на Пеилжана». Этот же посмеивался про себя: «Выигрывай, выигрывай пока. Скоро придет время моего выигрыша, покрупнее этого!»

Сегодня Пеилжана почему-то одолевала досада и проигрывать не хотелось. «Пора ему и честь знать!» Амирбек, заметив особую настойчивость хозяина, разволновался не на шутку. И Пеилжан не выдержал — взяло верх желание угодить. «Да ладно, не обеднею — пусть выигрывает»,— решил он и, как бы случайно, сделал неправильный ход.

В это время Орик пригласила всех к столу, и гости не заставили себя ждать.

Один гост сменялся другим: за Жаннат, родителей, за гостей... Пили, танцевали, затевали игры.

Довольные, расходились за полночь...

## Часть вторая

### Глава первая

Желанным занятием Кунтуара оставалось все то же — работать над своими дневниками. Как с самым близким другом, делился он на их страницах мыслями, предположениями и сомнениями. Эти светлые часы приносили большое внутреннее удовлетворение и не было тогда на свете человека счастливее. Все дела и заботы, волнения и тревоги отодвигались на задний план, забывались.

Прошло уже три года с тех пор, как нашлась рукопись. По многим соображениям, в народнохозяйственный план были внесены ценные изменения, и работы по сооружению Сырдарьинского моря продолжены. Это позволило продлить и археологические раскопки в Кайрактах, хотя, увы, до сих пор они не принесли желанного результата. Зато Кунтуар преуспел в другом — он почти написал книгу о культуре и хозяйстве саков. Археолог планировал после выхода этого труда в свет защитить на его материале диссертацию. О саках ему уже было что сказать людям. Правда, что касается Казахстана, то памятники эпохи саков оказались здесь большой редкостью. Да и, честно говоря, не занимались в Казахстане изучением непосредственно столь ранней эпохи.

Кайрактинская экспедиция — первая ласточка в этом поиске, начало начал. И он, ученый Кунтуар Кудайбергенов, душа и зачинатель большого дела, возлагал на раскопки самые горячие надежды. Вот почему с нетерпением ждал результатов работы. Не завершив исследования, он не мог брать за окончательный вариант задуманного труда.

Но жизнь есть жизнь. И время мчится, как бурные воды Сырдарьи... Удастся ли завершить начатое? И как это устроено человек?! Все, кажется, понял, только успел разобраться, что и где самое главное, а жизнь уже на исходе...

Хорошо, когда в большой, благородной работе рядом с тобой настоящий друг, который помогает и делом, и советом. У Кунтуара сейчас такого очень верного друга не было. Добрую половину жизни он считал самым близким человеком Ергазы, но тот — вон каков!

Спустя полгода после их размолвки все же состоялся разговор с академиком Вергинским, который внес абсолютную ясность, успокоил Кунтуара:

— Что ты! Что ты!? Разве я нуждался в твоей характеристике на Ергазы?! Да я и без тебя отлично знаю, что это за человек. Но если он не остановился в своем ослеплении, если посмел оговорить нас обоих, это и вовсе не делает ему чести.

В тот же вечер Кунтуар решил позвонить на квартиру Ергазы. «Что скажет он теперь?» Но хозяйина дома не оказалось, трубку подняла Акуль. Расспросив о жите-бытье, Кунтуар не стал тревожить ее своими переживаниями и неприятностями. Про себя же опять подумал: раз не дороги Ергазы ни честь, ни дружба, что ж..? И снова заставил себя не думать о бывшем товарище. Возможно, так бы все и обошлось.

Но вот Ергазы вновь встал на его пути. Не сам, нет. Он противопоставил Кунтуару молодого, полного сил и рвения, своего ученика Пеилжана. И Кунтуару, хочешь-не хочешь, пришлось вновь задать себе все тот же вопрос: что за человек Ергазы? Конечно, куда правильнее было бы разрешить этот вопрос не сейчас, а тридцать с лишним лет назад. Но что поделаешь, честному человеку, ему и товарища хотелось считать таким же.

Тот, кто умом и сердцем может понять другого, кто умеет многое увидеть и осознать, по-настоящему счастлив. Шедрость души и разума делает человека богаче, возвышеннее и прекраснее. И, конечно, жалок тот, кто создал в душе свой мирок, маленький, всего с собственным кулачок, и живет в нем, любит его. Собственная слава, корысть и карьера — вот боги, которым молится этот несчастный. Он не может смириться с тем, что талантом и призванием природа-мать награждает не каждого, что эти качества нельзя купить ни за какие сокровища. Изводиться черной завистью к таланту человека, организовывать мелкую травлю и ранить его душу сплетнями и наговорами — удел таких грешников.

Ергазы оказался именно таким человеком. Червь ревности и черной зависти стал точить его рано, еще с юных лет. Он завидовал другу во всем. Казалось, все удачи жизни — все для него, для общего любимца — Кунтуара. Взять хотя бы начало их работы. Еще тогда, в годы войны, когда оба вернулись с фронта и заняли равные должности, смелая, яркая мысль Кунтуара всегда возвышала его в глазах сослуживцев. Уделом Ергазы нередко было — оставаться в тени, никем не замеченным. Даже Акуль, собственная жена, и то... Чуть что — один Кунтуар на устах. У него и ум, и доброе сердце... Ничего предосудительного вроде не замечал за ним Ергазы.

Да ведь и ненависть, к кому-то рождается не потому, что человек совершил дурной поступок. Чаще — это порождение своего же собственного самолюбия.

И Ергазы, как мы знаем, не стал ждать, когда его заметят. Теперь если уж он что-то говорил, то старался подчеркнуть во всеулышание непререкаемость сказанного. Если покупал в магазине точно такой костюм, как и кто-то другой, то заявлял, что его костюм все-таки лучше. Если его служебная машина была серого цвета, Ергазы выдавал этот цвет за самый модный...

Грустные думы обуревают сегодня Кунтуара, как ни гонит он их от себя. Картины прошлого сменяют одна другую. Он словно переживает все заново. Помнит, все отлично помнит. И как хлопотал за Ергазы перед своим начальством, когда тот, раненый, возвратился с фронта. Как удивился, посчитав мальчишеством выходку Ергазы, который в первый же день, придя на работу, потребовал уступить ему стол у окна, за которым раньше работал он, Кунтуар. И как этот же Ергазы краснел, сдавая отчет, — кто-кто, а Кунтуар-то видел его беспомощность в делах и болезненное самолюбие. Конечно, и тогда нельзя было не отметить мелочность и карьеризм в характере Ергазы. Но серьезно все это Кунтуар не воспринимал. Он уступил другу свой стол, пошутив при этом: «Что ж, садись на почетное место!»

Когда Ергазы сообразил, что «бронь», из-за которой он сидел в этом учреждении, теперь, после войны, ему не нужна, то, не мешкая, перешел на другую работу. Да на какую! Возглавил крупный научно-исследовательский институт. Кунтуар тогда сказал: «Ты же способный человек! Почему не остаешься работать в науке или не идешь непосредственно на производство? Это же прямой путь к защите диссертации, о которой ты так мечтаешь?!» Ергазы ответил, не кривя душой: «Административная работа — тот конек, сидя на котором защитишь не только кандидатскую, но и докторскую!»

Как он тогда сказал, так и вышло. Ергазы стал доктором наук и профессором. Одного не учел он — звания еще недостаточно, чтобы быть настоящим ученым. Собственный карьеризм и обернулся для Ергазы дамочным мечом...

Когда его сняли с поста директора НИИ там, на юге, он появился в Алма-Ате. Здесь ему предложили руководить одной из лабораторий. Но такая работа Ергазы не устраивала. Как же?! В бытность его директором все шло к нему, просили принять, перевести, устроить судьбу... И вдруг — стать вровень с теми, кто когда-то целиком зависел от него!

А главное — новая работа требовала понистине усилий каменотеса. И Ергазы снова пошел по начальству. Хлопотал, стремился заручиться поддержкой влиятельных лиц. Вергин-

ский, когда к нему обращались с просьбой дать Ергазы «достойный его пост», протестовал: «Он же ни дня не работал на производстве!»

Но таков уж Ергазы — несмотря ни на что, добился своего. Теперь, как мы знаем, он — директор Кайрактинского филиала головного института. Конечно, далековато от центра и размах не тот... И все же он — первый руководитель. Ергазы был доволен собою: «Хорошо, очень хорошо. Директор — это не зав. лабораторией! Снова поближе к влиятельным людям, снова зависимость подчиненных... Спасибо и на этом, в будущем — будет видно. Рыба ищет где глубже, человек — где лучше...»

Вот только многое, очень многое в его положении зависит от Вергинского. А он, Ергазы, теперь точно знает, что шеф неважного о нем мнения, не только как о специалисте, но и как о человеке... «С чего бы это?» — раздумывал новоявленный директор и твердо решил во что бы то ни стало изменить о себе мнение академика.

Он стал добиваться приема у Вергинского — и сам, и через посредников. Опять — посредники. Когда-то одним из таких просителей был Кунтуар. Убедившись, что Вергинский верен себе, Ергазы усомнился: «Уж не посредники ли здесь виноваты?! Да и этот Кунтуар... Не оговорил ли он его перед академиком? Заподозрив друга, Ергазы сам себя убедил: так оно и есть. Он опять припомнил, сколько раз приходилось сталкиваться по работе и как всегда больше признавали и восхваляли Кунтуара, а его, Ергазы, будто и не замечали. Они вдвоем приходили на ученый совет или на собрание, выступали перед аудиторией по одному и тому же вопросу, но прислушивались собравшиеся только к Кунтуару, а слова Ергазы словно пропускали мимо ушей. Кунтуару — внимание и уважение, за ним всегда последнее слово: «Нет, пора всему этому положить конец!»

Знакомство с Пеилжаном потому и было для Ергазы настоящей находкой. Задетый за живое отказом Кунтуара консультировать его по диссертации и быть оппонентом на защите, тот как нельзя лучше понял Ергазы. Директор же филиала наметанным глазом определил, что Пеилжана надо придержать возле себя.

А тут еще Акуль. Мягкая по характеру, мудрая женщина сумела стать для черствого и самолюбивого Ергазы и другом, и опорой в житейских невзгодах, умела влиять на его настроение, на его убеждения. Приметив, что Пеилжан и Ергазы стали единомышленниками в своих злых кознях против Кунтуара, Акуль насторожилась. У Ергазы же за долгую совместную жизнь выработалась привычка ничего не предпринимать, не посоветовавшись с нею. Выслушивал он ее мнение обычно

молча, не высказываясь ни за, ни против. Но пойти против воли жены не решался.

Правда, полноты счастья между супругами не было: Акуль не дала мужу радости, которая согревала бы его на склоне лет — у них не было детей. Но ради спокойствия жены, Ергазы баловал и делал вид, что любит, как родного, ее сына от первого брака — Армана. На самом же деле душа его вовсе не лежала к этому хулиганистому мальчишке.

Пенлжан, следя, как за барометром, за настроением своего шефа, прекрасно понимал смятение его чувств и пользовался этим. В тот самый момент, когда Ергазы был особенно недоволен всеми и вся, Пенлжан появился в его кабинете.

— Куда это вы скрылись, давненько не вижу вас, дорогой! — радостно приветствовал Пенлжана Ергазы.

— Всю неделю напряженно работал. Дело в том, что Даниель, сын Кунтуара, написал исторический роман. Издательство, зная, что я изучаю эту эпоху, прислало рукопись на рецензию мне. Вот целую неделю и читал эту писанину.

— Ну как, о чем она?

— Снова — саки...

— Тьфу, что за молодежь пошла! Не хватает современности, лезут в старину! Оставили бы это увлечение на долю стариков, так нет... Что же там, в романе?

— Налицо влияние отца... Вещь получилась неплохая.

— Говоришь, неплохая? По-моему, не в наших это с вами интересах! Если вещь и отличная, все равно должна быть плохой! — вдруг вспыхнул Ергазы. — Что он, шенок, знает о саках, об этом древнейшем периоде истории?! Это может быть доступно только нам, крупнейшим исследователям! Вы слышите? Нам, нам! Это наша эпоха, мы владельцы ее тайны! Слышите? — И, уже чуть успокоившись, деловито спросил: — Стойте, а каковы издательские правила? Решает что-нибудь ваша рецензия?

— Решает она немало: если будет отрицательная, книга не увидит света. Моего имени, авторитета в этой области достаточно, чтобы преградить ей дорогу.

— В таком случае...

Ергазы задумался. Не может же быть приоритет в решении проблемы, над которой он работает как ученый, быть признан за молодым писателем! Даниель — сын Кунтуара. Эти два человека очень близки духовно. Когда от Даниеля отвернулась Жаннат, Кунтуар тяжело переживал измену. Так что любая пуля, направленная в сына, непременно ранит и отца.

Ергазы посоветовал Пенлжану писать... отрицательную рецензию. Тем более, что сакский период — все-таки еще белое пятно в исследовании истории Казахстана. Относительно изучены лишь памятники «звериного стиля», а в общественном



строе, жизненном укладе саков много спорного и просто неизвестного. Так что всякий невежда пусть не сует свой нос в эти сложные проблемы. «Пиши отрицательно!— почти приказал он.— Кто докажет, что ты не прав?»

Несправедливость и коварство, видимо, и рождаются с легкой руки таких вот пейлжанов и ергазы!

В издательстве сочли нужным ознакомить с отрицательной рецензией на роман и Кунтуара, как специалиста по проблеме и ...близкого автору человека. Конечно, при этом была соблюдена тайна авторства, но Кунтуару без лишних слов стало ясно, чьих рук это дело. И вопрос: «Чего же ты добиваешься Ергазы?»— в который раз встал перед ним.

В своей работе Кунтуар руководствовался золотым правилом — не спешить с выводами. Как бы ни была привлекательна внешняя позолота орнаментов памятников старины, он всегда стремился увидеть за этим нечто более значительное. Исследователь понимал, что археология — такая наука, в которой одна деталь, один-единственный штрих может дать в руки ниточку от затерявшегося во времени запутанного клубка исторических событий. Надо только быть настойчивым, последовательным и скрупулезным. Он не торопился сказать слово в науке сам, не позволял торопиться и сыну. Но молодость всегда нетерпелива. И Даниель спешил, чтобы роман увидел свет, как будто его содержание могло устареть.

Ознакомившись с рецензией и придя домой, Кунтуар снова от первой до последней странички внимательно перечитал труд сына. Два-три дня обдумывал что-то, наконец, пригласил к себе Даниеля:

— Книга получилась у тебя хорошей. В ней не только история прошлого земли нашей, но многое добротнo увязано с сегодняшним днем. Именно это и делает роман интересным для современного читателя. Так что, дорогой мой, прежде всего сам знай цену сотворенного тобою и не спеши переживать из-за этой, так называемой, закрытой рецензии. Рецензия-то «закрытая», а вот автор ее выступает открыто. Во-первых, это явно человек, хорошо знающий эпоху саков. Во-вторых, он недружелюбно настроен не только к тебе, но, скорее всего, и ко мне. В-третьих, нас, специалистов по проблеме,— раз-два и обчелся. Кто мои противники — тоже не секрет. Так что смекай. Однако разговор я затеял с тобою сейчас не об этом.

— О чем же? Я слушаю, говори!— подбодрил отца Даниель.

— Коли слушаешь, то советую тебе уяснить важную истину: ни один из великих людей никогда не делал открытий и не создавал творений в короткие сроки. Этому они посвящали долгие десятилетия, а то и всю свою жизнь. Вспомни хотя бы

того же Исаака Ньютона. Знаменитые «Математические основы натуралистической философии» он вынашивал в своей мудрейшей голове двадцать лет. Чарльз Дарвин свой единственный труд писал всю жизнь. И тебе известно, конечно, что в результате — ученый совершил революцию во взглядах на природу! Но труд увидел свет только после смерти своего гениального творца. Вот в этой книге написано, — Кунтуар поднялся и взял с полки огромного — во всю стену кабинета — стеллажа одну, — что Дарвин, выявив закон и создав классификацию эволюционного развития животного мира, боялся упомянуть об этом в маленьком очерке даже в нескольких словах. Контролировала и останавливала его сделать это одна и та же мысль: «Как бы не ошибиться!» Испытание временем — самое суровое, но и единственно верное для всего истинно нового и ценного. Я — живой свидетель твоего нелегкого труда над романом. Знаю, сколько бессонных ночей и тяжких сомнений пережил ты, помню, как ездил и в далекую экспедицию, и изучал труды многих ученых. Однако несмотря на все, не кто иной, как я, прошу тебя: поработай над рукописью еще. Проблемы ее требуют осторожного подхода, серьезных, глубоких раздумий, осмысления во времени, хотя твоей книге уже и сегодня нет цены!

— Коке, — взволнованно обратился Даниель к отцу. — Ты, без сомнения, прав, тысячу раз прав во всем, что сказал. Но ведь нельзя забывать и о том, что любое творение больших художников порождало вдохновение! Бальзак, Джек Лондон, Тургенев писали быстро и вдохновенно. И произведения их, как известно, от этого не проиграли. Нет, создать книгу — это вовсе не то, что, скажем, построить дом: вот — фундамент, вот — окошечки, а вот это — крыша над головою...

— Безусловно, сын, все так. Романы, повести, поэмы, все творения мастера-художника порождены его творческим порывом. Но, прежде чем этот священный огонь вспыхнет в сердце писателя, он многие годы вынашивает в душе до полной зрелости свое детище. Время порождает своего читателя, современника автора. И, возможно, твой читатель-современник давно уже ждет от тебя книгу, под стать своим помыслам и делам. Помни, что читатель и писатель — два самых близких сопереживателя тех событий, о которых повествуется в произведении. Читатель никогда не простит «своему» писателю ни единой фальшиво звучащей ноты. Поэтому, если уж ты решился вынести свою книгу на суд народный, то хорошенько обдумай все. На то ты и писатель.

— Хорошо, хорошо, понял тебя.

— Я хотел еще уточнить — откуда ты взял события с участием Архара, Катергепа и Анрук? Помнишь то место в романе, где Кедерей обвиняет Архара... Ведь он именно в подстрека-

тельстве Архара видит причину своих собственных предательских намерений. Хорошо помню эти строки. Правитель изгоняет Архара, и тот умирает от жажды в пустыне. Допустим, все это было в те времена. Архар получает по заслугам. Удел предателей и завистников всегда один. Думаю, правдивы и другие факты. Мы уже говорили с тобой, что эта линия в романе не безынтересна...

— Я работаю над художественным произведением. И это оправдывает определенный авторский вымысел, хотя роман и посвящен истории. Однако жизнь сегодня — главный материал для писателя. Да и сам ты мне, собственно, говоришь об этом постоянно. Вот я и ввел эту линию. Цель была одна, чтобы читатель, угадав в своем современнике хоть одну выпитую мной отрицательную черту, беспощадно осудил его.

— Да-а-а. И после этого ты хочешь, чтобы такой человек, как Пеилжан, не настроил на твою рукопись отрицательное заключение?

— Кто же знал, что роман отдадут на рецензию именно ему?

— Ну, а если, предположим, ты бы знал? Неужели попустился бы ради этого правдой жизни?

— Не знаю.

— А теперь представь другое. Допустим, ты испугался, что обыватель, против которого выступаешь в книге, узнает себя, навредит тебе, и — убрал резкие места. Тогда какая же будет разница между этим самым обывателем и тобою? Вот за то, что ты не испугаешься и выступишь смело, многие люди скажут тебе спасибо. Среди них я — первый.

Волнение отца передалось сыну. Даниель с благодарностью и любовью взглянул на Кунтуара:

— Эх, почему же не все люди рассуждают так правильно и глубоко?! Те же пеилжаны и арманы? Сколько бы горя и слез можно было предотвратить?

Кунтуар понял сына. Понял не только то, что тот высказал вслух, но и о чем умолчал, что оставил за душой.

— Я видел в прошлый раз в театре Армана с Жаннат. Ты прости, но так счастливые люди не выглядят...

Даниель ответил не сразу.

— Да, — произнес он наконец в раздумье. — Счастье — вещь особая. Перехватить его, продать, купить... — разве можно?

## *Глава вторая*

Вся забота Акгуль была о счастье единственного сына — Армана. Мальчик рано потерял отца. Слепленная любовью к малышу, мать прощала ему любые шалости. Годы шли, и

вот уже из подростка сын превратился в юношу. Он успел понять, что мать питает неодолимую слабость к нему, и стал пользоваться этим. Словно в отместку за ее слепую любовь сын вырос алкоголиком и картежником.

Эгонистичный и легкомысленный, он поступал обычно так, будто весь мир, все на свете люди рождены для исполнения его желаний.

Как нередко бывает, мать последней поняла, насколько трагично все, что случилось с сыном. «Видимо, судьба покарала меня,— сокрушалась женщина,— за то, что забыла молитву предков: «О, аллах! Дай мне дитя, да надели его рассудком и трудолюбием!» Акгуль готова была отречься от всего земного, лишь бы жизнь смиловилась и послала ее сыну здоровье и благополучие.

Но нельзя сказать, что судьба до конца была безжалостна к Акгуль. В утешение за терпение и материнскую любовь она дала ей прекрасную сноху. И с тех пор, как в дом вошла Жаннат, мать мечтала о том, что невестка многое повернет в жизни сына к лучшему. И утешала себя: «У хорошей жены и муж всегда хорош». Эта вера укрепилась окончательно, когда в семье появились два ясноглазых внука. Словно черный камень свалился с плеч Акгуль.

...Приближался день рождения хозяина дома — Ергазы. Акгуль готовилась к юбилею мужа давно. Хлопот полно, каждый день дорог. Но в сегодняшний, видно, многого не удастся сделать. Акгуль нездоровится.

День выдался серый и промозглый. Конец ноября, а земля голая, какая-то неудобная. К ноябрьским праздникам выпал боля снежок, но уже через два дня растаял. Город укрыли тяжелые, грозные тучи. И зарядили дожди.

В последнее время Акгуль дважды побывала в больнице — сердце сдает заметно. Ей и сегодня трудно дышать. Она думает о предстоящем праздновании, о сыне, о невестке...

Жаннат только что выкупила малышек и одевает их в своей комнате. Вдруг раздался звонок в передней. Акгуль не стала тревожить сноху, сама подошла к двери. На пороге стояла незнакомая худощавая, скромно одетая женщина.

— Простите, здесь проживает профессор Ергазы Аюпов?— спросила она.

Акгуль стояла, прижав руку к груди.

— Здесь, проходите.

— Не супруга ли вы его будете?— Женщина говорила, словно извиняясь:— Если разрешите, мне поговорить с вами надо.

— О чем же?— заволновалась вдруг Акгуль.— Проходите, чего же стоять у порога, Это плохая примета.

Женщина медленно вошла вслед за Акгуль в переднюю, присела на диван.

— У вас... болит сердце?— спросила незнакомка.

Акгуль утвердительно кивнула головой и тяжело вздохнула:

— В такую погоду у каждого что-нибудь болит... Что же вас привело в наш дом?

Женщина смутилась, подыскивая слова, чтобы начать разговор. Потом решила:

— Я мать и пришла к вам, как к матери. Очень прошу выслушать. Только простите заранее..

— О чем вы? Говорите же толком!

— Сейчас... Все по порядку... Поймите меня правильно. Я вдова, мужа убили на фронте, когда мне было двадцать лет. Замуж больше не выходила. Все силы, всю жизнь отдала единственному сыну — Жагыпару.— Женщина говорила, не обращая внимания на слезы, которые градом катились по ее лицу.— Мальчику был годик, когда убили отца... Трудно приходилось. Образования нет, специальности до войны приобрести тоже не успела. Пока были силы, работала на заводе, потом пошла техничкой в школу. Сын закончил десятилетку, получил аттестат и уехал в Алма-Ату учиться. Прошло пять лет. Жагыпар вернулся в родной аул учителем. Привез и красавицу-жену. Биби зовут. Но красота-то ее только внешняя. Видно, от излишнего достатку родители разбаловали свое единственное чадо. Я сразу поняла — вряд ли Биби будет почитать за мужа моего сына. И как в воду глядела! Переехали сюда, в Кайракты. Сноха устроилась на работу во Дворец культуры. С тех пор Жагыпар мой стал на глазах худеть, словно на него чахотка напала. Вы же знаете, мать, если и не видит глазами, то чувствует сердцем... Я поняла, что у сына на душе какое-то горе. Да и отношения со снохой не те, что в первое время. Спрашиваю, что случилось,— отмахивается: «Ладно, мама!»... Сам все вздыхает, молчит. А потом выяснилось — сноха-то наша... с вашим сыном, с Арманом...

Акгуль, собрав все свои силы, вскрикнула:

— Не может быть! Вы ошиблись!

— Я молила бога, чтобы было не так. И все-таки это правда... Сегодня сноха сама заявила: «Я за твоего сына вышла случайно. Слава богу, поняла вовремя. Завтра ухожу к Арману»...

— Боже... Что вы такое говорите... У Армана семья — жена, два сына.

— Молодежь нынче не та... Многие и знать не хотят ни любви, ни уважения.— Женщина заплакала:— Не хотела приходиться к вам, но вот, не сдержалась. Жагыпар мой любит эту непутевую. Страшно смотреть, как мается, Живу в страхе:

уйдет она — как бы чего не сделал над собой. Потом подумала — вы ведь тоже мать. Вам ведь тоже не хочется горя своему сыну!

— Япырай, хотя бы не слышала Жаннат...— почти прошептала Акгуль и без сил опустилась на диван.

Видя это, незнакомая женщина в ужасе склонилась над ней:

— Милая, милая, не надо! Я же не хотела...

В комнату вошла Жаннат, ведя за руки Сакена и Даулета. Чистые, розовощекие после купания, ребятки недоуменно смотрели вокруг. Жаннат стремглав бросилась к свекрови, беспомощно уткнувшись лицом в подушку дивана.

— Что случилось? Что с вами?— спрашивала она в тревоге.

Рядом с лицом бледным, почти безжизненным, сидела незнакомая женщина и молчала.

Жаннат знала о больном сердце свекрови. Поняв, что это очередной приступ, она бросилась вызывать «скорую». Потом подала ей какие-то сердечные капли. Не зная, что еще предпринять, снова подбежала к телефону, сообщила кому-то о несчастье.

Вошли соседи, которых успел позвать старший из мальчиков — Даулет. Они тоже растерялись и только всплескивали руками, все время повторяя: «Что же делать, что же делать, япырмай!»

Когда прибыла карета скорой помощи, пульсу Акгуль прощупывался совсем слабо. Молоденькая врач сделала нужный укол. Помощь пришлось оказать и незнакомой женщине. Больше того, ее, как и Акгуль, нельзя было оставить дома, и врач распорядилась, чтобы внесли двое носилок.

Акгуль очнулась в больнице. Скоро она узнала, что незнакомой женщине становится все хуже. Ей не помогли никакие старания врачей и сестер, никакие лекарства...

Акгуль — дня через три — стало чуть легче, и ей разрешили свидания с родными. Пришли Ергазы и Жаннат. Врач попросила их не утомлять и не волновать больную излишними разговорами. Но Ергазы не удержался и, как бы в шутку, заявил:

— Как это тебя угораздило слечь перед самым моим юбилеем?

— Ничего, я поднимусь!

— Смотри, поторапливайся, а то и без тебя справим той. Потом не пеняй, если останешься на бобах.

Жаннат даже удивилась. Она, вроде бы, не замечала раньше подобной резкости Ергазы по отношению к жене. А сегодня... Что это с ним? Будто нарочно пытается досадить. И слова-то нашел какие...

Акгуль снова попыталась смягчить обстановку, произнесла с печальной улыбкой:

— Пусть будет по-твоему! Сделаю тебе подарок — выздоровлю ко дню рождения!

Жаннат не обрадовали эти слова. Грустная, она сидела возле больной и вдруг предложила:

— Может, лучше на время отложить той? Поправитесь, тогда и...

Но Ергазы перебил ее и, обращаясь к Акгуль, твердо произнес:

— За банкет в ресторане оплачено полностью. И гости приглашены.

Акгуль быстро подстроилась под мужа:

— Конечно, конечно, откладывать не стоит. Да и я, слава богу, почти здорова. К торжествам обязательно выпущусь.

— Зачем вы так рискуете?— обратилась к ней Жаннат.— Ясно, что рано вам еще выходить из больницы. Вы и в прошлый раз не долечились, поспешили домой. Вот это и обернулось новым приступом. С сердцем шутки плохи...— Жаннат помолчала, потом, желая перевести разговор в другое русло, спросила:

— Да как же это все случилось-то? Расстроились вы, что ли? И кто та чужая женщина?

Акгуль пощадила Жаннат и сказала в ответ:

— Мы с этой женщиной росли вместе. Много лет не виделись. Вот и сидели, вспоминали свое детство, родных. Много причин было для того, чтобы расстроиться...

— Я и говорю, что вам нельзя волноваться. А вы еще торопитесь домой,— произнесла Жаннат, поправляя выбившуюся из-под платка прядь волос.

Она пожелала свекрови скорого выздоровления, сказала, что завтра придет к ней с Арманом, и вышла вместе с Ергазы из палаты. Акгуль вовсе расстроилась: «Золото, не человек! Неужто беда отнимет у меня такую сноху?» Она тихо плакала, и это приносило облегчение. «Не может, не может быть, чтобы Арман способен был на такое... Завтра же, как только придет ко мне, все выведаю у него сама. Пора поговорить с ним серьезно...» И, несколько успокоившись, стала ждать прихода сына.

Акгуль считала, что сообщила невестке святую неправду о своей напарнице по несчастью. Но слова эти пришлись к месту. Ее новая знакомая и в самом деле стала выздоравливать. Этому в немалой степени помог собственный сын. Жагыпар, как только узнал, что мать увезли в больницу, многое передумал и пережил, и потом круглые сутки не отходил от постели больной. Когда же мать пришла в сознание, то первым ее вопросом было: «Как, сынок, у тебя дела?»

Честно говоря, с Биби у Жагыпара был полный разлад. Но он, улыбнувшись, произнес:

— Все хорошо, мама. Тебя, конечно, беспокоит Биби? Она все по дому хлопочет, собирается прийти к тебе.

Мать посмотрела на сына изучающим взглядом:

— Тогда чего же ты такой грустный?

— До веселья ли мне, если ты так больна? А с Биби мы во всем разобрались. Это она обиделась на меня — вот и намолола вздор. Чуть поправишься — она придет и попросит у тебя прощения...

В потухших было глазах матери блеснула искорка надежды.

— Ну, дай-то бог! Будьте счастливы оба...

Мать верила сыну, знала — он с детства не лгал ей.

Положение же Акуль было все еще незавидным. Как и обещала, Жаннат на следующий день пришла к матери вместе с Арманом. Тот попросил в конце свидания: «Ты иди, Жаннат, дети ждут, а я еще побуду здесь».

— Мама,— сказал Арман, как только они остались вдвоем.— Разреши мне сказать тебе одну вещь.

— Говори, если не тебя, то кого же мне слушать?

— Ты не сердись на меня за то, что услышишь. Я не могу больше с Жаннат... решил бросить.

— Бросить? Как это «бросить»? Она что вещь, что ли, для тебя?

— Прошу, не сердись. Я нашел свое счастье.

— Опять «нашел», да еще и счастье! Ты что же, все время был несчастен?

— Да, был несчастным, только и сам не знал этого. А теперь — счастлив. Я встретил женщину... ее зовут Биби. Мы любим друг друга.

— Что ты говоришь, дорогой мой? Опомнись! Куда же ты денешь тех двоих, которые слаще, чем мед, дороже, чем зрачок глаз наших?! Неужто ты способен на такое злодейство и сумеешь бросить Сакена и Даулета?!

— Ну, если они вам так дороги, я оставлю их вам...

Акуль задохнулась от негодования! Она не могла больше вымолвить ни слова и лишь тихо застонала.

Вбежала дежурная сестра и выпроводила Армана.

Назавтра пришла Жаннат. Не подозревая о беде, нависшей над ее головой, невестка долго рассказывала о приготовлениях к тою. Свекровь, слушая, так и не смогла сообщить ей горькую весть. На прощание промолвила: «Вижу, праздник удастся. Вся надежда на тебя, дорогая». А сама опять заволновалась: «Что же станет с ними, моими бедными детьми и внуками? Хоть бы одумался Арман! Может, эта Биби най-



дет в себе хоть искру человеческой жалости и не станет отнимать отца у детей...»

Жаннат ушла, а Акгуль как лежала, не шелохнувшись, так и осталась в той же позе.

Арман больше не приходил. Зато часто у постели матери была Жаннат с детьми. Разговаривали об одном и том же: как лучше отпраздновать юбилей Ергазы. Но Акгуль торопилась теперь выйти из больницы уже не ради этого празднества, а чтобы воспрепятствовать несчастью, которое грозило семье. «Отвести беду, отвести беду!»— эта мысль не оставляла ее ни на минуту.

Слов нет, похвала подбадривает человека. Она — хорошая поддержка в работе каждого. Поддержка нужна и всякому таланту. Хотя, бывает, что стимулом для вдохновения иному человеку служит его честолюбие. Именно честолюбие, желание славы, почета, желание быть первым среди первых любой ценой — владело сейчас Ергазы. Он не без дальнего прицела решил во что бы то ни стало с шиком отпраздновать свой юбилей. И ничто не могло отвлечь его от этой затеи, даже тяжелая болезнь жены, многие годы преданно делившей с ним и радость, и горе. В предвкушении ожидаемых тостов, он представлял, как люди после тоя будут говорить: «Смотрите, Ергазы-то уже шестьдесят, а каким молодцом выглядит!»

Наконец наступил день праздника. Чествование проходило во Дворце культуры. На плечи юбиляра накидывались один за другим дорожки, с оторочкой и галунами, халаты. Дарились магнитофоны, транзисторы, приемники. В приветственных речах можно было слышать лестные обращения к Ергазы вроде: «энциклопедия знаний» или «тулпар науки». Подчеркивалось: «столько-то людей вывел в науку», «столько-то человек под его руководством защитили кандидатские диссертации». Были использованы все похвальные эпитеты и метафоры. Все добродетели юбиляра, величиною с булавочную головку, раздувались непомерно. Два старинных друга, которых Ергазы когда-то выгнал с работы, расчувствовавшись, обнимали и целовали его.

Юбиляр отдавал себе отчет, что все слова — пустые. Но мало-помалу они делали свое дело. В какой-то момент Ергазы подумал: «А почему, собственно, пустые?» Он вдруг почувствовал, как вырос в собственных глазах. Выпрямился и оглядел собравшихся, словно хотел сказать: «Вот я каков!»

После каждого очередного приветствия в его адрес Ергазы приподнимался и почтительно кланялся кому-то в зале. Оказывается, этим он давал понять: «Ваша очередь говорить».

Праздничный банкет проходил на следующий день в ресторане. И хвала в адрес именинника, произносимая накануне, померкла по сравнению с той, какая слышалась здесь.

Длинные столы, накрытые белоснежными накрахмаленными скатертями, ломились от яств. Чего здесь только не было! И казахские блюда — касы, карта, чужук, копченая печень. И румяный алма-атинский апорт, вперемешку с янтарными лимонками, и лимоны, апельсины, и бананы, ананасы! А напитки — на вкус каждого!

Гостей встречала Жаннат с подругами. Два-три друга Армана принимали подарки для Ергазы. Сам именинник восседал в удобном кресле. На нем ослепительной белизны рубашка, новый костюм..

Даже здесь, на собственных именинах, пришедших поздравить его он оглядывает своим критическим, оценивающим взглядом. «Япырмай, как этот остроносый Сарсен похож на сову, хоть отправляй его ловить ночью мышей. А кто же этот, тонкий, длинный? Старею, видно, коли не признал своего давнего друга Сикымбая. Да поди, узнай — таким щеголем приоделся. Тьфу, как это я раньше не видел, что нос у него точь-в-точь лисий. Пристроить пару острых ушей по бокам лысины, пожалуй, спутаешь со степным корсаком! А это, интересно, кто же вытянулся, как цапля на одной ноге?..»

В это время в зал вошел Кунтуар. Его черные когда-то, как смоль, вьющиеся волосы теперь покрылись сединой, а вообще — такой же, как прежде: прямой и статный, словно не берет его время. Посверкивает стеклами очков в золотой оправе. Жаннат смущенно отвела взор от Кунтуара, не выдержала его прямого взгляда. Навстречу археологу вышли подруги Жаннат, взяли его под руки, провели вперед. Ергазы переменял тактику: не ждал, как всех других, — когда подойдут и поздороваются, а сам поспешил навстречу гостю.

— Извини, что опоздал на торжественную часть, — говорил Кунтуар после того, как по-дружески обнял и поздоровался с Ергазы. В этот знаменательный день он отбросил все свои сомнения и обиды. — На шесть часов задержали самолет в Алма-Ате из-за нелетной погоды.

— Ничего, главное, что ты все-таки приехал! — радостно отвечал Ергазы. — Уж я боялся, что не явишься вовсе..

— Что ты, что ты! Как же пропустить такой дастархан! — шутил, как обычно в таких случаях, Кунтуар. И своей мягкой улыбкой приветствовал молодежь, успевшую окружить его. — На юбилеях я предпочитаю посещать не первую, а вторую часть.

Шутка старого археолога была поддержана дружным звонким смехом. Казалось, с приходом этого доброго и веселого, меткого на слово и острого на ум человека все вокруг по-

светлело, будто в зале зажглись дополнительные огни. И Ергазы вдруг сник, загрустил. «Везет этому Кунтуару! Только явился, все внимание ему. Молодые из кожи лезут, готовы в рот заглядывать, на лету ловят каждое его слово. И чем он их околдовывает?»

С появлением Кунтуара все, как по команде, стали усаживаться за столы. Жаннат, чтобы не встретиться даже взглядом с отцом Даниеля, пробралась в дальний конец зала и села там. Напротив Кунтуара оказался Арман.

Председатель юбилейной комиссии, один из самых почетных гостей — Сыздык, ведущий вчерашнего торжественного вечера, не мешкая, взял слово и сегодня.

— Дорогие друзья! — начал он, непринужденно поправляя одной рукой галстук. — Мы собрались сегодня здесь, чтобы продолжить торжество в честь нашего дорогого друга, одного из известнейших ученых земли казахской, нашего уважаемого Ергазы. Велики заслуги его перед Родиной! — И Сыздык повторил все, что говорилось вчера. Закончил он речь здравицей в честь своего директора: «Успехов тебе, дорогой Ергазы, много лет жизни!» — Оратор лихо опрокинул рюмку коньяка.

В подобном же тоне произнесли еще несколько тостов. Последним слово было предоставлено Кунтуару.

— В каждом возрасте у человека есть свои радости, — сказал он спокойным, но довольно громким голосом. — Перед натиском и дерзостью молодости жизнь щедро открывает свои тайны. Молодого человека зовет к подвигу мечта сказать миру еще никем не сказанное. В зрелые годы человек горд от сознания того, что позади жизнь, посвященная честному труду и борьбе за светлое завтра родного народа. И это — основная цена прожитого. Но есть и еще одна мера — чистые, незапятнанные ни предательством, ни обманом честь и совесть человека. Это ли не гордость для него?! — Кунтуар был верен народной мудрости: хочешь помочь другу в беде, — подскажи ему, как бы ты поступил в данном случае сам. — Дорогой мой старинный друг Ергазы! Именно этим ты и можешь гордиться сегодня перед нами, своими сверстниками, перед всеми, кто собрался здесь чувствовать тебя. Поэтому-то я и прилетел сюда, не посчитавшись ни с занятостью, ни с расстоянием. От души желаю тебе счастья и долгих лет жизни! Предлагаю поднять тост за здоровье Ергазы!..

Потупясь в пол, именинник сокрушенно думал: «Бог ты мой! Неужели Кунтуар не знает о моем действительном отношении к нему? Или разыгрывает из себя великодушного человека? А может?.. Это точно! Именно сейчас, здесь, он решил пристыдить меня таким образом и унижить».

А Кунтуар между тем без тени сомнения и, как говорится, не тая камня за пазухой, продолжал говорить:

— Надо признать, однако, и слабость стариков перед молодыми. Пока человек молод — и дети его малы. Лишь подрастут, самое бы время жить да жить родителям, а тут старость! Наши сыновья и дочери часто идут не за нами, а выбирают собственные дороги. И, как правило, предпочитают в жизни неторные пути. Радость детей становится твоей радостью, горе детей — твоим горем. И нет в старости счастливее человека, который дал своему сыну-птенцу крепкие крылья, светлый разум и горячее сердце! Слава аллаху, и здесь, дорогой мой друг Ергазы, ты можешь гордиться. Поэтому тост я поднимаю и за твою семью, за верную твою супругу, подругу долгой жизни! К сожалению, мне сказали, она тяжело больна и не может разделить нашу всеобщую радость... Предлагаю также тост за твоего сына, который оберегает и лелеет твою старость! И за здоровье твоей снохи... — Кунтуар осекся. Он искал глазами Жаннат. Наконец, нашел. Все, кто знал историю любви Жаннат и Даниеля, насторожились: «Что-то сейчас будет..!» Однако Кунтуар смотрел на Жаннат с теплотой и доброжелательностью.

— За твое здоровье, Жаннат, — тихо произнес он и выпил.

В это самое время у входа послышался шум. В зал буквально прорвалась какая-то пестрая компания, которую никак не хотели пропускать дежурившие у двери. Компания явно держала направление к праздничным столам. Впереди смело шагала девица в огненно-рыжем парике. Довольно стройную фигуру ее плотно облегал красный жилет. Длинную шею, женственность плеч и рук подчеркивал свитер. В ушах — золотые серьги. Жаннат без труда узнала Биби, которую видела раньше.

За спиной Биби, уже не так решительно, приближалась к столу ее подруга. Эта выглядела более скромно. Вместе с ними вошло еще несколько женщин. Арман вскочил, подбежал, расшаркался, приглашая компанию к столу. У Жаннат защемило сердце. Она почувствовала свою беззащитность и... неминуемую беду — так жаворонок по малейшему дуновению ветерка в ясном небе чувствует приближение бури. «Нет, нет! — пыталась успокоить себя Жаннат. — Не может быть!»

Еще до этого Жаннат заметила, что Арман сидел, то и дело поглядывая на входные двери. «Что это с ним, кого он ждет?» — терялась она в догадках. Теперь все ясно. Однако Жаннат всем видом старалась показать окружающим, что ничего особенного не произошло. Так сказать, усыпляла бдительность присутствующих. Сама же еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться.

Банкет прогремел обилием блюд, тостов, комплиментов, — все было по душе, и большинство, расходясь, считало: «Той

удался на славу». Лишь несчастная Жаннат вернулась домой, убитая горем,— Арман ушел провожать Биби.

Она лежала с открытыми глазами, сон не приходил. В какой-то момент не выдержала, заплакала. Уткнувшись в подушку, тихо всхлипывала, боясь разбудить детей... На рассвете услышала шаги Армана. Он вошел, открыв двери своим ключом, и молча улегся на диван в зале. Так повелось у них давно. Если муж возвращался вот так же, на рассвете, Жаннат считала: «Заигрался в карты с друзьями...» Никакие другие мысли ей и в голову не приходили. Да и не до размышлений было. Чуть подняла из пеленок первенца — родился второй. Каждый день — заботы, заботы о детях. Лишь иногда, почти с испугом, Жаннат спрашивала себя: «Неужели моя любовь к Арману целиком перешла к сыновьям?» В последнее время в хлопотах по дому, о большой Акуль, о банкете свекра. Жаннат вроде и вовсе забыла, что у нее есть муж. У нее ни разу не возникало желание упрекнуть его в том, что он возвращается домой поздно. Тогда почему же сегодня все взбунтовалось в ней? Ревность. Да. Жаннат поняла, что любит мужа, как в первый день встречи...

Утром позвонила свекровь. Расспрашивала, как прошел юбилей. Жаннат, насколько могла, отвечала бодрым, ровным голосом. Но про себя молила: «Хотя бы она ничего не узнала! Иначе ей, бедняге, не оправиться от болезни». Однако сердце матери чутко к горю детей. Несмотря на все старания Жаннат, Акуль поняла, что невестка чем-то опечалена. И этого было достаточно, чтобы бедная женщина убедилась: «Лечь в больницу больше нельзя. Надо домой! Обязательно!» Она сумела уговорить врачей, и ее отпустили из больницы «повидаться с внучатами».

А дома в это самое время сын ее говорил, обращаясь к жене:

— Я должен сообщить тебе... И прошу, не расстраивайся, когда узнаешь все. Дело в том... что я ухожу. Навсегда...

Болью отозвались слова мужа в сердце Жаннат. Но у нее хватило сил совладать с собою, она спокойно ответила:

— Я вижу.

— Комнату, обстановку оставляю тебе.

Жаннат скорбно усмехнулась:

— Сыновей тоже милостиво оставляешь мне или забираешь с собой?— И отвернулась, чтобы Арман не мог увидеть на ее глазах слезы.

Зазвонил телефон. Звонок был настойчив. Жаннат медленно подняла трубку.

Акуль взволнованным голосом сообщила, что соскучилась по внукам и просила Жаннат приехать за нею. Затем, как бы спохватившись, поинтересовалась:

— А где Арман?

— Здесь, стоит с чемоданом в руках, собрался уходить.

— Куда?

— Узнайте об этом от него самого,— сквозь слезы вымолвила Жаннат.

Акуль поняла, что случилось непоправимое:

— Позови к телефону Армана.

Когда сын взял трубку, мать почти приказала:

— До моего возвращения не уходи!

— Хорошо,— ответил Арман,— Подожду.

Говорил, будто делал матери одолжение.

Не прошло и двадцати минут, как на пороге стояла Акуль.

— Сынок,— заговорила она, еле переводя дыхание,— если считаешь меня своей матерью, выполни мою волю — не заставляй плакать детей и жену.

— Нет, мама. Я не в силах подчиниться твоей воле. Из-за меня Биби развелась с мужем. Теперь моя очередь жертвовать...

— Смилуйся, опомнись! Если ты так говоришь мне, своей матери, я вовек не прошу себе, что родила тебя такого и вскормила. Хоть ты мой единственный в жизни, я проклинаю тебя!— И Акуль медленно стала оседать, затем упала навзничь, потеряв сознание.

Больше в себя она не приходила. Как ни старались врачи, помочь уже не смогли — сильного нервного потрясения не выдержало сердце.

А теперь — плачь, Арман, причитай, Жаннат, скорби, Ергазы! Ничего нельзя ни поправить, ни вернуть. Смерть бездушна и приходит всегда не вовремя, хоть живи сто лет. Если бы у смерти была душа, она устыдилась бы тех проклятий, которые шлет ей человечество. Но сколько бы ни прожил человек, после него всегда останутся несбывшиеся его мечты... Поэтому в памяти народной жизнь каждого оценивается не прожитыми годами, а делами, свершенными им.

Арман только теперь понял, что мать всю свою жизнь до последнего вздоха отдала ему. Раньше он даже в мыслях не мог себе представить, что все случится вот так... Если бы только можно было предположить, если бы только знать!

Нет для человека кары тяжелее, чем сознание собственного преступления. Нет суда, страшнее суда собственной совести. От нее никуда не уйти и не скрыться.

Жаннат тоже тяжело переживала смерть любимой свекрови. Только Ергазы внешне был сдержан, хотя смотреть на него было страшно. Слезы как навернулись на глаза, так будто и застыли в них. Он весь окаменел. Эти плачущие внуки, охвативший их оцепеневшими руками Арман, люди в трауре...

Все чуждо. Это другой, не его мир. И он здесь сторонний наблюдатель чужих страданий...

Прощальную речь говорил младший деверь Акгуль по первому мужу, срочно прилетевший на похороны из дальнего района. Он, Жакып, вырос на руках Акгуль и любил ее, как сын. Рыдания сдавливали его горло, слезы застилали глаза...

— Женге, ты заменила мне родную мать, вынянчила, вырастила... Я не смог услышать слов напутствия, посидеть около тебя, тяжело больной... И об этом буду скорбеть до самой своей смерти. Прощай!

Слово дали Кунтуару.

— Дорогие... родственники,— медленно начал он.— Если среди птиц бывают такие, как лебеди, среди животных — белые маралы, то Акгуль была украшением мира среди женщин. Но смерть не знает жалости! Акгуль не вернуть. И нам надо мужаться в нашем общем горе.— Дорогой Ергазы! Как бы ни крепился ты, мы все понимаем, сколь велика твоя печаль и разделяем ее. Будь своим детям надежной опорой. Сумей, как умела это делать Акгуль, вовремя поддерживать их, обрадовать и успокоить. Пусть память об Акгуль венчает не только серый гранит, но и навсегда поселится в твоём сердце...

Тем временем в доме Ергазы накрыли поминальный стол. Как ни глубоко было горе Жаннат, но, вернувшись с кладбища, она вынуждена была сдерживать слезы и принимать людей. И вдруг в этот момент... увидела входивших в дом тех самых женщины, которые незваными явились на юбилей. Они приближались к Арману, всем видом подчеркивая, что пришли выразить свое соболезнование. Все в трауре. Впереди снова Биби.

Жаннат чуть помедлила, затем решительно шагнула на встречу прибывшим.

— Вон отсюда!— гневно крикнула она.— Вон!

### *Глава третья*

Когда Кунтуар впервые пришел на работу в научно-исследовательский институт, он был удивлен слабой оснащённостью научной базы. Впрочем, в то время, перед началом Отечественной войны, многие институты не имели даже лабораторий. Да и самих этих институтов было раз-два — и обчелся...

Кунтуар помнит, сколько настоящих патриотов, истинных талантов пришло тогда в науку. Эти люди не боялись ни житейских невзгод, ни напряженной работы.

Сейчас в исследовательских учреждениях многое изменилось. Окрепла материальная база. Целые коллективы работа-

ют над важнейшими темами для развития народного хозяйства. Такой метод организации исследований, разумеется, не может помешать индивидуальному поиску. Ведь иной раз ученого ведет к открытию интуиция. Или может случиться, сегодняшнее открытие — всего лишь начало серии других, перекидной мостик к более серьезным результатам.

Но... бывает в науке и так, что исследователь на решение проблемы потратил всю свою жизнь, а желанной цели так и не достиг. Тот, кто идет в науку, должен быть готов и на такую жертву.

Известно, цель науки — выявить общие законы развития общества и природы. Такие законы — основа для будущих открытий. Это, конечно, не значит, что не стоит работать над проблемами, необходимыми народному хозяйству, экономике страны сегодня, сейчас. Однако не все новос сегодня — живет. Часто открытия поспешные становятся старыми уже завтра. И слава, легко пришедшая к тебе, скоро гаснет вместе с устаревшим твоим открытием.

Разумеется, величайшие достижения невозможны ежедневно. Закономерно и то, что даже самая прогрессивная, передовая эпоха может дать десятки тысяч академиков и профессоров, но... ни одного Галуа, Лобачевского или Чокана. Науке, в первую очередь, нужен талант. Настоящий. Не просто знания. Их-то можно приобрести, а вот талантливый — надо родиться.

Любая наука — что воды быстрой реки. Борясь с волнами ее, противоположного берега достигает не каждый. Иные, войдя в реку, начинают плыть по течению.

Случается такое и в археологии — древнейшей из наук. Ведь еще пять тысяч лет назад, зарывая своего усопшего первого фараона в золотой гробнице под сводами первой пирамиды, люди умели уже тогда и отрыть эту гробницу. Археология зародилась и живет с тех самых пор. Мало того, не изменились даже способы и средства работы археолога: цель и планы рождаются в голове ученого, а потом в ход идут кайло и лопата. Правда, при раскопках больших курганов в последнее время прибегают к помощи бульдозеров, экскаваторов, но археологи с большой осторожностью доверяют технике, с опасением наблюдают за каждым движением машины, боясь, как бы не были повреждены ценные находки.

И вот этими незатейливыми кайлом и лопатой отрыто множество захоронений, городищ. Сколько узнал мир древних эпох и цивилизаций! Плюс к этому — письмена древнего Египта, народов майя, ацтеков, шумеров. Археологи поведали людям о тайнах великой культуры эллинов, жейхунов, кошанов...



Кунтуар Кудайбергенов принадлежал к отряду истинных ученых, энтузиастов, людей, которые ради дела, ради науки готовы были принести в жертву и здоровье и жизнь... Сейчас ему шестьдесят. Чудак человек! Другой бы на его месте забеспокоился: дескать, что же вы, родственнички, ровесники, сослуживцы? Надо бы мне воздать должное! Другой бы взял, как Ергазы, организовал заранее пышное празднество, а с ним — и восхваление собственной персоны.

Кунтуар поступит по-другому. Он просто пригласит старых друзей к себе домой на чашку чая. Долго просидят они — с вечера до поздней ночи. Вспомнят молодость, споют любимые песни, которые пели когда-то.

Шестьдесят!.. Кунтуар взгрустнул. Чего только не случилось за эти годы, чего только он ни пережил! Были и радости, было и горе. Самое досадное, что, избрав археологию, он надеялся достичь многого... Археология казалась ему живой и понятной. Ах, неискушенная молодость!

И все-таки он подвел черту своим исследованиям, опубликовал о них не одну книгу. И вчера отнес все в ученый совет, оформив кандидатской диссертацией.

Сожалеет же больше всего он о том, что Кайрактинская экспедиция, на которую были затрачены его лучшие годы, пока не принесла желанных результатов. И опять горькие размышления все о том же: «Не может быть... Не может быть, чтобы на территории Казахстана в эпоху бронзы и — раньше никто не проживал. Допустим, что это так. Допустим, что на землях нынешних казахов со времен их возникновения родоначальниками первой культуры были саки и кемирии? Но откуда взялись они, откуда к ним пришла их высокая культура? Ведь это кочевники. Могли ли они, занятые постоянными переездами с места на место, создать памятники бронзы и железа в «зверином стиле»? Нет у него ответа на этот вопрос.

Правда, кое-какие находки проливают свет на прошлое земли казахов. Так, на берегу Ишима была найдена кость хазарского мамонта. В прошлом году уже здесь, в Кайрактинской экспедиции, обнаружены два зуба слона. По этим находкам можно предположить, что в древние времена и берега Ишима, и берега Жаксарта были покрыты лесами. Большого пока сказать невозможно.

В свой приезд — на похороны Акгуль — он снова посетил экспедицию. И снова не обнаружил ничего утешительного. Только на глубине двух метров (период антропогена) попались кости дикого быка. Кунтуар распорядился, чтобы их выслали в музей природоведения Института зоологии Академии наук.

Если и в этом году ничего не будет найдено, Кайрактинскую экспедицию придется действительно закрывать,

Вот в таких раздумьях сидел сейчас ученый в своем просторном кабинете. В дверь кто-то постучался.

— Заходите,— пригласил Кунтуар.

Вошел Михайлов. В последнее время он был начальником землеройных работ экспедиции. В руках Василия — два огромных, выдавших виды рюкзака, которые он, как малышей, бережно внес в комнату.

— Приветствую вас, Кунтуар Кудайбергенович,— сказал Михайлов, опуская осторожно свою ношу посреди комнаты,— вот, пожалуйста.

— Что это?

Вместо ответа Василий начал деловито развязывать рюкзаки.

— На второй день после вашего отъезда,— заговорил он,— мы наткнулись на захоронение, обложенное камнем... Стали копать. Отрыли стены. Смотрим — один угол выше других. Прямо как торжественная встреча с волшебным царством! Нашли вот что.— Он не торопясь вытаскил и аккуратно расставил кружки, литые из неизвестного металла. Кунтуар вскочил со стула, поспешно подошел к находкам:

— Вы что же? Как могли... сами! Почему мне-то не сообщили?!

— Да сначала так и решили — сообщить, но потом передумали. Зачем беспокоить человека раньше времени.— И Василий принялся вытаскивать остальные, найденные при раскопках предметы — четырехугольные плитки, изрисованные вдоль и поперек.— Это или письма, — продолжал он,— или игра вроде нашего домино. Не знаю, но их в общем-то очень много.

Кунтуар поставил кружку, которую держал в руках, бросился к плиткам. Опустившись на колени, брал одну, вторую, третью... То ставил их в ряд, то менял местами, соединял в затайливые узоры, приводил в какой-то неизвестный Василию порядок. Руки его чуть дрожали, выдавая огромное волнение.

— Япырмай...— говорил тихо Кунтуар, словно боясь что-то или кого-то спугнуть. Он осторожно поднялся с колен, рассматривая разложенные плитки. На лице радость, глаза искрятся в улыбке.— **Что тебе дать за суюнши?**

— Пусть для меня этим подарком будет ваша радость!

— Понимаешь ли ты, какую весть принес мне?! И ведь если бы не твое упорство, не было бы ничего сейчас в наших руках!

После недавней своей поездки в Кайракты Кунтуар совершенно упал духом. Узнав, что никаких новых результатов так и нет, он уже хотел свернуть землеройные работы. Тогда Михайлов и проявил свою настойчивость: попросил разрешения копать хотя бы до осени. «Неудобно распускать рабо-

чих, пока не окончится срок договора с ними»,— пояснил он. Кунтуар согласился.

— Да таких камней там валяется тьма-тьмушая,— сказал Васильев, давая понять, что заслуга его личная здесь вовсе невелика.

— Если подтвердятся мои мысли, что эти камни — памятники начала эпохи бронзы или еще более раннего времени, мы свидетели великого открытия! Значит, здесь существовала высочайшая культура задолго до саков! Нет, чего же мы стоим? Пошли! Ты на машине? Поехали!

Остановил их телефонный звонок. Кунтуар поднял трубку.

— Слушаю вас,— ответил он весело, еще не в силах унять радость.— Здравствуйте! Не понял.— В голосе послышалось удивление.— Повторите, пожалуйста!

— Получено ваше удостоверение персонального пенсионера,— нежно произносил на том конце провода мягкий женский голос.— Ергазы Меджунович завтра назначил внеочередной ученый совет, на котором будет сам лично, с почетом вручать вам его.

Кунтуар узнал: говорила секретарша Ергазы, которую тот взял на работу недавно. Один из джигитов-шутников научил ее называть своего начальника не Меджунович по имени отца Ергазы, а Меджунович, что означало «дуракович». И сейчас женщина так и говорила:

— Ергазы Меджунович просил вас завтра в одиннадцать часов прийти к нему.

Кунтуар весь задрожал от охватившей его злости. Он только и смог выдавить сквозь зубы:

— Какая еще пенсия? Я, что, просил у него пенсию? Кто же доведет до ума кайрактинские памятники?..

Ничего не поняв, женщина заговорила еще нежнее:

— Наверное, сам. Этого я не знаю. Мне он приказал только вызвать вас на завтра к одиннадцати на совет.

Кунтуар в сердцах бросил трубку. Только что он был радостным, глаза лучились. И вдруг сник. Замолчал, безвольно опустил в кресло. Посидел, прикрыв глаза руками, не меняя позы, тихо произнес:

— Ергазы отправил меня на пенсию. Зовет к себе, хочет вручить удостоверение пенсионера...

В своих намерениях Ергазы походил на затаившуюся кошку, также — крадучись, исподтишка совершал свои черные дела.

Директор филиала понимал, что бороться в открытую со своим бывшим другом ему не резон. Поэтому и воспользовался возможностью отправить археолога на... заслуженный отдых. Считал — не найдет слов упрека и сам Кунтуар, потому как все вроде по закону.

Вообще-то Ергазы нелегко далось решение судьбы Кунтуара. Он довольно долго раздумывал, прежде чем начал собирать документы археолога для пенсии. И больше всего опасался, что бумаги попадут к академику Вергинскому. Никому не секрет, что Вергинский высоко ставил заслуги Кунтуара в археологии, ценил его как человека. Естественно, что академик не позволит освободить известного исследователя от работы без его желания. Поэтому Ергазы, чтобы никто не заподозрил его в пристрастности, решил оформить Кунтуару не простую, а персональную пенсию. Для того же, чтобы дело выиграть наверняка, стал ждать удобного случая.

Случай подвернулся. Вергинский вскоре выехал в длительную, месяцев на шесть, заграничную командировку. На следующий же день Ергазы сгреб заготовленные бумажки и явился к заму Вергинского. Свое рвение он объяснил так:

— Хлопочу о персональной пенсии Кунтуару Кудайбергенову. Дело нелегкое, конечно. Хотя он и талантлив и известен в науке, но всю жизнь проходил в рядовых работниках. Одним словом, не знаю, как быть. Прямо извелся весь. Ведь никому не секрет — это же мой лучший приятель. И вот, к сожалению, ему шестьдесят... Он долго работал в нашем институте, изредка руководил экспедициями, написал несколько книг. Конечно, я знаю законы и понимаю, что формально мы не имеем права просить персональную... Может, лучше, если бы документы подписал сам академик, но я не успел все подготовить до его отъезда. Поэтому пришел с этой просьбой к вам. Пожалуйста, не откажите...

Заместитель задумался.

— А может быть, все-таки лучше, если подпишет сам Вергинский,— сказал он.— Не будем спешить, подождем его приезда.

— Ваш авторитет не меньше,— постарался исправить положение Ергазы.— Да и Кунтуара знают. Кому-кому, а ему-то, скорее всего, разрешат персональную.

Заместитель произнес в раздумье:

— Смотри-ка, шестьдесят человеку, а такой бодрый! Не рановато ли он просит пенсию?

— Что вы, что вы! Конечно, не рано. Археология — такая наука, где люди изнашиваются быстро. Лето человек жарится на солнце, зиму мерзнет на морозе... Да и рыть землю — не за столом писать. У Кунтуара молодая внешность. На самом же деле у бедняги нет здорового места...

— Неужели?! Тогда будем пока просить пенсию, а работать ему или не работать, пусть решает сам,— закончил заместитель.

Это было давно. Теперь, благодаря неустанным хлопотам Ергазы, пришло, наконец, и удостоверение персонального пен-

сионера. Услышав тогда от заместителя слова «работать ему или не работать, пусть решает сам», Ергазы испугался, что его затея может провалиться. И для большей безопасности, не стал вести с Кунтуаром никаких переговоров. «Лучше,— решил он,— собрать совет и при всех выдать ему удостоверение пенсионера. Не может быть, чтобы Кунтуар сказал: «Не возьму... и на пенсию не пойду». Устыдитесь собравшихся!»— Так думал, так хотел Ергазы.—«Да и сделать все на людях — меньше подозрения о моей личной заинтересованности и причастности. Все честь по чести». Он специально заказал для «персонального пенсионера» золотистую папку, заготовил подарки... Но... в душе Ергазы трусил, терзался в сомнениях: «Может, все-таки поторопился? Свое-то дело еще не довел до конца...»

Для таких раздумий была причина. Полмесяца назад объявлены выборы в Академии. По археологии — вакантное место члена-корреспондента. Однажды Ергазы уже баллотировался, но не прошел. Нынче у него вроде бы нет соперников. Правда... Пенлжан, ставший год назад доктором наук. Если любимый ученик тоже выставит на выборах свою кандидатуру, то получится, что на одну вакансию — их двое. Голоса разделятся, и Ергазы снова может не пройти. Пенлжан должен был бы постесняться соперничать с ним, своим благодетелем. Ведь Ергазы так много сделал для него при защите кандидатской диссертации и особенно — докторской!

Вместе с тем, сам благодетель отлично знал характер и повадки вновь испеченного доктора наук. «И зачем это я поторопился вытаскивать его в доктора! Надо было повременить хотя бы до выборов...» — сокрушался он сейчас. Считая по присущей ему логике вещей, что настала его очередь выходить в академики, Ергазы решил поговорить с Пенлжаном. Тот, скрестив руки на груди, клятвенно заверил — он не имеет намерения выставлять свою кандидатуру. «Я что, с ума сошел?! Старший брат стоит на пути к тору<sup>1</sup> а я, что же, буду лезть туда через его голову? Нет... Сейчас — ваша очередь. За вами, конечно, — моя».

И когда от Кайрактинского филиала института была предложена кандидатура Ергазы, Пенлжан — «любимый ученик», единомышленник и последователь своего учителя — поддержал ее и... одновременно выдвинул на это же место собственную кандидатуру только от другого научного учреждения!.. Ергазы пришел в расстройство. Как ни прикидывай, а с Пенлжаном придется говорить снова, да покруче. Если он не отзовет свою кандидатуру, то...

Но именно потому, что Ергазы знал своего воспитанника,

<sup>1</sup> Тор — почетное место в юрте, на возвышении.

он, взвесив все шансы за и против, продолжал сомневаться в положительном результате задуманного.

Сегодняшний учений совет, посвященный торжественному уходу Кунтуара на заслуженный отдых, несколько расстраивал ход главных событий. А ведь ни кто иной, как он, Ергазы, должен и открывать, и направлять по нужному руслу это совещание. Оно может затянуться — каждый постарается перед уходом ученого на пенсию сказать ему теплые слова... Один окажется старым другом, другой — поклонником его таланта... Но теперь уж ничего не поделаешь, совещание назначено, люди предупреждены и... подготовлены. Возможно, все удастся прокрутить и в момент. А тут эти выборы! Из-за них, конечно, он затянул и с отправкой Кунтуара на пенсию, и никак до сих пор не выбрал время, чтобы установить памятник на могиле Акгуль...

Ергазы решительно нажал кнопку звонка. В кабинет вошла секретарша с лучистыми голубыми глазами. Волосы крашены под седину. Нет, она не вошла, а будто вплыла. Окинув взглядом своего начальника, спросила с нескрываемым кокетством:

— Приглашали меня?

Ергазы невольно задержал взгляд на секретарше, дивясь ее царственной осанке.

— Вы звонили вчера Кудайбергенову?— спросил он, стараясь спрятать довольную улыбку.

— Конечно.

— И что же он ответил?

— Я все записала... Сказал, что пусть себе совещаются.— Она заглянула в записную книжку.— Вспомнил Эйнштейна. Еще сказал: «Шестьдесят — не тридцать, дорога каждая минута». Я заметила ему: некоторые мужчины и в шестьдесят — лучше иных молодых.— Женщина снова понимающе посмотрела на своего начальника.

— Потом? Что потом?!

— «На совещание прийти не могу,— читала секретарша.— Срочно еду в Кайракты. Там обнаружены прекрасные находки...»

— Что еще?

— «В Алма-Ату не вернусь, пока не завершу исследований». Ну и рекомендовал с оформлением его на пенсию не торопиться. А если, говорит, торопятся, пусть пишут приказ без лишней волокиты.

— Ух!— перевел дух Ергазы, словно с плеч свалилась тяжелая ноша. Сама судьба предостерегает его: пока не следует отправлять Кунтуара на пенсию. Лучше не накалять обстановку...

— Вы совсем, вижу, заработались, устали,— заботливо заговорила секретарша.

— Нет, что вы! Просто я рад, что Кунтуар не может прийти на совещание, что совет можно пока отложить и...— Ергазы улыбнулся:— Рад, что вижу тебя.

— Все шутите!

— Нет, без шуток... Задержитесь сегодня после работы!

— Зачем?— наивно улыбнулась женщина.

— Ну-ну... так уж и надо растолковывать...

— Только смотрите... Замстят — сплетен не оберешься.

— Надо все делать осторожно, с умом,— входя в роль покровителя, наставительно сказал Ергазы.

Секретарша так же, как вошла, выплыла из кабинета. Ергазы, глядя ей вслед, думал: «Все-таки жизнь прекрасная штука! Только не всегда мы ценим ее. То работа, то другие заботы, а там, глядишь, и смерть не за горами... Ведь чего стоит один только взгляд, одна улыбка такой вот женщины!»

В это время снова появилась секретарша.

— К вам пришли,— как и прежде, кокетливо улыбаясь, произнесла она.

— Кто?

— Ваш друг. Этот... доктор, как его, забыла... длинный такой...

— А-а, Пеилжан, что ли?

— Да.

— Проси, пусть входит.

Истинная любовь — такое чувство, такой союз, который не в силах разрушить ни время, ни житейские невзгоды. Даже если она без взаимности, то и тогда любовь дает человеку великие силы для жизни, помогает побороть, пережить горе.

Именно любовь, любовь к Жаннат, вела Даниеля по трудной, неторной дороге творчества, когда он создавал свою книгу.

Прошло уже порядочно времени с тех пор, как он прочел рецензию Пеилжана на свою рукопись. Прислушавшись к советам отца, еще и еще раз переделал ее. Наконец, отнес роман в издательство. Там познакомились с будущей книгой и согласились издать.

— Читал с большим волнением и удовольствием,— сказал автору один из ведущих критиков.— Хотелось только, чтобы повествование теснее было увязано с нашими днями. Это в значительной мере усилило бы роман.

— Показ современности... В прямом смысле слова это не входило в мои творческие замыслы,— отвечал Даниель.— В книге надо видеть не только то, что написано, надо читать

и подтекст. Взять хотя бы любовные линии. Разве можно здесь говорить о какой-то арханчности отношений? Многое в мире изменилось за долгое время. Вечным осталось лишь это чувство. И сердце влюбленного юноши говорит и трепещет точно так же, как тысячи лет назад.

— Согласен с тобой в том плане, что любовь так же, как тысячи лет назад, возвышает человека. Только нельзя забывать и другого — сам-то человек стал совершенно иным. Иные его идеалы... Я вот думаю, какой беззаветной была любовь, скажем, у Козы-Корпеша и Баян.

— Да, конечно, сегодня сама основа отношений другая. Любовь сегодня — это союз свободных людей. Между ними не встают преградой классовые противоречия.

— Вам не кажется, что любовь теперь не столь беззаветна и самоотверженна?

— Довольно неожиданный поворот. Но я все же считаю, что сила любви в ее чистоте, в ее вечности.

— Вот и я говорю о том же. Когда-то Спаретра безмерно любила своего мужа. А всегда ли нынче мы видим такие примеры? Постоянство... Непостоянство в любви... Отчего оно?

Даниель задумался. В который раз — о Жаннат. «Она оставила меня... В чем истинная причина этого? Позвала ли ее любовь или... не устояла перед соблазнами Армана? А может, все-таки я... Не оказался рядом, не оградила ее от беды своей любовью? Допустим, я...» И опять не дающий покоя вопрос: «Значит, меня... не любила? Значит, рано или поздно изменила бы?»

Все восстало против этого вывода в душе и сознании Даниеля. «Нет, причина, видимо, все же в том, как все зародилось между нами с самого детства. Жаннат просто привикла ко мне с малых лет, а потом, чуть повзрослев, шутя окрестила все это любовью. Сама искренне поверила в неподкупность своего чувства. Но вот пришла настоящая любовь, на пути встал... Арман... Нет, Жаннат не сфальшивила! Разве скажешь ей: «Люби меня, а не Армана?» Не то, что чужому, собственному сердцу и то не прикажешь... Знаю, знаю, что Жаннат не любит меня, а забыть ее не могу!»

Все это, как молния, пронеслось в голове Даниеля, пока он сидел в раздумье, молча, перед критиком, листаящим его рукопись. Потом произнес:

— Любовь и сегодня также жива и сильна. Только мы, писатели, еще не можем, не умеем сказать о ней с нужной силой и страстью. А надо писать о любви, настоящей, всепобеждающей, писать чаще и больше...

— В том то и дело. Теперь ты понял меня? Но мы отвлеклись. О сакских племенах, слов нет, читать интересно. Однако ты не забывай о нашем разговоре...



Удивительно устроил человек! Стоило Даниелю утром вспомнить о Жаннат или услышать ее имя, как сердце в волнении билось до глубокой ночи... Разве жило оно не по законам все той же любви, как и во времена героев древнего эпоса? А выход из беды разве только — смерть? Есть ведь и жизнь! Она дана человеку для борьбы за ее торжество и поэзию, которые дороже всего на свете.

Может, никогда бы в другой раз не вспомнился Даниелю Шота Руставели, который после разлуки со своей Тамарой не бросился со скалы, не прыгнул в пучины морские, не кричал: «Без нее нет мне жизни!», а написал бессмертную поэму «Витязь в тигровой шкуре». Это ли не выражение силы его любви!

А разве любовь Даниеля иная? Да, сердце Жаннат бьется не для него. Но сама она, ее образ, имя ее живут в нем...

Друзья, между тем, твердили наперебой: «Брось терзаться, Даниель. В жизни девушек, что цветов в поле. Там не один только яркий глазастый златоцвет, есть и нежные ландыши, и фиалки, и незабудки, и степные тюльпаны! Выбирай...» Однажды даже уговорили познакомиться с одной молодой певицей. Девушка была прекрасна, и голос — чистый, нежный.

— Ну и как? — спросили его потом парни.

— Слов нет, как хороша! — искренне говорил Даниель, побывавший на концерте своей новой знакомой.

— Конечно, дело теперь за свадьбой?

— На ком жениться-то? На ней или на ее песнях? Я же не знаю человека совершенно, да и что-то нет охоты узнавать.

В другой раз одна восходящая звезда молодого балета сама нашла его. После нескольких свиданий напрямую спросила:

— И правлюсь я тебе?

— Конечно! Как ты можешь кому-то не нравиться! Только больше, чем ты, мне по душе другая, — ответил молодой писатель.

— Тоже мне Хемингуэй! — засмеялась «звезда».

Шли дни, споро подвигалась работа над новым романом о Жаннат, о жизни, о любви... От работы Даниеля могли оторвать только письма, приходившие от отца. Письма давали новые мысли, заставляли думать и приносили какую-то необъяснимую, светлую и возвышенную радость.

Вот и сегодня — письмо. Отец сообщал: «Живу среди множества археологических памятников. Те ли это свидетели истории, оживить которую я мечтаю? Еще не знаю. Одно ясно: находки относятся к иной, не сакской культуре. Жаль, что эти загадочные пришельцы из иного мира попались мне сейчас, а не в дни молодости. Хватит ли отпущенного судьбою времени на их разгадку? Да и не все хотят этого, торопятся некоторые отстранить меня от дела, отправить на пенсию. Од-

нако они глубоко ошибаются. Я и тогда буду искать ответ на интересующий меня вопрос. Если и не заговорят для меня эти памятники,— все равно не уйду, скорее — умру среди них...»

С одной стороны, Даниель был рад оптимистичному настроению отца. С другой — действия этих «некоторых» удручали и оскорбляли его.

Он был именно в таком настроении, когда однажды неожиданно повстречал Пеилжана. Поздоровались. И Пеилжан, как будто ничего между ними не было, сказал:

— Слышал, выходит твой роман. Рад поздравить тебя! Читал последний вариант, видел, что все мои замечания ты учел. Да собственно, если бы даже не учел, роман и так мог идти.

— Если это были несущественные замечания, зачем ты на них настаивал?

— Ну, старина! Это ясно — хотел помочь тебе, чем мог! К тому же, не только я думал над ними, а советовался с одним умным человеком.

— Что это за человек, который может думать за других? Где у тебя была своя-то голова?

— Моя — при мне, — засмеялся Пеилжан. — Только вот тот влиятельный человек повернул ее немножко и склонил на свою сторону.

— Ну, видно, шея у тебя такая, что можно вертеть голову, куда захочешь.

— Что поделаешь...

Даниель изумлялся мнимой покладистости и покорности Пеилжана. «В чем дело? Куда он ведет, что задумал, чего хочет от меня? Насколько я знаю, он не таков, чтобы вот так легко раскрываться перед другими».

— Да собственно, секрета тут никакого, — снова заговорил Пеилжан. — Ты этого человека и сам знаешь. Он враг номер один твоего отца.

— У моего отца нет врагов ни под первым, ни под вторым и третьим номерами. Он никому в жизни не причинил зла.

— Разве у человека бывают враги только тогда, когда он делает кому-то зло? Зло исходит чаще от людей с мелкой душой. Что, еще не понял? Скажу прямо: враг твоего отца — Ергазы. Это же он отправляет Кунтуара на пенсию, отстраняет от дела.

— На пенсию? Но разве это значит, что Ергазы делает враждебное дело? Да и вообще он не способен на подлость.

— Что же, по-твоему, подлость?

— Когда по чьему-либо наущению возводят на человека напраслину.

Пеилжан незлобиво смеялся:

— Ну и джигит! Все еще злишься на рецензию! Ничего, вот выйдет книга, подобреешь, простишь своим настоящим друзьям и их промашки.

— Конечно! Если на зло отвечать злом, то и жить не стоит.

— В этом ты прав. Я для твоего отца тоже вот сделал доброе дельце.

— Что такое?

— Не петушнись, а лучше выслушай! На днях в Академии выборы. Ергазы выставил свою кандидатуру в членкоры. Так вот, чтобы остудить его пыл, я добился выдвижения и своей кандидатуры на это же место. Надежды, конечно, мало, что меня выберут. Зато не пройдет и Ергазы — голоса-то разделятся.

— Шутнишь? Неужели думаешь, что если Ергазы станет академиком, то шанрак<sup>1</sup> моего отца опрокинется?

— А-а, говори, что хочешь! Только уверен — твой папаша думает по-иному.

— Ну, допустим, все так, как говоришь. Непонятно одно: почему тебя волнует мой отец?

— Вот это вопросик! Я же не враг твоему отцу!

— Твои слова — это не слова друга.

— Толкуй, как угодно. Только посуди сам, где логика: я выступаю против врага твоего отца, тогда кто же я для него самого?

— Как ни крути, но то, что ты делаешь, — самая настоящая подлость.

— Даже эти слова пропускаю мимо ушей, разберемся потом. А сейчас сообщу еще вот что... На днях меня встретил Ерике, просил, чтобы я отозвал свою кандидатуру. Я сказал, этого не сделаю. Короче, мы крепко поговорили, теперь в ссоре.

Даниель все еще не мог понять, чего надо от него Пеилжану. «Бог мой, что это он, как у муллы на исповеди, открывает все карты. Нет, такая угодливость не к добру, Пеилжан же не простачок». Даниель, занятый своими мыслями, как сквозь сон слышал его вкрадчивый голос.

— Я убедился окончательно в ничтожности Ергазы. Знаю, что сам причинил в свое время немало неприятностей твоему отцу. Прошу, поговори с ним, пусть простит меня за все, — раскаивался Пеилжан. — И пусть не успокаивается. Ергазы может и пройти в академики. У него большие связи.

Даниель, все еще пытаясь разгадать скрытые намерения собеседника, спросил:

— Ты сказал, чтобы отец не успокаивался. Это как понять?

---

<sup>1</sup> Ш а н р а к — дымовое отверстие в куполе юрты.

— Нельзя сидеть сложа руки, надо написать куда-нибудь... Твой отец знает сам, что делать. С его мнением, уверен, посчитаются, где угодно!

Наконец-то... Наконец-то стал ясен до конца вероломный ход Пенджана. Как не ужаснуться этой подлости? Даже пол выстунил на лбу от волнения. Ему показалось, будто и он причастен к грязным делишкам.

— До чего же может докатиться человек! — в гневе почти прошептал Дашель.

#### *Глава четвертая*

До сих пор Арман не задумывался о своей жизни. Жил и жил... Все было к его услугам. Тяготила учеба — он откладывал книги в сторону. Нависала угроза остаться на второй год — родители тотчас бросались на помощь. Мать уговаривала, умоляла учителей, обещала, что сын «исправится, подтянется, подучит». И Арман переходил из класса в класс.

Акуль и Ергазы приложили все силы, чтобы вступительные экзамены в институт были сданы. Использовали все возможности: авторитет, знакомство, услуги... Даже в годы студенчества, если случалось, что сын заваливал экзамен, родители «сдавали его сами». Не без их участия он остался работать в Алма-Ате, получив с грехом пополам диплом о высшем образовании.

А потом начал работать в экспедиции Кунтуара. К этому времени и сам не заметил, как увлекся выпивкой, карточной игрой. Когда родители поняли это и переполошились, они ничего не хотели так искренне, как быстрой женитьбой Армана. Тут-то и подвернулась Жаннат. Но разве такого пессиму женитьба остепенит? Нет, он только и думал о том, чтобы посидеть в ресторане, провести ночь за картами... Однако, если Арман вечером собирался из дому, а Жаннат начинала хмуриться, выражая свое неудовольствие, бедная мать тут же вставала на защиту сына. «Молодо-зелено,— говорила она.— Повзрослеет — поймет. Вы уж простите его».

В последние дни Арман пересмотрел каждый свой шаг, переоценил каждый поступок, перебрал в памяти все с тех пор, как помнит себя, и ...до похорон матери. Он ужаснулся, как бессцельно и беспечно провел годы: «До чего я довел мать и сам себя, свою семью!»

...Арман не мог спокойно лежать на диване, то и дело ворочался с боку на бок. «Так жить больше нельзя. Если разобраться,— я убил родную мать, которая ни в чем не была повинна». За то, чтобы он стал человеком, теперь могла бороться одна Жаннат. Но стоило вспомнить о жене, как рядом вставал

другой образ — Биби. «Нет, нет! Пошутили и хватит. У меня семья: Жаннат, двое сыновей».

До этого времени слово «семья» было для него пустым звуком. Все держалось на плечах родителей. Семью обеспечивал Ергазы. И Жаннат никогда не обращалась к мужу с просьбами, вроде: «Нет того-то, достал бы...» Только сейчас Арман осознал, что эти годы был мотыльком, греющим крылышки у чужого огня.

Теперь, когда несчастье заставило его вспомнить о семье, он растерялся: что же надо делать? Припоминал ситуации, вычитанные когда-то из книг или увиденные в кино... Надо, конечно, работать. Но где работать? Что он сможет делать? И что хочет делать? Человеку, не привыкшему ни к каким обязанностям, труд везде был в тягость. Какие-то навыки и умения, хоть небольшое упорство в преодолении первых трудностей — ничего этого не было у Армана. Он поступал на службу в одно, другое, третье учреждение... Но подолгу нигде не задерживался. Уходил «по собственному желанию». Как-то вспомнил, что перед самой смертью матери временно работал на заводе. Вот и отправился туда снова.

Встретил Армана мастер цеха — Ахметкали. Внимательно выслушал. Узнав о его горе, сочувственно сказал:

— Да-а, со смертью, брат, ничего не попишешь. Она и приходит, когда не ждешь, и уносит, кого захочет. И вот какая штука порой получается: чем лучше человек, тем быстрее умирает. И хоть разбейся: плачь, горюй, причитай — ничего не поможет. Так что парень ты взрослый, носа не вешай. А работу найдем, — добавил мастер, вытирая руки фартуком из холста. — Только вот какую? Ты же белоручка. Сегодня тебя применишь, а завтра ты напьешься...

— Я давно покончил с этим...

— Ладно, парень, бери себя в руки. Иди, приступай к делу.

Арман старался. Он был сосредоточен, замкнут и молчалив. В первый день до обеда подтаскивал мрамор к режущему станку. Перерыв просидел в тени, под навесом. «Идем в столовую!» — крикнули ему ребята из бригады. Не пошел. После перерыва начал рубить камень, но дело не спорилось. Он работал с остервенением, почти бессознательно, хотел забыться, избавиться хоть на время от образа матери, все время стоявшего перед ним.

Безуспешно.

И так дней десять.

Ахметкали почти не разговаривал с Арманом. Только подойдет, посмотрит, как тот словно беснуется над куском серого мрамора, и отойдет снова. Что задумал Арман высечь из

этого огромного камня в человеческий рост? Сначала мастер не понимал и хотел было сказать: «Чего дурью маешься, занимайся делом». Потом вспомнил, что за парень — Арман, вспомнил его состояние и опять промолчал, не бросил упрека: почему, мол, не занимаешься плановой работой?!

Первое время Ахметкали казалось, что его новый рабочий просто впустую проводит дни. Молча, бессмысленно приставляет к камню каленую сталь лезвия долота и без устали бьет по его рукоятке молотком. Но с тех пор, как на поверхности серого мрамора стало вырисовываться изображение человеческого лица, мастер заметил — Арман и вовсе стал работать, как одержимый, по десять-двенадцать часов в сутки, а не по семь, как положено. И ночевал на заводе. Дня ему мало! Свою каморку в цехе теперь не оставлял открытой, навесил на двери замок...

Если раньше к Арману заходил Ахметкали, теперь и его нет. Приболел старина. Ребята по бригаде в общем-то уже знали, что работает он над скульптурой человека, и не лезли с лишними расспросами.

Дней через десять Ахметкали выздоровел. Придя на работу, первым делом заглянул к Арману. Он был поражен, увидев, как тот хлопчет над скульптурой женщины.

— Бог мой,— осторожно ощупывая мрамор, говорил Ахметкали.— И не похоже, и похоже на покойную Акгуль. Горе ее похоже.

— Я хотел показать, в каких муках она умирала и как была беззащитна...— отозвался на слова мастера Арман.

— Ты извини, браток, но мне до сих пор так и непонятно, что же привело ее к скоропостижной смерти?

— Мать не выдержала гибели у нее на глазах своего единственного сына...

— Вот уж сказал... И вовсе не понять. Единственный-то у нее был ты. Ты... живой. Как же это?

Арман почти выкрикнул с горестным вздохом:

— Да лучше бы мне умереть, чем жить!

Мастер не стал больше ни о чем расспрашивать. Сокрушенно качая головой, отошел.

Возвратившись из отпуска, директор завода Касымов распорядился — изготовить из серого мрамора, который он лично привез из Киргизии, памятник одному усопшему видному научному деятелю. Заказ был срочный и требовал немедленного исполнения. Ахметкали, получив указание, задумался. Потом отправился к директору, заговорил напрямик:

— У нас нет серого мрамора,

Касымов удивился:

— Куда же он подевался?!

С директором шутки плохи, он был человеком вспыльчивым и резким. Ахметкали, конечно, помнил, что Арман начал тесать камень самовольно. Однако в этот момент решил взять ответственность на себя.

— Мы пустили его на доброе дело,— сказал мастер как можно доброжелательнее, словно пытался внушить это же чувство и директору.

— Что еще за доброе дело?!— вспыхнул в ответ Касымов.

Ахметкали старался быть спокойным.

— Вы помните,— начал он издалека,— осенью мы приняли каменотесом паренька, по имени Арман...

— Это ты говоришь о том бездельнике, у которого отец профессор?

— Да, о том. Так вот... Он, оказывается, единственный сын у родителей...

Директор не дал договорить, резко оборвал:

— Знаю... бьет баклуши, пьяница, картежник. Зря и взяли-то. Какой из него рабочий?

— Так-то так. Но... из парня все-таки можно еще сделать человека. Не такой уж он пропащий.

— Сомневаюсь. Да и зачем ты обо всем этом разглагольствуешь тут? Какое это имеет отношение к делу?

— Видите ли... Профессор-то всего-навсего отчим. А вот родная мать парня вскоре после вашего отъезда умерла.

— Ну что ж? Вечная ей память...

— Камень мы отдали Арману, он попросил... Из него парень сам вытесал скульптуру матери.

— То-есть — как это вытесал?— заорал Касымов.— Скульптор он, что ли? Тогда почему поступил простым рабочим?

— Да он, по правде говоря, и сам не знал, что может сделать скульптуру...

— А-а, черт вас разберет! Деньги-то он хоть внес за мрамор?

— Нет.

— Тогда о чем же мы говорим? Подарили ему этот мрамор, да? Ты хоть понимаешь, старая твоя голова, какой урон нанесен заводу?

— Видимо, урон немалый... Зато какой памятник!

Тут уж Касымова прорвало:

— Эй, ты что несешь? Мы кто? Артель по подряду на могильные плиты? Мне не нужны ваши сантименты! Я их не подошью к плану! Мы государственное предприятие...

— Да вы взгляните, только взгляните, что он сумел создать, этот Арман!— не поддаваясь настроению директора, говорил Ахметкали.— Памятник еще не закончен, но уже сейчас

это творение художника. Будем думать все, как его оприходовать, где взять средства.

Касымов поднялся из своего кресла. Это был человек, который каждый свой шаг по службе рассматривал с точки зрения выполнения плана завода. И уж если кто-то был ему помехой на пути к выполнению плана, этот «кто-то» становился его первым врагом. Будь то хоть сын родной. Он и его медведя наставил бы на путь истинный...

Касымов не увидел в скульптуре никакой символики, никакого художественного мастерства. Камень так и остался для него камнем. И все же, стараясь быть объективным, еще несколько раз обошел вокруг глыбы. Взыскательно осмотрев все, медленно перевел взгляд на застывшего в стороне Армана:

— С природы делал кого-то или как?

— Да нет. По памяти... Скульптуру матери...— сказал Арман.

— Матери? Ах да... Прими мое соболезнование. Сколько же ей было лет?

— Исполнилось пятьдесят.

— А еще остались дети, кроме тебя?

— Нет.

Видимо, больше Касымов не знал, что говорить Арману. Не знал и того, что же следует предпринять с этим самым памятником. Обошел его еще раза два вокруг, потрогал руками...

— Я же этот камень чуть не на себе тащил вон откуда,— опять заволновался директор.

Ахметкали смекнул: сейчас не пощадит и Армана, накинет на него. Поэтому опять, как ни в чем не бывало, убедительно заговорил:

— Вот спасибо! Зато какой памятник получился!

— Какой памятник получился?

— Прекрасный! Замечательный! Настоящий!

— Ничего ни прекрасного, ни замечательного не вижу.

Старый мастер с сожалением пожал плечами: мол, вольному — воля.

— Да вы не рассмотрели! Взгляните же хорошенько!— настаивал он.

— А я как, по-вашему, смотрю? Сколько прекрасной породы пустили на ветер! Сами не умеете, почему не заказали в мастерской при похоронном бюро?— обратился он к Арману.— Теперь вот нет ни мрамора, ни памятника...

— Памятник-то есть. Только слепцу этого не видать!— хмуро, почти неслышно ответил Ахметкали.

Директор, не обращая на него внимания, продолжал:

— Теперь, коли вы такие умники, скажите, кто возместит



заводу неустойку? Посчитайте-ка: уплата руднику, перевозка... А-а, то-то и оно. Да что тут разговаривать? Под суд вас надо обоих, немедленно под суд, вот что!

Стоявший до этого молча в стороне Арман произнес:

— Деньги заплатим.

Но директор не слушал его. Круто развернувшись на каблуках, он решительно направился в свой кабинет. Там поднял табеля бригады за истекший месяц и удивился еще больше: Арман в них не значился. Касымов тут же вызвал бухгалтера:

— Вы платили зарплату Арману?

— Платили,— ответил бухгалтер.

— За что же начисляли, если парень на камнерезке ни дня не работал?

— Да видите ли, в нарядах работы на камнерезке значилась.

— Кто закрывал наряды?

— Как и положено, мастер Ахметкали.

— Дальше в лес, больше дров! Одного никак не пойму,— говорил раздосадованный директор.— Почему этот шалопай из профессорской семьи вызывает у рабочих бригады такое сострадание? Он, что, нуждается материально?

— Да разве дело в деньгах,— пояснил появившийся в дверях Ахметкали.— Арман после смерти матери еле держался на ногах. Сам чуть не слег в могилу, бродил по заводу, как подкошенный. Вот мы и решили сообща: пусть хоть чертит, хоть рисует, хоть тешет камень, только бы пришел в себя! А то, чего доброго, запил бы, или еще что придумал похуже. Месячную норму Армана члены бригады взяли на себя. Все дни работали на час дольше. План, как знаете, перевыполнили.

— Может, возьметесь и мне выплачивать мою зарплату? Так я вам еще не такой «памятник» отгрохаю!

Ахметкали от души рассмеялся:

— Согласен! Валяйте! Ребята выдержат, шен крепкие!

— Жалко времени, иначе бы доказал...— Директор вдруг спохватился — что это он панибратство развел? Опять, стараясь делать ударение на каждом слове, взглянул на Ахметкали:

— Старая ты голова! Разве не знаешь: план на камнерезке горит! А у тебя станок простаивает. Как это прикажешь расценить?

— Да он вот-вот закончит скульптуру, там — посмотрим.

— Выгоню! Выгоню обоих!— двинулся Касымов на Ахметкали.— И пусть немедленно внесет за мрамор денежки государству! Иначе...— Касымов захлебнулся от гнева.— А я, я завтра же отдам приказ о его увольнении. На место этого бездельника найдутся настоящие рабочие!

— Правильно ли это будет? — невозмутимо спросил Ахметкали. — Может, не стоит спешить? Не хочется... давать парня в обиду.

Директор отлично знал Ахметкали — тихого и спокойного с виду, но упрямого — не приведи бог! Уж если задумает что, то своего добьется!

— Ладно, — махнул рукой Касымов и сел в кресло.

Через несколько дней Арман закончил работу над памятником. Сказать, что у него получилось настоящее произведение искусства, конечно, было нельзя. Однако и пройти мимо, не остановившись, не взглянув, — тоже было невозможно. Ахметкали, глядя на запечатленный в мраморе образ Акгуль, молил судьбу, чтобы пробудившаяся в груди Армана искра творчества не спалила его, а спасла. Ради этого сам Ахметкали готов был сделать все.

На следующий день Арман снова встал за свой станок. Резали серый песчаник, привезенный с берегов Или. Парень выполнял изо дня в день норму, но волнения при этом, как прежде, не испытывал. Словно заведенный робот, он бессмысленно смотрел на однообразную поверхность камня. И резал, резал, резал... Без единой мысли, безо всякого воодушевления. Скоро работа стала угнетать его своим однообразием. Ахметкали, со стороны наблюдая за Арманом, понял его состояние. Он видел: если сейчас не помочь парню, тот легко сорвется и пойдет по наклонной. И вот, как-то вечером, будто бы случайно встретившись с ним на автобусной остановке, мастер спросил:

— Ну как дела, не устаешь?

Арман ответил равнодушно:

— Разве на такой работенке устанешь? Пилит камень машина, а не я. У меня только и дела, что утром — прийти, а вечером — уйти.

— Ты извини, но вот смотрю я на тебя и думаю: не нравится, что ли, тебе пилить этот самый камень?

Арман чуть замедлил шаг:

— А почему вас это, собственно, интересует?

— Да вижу, не слепой. Когда ты делал памятник матери — прямо горел на работе. А сейчас такое равнодушие...

— Какой же я был тогда?

— Как тебе сказать... Человек совсем другим становится, когда получает удовлетворение от труда. Ты же приходил раньше и уходил позднее всех. Прямо колдовал, а не работал. А сейчас все по-другому.

Арман ответил:

— Тогда и дело было другое!

— Да нет, пожалуй, тобою двигало не только чувство сына, но и чувство человека, вдруг нашедшего себя. Разве не так?

— Это, конечно, правда,— ответил Арман со всею искренностью.— То, что я делаю сейчас, меня совершенно не интересует. Вовсе не работать? Стыдно. Да и дома у нас все сложно. Пока у отчима нет новой жены, он еще помогает нам. Но уже видно, что не сегодня-завтра введет в дом другую хозяйку. Тогда у меня с семьей не будет даже крыши над головой.

Ахметкали опечалился, но рассудительность парня была ему по душе. Про себя отметил: «Добро, добро, коли понял главное. Будешь человеком, если не изменишь сам себе». Вслух же произнес:

— Да, трудно делать то, что вовсе тебе не нравится. Такое раньше было и у меня. Нелюбимая работа — это мука, скажу я, страдание. А в тебе талант есть.— Мастер дружески заглянул в лицо Арману.— Может, пойдешь в скульпторы, а?

— Да вы что, смеетесь? Кто же меня примет?

— То есть, как, кто? Я уверен: каждый, кто увидит этот памятник, заинтересуется и самим тобой.

— Все равно в скульптурную мастерскую без специального образования не примут. Надо закончить художественное училище.

— Сразу, сынок, ничего в жизни не делается. Тебе учиться еще не поздно. А может, там набирают учеников...

— Не знаю, что вам сказать. Если даже и учиться, то для меня это теперь сложно. Семья...

Ахметкали стоял на своем:

— Твоя жена разве не работает? Можно жить и поскромнее, пока получишь профессию.

Арман молчал. С тех пор, как ушла из жизни мать, он с Жаннат толком даже не разговаривал ни разу. И хотя дал себе слово больше не видеться с Биби, ее лицо, улыбка стояли перед глазами. Работа над памятником на какое-то время отодвинула воспоминания. Но лишь чуть освободился, воображение тотчас воскресило в памяти — Биби. Сейчас совет старого мастера вдруг показался Арману той соломинкой, за которую хватается утопающий. И он почти обрадованно согласился:

— А пожалуй, вы правы, это выход! Если бы только получилось...

Ахметкали пообещал помочь найти скульптора, который бы согласился взять Армана к себе учеником.

— А там, может, сумеешь со временем и поступить в училище,— мечтательно говорил мастер.

Однако желаниям его не суждено было сбыться. В тот же день Арман повстречал на улице своего бывшего друга Жаксыбая.

Нет, Жаксыбай не был ни картежником, ни алкоголиком! Но вот провести время в ресторане любил. Когда-то его считали человеком талантливым. Он любил сочинять стихи. По радио на его сочинения пели несколько песен. Пеньлох Жаксыбай исполнял их и сам, аккомпанируя себе на домбре. Голос у него был задумчивый, приятный на слух. Характер — открытый и добрый. Только уживались в этом человеке еще два качества, которые, собственно, и мешали ему в жизни твердо стоять на ногах.

Во-первых, Жаксыбай любил, как он выражался сам, красивую жизнь. В его понятии это означало — одеваться модно, с иголочки, и без усталки развлекаться в ресторанах. Во-вторых, он не мог жить без любви. Женщины были его вторым несчастьем. Одна любовь сменяла другую... Ему стукнуло уже сорок, а создать семью он так и не выбрал времени. Хотя... женился по любви трижды. И трижды расходился с радостным сердцем, что все, наконец, позади. Особого зла при этом ни на кого не таил и не причинял его никому.

Но вот что касается поэзии, то... он и сам не заметил, как утратил к ней интерес. Никто не знал в последнее время, чем же занимался Жаксыбай. Несколько выступлений по радио, несколько песен на его слова — и только. Имя его в литературных кругах называлось все реже. Правда, иногда он выезжал в колхозы или совхозы и читал свои когда-то написанные стихи в сельских клубах. Но об этих поездках Жаксыбай ходили самые нелепые слухи, будто и там поэт вел себя, мягко выражаясь, легкомысленно. С легкостью необыкновенной заводил знакомства, назначал свидания и так же легко, не задумываясь, оставлял предмет своего обожания.

Вот после такой очередной разлуки Жаксыбай сегодня и повстречал Армана. Можно ли выглядеть более экстравагантно — небесно-голубые брюки, белый пиджак, кремовые туфли на высоком, в четыре пальца, каблучке! Волосы блестят и благоухают. Нет, в нем не заметишь и тени грусти от расставания с любимой. Он словно только что освободился от тяжелой обязанности и радостно улыбается встречным. Еще издали завидев Армана, Жаксыбай воскликнул:

— Дорогой мой! Да ты, оказывается, жив! Сколько лет, сколько зим не виделся! Вот это и есть основной недостаток семейного человека. Он забывает о своих товарищах. Потому я и не женюсь.

— Как это так? Я же только в прошлом году был на твоей свадьбе! — удивился Арман. — Или уже успел уйти от жены?

— Нет, на этот раз жена ушла от меня, — довольный собою, шутил Жаксыбай. — Говорит, не могу тебя переносить, зная все твои похождения!

— За какие это похождения она может тебя упрекать?

— Разве не знаешь? Птица любит небо, поэт — свободу! Этого никогда не понять женщине.

— Да, это уж точно, — подтвердил Арман, вспомнив собственное положение в семье. — Все они одинаковые.

— А ты чего такой печальный? — Жаксыбай тут же спохватился. — Извини, забыл вовсе. Я же только из командировки, там и узнал из газет о смерти твоей матери. Прими искреннее соболезнование. Да, в этом нам с тобой не повезло. Моя мать тоже была прекрасным человеком. Умерла еще до моего второго брака...

«Она, что же, умерла из-за твоих проделок?» — чуть было не спросил Арман.

— Ничего, — продолжал свое Жаксыбай, — все мы на этом свете потенциальные покойники.

— Ты прав, бессмертный человек еще не родился, — печально поддержал горькую шутку Арман. — Жаль, конечно, что рано умерла. Я буду вечно в долгу перед ее светлой памятью.

Поняв, что Арман весь во власти неизбывного горя, Жаксыбай моментально переменился. Теперь и он настроился на грустный лад.

— Да, мать — особенный человек в жизни каждого. Она родила, вскормила нас, радовалась и горевала с нами. А мы, убившие ее собственным неразумием, теперь безутешно грустим. Так уж водится на земле испокон веков.

«Мы, убившие ее». Эти слова пронзили сердце Армана. Получилось, будто Жаксыбай знает его вину перед родной матерью. Или это вырвалось у него нечаянно? Вот уж истинно говорят, что коли кто хочет наступить тебе на ногу, то обязательно угодит на мозоль.

Жаксыбай между тем продолжал:

— Чего же мучить себя? Еще никто из умерших не оживал. Живому надо думать о живом. — И заботливо взял Армана под локоть:

— Зайдем-ка вот в эту обитель. Разведем нашу общую кручину.

Арман только сейчас увидел, что они стоят перед рестораном. И обрадовался:

— Пошли! — Он первым стал торопливо подниматься по широкой лестнице.

Ресторан открыли лишь полчаса назад, поэтому народу было мало.

— Для начала нам бы бутылочку «экстры», — даже не успев присесть, попросил Жаксыбай оказавшуюся тут как тут официантку. Женщина тотчас поставила перед ними две бутылки: одну — с «экстрой», другую — с минеральной водой. Арман все еще был во власти слов Жаксыбая. Надеюсь хоть

водкой заглушить боль, он поспешил наполнить два стоящих перед ними больших бокала.

— За встречу!— И выпил до конца, без передышки. Жаксыбай лишь отхлебнул.

Арман пил впервые с тех пор, как начал работать у Ахметкали. Сейчас он сразу почувствовал сильное опьянение.

— Что еще закажем, Арман?

— Мне все равно,— проговорил тот безразлично и поднял теперь бокал с минеральной водой. Будто издалека он смотрел на Жаксыбая, который что-то заказывал, на официантку, все аккуратно записывавшую в маленькую книжечку.

Раньше Арман так, залпом, не пил. Обычно он любил протянуть удовольствие, горячо и подолгу беседовал со своими компаньонами. Не терпел, когда ему возражали. В противном случае пускал в ход кулаки. Жаксыбая однажды «посчастливилось» испробовать их силу.

И сейчас, когда он заметил явно недобрый взгляд своего приятеля, то не на шутку струхнул. Опасаясь, что дружок и на этот раз что-нибудь выкинет, отодвинул его бокал и поставил рядом маленькую рюмку.

— Больше пить не буду,— заверил его Арман. Жаксыбай и сам бы этого хотел, тем не менее вслух произнес:

— Так не пойдет. Один я не пью. Ты обязан хотя бы подержать меня.

Арман неожиданно вспомнил слова Кунтуара, которые тот говорил на могиле матери и... начал повторять их вслух. Жаксыбай старался разобрать, что же это человек бубнит себе под нос? Но, так ничего и не поняв, еще больше испугался: «Совсем опьянел!»

Официантка принесла холодные закуски. Арман выпил еще рюмку, затем — еще. И вдруг неожиданно резко схватил Жаксыбая за борта пиджака, притянул его лицо к своему и, впившись в него взглядом, спросил:

— Ты что это там говорил недавно о сыне, который убил свою мать?

Жаксыбай не понял. Лишь подумал: «Он и вправду пьян, как свинья» и хотел было встать.

— Я как будто ничего обидного для тебя не говорил...

— Нет, я не обижаюсь. Но ты, кажется, сказал: «Сын, убивший свою мать...»

— А! Да это не мои слова,— вспомнил Жаксыбай разговор в начале встречи.— Я их у кого-то вычитал.— По привычке всегда все сваливать на кого-нибудь, он и здесь поступил так же.— Если не забыл, есть такой афоризм: «Когда рождаются дети — мать радуется. Когда умирает мать — дети горюют».

— Хорошо сказано...— бормотал Арман.— Да, да справед-

ливо. Конечно, рождается ребенок — это радость! А умирает мать — горе, неизлечимое! — Глаза Армана снова загорелись злобным огнем. Он, как в первый раз, готов был накинуться на Жаксыбай. — А возможно ли, скажи, наоборот: рождается ребенок — мать огорчается; умирает мать — дети радуются?

— Почему бы и нет? В жизни и такое, конечно, бывает. Разве мало матерей, которые отказываются от своих младенцев? Есть и детки, которые рады-радешеньки, когда умирает их мать. «Наконец-то, — думают, — имущество досталось мне!» Вспомни хотя бы иностранные фильмы об этом.

— Так это иностран-ные! А у нас, если и есть, то... не должно быть!

— Бывает и у нас такое.

— Не должно быть!

— Но ведь бывает!

Оба незаметно для себя разгорячились. Арман неожиданно хлопнул с силой ладошкой по столу.

— Это невозможно! — крикнул он, вытаращив глаза на дружка. — Если и бывают такие дети, то это не люди!

Жаксыбай спохватился и деланно засмеялся.

— Конечно, конечно, — миролюбиво заговорил он, — о чем разговор! — И вдруг весь заснял: — Смотри, смотри, какая краля! Да она не сводит с нас глаз!

Все еще озлобленный, Арман повернул голову в сторону, куда указывал Жаксыбай. От неожиданности он почти задрожал. Несколько парней в накрахмаленных сорочках и знакомая ему компания женщин сидели за столом в центре зала. Среди них — Биби. Заметив, что Арман узнал ее, Биби поднялась и медленно, будто нехотя, пошла к нему, обращая на себя внимание окружающих.

— Здорово, Арман! — поприветствовала она небрежно, подвинула поближе стул и, не ожидая приглашения, села. — Сочувствую твоему горю. Приходила к вам, хотела поддержать в трудную минуту. Но... хозяйка у тебя лютая. Накинулась и выгнала меня.

— Знаю... Чего человек не сделает в горе.

— Она в горе, а я радуюсь, что ли? Человек в любом случае должен уметь себя держать.

Заиграла музыка.

— Потанцуем? — предложила Биби.

Он почувствовал, что пьян — не стоило бы идти танцевать, и потом... эта Биби... Но женщина уже ухватила его за руки и вывела на середину зала. Он не сопротивлялся.

— Я такая несчастная, — говорила она тихо.

— Почему?

— Как это почему? Мать Жагыпара, как узнала о смерти твоей, тоже чуть не умерла от сердечного приступа, Сыночек

ее во всем обвинил меня и потребовал развод. После суда взял свою старуху и укатил куда-то. Представь, у кого-то большое сердце, а я виновата...

Оркестр играл какую-то сентиментальную мелодию. Биби, качаясь в медленном ритме, шепотом продолжала приговаривать в такт плавным па:

— Я такая несчастная... Осталась одна на всем белом свете!

Арман молчал, пожимая ее руки. Он толком не знал, что сказать, чем утешить Биби. Собственное горе, еще не растаявшее в груди, сжимало сердце...

— Конечно,— ворковала между тем Биби.— Если подумать, то я не такая уж и несчастная.— Она заглядывала ему в глаза, ловила его взгляд:— У меня есть мой Арман. Правда ведь? А я... Только ради тебя и развелась с Жагыпаром...

Из ресторана они ушли вместе. Ни завтра, ни послезавтра ни домой, ни на работу Арман не явился.

### *Глава пятая*

Казахи говорят: «Что увидит птенец в гнезде, то он и будет делать, когда вылетит». Не случайно родилась народная мудрость. Пример старших в семье заразителен. Хороший пример — дети растут здоровыми душой и телом, дурной пример — знай, что пойдут по жизни, как говорится, с вывихом в душе. Характер, привычки старших, их взгляды на жизнь — все с жадностью впитывают ребятишки. И, будучи взрослыми, делают свои выводы, дают свою оценку поступкам родителей.

После смерти Акгуль Кунтуар дважды заходил в дом к Ергазы. Несмотря на прежние их отношения, думал: «Надо навестить, развеять его горе...» Но... ни разу дома Ергазы не застал. А тут встретился один из старинных друзей. Поговорили о том о сем. Вспомнили о бедной Акгуль, пожалели безвременно овдовевшего ее мужа. Несколько смущаясь и волнуясь, старый друг сообщил Кунтуару:

— Поговаривают, что он не особенно-то горюет о покойной... Оказывается, чуть ли не сразу после похорон стал проводить время у своей новой секретарши!

— А-а, люди горазды наводят тень на плетень,— ответил Кунтуар.— Ему, представь, тоже не сладко оставаться в доме, где все так напоминает любимую жену.

— Но почему же,— настаивал на справедливости своих слов друг,— Ергазы не уходит из дома, скажем, к тебе или ко мне? А эта женщина ему — не родня и не близкая! Что он забыл у нее?



— Брось, это все сплетня! — отрезал Кунтуар. Однако в тот же день услышал, как непристойным поведением Ергазы возмущались и другие их общие знакомые. Ему до боли в сердце стало обидно за Акгуль. «Какой же этот Ергазы все-таки жестокий человек! Говорит одно, делает другое. На лице — словно маска. Ну как это я уже сорок лет не могу разглядеть, что у него там, под маской? Да, нечего сказать: хорош пример для сынка. Тот, бедняжка, — одно слово только, что человек с высшим образованием. На самом деле вырос ни к чему не приспособленным, пьяницей. Надо поговорить с парнем, хотя бы ради памяти о его матери. Да ведь и Жаннат выросла на моих глазах, почти дочь мне. Нельзя забывать о них».

Но на другой же день после этого решения Кунтуар спешно уехал в экспедицию. Причина была слишком важной — Михайлов сообщил, что есть новые археологические находки.

В Кайракты он пробыл три месяца. В самое тяжелое для молодой семьи время не оказалось рядом такого надежного старшего друга, каким был бы Кунтуар.

Волновался археолог не напрасно. Вскоре после смерти Акгуль Ергазы позвал к себе Армана и Жаннат.

— Дети мои, — обратился он довольно мягко. — Все это время, пока мы жили вместе, я ничего не жалел для вас. Много ли, мало ли зарабатывал — все было вашим. Всех нас в этом доме собрала, объединила Акгуль. Теперь ее нет... — Он помолчал, будто не в силах говорить от тяжких переживаний. — Судьба внесла в наш дом разлад. Когда он случается даже между мужем и женой, они расходятся. А я не смог, Арман, стать тебе настоящим отцом, ты мне — сыном... — Ергазы опять смолк, как бы не в силах одолеть выпавшую на его долю трудность. — В общем, — уже решительнее заговорил он, — я еще надеюсь иметь собственных детей, свой теплый очаг. Решил вот жениться. А если у нас будут разные казаны, то и интересы пойдут врозь. Я думаю, вам надо жить самостоятельно, хватит, помог... теперь идите. Квартиру, думаю, найдете, а взять из дома можете...

Арман сидел с опущенной головой и никак не реагировал на слова отца. Да и что он мог возразить или сказать, когда даже не представлял, какие трудности могут ожидать их впереди.

В тот же день, как только Арман и Жаннат с детьми покинули дом, Ергазы привел секретаршу с ее восьмилетней дочерью.

— Девочку отдай в интернат, — сказал он молодой супруге. — Пора и самим пожить... Для себя...

В Кайракты стояли сухие и жаркие дни, когда сюда приехал Кунтуар. Дул южный удушливый ветер, но археолог ничего этого не замечал. Сойдя с машины, забыв усталость с дороги, он бодро шагал за Михайловым. Место, где нашли новые памятники, было чуть южнее лагеря. Этот невысокий курган на равнине привлекал внимание Кунтуара и раньше. Он всякий раз, проходя мимо, говорил себе: «Надо и здесь хорошенько все исследовать». В то же время предполагал, что раз курган небольшой, то, самое многое, он принадлежит к эпохе бронзы. Ученого же интересовал более ранний период.

Молодец, все-таки, Михайлов! Он прорыл траншею вокруг холма и обнаружил огромный, по пояс человеку, камень. По обе стороны от него — две каменные стелы. Нет сомнения, это свидетели мира, существовавшего раньше саков. Между камнем и стелами в ветреные дни время намело этот холм на равнине. Такие курганные камни и стелы Кунтуар видел и раньше. Они не редкость в Сарыарке, особенно на берегах Ишима и Тобола. По предположениям историков, большинство из них относятся к эпохе кипчаков и усуней. Некоторые ученые считают, что эти памятники принадлежат даже племени чудь. Утверждать, что жил когда-то этот народ на земле казахов, конечно, трудно. Но если памятники действительно принадлежат племени чудь, то культура их должна быть значительно выше всех соседних с ними племен.

Из легенд известно, что чудь населяли земли Арки по соседству с Сибирью. Каким же образом эти находки, так похожие на их памятники, оказались здесь, на берегах Сырдарьи? Если допустить, что чудь жили от берегов Есиля<sup>1</sup> и Тобола до самой Сырдарьи, то, значит, это был очень многочисленный народ. И опять загадка. Если народ многочисленный и, надо полагать, жизнестойкий, то не мог он оставить после себя только эти символические камни. Должны быть и другие его памятники!

Или в этих местах жил еще какой-то народ, родственник чудь, с близкой им культурой?

Скорее всего, это были кочевые племена. Где же их захоронения, где кладбища? Или они, как древние монголы, оставляли умирать стариков на вершинах гор, а то и в пустыне? Может, поклонялись огню и сжигали людей, развеивая пепел?

Кунтуар с интересом, долго рассматривал каменные изваяния. Но пока они молчали, не раскрывая своей многовековой тайны... Ученый логически развивал каждую новую мысль. Вместе с тем, во многом сомневался, что-то отвергал и снова цеплялся за чуть мелькнувшую в глубине сознания догадку:

---

<sup>1</sup> Есиля — древнее название реки Ишим.

«Чудь считается прогрессивным для своего времени народом. А думали ли они, эти далекие предки, оставившие нам в наследство свои вековые памятники, о будущем, о своих потомках? Или эти памятники — всего-навсего случайность?»

Размышления Кунтуара прервал Михайлов.

— Здесь есть интересное место, прикрытое четырехугольным камнем,— сообщил он.— Обнаружил его случайно. Начал просто рыть, слышу — лопата стукнулась о камень. Я все замаскировал, прикрыл, чтобы никто не натолкнулся до вашего приезда. Внизу, наверное, колодец какой или клад спрятан.

— Где?!

— Вот здесь.

Василий быстро раскидал лопатой щебенку и песок, внизу показался красноватый камень. Он был не сплошной, а состоял из четырех правильных частей.

— Не пробовал поднять плиту?

— Пробовал. Она и не шелохнулась. А в глину возле камня не то что лопату, даже лом не воткнуть. Скорее всего, здесь протекала река. Глина зацементировалась.

— Тогда начинайте рыть вот этот участок. Если и здесь трудно будет взять лопатой или ломом, то осторожно, чтобы не сломать камень, взорви на полметра почву...

— Хорошо.

Они отошли и присели неподалеку от кургана. Бронзовое от загара лицо Михайлова сейчас блестело на солнце. Василий довольно улыбался, подставляя грудь жаркому ветру, будто этот злой суховей и в самом деле мог принести желанную прохладу. Кунтуар бросил рядом пиджак и тоже расстегнул ворот рубашки.

— Значит, через два года на этом месте построят плотину и все окрестности затопят водой?

— Да, здесь запланирована грандиозная стройка,— ответил ученый.— Люди смогут тогда освоить эти бескрайние степи и пустыни, поднять экономику районов, прилегающих к Сырдарье. Поэтому важно поскорее закончить и археологическое обследование местности. А то сами не будем знать, что похоронили на дне рукотворного моря.

Михайлов с восхищением смотрел на Кунтуара. С каждым днем он все больше интересовался профессией археолога-исследователя и не переставал удивляться ее ценности для народа. Он теперь был глубоко убежден в том, что люди непременно должны знать о своем прошлом. И потому так любил беседовать с Кунтуаром об археологии. Не получивший образования в юности, Василий слушал рассказы ученого о битвах и поражениях, о разрушениях и древних цивилизациях... Под влиянием этих бесед заметно менялись его взгляды на жизнь, суждения. Даже характер стал иным.

Кунтуар чутко улавливал все изменения, происходящие в парне. И с еще большим удовольствием читал своеобразные и доходчивые лекции перед своим благодарным слушателем.

Вот и сейчас между ними завязался разговор.

— Конечно, найти и оставить потомкам памятники древности, — это здорово, — говорил Василий. — Но если бы была такая наука, которая помогала людям узнавать не только то, что было пять тысяч лет назад, но и то что будет хотя бы через сто, через тысячу лет... Вот это была бы служба прогрессу!

Кунтуар улыбался каким-то своим мыслям, глядя вдаль, на ту сторону реки. Прошло некоторое время, прежде чем он произнес:

— Представьте себе, молодой человек, на свете существует такая наука. Называется она металлогения. Ученые изучают, какие металлы были найдены в данном районе земли в прошлом, где — имеются сейчас, предсказывают, где их можно будет добыть в будущем. Точно так же — зная прошлое и настоящее данного народа, можно почти безошибочно предвидеть и его будущее. Можно заранее спланировать даже все богатства человеческого разума, энергии, счастья людей... Наукой доказано, что будущее человечества — это коммунизм. В первых рядах борцов за это будущее идут коммунисты. В нашей борьбе никогда нельзя забывать о связи времен. Сегодняшний день и прошлое народа — это связанные между собой эпохи. Важное слово здесь остается за археологией. Возьмем, например, Азию. Испокон веков считалось, что впервые человеческое общество и культура появились здесь, на юго-востоке, в восточной и центральной части материка. По историческим и географическим условиям здешние люди не могли проникнуть в северную часть Азии, скажем, на Дальний Восток и в Сибирь. Однако не далее как в 1951 году на Дальнем Востоке были открыты археологические памятники, которые доказали, что человек здесь существовал еще 100—150 тысяч лет назад! Здесь он разжигал костер, жил, охотился!

— Не может быть! Как же узнали?

— Ты помнишь, я говорил как-то, что берега рек — первые помощники археологов. Здесь через отложения почв, через минералы и сами разрезы яра исследователь всегда может прочитать о прошлом, как по книге. Можно, например, узнать, какой был в этих местах климат тысячу лет назад — засушливый или влажный, было ли здесь наводнение или пожар, холод или жара. И вот на Дальнем Востоке, у деревни Филимошкино, по свежим обвалам берега реки археологи определили, что в этом месте когда-то находились поселения древнего человека. Начали рыть и вскоре обнаружили предметы времен каменного века! Потом подобные же находки были сделаны на берегах Амура, в горах Алтая. Короче, ученые убе-

длительно доказали, что человек проживал в Сибири и на Дальнем Востоке еще во времена палеолита! Нет, что ни говори, а у археолога имеются тысячи дорог в древнюю эпоху.

Сегодня, скажем, никто уже не спорит о том, что предками американских индейцев в эпоху палеолита были выходцы с берегов нашего Байкала. В те далекие времена американский континент соединялся сушей с Азией в районе современного Берингова пролива. Через этот естественный мост между двумя материками люди общались между собой. Древние жители с берегов Байкала проходили в Америку. Это доказано современными этнографическими и антропологическими исследованиями. Найденные при археологических раскопках черепа подтверждают, что аборигены Америки были монголоидами. Теперь известно, что культура племен, населявших побережья Амура, Лены, Ангары, Зеи не уступала культуре таких развитых в то время государств, как Япония, Китай, Монголия. Скульптурные памятники этих древних народов, маски, орнаменты на посуде, найденное изображение нанайской девушки говорят о том, что культура в эти края пришла не из Китая, а является более древней. То есть китайцы заимствовали культуру у этих высокоразвитых для того времени народов Сибири.

Кунтуар замолчал и долго сидел задумавшись. Михайлов старался не прерывать его мысли. Наконец, дождался минуты, когда ученый заговорил снова:

— Если расположить, к примеру, памятники разных эпох по времени их возникновения, то легко заметить, что и в Сибири, и на Дальнем Востоке никогда в развитии народов не прерывалась связь времен. Причем рождение древнего искусства здешних народов уходит в каменный век. Собственно, теперь ученые склонны утверждать, что первобытный человек обитал на севере Азии еще сто-сто пятьдесят тысяч лет назад. Но что же было в это время, например, в той же Западной Сибири, или южнее — на казахской земле? Пока мы знаем лишь довольно поверхностные, общие сведения о народах, проживающих здесь каких-то пять тысяч лет тому назад. Строим предположения о культуре, которую приписываем им. А что было в этих местах раньше? Что было сразу после ледникового периода? Можно с уверенностью сказать, что каменная эпоха здесь сменилась эпохой бронзы. Но, возможно, существовала и вовсе неведомая нам культура? Ответить людям настоящего и будущего хотя бы на один из этих вопросов, — моя мечта. Но успею ли?..

— Отчего вы вдруг так говорите? — спросил Михайлов. — Затопят территорию?..

— Не-ет, — ответил Кунтуар. — Все дело в том, что время уходит. Единственный сын не пошел по моим стопам. А чтобы

свершить задуманное, одной жизни мало. Конечно, выйдут на мою дорогу и завершат поиск другие ученые. Но у исследователя есть свои, нераскрытые миру мечты. Я вот всю жизнь стремлюсь осуществить свою мечту, хотя она маячит мне всего-навсего малюсеньким глазком надежды. Только и знаю, что кочую за ней по степям Казахстана. Трудности, огорчения, неудачи. На пути к истине их всегда немало, но их надо непременно побороть, надо выстоять, выдержать...

— Я бы выдержал! Я бы обязательно выдержал! — вырвалось у Михайлова.

Кунтуар радостно посмотрел на парня.

Михайлов и еще четверо рабочих около десяти дней добили твердый, как цемент, грунт, между двумя стражами древности — каменными стелами. Наконец отрыли плиту, составленную из четырех красноватых камней. Дальше дело пошло быстрее. Под плитой обнаружили четырехугольный колодец. Метра через два на южной стенке колодца наткнулись на каменную кладку. Ушло целых два дня, пока разрушили эту кладку из плотно пригнанных, скрепленных каким-то сероватым раствором камней. За камнями был скелет человека. Кости рук и ног лежали отдельно, впереди. У изголовья — каменный топор и два сосуда из того же камня.

Кунтуар опустился в могилу, все там тщательно обследовал. Он был очень удивлен — захороненный такого рода ученый никогда не встречал.

В археологии известно три вида захоронений человека до времен скифов: прямые могилы, когда тело опускали в стоячем положении в глубокие колодцы; катакомбы-ниши, где рядом с трупом укладывали вооружение покойного, которое, якобы, пригодится на том свете, драгоценности — для умиротворения ангелов смерти. И, наконец, третий вид захоронений — могилы укрепляли бревнами, можно сказать, строили настоящий дом, тело клали ничком, головою — на север.

Саки укладывали покойника на спину и головой на запад.

Кунтуар видел много захоронений древних саков. Но никогда покойники в них не были уложены ничком, как в деревянных могилах, встречающихся на побережье Днепра и Днестра. И никогда их не клали на правый бок. Особенно удивил Кунтуара этот каменный топор, сделанный из нефрита. Топор был необычайно острым, с красивой отделкой на обушке. Конечно, это предмет времен каменного века. Топоры из нефрита археологи находили на Дальнем Востоке среди памятников Кондона. Только орнамент и форма там были другие. К тому же точно установлено, что кондонский топор сделан из нефрита с берегов Байкала. Где же изготовлен этот?

О том, что нефрита нет и никогда было на берегах Сырдарьи, Кунтуару хорошо известно.

Неужели новые памятники — свидетельство неизвестной еще миру, открытой сейчас культуры? К какому же времени принадлежала она? Хотя, нет сомнения, топор и сосуды относятся к каменному веку. Но вот тип захоронения напоминает могилы кемирійских племен, живших в начале бронзового века. Поза же, в какой захоронен покойный, встречается только в деревянных могилах, характерных для середины эпохи бронзы. Что же получается? Здесь собраны вместе памятники разных эпох, начиная с каменного века (пять-шесть тысяч лет тому назад) и кончая временами скифов? Словно кто-то специально подшутил над старым археологом. Словно ему еще раз дали возможность убедиться в правильности мысли о связи времен, которую он так любил повторять.

Кунтуар распорядился замерить площадь захоронения, сфотографировать все на своих местах: и скелет, и топор, и нефритовые чаши. Останки древнего человека отправили в центральный антропологический музей. Находки заставили его вновь глубоко задуматься: возможно, саки, как и родственное им племя аргиппиев, превратились в кипчаков и затем — в казахов? Но какие есть всему этому доказательства? Доказательств все еще маловато. Однако кое-какие доводы являются довольно серьезными. Например, до сих пор казахи хоронят усопших точно так же, как западные саки — в углублениях в стенке могилы. А захоронение в науке принято считать одной из характерных форм культуры народа. Близко по стилю и искусство этих народов. У саков — «звериный стиль», у казахов — «бараньих рогов» или «архаровый». Кто может доказать, что один вид искусства не породил другой? Изображения людей, зверей, золотые и серебряные скульптуры в казахских степях не встречаются, начиная с седьмого столетия. Но это еще ни о чем не говорит. Скорее всего, здесь сказалось влияние мусульманской религии, запрещающей рисовать человека и зверя. Тогда откуда же взялось изображение гордого теке<sup>1</sup> на золотом слитке? О нем издавна упоминается в сказках. Нужны еще многие доказательства. Надо обратиться к документам, трудам авторов, начиная от Геродота, искать новые археологические памятники. У казахов очень много слов с корнем «сак». Надо хорошенько порыться и в словарях. Не прольет ли все это дополнительный свет?

Пока Кунтуар исследовал новые находки, Михайлов с группой рабочих тщательно очищал захоронение от земли. Пожалуй, Василий и сам толком не объяснил бы, почему он первым приходит сюда чуть свет. Тянет его к раскопкам. Дс

<sup>1</sup> Теке — горный козел.

поздней ночи он — в который уж раз — ощупывает, выстукивает, очищает руками каждый миллиметр открытой ямы. Со стороны можно подумать, будто он потерял что-то чрезвычайно ценное и ищет сейчас. Василию же чудилось, что стены хранят важную тайну: «Зачем на могиле эти четыре плиты? И каждую из них не под силу поднять человеку... Сверху опять все покрыто зацементированным грунтом. Почему могилу так надежно укрыли камнями и замуровали сверху? Возможно, потому, что захоронен здесь вождь племени? Чтобы знали... Но об этом и без того кричат вот эти каменные стены».

Михайлов проверил уже все стены могилы, спустился в нишу и стал бить ломом по дну. Удар, второй, третий и... лом заскрежетал о металлический предмет. Василий отбросил лом и начал руками разгребать землю — благо, грунт оказался мягким. Примерно через полчаса он обнаружил новую, более глубокую нишу... Внутри ее сверкнули какие-то золотые вещи! В волнении парень снова слегка засыпал углубление и со всех ног бросился к Кунтуару.

Спустя некоторое время из могилы были извлечены кольца, пиалы и другие золотые и серебряные предметы. Но ни один из них не был выполнен в «зверином стиле» и не относился к эпохе саков. Бурю мыслей и чувств вызвал у Кунтуара неотшлифованный золотой слиток, величиною с яйцо. Если бы в могиле был схоронен вождь саков, слиток обязательно был бы украшен рисунком в том же «зверином стиле». Но древние люди положили слиток в первозданном, в его природном виде. Почему? Кунтуар взял его в руки, с улыбкой заговорил:

— Теперь уж ни Ергазы, ни его приспешники не скажут, что мы не приносим пользы государству.— И с благодарностью взглянул на Михайлова:— Быть тебе истинным археологом, Василий Иванович. Поздравляю от всей души! Сегодня ты опроверг мнение обывателя, что золото совратит с пути истинного даже ангела. Сегодня ты видишь в этом слитке нечто более дорогое, чем золото,— служение науке. Спасибо тебе сердечное, дорогой мой друг!

Когда несколько улеглось его первое волнение, Кунтуар поговорил в раздумье:

— В археологии дорого не золото, а то, о чем оно рассказывает миру. Судя по всему, получается, что в эпоху бронзы здесь существовала еще одна, вроде бы переходная культура. Конечно, все прояснят последующие исследования. Пока бесспорно только одно: захоронение относится к первым векам эпохи бронзы.

— В таком случае, откуда же здесь каменный топор и сосуды? Разве это не свидетели каменного века?!

— Так-то оно так,— отвечал Кунтуар.— Загадок много. Но верю, раскроем и их.



Арман с той самой ночи, когда пришел к Биби домой, тут и остался. Родители только что прислали своей дочери очередную сумму денег. И молодые люди, не страшась завтрашнего дня, жили весело.

— Я хочу, чтобы ты развеялся,— говорила Биби, обнимая Армана. Длинными пальцами она зачесывала ему на пробор волосы, спадающие на лоб.— С нами за последнее время стряслись ужасные вещи... Надо все раз и навсегда забыть. Если все это нести в душе, можно сойти с ума!

Женщина взяла с тумбочки бутылку коньяка, палила в маленькие рюмки Арману и себе. Потом надкусила шоколадную конфету и лукаво подмигнула:

— Половину — тебе!

— Прелесть ты моя!— Арман нежно обнял ее и прижал к себе.

— Нет, это ты награда за все мои мучения!— ласково ворковала Биби.

Так прошла неделя. Беззаботная и веселая. На восьмой день Биби предложила:

— Давай уедем отсюда, иначе все здесь будет напоминать о прежнем. Мои предки примут тебя с радостью!

В Армане взял верх его легкомысленный характер. Выпивки и веселье, объятия женщины, о которой столько мечтал,— все увело его от горя, дало возможность забыть тягостные дни. Арман боялся даже вспомнить о тех неурядицах, с которыми столкнулся недавно. Заботы о семье, работа на кампенилке казались сущим адом. Какой бы он ни был пьяный, а вспомнив об этом, сразу трезвел.

Предложение Биби представлялось тем единственным путем, который избавит его от всего прежнего. И Арман быстро согласился уехать из Кайракты.

А Жаннат сразу, как Арман не пришел домой, поняла, где он может быть. Что оставалось делать? Бежать к нему? Разыскивать? Просить вернуться? Нет, она не сделала этого сама и никого не пресила об этом. «Что ж, пусть делает, что хочет, пусть..!»— думала Жаннат.

Однажды к ней зашла знакомая женщина и рассказала:

— Кажется, твой Арман с этой-то... собрались уезжать. Сидят с чемоданами в аэропорту.

— Вот и хорошо. Пусть уезжает, хоть видеть их не буду,— ответила Жаннат и вроде бы внешне на какое-то время даже успокоилась.

Только несколько дней спустя спохватилась: а может, зря не поехала в аэропорт и не привела его за руку домой? Он же бесхарактерный...

Да, нередко так и бывает. В самую критическую минуту любящее сердце не прощает. Оно обидчиво и не дает человеку возможности трезво подумать.

Как и говорила Биби, ее родители встретили нового зятя с распростертыми объятиями. Мать говорила: «Вот и у нас, слава богу, все устроилось. К дочери пришло, наконец, счастье». А после того, как узнала, что Арман — сын профессора Ергазы, и вовсе воспряла духом. Раньше она всякий раз тяжело вздыхала, вспомнив о своей единственной, похожей на нее, дочери, которая вышла замуж за обыкновенного «аульного учителя...» Теперь, думалось ей, дочь приобрела, наконец, надежную опору в жизни.

Правда, обычно тихий, муж ее нет-нет да возмущался тем, что в течение года дочь дважды выходит замуж. Женщина зло спрашивала:

— А чей же это у нее характер? Не твой ли, дорогой мой?

Муж сокрушенно отворачивался, тихо мямлил:

— Я женился только раз.

— По-твоему, Бибижан виновата, что ей не нравился первый муж? — вызывающе спрашивала мать, стоя подбоченившись, с закатанными по локоть рукавами посреди комнаты. Было такое впечатление, что она сейчас кинется в рукопашную защищать «свою единственную» от самого что ни на есть лютого врага.

— Если не нравился, зачем надо было выходить за него?

— Ты забыл одно: Бибижан еще наивное дитя. Кто в ее возрасте не ошибался? Откуда было знать, что она выходит замуж за плохого человека? Да что она? Даже я, несчастная, разве знала в свои двадцать лет, что выйдя за тебя, буду жалеть об этом всю жизнь?

— Однако ж ты меня не... бросила!

Жена чуть отошла в своем упрямстве:

— Молись богу, что родился таким счастливым!

На этом спор и закончился.

Около двух месяцев Биби и Арман на работу не устроившись, отдохали. Словно приехали они не из Кайракты, где сотни таких же молодых людей жили и трудились на большой стройке, а из вынужденной ссылки. И комары-то там, и всякий гнус кусали их до волдырей, песчаные бури не давали открыть глаза, ветры сбивали с ног, зной испепелял душу... Мать Биби с ног сбилась, поднося на тарелочках то одно, то другое. «Еще успеете, наработаетесь! Работа не верблюду, в степь не убежит! Еще свое в жизни отмучаетесь!» — говорила она.

В доме, что ни день, — гости. То у кого-то день рождения, то встреча с одноклассниками, то праздники.

Однажды после часового ворчания отца мать спросила:

— Девонька, вы хоть в загсе-то зарегистрированы?

— Причем, мама, тут загс?— с превосходством человека, понимающего толк в жизни, спросила удивленно дочь.— Мы любим друг друга, и это главное.

Слова звучали вроде бы убедительно, однако посеяли в сердце матери сомнение и тревогу. Она попыталась даже возразить:

— Конечно, это так. Но ведь супружество надо и узаконить!

— Успокойся. Загс, как и работа, никуда не уйдет. Надо сначала лучше узнать друг друга. Убедимся окончательно в своей любви, тогда можно и зарегистрироваться. Не в бумажке же счастье. Пошла я по вашему совету в этот самый загс с Жагыпаром. И что получилось? Одна морока. Еле-еле добилась развода...

Надо бы матери возмутиться, возразить: «Разве молодые люди узнают друг друга не прежде, чем поженятся?» Но для этого, видимо, надо, чтобы перед нами сейчас была другая мать. Эта, другая, не только бы возмутилась, она бы ужаснулась: «Да откуда все это у тебя!?»

Мать Биби думала лишь о том, что внешностью ее дочь понравится хоть кому. Не один — так другой, не другой — так третий... Нет, в жизни ее дочь не пропадет, не даст себя в обиду! И ответила спокойно:

— Да это, пожалуй, тоже правильно. Никаких загсов мы с твоим отцом тоже не знали. А прожили, слава богу, больше двадцати лет. Только недавно добрые люди подсказали: «Вдруг с вашим мужем что-нибудь случится, он возьмет и скоропостижно умрет?! Останетесь без пенсии, раз сами никогда не работали». Вот тогда мы только и зарегистрировались.

Как ни странно, но Арману, наконец, надоели безделье и каждодневная пьянка. Спустя два месяца после «отдыха», он попытался устроиться на работу. Однако и трудиться вскоре тоже надоело. У него появились прогулы, которые все учащались. Арман больше стал бывать в ресторанах, чем на работе. У пьющего всегда своя компания. И Арман быстро нашел товарищей по выпивке. Наконец, решил: «Эта работа не по мне» и перешел на другую, на завод. Руководители предприятия сначала рассудили, что новоявленные «молодые кадры» нуждаются в воспитании. И применили весь свой арсенал воздействия: нового рабочего предупреждали, ему выносили выговор, его обсуждали... Устав от всего, а может, устыдившись, что столько усилий ухлопали впустую, выгнали Армана с завода.

С полмесяца он снова болтался без дела, потом по протекции отца Биби устроился в музей. Однако долго не продержался и тут. Ему казалось противоестественным с утра до вечера быть привязанным к одному занятию. И вместо того, чтобы специализироваться на новой работе в музее, просто-напросто перестал туда ходить. Он знал, что тонет, но бороться с самим собой у него не было сил.

Арман запил. Нет, Биби было вовсе не до него. У той появились свои заботы, свои интересы и развлечения.

Так прошло еще несколько месяцев. Отношение родителей к молодой паре резко изменилось. Особенно озлобилась против зятя мать Биби. Что было делать Арману? Попросить еще раз тестя, мол, устройте на работу — стыдно. Да и бесполезно все это... — осознал Арман. Он находился на распутье, не в силах сам помочь себе. В этот-то момент Биби и сообщила ему как о давно решенном:

— Пора расставаться. Ты мешаешь мне устроить жизнь. Я встретила, наконец, настоящего человека. — Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Она спокойно продолжала накладывать на лицо крем...

Удивительно! Если бы Биби сказала это с вызовом или со злом, он, может, и завелся бы. Но сейчас отреагировал — точно как и она. Ни злости, ни волнения. Будто он уже знал, слышал от нее эти слова. Куда же подевалась любовь, трепетавшая в их сердцах всего несколько месяцев назад?! Ведь ради этого чувства он бросил Жаннат, сыновей и поехал сюда за Биби! Неужели чувство было ложным? Сейчас вдруг вспомнилось, как он впервые встретил Биби, как решил, что нашел в ней не только женщину, но и друга, единомышленника. У них были одинаковые взгляды на жизнь... Беда, конечно, что он ни разу не подумал, насколько правильны были эти взгляды на жизнь.

И все-таки Арман не предполагал, что расставаться с Биби ему придется вот так. Он молчал, озадаченный обыденностью тона своей бывшей возлюбленной.

— Я знаю, тебе придется туго, — равнодушно, почти безучастно говорила между тем Биби.

— Почему это? — попытался он хоть что-то возразить.

— Ну, как ни говори, а любил же друг друга... Да и денег у тебя нет. — Исчезли и кокетство, и голос воркующей голубки. — Мой папан подбросит монеты на дорогу, лишь бы ты побыстрее отчаливал отсюда.

Взгляд Армана упал на зеркало, и он не узнал в нем себя. После многодневной пьянки лицо было отечным. Рубашка несвежая, помятая. А темно-синий костюм — один стыд... Только название, что костюм. Весь лоснится, на рукавах и бортах пятна не то от вина, не то от еды... Вспомнил, как ра-

довалась мать, когда купили этот костюм! Как бережно — не сжечь бы, не испортить — его утюжила Жаннат...

Он холодным взглядом окинул стоявшую рядом с ним — теперь чужую — женщину. По ее виду нельзя было даже сказать, что она в горе от разлуки с человеком, которого еще вчера любила. Злость на себя и Биби переполнила сердце Армана. Он поднялся с места:

— Я не нуждаюсь в помощи твоего отца! В Кайракты доберусь и без вас.— Он в сердцах плюнул и пошел из этого опустыленного дома.

— Фу, Арманка...— лениво протянула Биби.— Какой невоспитанный...

Арман занял денег у знакомого своего отца и самолетом прилетел в Кайракты. День был, как обычно ранней осенью в этих местах, жаркий и душный. Арман пришел к автобусной остановке, присел на скамейку. Несколько автобусов уже ушло в город, он пропустил их. Сидел и думал: «Куда поехать? Домой?» Но как он переступит порог? Один вид чего стоит, а дела — и того хуже...

Предположим, он отбросит стыд и, закрыв на все глаза, придет в дом. Но что делать, если Жаннат просто-напросто выгонит его?! Ведь за эти долгие месяцы она могла и устроить свою судьбу — выйти замуж!

«Нет, нет, только не к Жаннат!»— Он бессмысленно смотрел на землю, на небо, на чуть шелестящие, словно что-то нашептывающие ему, карагачи над головой. Ответа не находил. «Действительно, куда же поехать? Хоть ложись на этом месте — и умирай!»

Он испугался этой своей мысли о смерти. «Нет, нет,— прозвучал вслух, будто уговаривая себя,— умирать еще рано! Не жил еще вовсе! Тыфу, какая чепуха лезет в голову!»

Перебрав все варианты, представив и их последствия, Арман выбрал один — поехал к Жаксыбаю. Как говорят, рыбака рыбака видит издали. Он решил, что друг по несчастью лучше всех поймет его теперешнее состояние.

Жаксыбай был дома. Он переживал тот период, когда разведясь с очередной женой, еще не успел найти новую подругу. Не очень-то обрадовало дружка появление в его доме помятого и опустившегося Армана. Кроме того, хозяин сразу определил, что в карманах этого пьянчужки гуляет ветер, что за душой у него нет и ломаного гроша. Поэтому первым желанием Жаксыбая было во что бы то ни стало отделаться от Армана. Но... не скажешь же сразу «уходи!», Как-никак, а бы-

ло у них что-то общее. И Жаксыбай вскипятил чай, вылил в рюмку Армана немного водки, оставшейся в бутылке после вчерашней попойки.

Арман пружься: все это с благодарностью. По телу разлилось блаженное тепло, настроение поднялось. У него появилась жгучая потребность рассказать другу обо всем, что с ним случилось. В конце он стыдливо попросил:

— Пока чуть огляжусь и подыщу работу, разреши пожить у тебя?

— Живи,— нехотя ответил Жаксыбай.— Только... договоримся. Примерно через день в вечерние часы ты у меня не появляйся. Гуляй, где хочешь, а в дом не заходи. Согласен на такое предложение?

— Хорошо,— покорно кивнул головою Арман, догадываясь, почему вот так, по расписанию, его выставляют за дверь.

— Сегодня ты тоже исчезнешь.

— Хорошо.

Днем Жаксыбая дома не бывает. Он весь в бегах, весь в работе — без устали строчит какие-то сценарии и монтажи для дворцов культуры и клубов, составляет либретто для танцевальных коллективов, интермедии, скетчи и прочее. Но уж коли заколотил копейку, тут же находит какую-нибудь знакомую девицу и напрямик тащит ее в ресторанах.

Дня три Арман не выходил из дома Жаксыбая, кроме тех, оговоренных при первой встрече, часов. Он отоспался, привел себя в порядок. Старался не пить — да и Жаксыбай не особеннс был с ним щедр в этом отношении. Наконец стал думать, куда пойти на работу.

И вот однажды, вынужденно прогуливаясь по улицам, все в те же оговоренные вечерние часы, Арман лицом к лицу столкнулся... с Ахметкали. Хотел было пройти, но старый рабочий сразу узнал его:

— Дорсгой мой! Да ты ли это, Арман-жа-ан?— говорил обрадованно мастер.

«Арманжан!»— отозвалось в сердце парня, и оно заняло. Так всегда называла его мать. Арманжан... Сейчас это теплое, ласковое обращение, произнесенное устами старого Ахметкали, снова воскресило былое. И, словно вылетевшие стаей веселые птицы, перед Арманом мигом пронесли его беззаботные, счастливые дни. На глаза навернулись слезы. Он постеснялся даже взглянуть на старого рабочего и только ответил голосом, полным неутешных страданий:

— Да, Ахметкали-ага, это я.

— Жив, оказывается! Где ты, чем занимаешься? Как дети, жена? Все здоровы?— мастер засыпал его вопросами.

Арман, потупясь, молчал.

— Чего это ты, будто воды в рот набрал? — забеспокоился Ахметкали.

Месяц вынырнул сквозь разрывы облаков, осветил все вокруг. Ахметкали всплеснул руками:

— Худющий-то, испитой прямо. Что с тобой?

— Судьба жестоко наказала меня, — отвечал через силу Арман, так и не смея взглянуть на мастера.

— Да, чую, с тобой, брат, что-то неладно. Прямо не узнать. Говори же, что случилось?

Они медленно шли по тихой улице. И Арман доверительно рассказал старому мастеру все.

— Вот до чего я дошел, — закончил он свою исповедь.

— Ну и ну, наломал дров, — недоуменно сказал Ахметкали. И долго молчал, сосредоточенно нахмутив брови.

— Здесь сразу-то и не найдешься, что посоветовать. Как говорила одна старуха: «Проклясть — единственный, не проклясть — поганый». Ругать тебя — жалко, и так одна тень осталась. Не ругать — сердце не терпит твоей подлости... Да тут хоть ругай, хоть проклинай — все без толку, если сам за себя не возьмешься. — Ахметкали снова помолчал:

— Не понял ты, оказывается, сколь много тебе в жизни было дано. Ценить ее не научился. А ведь мог... Не без способностей же... Мог занять свое место в жизни. Каждый человек должен занять свое место. Неважно, ученый то или рабочий. Но если знаешь свое дело — уже можешь гордиться этим. В прошлый раз, какую изумительную скульптуру сработал! Выразительность какая! Я решил, что ты дело свое нашел. Думал, выйдет из парня настоящий специалист, настоящий человек. А ты... — Ахметкали сокрушенно махнул рукой и отвернулся.

— Потом, — продолжал он, — это ужасно: взять и просто так, ради собственной блажи, бросить жену. И из-за кого? Из-за какой-то размалеванной куклы, попугая. Любовь, говоришь. В таком случае, как же ты женился на Жаннат, без любви, что ли? Если и вправду не по любви, то зачем женился? Нет, дорогой мой, семья — не хвост петуха, верти, куда хочешь. У тебя, видно, ни в тот, ни в этот раз не было настоящей любви, а так... Потом, — Ахметкали с суровым укором посмотрел на Армана, — как это ты смеешь оставить детишек? Казахи говорят: дети — часть твоего сердца. Как же ты ушел от них со спокойной душой?

Арман молчал, но каждое слово Ахметкали попадало в цель, и парень весь горел от стыда. «Все верно, все очень правильно говорит этот добрый человек. Разве я думал о детях? Игрушки им ни одной не купил, на руки их ни разу не взял... Не отец, а отчим. Как говорила бедная мать, при жизни своей оставил собственных детей сиротами».

— Начни все сначала. Иди работать, вернись в семью.

— Кто меня там ждет... Вряд ли согласишься на это Жаннат. Не принес я ей счастья.

— Это уж точно. Но если Жаннат любит тебя, она простит все.— Ахметкали даже чуть повеселел.— Радуйся, что такая молодая и красивая женщина все еще не вышла замуж. Наверное, все-таки любит тебя, шалопаю.

Арман почти вскрикнул, так как мастер ответил на терзавший его вопрос:

— Неужели не вышла?

Ахметкали понял, как рад Арман. И засмеялся:

— Думаешь, все такие, как ты: хватай любого, кто только вспорхнет около тебя голубем?

Через три дня Ахметкали уехал на курорт в Крым. Однако перед этим все-таки успел устроить Армана на работу. Он был уверен, что человек получил от жизни крепкий урок, теперь будет более добросовестно относиться к делу. И в семью вернется.

Не знал тогда старый мастер, что он и на этот раз ошибся...

Поначалу Арман был рад, что его приняли на прежнюю работу. Он решил немного прийти в себя, а потом уже искать пути к примирению с Жаннат. Парень упорно следовал намеченному плану и старался не пить. Однако через полмесяца, после первой полочки, Жаксыбай заявил своему квартиранту:

— Сегодня вечером приезжает на курсы методист Дворда культуры. Жить в общежитии ей не хочется. Так что подыскивай себе другую комнату.

Делать нечего. Арман оделся, вышел на улицу, и снова перед ним встал все тот же вопрос, куда идти? Может, все-таки решиться — к Жаннат? Нет, что он скажет ей? Явился гол, как сокол? Чтобы осмыслить все спокойно, решил сперва поужинать в ресторане.

Настроение — хуже некуда. Чтобы хоть чуть подбодрить себя, заказал сначала пива, потом... водки.

Он не помнит, сколько там просидел. Когда ресторан захрывали, ночной сторож вывел Армана на улицу. Ноги пьяного еле передвигались.

Час спустя его повстречала Жаннат, которая возвращалась после ночной смены домой.

Когда Жаннат узнала, что Арман и вправду куда-то уехал с Биби, она чуть не умерла от горя. Осунулась, пожелдела. Еще бы — муж сбежал, любимая свекровь умерла, свекор привел домой молодую жену и предложил уйти.

Да что с него взять... Но к кому же пойти, с кем посоветоваться? Только вчера Жаннат не знала нужды и забот, а сегодня



ня тысячи тревог свалились на ее плечи. Она было растерялась, как путник в темноте, не находя выхода.

Но жизнь в определенные моменты требует от человека напряжения всех его сил. И то, что недавно казалось Жаннат невозможным, легко подчинилось воле и разуму. Да и дети не давали горевать долго. Они как всегда несли с собой не только заботы, но и радости.

Как-то однажды приятельница пригласила ее во Дворец культуры. Сказала — есть лишний билет. Жаннат хотела отказать, а потом — не устояла. Пристроила ребятшек на вечер к соседке и пошла. Бледное лицо ее оттеняло черное платье, которое украшало любимое ожерелье.

После первого акта драмы «Козы-Корпеш и Баян-слу», поставленной местным кружком самодеятельности, Жаннат с подружкой вышли в фойе.

— Зайдем в буфет,— предложила приятельница.— Хочу взять что-нибудь детям. И ты своим ребятшкам...— Женщины направились к буфетным стойкам.

— Верно, они же теперь ни за что не заснут, будут ждать нас,— поддержала Жаннат и вдруг осеклась, замолчала, словно замерла на месте. Навстречу шел молодой человек, стройный, высокий. Навстречу шел Даниель. Он о чем-то думал, глядя себе под ноги.

— Данеш!— воскликнула неожиданно для себя Жаннат.

Даниель поднял голову. Его обдало жаром:

— Жаннат!— Казалось, он задохнулся от охватившего его волнения.

Это была их первая встреча после разговора в экспедиции.

— Я разделяю твою горе,— начал Даниель, но спохватился: «вдруг подумает, что сожалею о ее разлуке с мужем...» и поспешил добавить:— Акуль-апай была исключительным человеком. Я очень хотел прийти тогда, но так и не решился.

— Много ли для этого надо было решительности...— грустно проговорила Жаннат.— Давно ты в нашем городе?

— Приехал три дня назад...

О чем еще говорить с Даниелем, Жаннат не знала. То, о чем хочется,— не скажешь. Больше всего ей сейчас не терпелось узнать, женился ли он. И если бы это была прежняя Жаннат, она бы обязательно спросила об этом. Но стояла не прежняя — другая Жаннат.

— Когда уезжаешь?— поинтересовалась она только потому, что не нашла других слов.

— Я побуду здесь некоторое время. Вышла первая моя книга, о саках. Я привез ее отцу. Собираю материал для второй книги, а он весь — в ваших краях.

— Вышла книга? Поздравляю! Может, подаришь мне ее? Пожалуйста!

— Конечно, подарю.

— Когда?

— Если разрешишь, могу занести домой.

— Да, да, завтра после обеда я буду дома. Запиши адрес.

Даниель чуть смутился:

— У меня есть твой адрес.

Откуда ей знать, что для него все еще нет на свете никого дороже, кроме его Жаннат? В прошлом году, когда с отцом был в экспедиции, услышал, что Арман с женой получили квартиру. Даниель тогда надеялся хоть издали увидеть Жаннат и взял адрес у общих друзей. Часа два кружил вокруг дома, но Жаннат так и не показалась на улице. Зайти в квартиру не посмел.

— Коли адрес известен — приходи. Буду ждать, — все так же грустно произнесла Жаннат. Они распрощались и разошлись.

— Кто это? — спросила подруга, которая была свидетельницей разговора.

— Да, один... Когда-то был влюблен в меня.

— Когда-то! Да он и сейчас любит тебя! Я же заметила: только увидел, сделался как полотно. И пока разговаривал: то побелеет, то покраснеет, бедненький.

Назавтра в назначенное время Даниель занес обещанную книгу. Но... у Жаннат как раз сидела та женщина, с которой она была вечером в Доме культуры. И поговорить, о чем хотелось, не удалось. Так он и ушел. Сообщил только, что скоро выезжает к отцу в экспедицию, пробудет там около месяца. А вернется — снова зайдет к ней. Жаннат пообещала, что до этого обязательно прочитает его роман.

Она сразу села за книгу, как только ушел Даниель. Ей хотелось хоть из написанного им узнать, о чем этот человек думает, о чем мечтает и что больше всего волнует его в этой жизни. Чем дальше читала, тем больше прочитанное захватывало воображение.

Автор сожалеет и скорбит о поругании самого светлого чувства юности — любви. Перед Жаннат все ярче вставал со страниц книги образ основного лирического героя, связывающего повествование о прошлом с сегодняшним днем. Этим героем ей виделся сам автор. И каждое слово, которое он говорил сейчас Жаннат со страниц романа, находило самый горячий отзвук в ее душе. Автор словно притягивал ее к себе и вел за своими думами и переживаниями.

Через месяц Даниель вернулся из экспедиции. Отдохнув с дороги в гостинице, он назавтра же поспешил к Жаннат:

— Ну как, понравилась тебе книга?

— Еще бы... еще бы, конечно... Так — не только в романах. Так ведь и в жизни...

Она, заново открыв для себя Даниеля, переживала сложное чувство стыдливой радости и одновременно — горя. Однажды Жаннат уже получила суровый урок за свое легкомыслие, и теперь верх брали рассудительность и спокойствие. Она не могла решиться развестись с Арманом официально. Как он ни обижает ее, как ни огорчает, другого отца детям не найти. Он есть, живой... И бедная женщина старалась не давать воли своему чувству к Даниелю. Что она могла поделать, если сердце до сих пор не приказало окончательно: «Армана нет больше для тебя!»

И вот, когда Жаннат находилась как бы между двух огней, она и встретила ночью пьяного мужа. И это в очередной раз решило все: Жаннат стало жаль Армана... Она знала: если не помочь ему сейчас, он погибнет. И вспомнила наказ свекрови: «Жаннатжан, прошу тебя, не оставляй без надзора Армана. Ты же знаешь его слабохарактерность. Погибнет он без тебя, погибнет...»

Сердце Жаннат только что не разорвалось от жалости и горя. Кажется, никогда не плакала так горько, Утром подошла к нему.

Арман сидел с опущенной головой.

— Прости,— тихо сказал он и отвернулся.

Жаннат без слов взяла с прикроватной тумбочки носовой платок и вытерла слезы на глазах мужа.

— Мне пора на работу,— сказала она.— Но еще успею приготовить чай.

### Глава седьмая

«Судьба играет человеком...» — Кунтуару не раз приходилось слышать эти слова. Правильные они или неправильные — об этом он не задумывался. Но видел, как порой человек чуть ли не с самого детства мечтает стать великим, знаменитым. Кажется, есть у него для этого и способности, и упорство. Только поди же ты — не получается, как задумал. Достигнет определенной ступени по служебной лестнице и — точка. Ему бы дальше расти, а он и на этой-то высоте еле держится. Другой же, далекий от всяких дерзких притязаний, знай себе трудится, что есть сил. И глядишь — судьба вознаграждает его за трудолюбие и скромность. Присмотришься — да у него и способности не хуже и упрямства не меньше, чем у того, первого. Но, оказывается, есть еще одно, не всем заметное качество — честность. И жизнь распорядилась тут очень справедливо.

Кто бы, к примеру, мог подумать, что скромный труженик Нурали так поднимется по службе. Еще вчера он, начальник небольшой экспедиции, затерявшейся в песках, день и ночь

мотался по мертвой пустыне в поисках воды. Сегодня Нурали — руководитель одного из крупных республиканских учреждений! Пенджан же до сих пор — заведующий лабораторией.

Нурали поспешил поделиться радостной вестью о новом назначении с Кунтуаром. Тот был горд за своего способного ученика. Озабоченно спросил только:

— Женишься-то успел?

— Пока нет, — ответил джигит. — Есть на примете одна красавица, учится в Алма-Ате, в институте. Теперь буду рядом, хочу сделать предложение. Однако за положительный ответ пока ручаться не могу.

Кунтуар больше не спрашивал. Зачем? Хорошо, что его юный друг пожелал посоветоваться с ним, своим учителем, о будущей работе. И Кунтуар от души делился своими раздумьями.

Старому археологу вдруг припомнилась трагическая судьба другого инженера — Армана. «Как только приседу в Кайракты, обязательно забегу к ним. Слышал, там совсем дела плохи».

Нурали в душе был благодарен Кунтуару за этот вечер, за его добрые советы. «Если бы побольше было вот таких людей, — подумал он, — насколько легче, увереннее смогли бы определяться в жизни молодые».

Беседа затянулась. Учитель и ученик расстались за полночь. Кунтуар дал слово, что после поездки в Кайракты специально повидается с Нурали.

Прошло порядочно времени с тех пор, как Арман возвратился от Биби сюда, в Кайракты, с тех пор, как старый рабочий Ахметкали первым подал ему руку помощи. Армана приехали на прежний завод, снова зачислили камнерезчиком. Но так же, как и прежде, он все делал механически, без желания.

Добрый Ахметкали относил это за счет тяжелой судьбы Армана. Все надежды были на то, что труд поможет, изменит его. Труд и не таких еще людей ставил на ноги. Однако равнодушные Армана к делу все больше страшил и Ахметкали.

Казалось бы, что надо ему от этого парня? Не брат он ему, не отец. Другой бы давно отступился: мол, живи, как хочешь, погибай, сам до этого докатился! Однако так не мог сделать старый мастер Ахметкали.

В дни своей молодости он испытал немало трудностей. И вот теперь, как увидит, что кто-то из парней ошибся в жизни, тотчас спешит на помощь. Ахметкали поддерживает, направляет оплошавшего до тех пор, пока не поставит на ноги. Так и с Арманом. Может, причина здесь во внешней обаятель-

ности, вежливости, откровенности, доверчивости парня. Ахметкали видел, сердцем понимал: Арману еще можно помочь.

Однажды он сказал:

— Смотрю я на тебя и вижу — не правится тебе эта работа. Может, пойдешь куда-нибудь в другое место трудиться?

— Не знаю...

— А кто же знает? Ты взрослый. Помню, обещал помочь тебе в учебе. Так вот, готовься. Я говорил с одним скульптором, он хочет встретиться с тобой.

Арман почувствовал, как сердце отчаянно забилось в груди. Да, он рад решению Ахметкали.

Назавтра мастер вызвал такси, захватил за своим знакомым скульптором и повез его на кладбище. Там показал памятник, сделанный Арманом.

— Ну что ж, — сказал скульптор. — Сразу, конечно, видно, что работал не мастер. Но парню надо учиться. Вот только семейному человеку трудно будет в том смысле, что стипендия в училище небольшая. Взять бы его учеником к себе, но... у нас не положено по штату. Я помощника себе еле-еле добился.

Новая задача встала перед Ахметкали. Он решил, что и дальше будет бороться за Армана.

Нельзя сказать, что это было легко, но мастер добился своего. Вскоре Армана разрешили принять на работу. Ахметкали сам привел его к скульптору.

— Раньше казах, отдавая в учение сына, обычно говорил мулле: «Мясо твое, кости — мои, только научи его читать». Я почти так же прошу: «Не жалейте его, хоть и устали руки — пусть лепит, хоть и устала голова — пусть думает. Лишь бы научился мастерству». — Ахметкали продолжил это свое почти торжественное напутствие, теперь уже обратившись к Арману:

— Повторяю еще раз — судьба в твоих руках. И оттого, как будешь учиться, зависит — станешь ли ты человеком. Ну, а если понадобится, двери моего дома всегда для тебя открыты.

Ахметкали попрощался и ушел.

Скульптор и его новый ученик в тот же день приступили к делу. Скоро Арман понял, в чем заключается особенность работы тем или другим инструментом, узнал основные способы резьбы и рубки изображений на камне. Да и сам камень требовал пристального внимания. «Один, — пояснил ему мастер, — лучше использовать для изображения на нем людей, другой — птиц и зверей. Важно учитывать свойства камня: хрупкий он или прочный, стойкий против жары и холода или нет, каков его удельный вес, помнить, в какой климатической зоне лучше использовать гранит или мрамор».

Так Арман усваивал азбуку работы скульптора. Постепенно трудное искусство захватывало его все больше. Хотелось самостоятельно, своими руками выполнить какое-то задание. Скульптор приметил нетерпение ученика.

— Не торопись, мой джигит, не торопись,— говорил он Арману.— Скоро, возможно, и ты порадуешь нас своим мастерством...

Однажды, когда они работали над одним, очень ответственным, заказом, в мастерскую вошел бородатый мужчина. Бледное лицо его было покрыто лучами мелких морщин. На парусиновых брюках и вытертом на плечах пиджаке — сплошь разноцветные пятна от масляной краски. На голове бородача старый-престарый берет.

— Привет моим дорогим труженикам! — бодро вскинул руку мужчина.

Скульптор обернулся:

— Приветствуем тебя! Что, вышел на работу?

— Вроде бы так.

— Долгонько тебя продержали в твоих пенатах.

— Да, вылезился от одной хвори, привязалась другая — радикулит.

— Известно, какой у тебя радикулит.

— Можешь, маэстро, квалифицировать, как угодно.

Скульптор произнес в расстройстве:

— Сведешь ты себя в могилу, помани мое слово...

Человек заинтересовал Армана. Вот сейчас он прищурился с хитрецей и произнес:

— Э-э, все равно умирать.

Ничего не ответил на эти слова старый мастер. Только предложил:

— Вот, знакомься, дали ученика. Обещает быть настоящим специалистом.

— А-а, вон оно что... — На мгновение лицо мужчины приобрело довольное выражение и тотчас — снова как морщинистая маска. — А я подумал, что на мое место приняли другого...

Скульптор рассмеялся:

— Будешь так пить, доживешь и до этого дня.

Засмеялся и мужчина:

— С тобой спорить бесполезно, ты же начальство! А начальству, говорят, всегда виднее.

Мастер, и на этот раз ничего не ответив, обратился к Арману:

— Теперь можно познакомить и тебя. Это мой помощник Моисей.

— Не спутай, малый! Не святой Моисей, а... пьяница и неогоненный кладезь таланта.

Скульптор отошел от фигуры, которую лили из гипса, вытирая руки, сказал:

— Раз вышел на работу, то приступай, бери эскизы и доделывай модель. Подключи к работе и Армана... А мне надо по делам в горсовет.

Моисей взял ватман, внимательно стал рассматривать эскизы, что-то напевая себе под нос. Затем поставил эскизы к стене и спросил Армана:

— Знаком со скульптурами Микеланджело и Родена?

— Нет...

— Даже не видел их репродукций?

— Не видел.

— Вот чудеса!— удивился Моисей.— Не видел этих великих творений и уже мечтает стать мастером. О, бедное искусство! Даже и не подозревая о твоих великих секретах, каждый, кто только вздумает, лезет в мастера. И такой, с позволения сказать, скульптор затем наводняет парки, скверы и улицы теннисистками с ногами слона и бедрами едильбаевской овцы!

Он выкрикнул все это зло, быстро и также быстро смолк. Посмотрел снова на Армана, весело засмеялся:

— Ничего, не довелось видеть Микеланджело и Родена, и не надо. Вместо них перед тобою сам Моисей. У него, брат, тоже полезно кое-чему поучиться. Главное, чтобы у тебя самого был талант и умение видеть и ценить истинную красоту.

Моисей надел свой выдавший виды черный халат, засучил рукава и принялся за работу. Руки его заиграли, гипс стал податливым.

— Здорово!— зачарованно говорил Арман.

— Что здорово?— не совсем понял его Моисей.

— Здорово вы работаете!

— Э-э, дорогой! Если бы у меня не было мастерства, разве меня держали бы на работе?

В последующие дни Арман все больше убеждался, что Моисей — действительно мастер-золотые руки, а кроме того — шутник и человек широкой натуры. Он говорил своему ученику:

— Искусство подвластно только талантливым людям. Но таланту научиться нельзя, с ним надо родиться.

— А искусству?

— Да как ни крути, а коли нет божьей искры в душе, то ни художника, ни скульптора из такого человека не получится.

Однажды Моисей работал особенно вдохновенно, а когда закончил, откинулся на стуле и так сидел, словно враз состарившись и потеряв интерес ко всему окружающему. Потом, очнувшись от забытья, взглянул на Армана:

— И сколько же ты даешь мне лет?

Арман все еще находясь под впечатлением виденного, постарался ответить искренне:

— Думаю, только сорок.

Заведующий мастерской и Моисей переглянулись.

— Угадал!— сквозь смех сказал Моисей. И потом серьезно добавил:— Мне, старина, двадцать восемь недавно исполнилось.

— Шутите? Неужели всего на год старше меня?

— Выгляжу я старым, сам знаю. Это оттого, что умный очень.

— Тоже мне умник,— вмешался заведующий.— Сознайся, что зеленый змей, с которым не можешь расстаться, тебя загубил. Если бы меньше пил, прожил бы сто лет!

— Кто это сказал, что питье старит человека? По-моему, даже медицина такого заключения не сделала.

Скульптор посмотрел на Моисея с огорчением:

— Не знаю, но тебе, кажется, пора к медицине обратиться.

— Значит, если брошу пить, буду бессмертным?

— Почему бессмертным? Никто не вечен. Но ведь и умереть-то человеку надо по-человечески.

— Мертвому безразлично...

«Это правда,— подумал Арман.— Раз умер, то не все ли равно, как? Все не безразлично, пока человек живой. Пить запоем — не годится, ну а если иногда для настроения?»

В этот же день скульптор отозвал Армана в сторону и сказал:

— Я еду в Москву. За меня останется Моисей. Постарайся за это время перенять у него отливку модели в гипсе. Моисей в своем деле большой мастер.

Почувствовав свободу, Моисей уже через неделю запил сам, потянув за собой и ученика. Случилось так.

В день зарплаты Арман самостоятельно отлил из гипса свою первую модель. Моисей критически осмотрел работу и сказал, покровительственно хлопывая своего подопечного по спине:

— Да у тебя, оказывается, талант! Чтобы твоя модель не развалилась, надо ее обмыть!

Арман обрадовался предложению.

— С удовольствием!— охотно ответил он.

С этого и началось...

Теперь они часто встречались за бутылкой. Почти всегда — в доме Моисея. Здесь же гость нередко и ночевал.

В один из таких дней, когда ноги не в силах были донести Армана до дому, он забрел в парк, чтобы прикорнуть на скамейке. И тут увидел прогуливающихся по аллее Даниеля и... свою жену. Он почувствовал злобную ревность. Это ли не причина «заглушить горе водкой»?!



...Разум взял верх над сердцем Жаннат. Она снова подавила в себе разгоревшееся было чувство к Даниелю. «Так надо, так надо,— убеждала женщина себя.— Арман — отец моим детям!»

Встретившись с Даниелем, как могла, объяснила ему все. «Я сама привела его домой». Даниель был сражен этими словами. Возмущение, жалость и восхищение — все смешалось в охватившем его чувстве к Жаннат. И снова угас блеснувший было впереди свет надежды.

А Жаннат дома говорила мужу:

— Как бы ни дороги были мне дом и семья, мы не сможем вместе, если...

— Клянусь тебе, Жаннат, этого больше никогда не повторится!

— Что ж, в противном случае — пеняй на себя.

Ей хотелось, всем сердцем хотелось поверить ему. Она старалась держать себя в руках и не думать о Даниеле. С утра до ночи хлопотала по дому. Арман работал в скульптурной мастерской, и Жаннат надеялась, что, может быть, со временем все устроится, что все еще можно поправить.

Однако вскоре Арман явился домой пьяным. Жаннат со слезами на глазах смотрела на него:

— Если и завтра... двери дома для тебя будут закрыты... Так и знай.

Но это случилось не завтра, а через два дня. «Что делать? Не пустить домой, как обещала... Но... могут увидеть соседи... — сокрушалась Жаннат. — Пусть проспитя, утром как следует поговорю!»

Проснулась она довольно рано и вышла в переднюю, где спал муж. Однако там Армана уже не оказалось. То ли стыд, то ли желание выпить выгнали его из дому еще на рассвете.

Теперь Арман то исчезал на три-четыре дня, а то и не появлялся целыми неделями. Жаннат все чаще одолевали мысли о том, что он никогда уже не остановится, никогда уже не будет человеком. «Неужели действительно нет у меня другого выхода, кроме развода. Но что люди скажут? А как помочь ему, как? Может, пойти к его директору? Однако с каким лицом я туда явлюсь? Может, они и сами там не знают, как отделаться от такого работника? Ухватятся за мою жалобу... И просто-напросто выгонят Армана из мастерской. В другом месте он и сам работать не сможет... Как же его спасти?»

Однажды после очередного недельного отсутствия Арман явился домой. Утром ни с кем не разговаривал, молча пил чай. Жаннат сказала:

— Что же дальше перед тобой... одна погибель...

— Знаю...

— Или тебе не жалко своих детей? Лечатся же люди от этой проклятой водки, есть же лекарства...

— Слышал. После таких лекарств... выпьешь и — конец.

Жаннат не выдержала:

— Да лучше умереть, чем так жить!

Арман и в самом деле надумал лечиться. Однако спешить с этим делом не хотел. И все оттягивал: то какой-то документ не оформил, а без него не примут, то свободных мест в больнице не оказалось. Когда подходил срок ложиться, он в тот день напивался, а дома говорил: «Это в последний раз».

Опять пришла весна. Опять лились на землю теплые ласковые лучи — солнце щедро дарило свой живительный свет. Опять проталины на пригорках, звонкие ручьи в низинах. Первые подснежники... И первые скворцы, неугомонные в каких-то своих заботах и хлопотах...

Жаннат любила это время. Время пробуждения всего живого и обновления. Хотелось жить, работать, любить... Хотелось счастья.

Вот в такое беспокойное время, весной, снова приехал в Кайракты Даниель, чтобы собрать новые данные для книги, над которой работал. Нет, он не искал в этот раз встречи с Жаннат. Она сама увидела его случайно на улице. И в первый миг — не узнала. Что он — увлекся спортом? Или известность, почет после выпуска первого романа принесли ему такое внутреннее удовлетворение и веру в себя, что Даниель так изменился? Он возмужал и казался еще стройнее и привлекательнее. Даже шагал как-то по-иному — увереннее и тверже.

С этого дня Жаннат безотчетно для себя ждала его звонка. Старалась не уходить лишней раз из дому, надеялась: вот-вот даст знать о себе. Но звонка не было. «Конечно, он забыл меня. Отдал сердце другой...» — терзалась Жаннат. Правду говорят: если хочешь оценить что-то, то надо это что-то потерять. Жаннат только сейчас в полной мере поняла, какое место занимал в ее сердце и жизни Даниель. Наконец, она не выдержала и сама позвонила к нему в гостиницу.

Даниель поднял трубку:

— Кудайбергенов вас слушает.

— Это я, Жаннат...

И больше не смогла вымолвить ни слова. Голос оборвался. Она бросила трубку — из глаз полились слезы.

Минут через десять звонок снова заставил поднять трубку.

— Жаннат? — Узнав голос Даниеля, она еле сдерживала рыдания:

— Да... Я...

— Ну, как жизнь? Не ты ли звонила сейчас?

— Я...

— Что случилось?

— Ничего.— Жаннат успела справиться с собой. И уже несколько решительнее добавила:— Просто давно не виделась. Вот взяла и позвонила.

— Мне самому очень хочется повидать тебя. Все порывался позвонить, но... как-то неудобно.

Сердце Жаннат гулко забилося. Она не стала сдерживать своих чувств, воскликнула радостно:

— Правда?!

— Правда!

Они договорились встретиться в парке. Даниель явился туда раньше обещанного. А Жаннат... Она все еще мучилась: «Надо или не надо видаться с ним?» Хотя ведь уже шла. Шла. И все же: «Надо или не надо?» И тут же удивлялась: куда девалось только что сжигавшее ее желание видеть Даниеля? Ее словно заморозили. Но... стоило сделать последний шаг и... оцепенение прошло.

— Жаным<sup>1</sup>, здравствуй!— Впервые за последние пять лет Жаннат назвала его, как прежде, и протянула обе руки.

Он без слов обнял ее.

В парке зажглись электрические фонари. Даниель и Жаннат шли к скамейке под раскидистым дубом.

В это-то самое время и заметил их Арман. Сложное чувство обиды и стыда охватило его. И он постарался уйти из парка незамеченным.

— Не видел тебя целую вечность,— говорил между тем Даниель.— Расскажи все по порядку.

И Жаннат рассказала, как ни тяжело было ей,— рассказывала все.

Выслушав горестный рассказ, Даниель взял ее за руки, чуть привлек к себе, с волнением спросил:

— Я понимаю, тебе тяжело очень... Но что же я могу поделать? Сама-то в чем видишь выход?

— Надо все-таки помочь ему, все-таки бороться за него. Если брошу — пропадет. Но я также поняла, что...

Даниелю хотелось прижать к себе Жаннат, приласкать. Но он сдержался.

— Пойдем,— предложила она.— Я рада, что мы повидались.

— Пойдем,— тихо согласился Даниель.

«Неужели же нашей любви суждено закончиться вот таким образом?— думала Жаннат.— Или? Нет, нет. Остаться с Даниелем — значит грешить против Армана».

---

<sup>1</sup> Ж а н, ж а н ы м — дорогой.

Как сквозь сон, до ее слуха дошли слова Даниеля:

— Я по-прежнему... Я очень люблю тебя. И это самое главное, что могу сейчас сказать.

Они оба поняли: Арман твердо стоит между ними, и ни тот, ни другой ничего не в силах предпринять, чтобы преградить этой на пути их любви не было.

«Помочь Арману...» «Помочь...» Договорились так: когда Даниель будет возвращаться в Алма-Ату, он забрет с собой и Армана. Там положит его в лечебницу.

Первый раз эта мысль осенила Армана после того, как он признал себя виновником в смерти матери. Потом об этом же подумал, когда его выгнала из дома Биби, и он не знал, куда деваться. Эта мысль пришла в голову, когда выпроводил его Жаксыбай. И вот сейчас не мог отвязаться от нее, неотступной, навязчивой.

Окончательно Арман укрепился в правильности своего решения, когда в парке увидел Даниеля и Жаннат. Ему показалось: счастливее их нет сейчас никого на свете. Сердце ждалось. Что это — ревность? Возможно... Арман понял, что любит Жаннат. Любит... Но постоять за себя, постоять за нее — на это уже нет сил. Кого винить? Кому нужен он, такой? Стоит ли тогда жить?

А тут еще дома — с плачем прибежал сынишка, бросился на кровать, отвернулся к стенке...

— Что? Случилось-то что? — не отходила от него Жаннат.

И мальчишка, указывая на отца, сквозь слезы, прокричал: — Он нас перед всеми... перед всеми опозорил! Там фотографии на улице... Под стеклом... все видят!..

Это было правдой. Наутро Арман все же пошел посмотреть на собственное изображение. Он сидел возле лужи, недалеко от садика, рядом — пустая бутылка. Потемнело в глазах. Однако угрызение совести жгло недолго. Теперь онпил «с горя».

Однажды завернул на работу и узнал, что его еще несколько дней назад уволили. Мастер завел в свою каморку и с глазу на глаз сказал:

— Ты, парень, не без таланта. Я уж говорил тебе. Но вместо того, чтобы заниматься делом, рубишь сук, на котором сидишь! Так что не пеняй ни на кого теперь. Виноват сам. Ну, а если одумаешься и будешь нуждаться в моей помощи — приходи...

Арман словно онемел: такого оборота он не ожидал. Верно, пил он, но в сознании прижилась мысль, что мастер с этим как-то смирился. А тут — вон как.

— Значит, выгоняете? — спросил Арман почти шепотом.

— Нет, Выгоняешь себя ты сам. Я принимал тебя даже в нарушение финансовой дисциплины. Всех уговорил — надо поддержать, человека, надо помочь... В тебя поверили, а я... я и сейчас верю — не конченный ты человек, к делу нашему у тебя душа лежит. Разве я не вижу? Только главное зависит от тебя самого.

Арман — в который раз! — искренне расквандался и осуждал себя. Чуть не плача, вышел он из мастерской и побрел по улице.

Денег, которые получил при расчете, хватило дня на два, займы никто не давал.

Словно побитая дворняга, через силу волоча ноги, он доплелся до дому. Закрылся в своей комнате и вот уже вторые сутки никуда не выходит. Ни сна, ни покоя. Им завладела одна-единственная мысль: «Как жить? Зачем жить? Выхода у него нет: он сломлен, он побежден. Все презирают его и ненавидят».

И вдруг, как прозрение, — картины из детства...

Они с матерью только что переехали в дом Ергазы. Тогда тоже была вот такая дружная теплая весна. Только воспринимал он ее совсем по-другому.

Удивительно, как до подробностей он помнит один такой день.

Его приняли в пионеры. С развевающимся галстуком, сияющий, прибежал домой. Бросился к матери, с гордостью похвалился:

— Я теперь пионер!

— Поздравляю, душа моя!

Отчим, который стоял чуть в сторонке, засмеялся:

— Пионер — это хорошо. А скажи, кем будешь, когда вырастешь?

— Буду маршалом, как Рокоссовский!

Мать и вовсе расчувствовалась, горячо расцеловала сына:

— Будешь, будешь генералом и маршалом.

Вот кем стал он теперь... Алкоголиком! Пьяницей! Прожил почти тридцать лет и... Кому он теперь нужен? Никому.

— Никому не нужен! — нечаянно вырвалось у него вслух.

Жаннат в этот момент вышла на кухню. Даулет, помогая матери, расставлял пиалы на столе. Не прошло и двух минут, как из комнаты Армана послышался незнакомый хриплый голос.

Сердце Жаннат враз оборвалось. Она поняла все и выронила из рук чайник. Не обращая внимания, что обожгла кипятком ноги, бросилась в комнату мужа. Теряя сознание, упала тут же, у порога. Последнее, что увидела сквозь помутившийся взор, — это окровавленное тело Армана на полу у окна.

В комнату заглянул Сакен и с ревом кинулся обратно на

улицу. Тут и повстречал его Даниель. Быстрым шагом он вошел в дом. Поняв, что случилось, метнулся к телефону.

— Ах, почему же это я опоздал! — упрекал он себя, набирая номер скорой помощи.

В этот день Даниель с отцом как раз вернулись из экспедиции в Кайракты. Кунтуар, узнав о смерти Армана, тоже сокрушался, что не смог вовремя подоспеть.

— Пьянство... — говорил Даниель. — Слишком рано он пристрастился к вину. Вот алкоголь и доконал парня.

— Не только это, — отозвался на слова сына Кунтуар. — Само пьянство было следствием многих причин. Покойная Акуль всю жизнь дрожала над ним. Все, что ни сделает он плохого, старалась скрыть, все хорошее — преувеличить. Слепая любовь. Она никогда еще не доводила до хорошего. Умерла мать, и Арман не смог, не сумел противостоять первым же трудностям. Казалось, в вине — спасение или хотя бы облегчение страданий. Приходило привычное ощущение беззаботности... Вот в чем его трагедия.

— Да, вернись мы раньше сюда хоть на день! Я бы увез его с собой. Ведь так и решали.

## Глава восьмая

— Приехал к тебе поговорить, — сказал Кунтуар, усаживаясь в мягкое кресло около массивного стола, напротив Ергазы. Тот, как сидел, так и не встал, не поприветствовал старого друга.

— О чем?

— Да обо всем понемногу. О жизни, о нас с тобой, об Армане...

— Любопытно. Если мы с тобою поговорим сейчас об Армане, он воскреснет, что ли?

— Зачем молоть вздор? — отрезал Кунтуар. — Ты же его отец, хоть и неродной. Даже кошка, и та облизывает подброшенного ей щенка.

Ергазы рассмеялся:

— Ну, давай, давай! Выкладывай! Небось, и слово «кошка» вылетело у тебя не случайно. Говорят, меня так за глаза кличут все мои недруги.

...Смерть Армана так опечалила старого археолога, что он несколько ночей не мог уснуть. Все перебирал в памяти его жизнь и пришел к выводу, что не один Арман повинен... Повинны в его гибели и некоторые друзья-товарищи. И Ергазы. Разве в том дело, кровный он тебе сын или нет? Раз вырос на твоих руках, значит — родной. Ты в первую голову и в ответе за его судьбу.

Кунтуар знал черствую натуру Ергазы. И еще тогда, когда на могиле Акгуль обращался к нему с просьбой: «Стань теперь и отцом и матерью для детей, их защитой», — уже сомневался — будет ли так? Сомнения подтвердились.

Ему стало больно и неловко за Ергазы, когда услышал, что тот, чуть ли не сразу после смерти Акгуль, женился. Слышал и то, что отчим отказал в крове семье Армана.

Сам Кунтуар каждое лето жил безвыездно в экспедиции, а зимой — далеко от Кайракты, в Алма-Ате. И никак не удавалось ему повидаться с Арманом, хотя очень этого хотелось.

Однажды, правда, случилось забежать к ним, но оказалось, Арман укатил с какой-то женщиной в Алма-Ату. Когда же археолог возвратился в Алма-Ату и стал разыскивать Армана, там ему сообщили — уехал обратно в Кайракты!.. Таким, как Арман, нужна была в жизни твердая рука. Кто, если не Ергазы, должен был подать ее в первую очередь?

И вот не выдержал Кунтуар, пришел к старому другу поговорить один на один. «Что тогда значу я как человек, если не напому другу о долге, совести и чести?» — думал старый археолог.

Происшедший разговор — начало их долгой беседы...

— Да что же тут удивительного? Все говорят: повадки у тебя, что у кошки, — отвечал Кунтуар. — Только ведь и у кошки много хороших качеств.

— Конечно, кошка ловит мышей! Это, что ли, хочешь ты отнести к ее заслугам?

— Почему же только это? Кошки любят своих котят. Защищая их, готовы пожертвовать собственной жизнью. А ты спокойно наблюдал, как гибнет собственный сын, совершенно здоровый парень.

— Арман мне не сын, ты знаешь это прекрасно! — разозлился Ергазы. — Я никогда не считал его сыном, не хочу считать и сейчас, после его смерти!

— Вот в этом-то вся беда. И все же воспитывал его ты!

— Никакому он воспитанию не поддавался! Я всегда знал, что Армана исправит только могила!

— Я думаю, дело в другом: чтобы воспитывать других — самому надо быть воспитанным. Хоть раз в жизни загляни в собственное нутро. Верно ли — идти по жизни, не сделав ни одного-единственного шага, который не принес бы пользу лично тебе?

Ергазы не стерпел, перебил Кунтуара:

— Я что, должен приносить пользу лично тебе, что ли? Видно, только и осталось мне — написать за тебя кандидатскую, которую ты до старости никак не одолеешь?

— Брось юродствовать. Не написал я ни кандидатской, ни докторской. Это только моя вина. И ни на чьи плечи я ее не

сваливаю. А ведь случается, и профессор, и доктор наук не скажут нужного слова в науке, не помогут решить сложную хозяйственную проблему. Но сейчас речь о другом: родительские обязанности, товарищеский долг, честь и совесть... То великодушные, без которого невозможно человеку жить на свете. Наконец, зависть.

— Наверное, я завидую тебе, несчастный! — захохотал Ергазы.

— Нет, я не несчастный! Мое счастье — это моя работа. Без настоящего дела — это действительно жалкий человек.

— Догадываюсь. Снова имешь в виду меня! По-твоему, я человек без таланта?

— Скажу прямо. Когда-то мне казалось, что ты талантлив. Поэтому почитал тебя и ценил. Но все способности ты истратил на свою карьеру и этим обокрал себя. Да не только себя, но и тех, кто возлагал на тебя надежды.

Ергазы от волнения весь покрылся красными пятнами.

— Пусть твое сердце не болит за меня! Как-нибудь обойдусь без правочений! — кричал он, вскочив с места.

— Ты забыл, Ергазы, одну истину. Друг говорит правду, которая заставляет плакать, враг — ложь, вызывающую довольную улыбку. Я все еще считаю себя твоим другом. И желаю только добра.

— Послушать твои советы, так получается, что мне надо заново родиться!

— Я прошал тебе все. И советы, которые ты давал Пенджану по поводу пасквильной статьи на меня, и старания закрыть экспедицию, обвинить меня в растрате государственных средств. Простил и твои хлопоты об отправке меня на пенсию до получения результатов работы экспедиции, и еще многое. Но смерть Армана — никогда не прощу.

В этот момент в кабинет с радостным лицом решительно вошел один из сотрудников Ергазы.

— Поздравляю вас! — обратился он к своему директору. — Только что узнал: президиум допустил к голосованию при выборах в академики две кандидатуры — Пенджана и вас!

— Неужели обоих?!

— Да. Оказывается, в каком-то другом отделении была вакансия. Ее передали общественным наукам, а потом — и нашему институту. Утверждение президиума — это уже без пяти минут академик! Так что примите мои поздравления!

— Вот оно, что такое счастье! — воскликнул Ергазы.

Кунтуар улыбался. Да, для такого человека главное — звание.

«Ну, как себя чувствуешь, несчастный?» — глядя на Кунтуара, всем своим видом словно спрашивал Ергазы, а вслух сказал:



— Счастье — это достижение намеченной цели.

— Но у тебя же была цель — стать членом-корреспондентом?

— Ничего! Я принимаю его и таким!

Кунтуар опять улыбнулся: «Еще бы не принять!»

Вошла новая секретарша Ергазы.

— Извините, товарищ директор, — вежливо обратилась к нему девушка. — Я не совсем поняла. Кто-то звонит по телефону. Передал, что ваша жена уехала... улетела... — Девушка смутилась. — Возьмите сами трубку...

— Она в своем уме? — возмутился Ергазы, бледнея. И непонятно было, о ком он спрашивает: о секретарше или о жене. Дрожаящими руками он схватил трубку телефона: — Профессор Аюпов!

Голос с того конца провода ясно прослушивался на весь кабинет.

— Извините, — говорил хрипловато мужчина, — ваша жена улетела с одним нашим летчиком в Ленинград. И просила передать... что больше не вернется.

— Когда улетела? С кем?

— Сегодня утром. А с кем, так это теперь не все ли равно? Я исполняю только просьбу. Извините, больше ничего сказать не могу. — В аппарате раздались короткие гудки.

Некоторое время Ергазы сидел с телефонной трубкой в руках, потом стал медленно сползать с кресла на пол.

— Воды! Скорее воды! — крикнул Кунтуар секретарше. Сам бросился поддерживать Ергазы. Но тот быстро пришел в себя без посторонней помощи. Поднялся на ослабевших ногах, снова осторожно сел на свое место. Чуть живая, рядом стояла секретарша со стаканом воды.

В этот момент Кунтуару было искренне жаль старого друга.

Была щедрая алма-атинская осень. Прохладный ветер, вырвавшись из ущелья, срывал желтые, красные листья с берез, осин, кленов. И стлал их под ноги прохожих золотисто-багряным мягким ковром. А здесь, возле дома с железной крышей, листья лежат нетронутыми. И в постаревшем саду все та же гармония, тот же уют. Тихо, кругом ни души.

Но нет, в конце длинной аллеи показались двое. Они идут к дому медленно, держась за руки. В походке, в движениях — спокойная уверенность. Эти двое — Даниель и Жаннат.

— Для меня было единственным выходом — уехать, — говорила Жаннат. — Армана не воскресить. Я ему больше не нужна. Ты здесь... Сколько еще можно было сидеть возле Ергазы. Да теперь и он хотел, чтобы мы убрались подальше.

— Очень правильно поступила! Я ведь сам уже собрался поехать за вами. Но что же Ергазы? Ведь он всегда отличался неплохим здоровьем? Что стряслось с ним?

— Тогда, выслев нас, он женился на молодой женщине. А та оказалась хороша: бросила ребенка, прихватила драгоценности из дома Ереке и улетела с одним летчиком. Старик был потрясен. Я боялась, что умрет. Не успел встать на ноги, как подкосила еще одна весть. В члены-корреспонденты его забаллотировали.

— Ну, а потом что было?

— После того, как Ереке не прошел на выборах, он сразу переехал в Кайракты. И... тут вскоре его разбил паралич...

— До чего доводит людей честолюбие!

— Да, его жизнь наказала. Он никогда никого не любил, кроме себя. Теперь понимаю, как тяжело было рядом с ним бедной Акуль.

— А потом? Как сложились ваши отношения и жизнь после этого?

— Он попросил разыскать меня. Как было ни обидно, а в таком положении не помочь человеку нельзя. Около трех месяцев я присидела у его постели, ухаживала, как могла. Потом он стал поправляться, стал ходить, оформил пенсию. Чувствую, что дети мои стали ему мешать. Он же никогда не терпел их шума-гама. Нам предложил — съездить куда-нибудь, хотя бы... отдохнуть. Пенсия у него хорошая...

— Молодец, что решилась приехать в Алма-Ату...

— Спасибо за твое великодушие,— взволнованно сказала Жаннат.— Судьба покарала меня за все муки, которые я причинила тебе. Сейчас готова стать твоей рабыней.

— Ну и вздор тебе пришел в голову!— засмеялся Даниель.— Я так намаялся без тебя, что с радостью сам готов стать твоим рабом! Так что, моя милая, будем жить друг для друга. Наше будущее обязательно должно быть счастливым. Слишком трудно мы к нему шли.

— Да неужели кончились мои слезы?!— говорила растроганная Жаннат.

Она еще долго гуляла, не проронив больше ни слова.

— Отец будет рад, когда узнает о нашей женитьбе.

— Я очень хочу, чтобы было так, но...

— Что же тебя смущает?

— Я же не одна, со мною двое моих малышей. А твой отец долгие годы прожил в одиночестве, наверное, привык к покою и тишине.

Поняв, что тревожит Жаннат, Даниель попытался объяснить ей все как можно спокойнее:

— Пусть тебя судьба детей не тревожит. Чем они виноваты, что родились от другого отца? С сегодняшнего дня это не

только твои, но и мои, наши общие с тобой дети. А отец будет только рад ребятишкам в доме.

Жаннат снова разволновалась:

— Спасибо тебе, дорогой мой...

Кунтуар одобрил решение сына жениться на Жаннат. Вскоре сыграли свадьбу. Теперь просторный дом Кунтуара с зеленым пышным садом, много лет хранящим таинственную тишину, наполнился голосами и смехом детей.

Да и сам археолог будто помолодел. Все дни он проводил за своим письменным столом, как никогда в молодости, работал много и вдохновенно.

Эти светлые дни его жизни однажды снова были омрачены. Причиной этому стал опять Пеилжан.

Его счастье, в отличие от Ергазы, было сейчас в зените, как восходящая звезда. Ергазы, тот любил наслаждаться удачей наедине, затаившись. Пеилжан же торжествовал в окружении единомышленников, во всем поддерживающих его. Если Ергазы чаще верил только в свои силы и авторитет, то этот всегда опирался на авторитетных и сильных людей. Для них не жалел ничего. Свой корыстолюбивый и своенравный характер Пеилжан проявлял только в том случае, если имел дело с людьми, которых считал слабее себя. Тех, кто выше по званию и чину, поддерживал: пусть они были неправы, кричал, что мысли их глубоки и гениальны, даже если на самом деле они были никчемны. Теперь он вращался во влиятельных кругах, потому что был и академиком, и членом высшей аттестационной комиссии по присуждению ученых степеней. Воспользовавшись своим положением, Пеилжан написал отрицательное заключение на диссертацию Кунтуара. Об этом вчера и узнал старый археолог от одного из своих давних товарищей.

Сначала Кунтуар расстроился, потом взял себя в руки: «Ничего, ничего... Надо просто работать. Причем здесь кандидатство?»

И он работал. Работал, как одержимый, еще не зная, что из-за ложных выпадов в его адрес, из-за ложных обвинений Пеилжан накликал подозрение на свою голову.

Когда в Академии наук узнали о заключении на диссертацию Кунтуара, то резко осудили поступок Пеилжана. Заключение не соответствовало действительным фактам.

Несколько ученых под руководством академика Вергинского обратились в ВАК с официальным письмом по поводу работ Кунтуара Кудайбергенова.

Вскоре пришел ответ. Сообщалось, что письмо и предложения, высказанные в нем, рассматриваются специальной

комиссией. Председатель комиссии просил прислать ему все книги известного археолога.

Вергинский не нашел в своей библиотеке нескольких работ Кунтуара. Потому и пришел сейчас к нему домой.

Кунтуар сидел, как всегда, у распахнутого окна в своем кабинете.

— Каким ветром занесло тебя ко мне, дорогой мой?!— поднялся хозяин дома навстречу другу.

— Я не перекажи-поле, чтобы меня гнал ветер,— отшутился Вергинский.— Смотри, полатишься за свое панибратство одним голосом, когда будешь избираться в академики.

— Не пугай,— остановил его, улыбаясь, Кунтуар.— Уж здесь я знаю точно — не ты вершитель моей судьбы.

— Что, забыл пословицу: если бог захочет, то и в двадцать лет можно стать лысым.

— Старо, а заставить лысеть человека — это в силах кое-кого из наших общих знакомых. Один такой — не то, что волос на голове, но даже трудов, которые создавались на протяжении тридцати лет, не оставил в помине.

— Кто же такой смелый?

— Не беспокойся, конечно, не ты.

— Да можешь и не говорить. Это для меня уже не секрет.

— Откуда же стало известно?

— Э-э, только драгоценности не сразу видны, все дешевое всегда лежит на поверхности.

Вергинский тоже не назвал имени Пеплжана.

Старые друзья допоздна засиделись в беседке сада. Вспоминали школьные годы, университет, все пережитое.

Уже прощаясь, Вергинский попросил Кунтуара подарить ему несколько своих книг и назвал их.

— У тебя же, наверное, сохранились. Дай по одному экземпляру.

— Что это ты надумал вдруг? Зачем они понадобились тебе?— спрашивал его в свою очередь Кунтуар.

— Да хочу еще раз кое-что посмотреть.

Прошел еще год, а точнее — пролетел. Но отличала его не только стремительность времени. Главное — результаты сделанного.

В этот знаменательный год бескрайние сыпучие пески, в самой сердцевине которых только вчера работала Кайрактинская археологическая экспедиция, покрылись водами бескрайнего моря. Сегодня, срезая гребни белых бурунов, здесь проносятся моторные лодки и катера. Над ними с криком кружатся морские чайки...

На берегу — гости, прибывшие на пуск Сырдарьинской гидроэлектростанции. Питать станцию будут воды Сырдарьи, падающие с плотины в море. Среди гостей — гидрологи, которых возглавляет академик Вергинский. Рядом с ним — Амирбек. Невдалеке — Жаркын. Он назначен директором ГЭС. Здесь же и вчерашний начальник экспедиции гидрогеологов, а сегодня руководитель крупного учреждения в Алма-Ате — Нурали, много других специалистов.

Прибыл сюда и Кунтуар. Он теперь доктор исторических наук, на выборах этого года был избран в академики. Рядом с ним стоят Михайлов, Даниель, Ергазы, молодая врач Кушимжан, нынче окончившая медицинский институт и приехавшая сюда на работу. Ергазы уже год, как на пенсии. Кунтуар привез его сюда специально. Есть для этого своя причина...

Как бы Кунтуар ни обижался на друга, но прибыв в Кайракты, решил зайти к нему справиться о здоровье. «Дружба ли, вражда ли — все теперь в прошлом. — Неужто до самой смерти так и держать друг на друга зло?»

Ергазы тоже рад был Кунтуару. Здоровье его поправилось. И он постепенно начал втягиваться в работу: просматривал написанное ранее. «Оказывается, человеку, привыкшему всю жизнь трудиться, нелегко сидеть без дела, — говорил Ергазы. — Иногда просто не знаю, куда девать себя». После того, как они пили чай, Кунтуар сказал:

— Грех мне — приехать в Кайракты и не помянуть Акгуль. Давай отнесем цветы на ее могилу. Да и Арман тоже там...

— Я и сам хотел... днями... Хорошо, что ты пришел, пойдем вместе, — согласился Ергазы. — Подожди только, такси вызову.

На кладбище Кунтуара ожидал сюрприз. Он сразу обратил внимание на памятник, который вытесал из серого мрамора для своей матери Арман.

Ергазы, видно, раньше тоже не видел этой скульптуры. Он медленно подошел к Кунтуару. Долго и пристально всматривался в изображение.

— Как же похожа! — только и смог выговорить он, удивленный.

В сознании всплыли далекие дни молодости, открытый взгляд и милостивое лицо Акгуль и... этот мальчишка, которому он так и не стал отцом, которого так и не сумел вовремя поддержать.

На кладбище он плакал тихо, почти беззвучно. Было и странно и страшно смотреть на эти вздрагивающие плечи, но Кунтуар не остановил его, хотя опять искренне пожалел и посочувствовал горю: «Пусть муки свои облегчит слезами». Потом подошел, тронул за плечо:

— Надо ехать... Пора...

— Ты уезжай, — ответил Ергазы. — Я еще побуду здесь.

Но Кунтуар не оставил Ергазы одного. В тот же вечер они долго и мирно беседовали. Кунтуар поделился своими соображениями о существовании высокой культуры еще до э. н. э. И пригласил Ергазы работать вместе.

Этот сегодня он и привез друга с собой на берег моря. Здесь надеялся поговорить с академиком Вергинским о возвращении Ергазы на работу. Основания веские — человек здоров и полон сил.

— Ты только взгляни, взгляни, какая красота кругом, — говорил между тем, обращаясь к нему, Вергинский. Широким жестом руки он указывал на морские дали, уходящие за горизонт.

Но Кунтуар далек был от того, чтобы полностью разделить этот восторг. В ответ он печально улыбнулся:

— Вода закрыла не только вчерашнюю жизнь, которую мы изменяем к лучшему. Кто может поручиться, что под морем не остались еще какие-нибудь ценнейшие памятники, еще какая-нибудь неизвестная культура?..

Академику стало от души весело, он рассмеялся:

— Так с какой же, думаешь, стати мы почти десять лет держали здесь твою экспедицию? Да ты и так многое доказал!

— Так-то оно так, за это, конечно, спасибо. А все-таки...

— А все таки хочется до самого донышка докопаться, да? Но ведь и море это — не прихоть наша. Пустыня, которая веками лежала мертвой, сегодня, наконец, ожила по требованию времени и народа.

— Да, это веление жизни.

...Кунтуар сейчас вспомнил свой нелегкий путь в науке и то, как всегда заботливо и внимательно относился к нему Вергинский. Оказывается, в свое время, узнав от Даниеля, что Ергазы решил самолично отправить его на пенсию, Вергинский был возмущен и распорядился не трогать талантливого ученого. После присуждения ему степени доктора, приехал к нему домой и поздравил лично. Это уже много времени спустя Кунтуар узнал, что докторство ему было присуждено благодаря ходатайству группы казахстанских ученых во главе с академиком.

Археолог от души поблагодарил тогда Вергинского и добавил при этом:

— Меня больше всего обрадовало, что не перевелись на земле люди, которые помнят о судьбе таких вот... как я.

— Брось приbedняться! — смеясь, выговорил ему старый друг. И уже серьезно: — Ты — настоящий ученый. Если честно — достоин не только степени доктора, но и звания академика.

Теперь стало весело Кунтуару:

— Спасибо за высокую оценку, но, поверь, академиком быть не хочу!

— Почему же?

— Ученым можно быть и без этого звания.

Когда на выборах Вергинский предложил кандидатуру Кунтуара, собравшиеся единогласно проголосовали за него. Однако сам Кунтуар по-прежнему чувствовал себя рядовым труженником. Но одна деталь, один факт все время напоминал о его научном росте — Пеилжан, который на страницах периодической печати старался покритиковать всех, кого только не боялся, вдруг стал восхвалять труды Кунтуара.

— Ну уж это точно! Я и вправду академик! — шутил Кунтуар. — Иначе разве стал бы расхваливать меня Пеилжан?!

...Сейчас, стоя на берегу отдающего свежестью и прохладой моря, Вергинский, как у них повелось, разговаривал с Кунтуаром в шутовском тоне.

— Хочу успокоить тебя, старина. Не тужи, что какие-то доказательства древней культуры еще остались под водой. Ты подумай лучше, как развивается техника! Верю, что очень скоро памятники древности будем доставать прямо из-под воды.

— Да, если только доживем до этого дня...

— Мы не доживем — доживут они. — Академик указал на стоящих рядом Даниеля, Михайлова, Нурали, Кунимжан, Жаркына... — Или ты не вырастил себе достойную смену? — подзадорил Вергинский Кунтуара.

— Почему же не вырастил?! Вот он, мой самый талантливый ученик. Много лет бок о бок проработали рядом. В этом году он окончил факультет археологии и этнографии Московского университета. Ученый, у которого есть хоть один такой ученик, как Василий Михайлов, может считать себя счастливым..

## ЭПИЛОГ

Это было неожиданно и потому особенно тяжело.

На его похороны пришли все жители Кайракты. Над могилой академик Вергинский говорил:

— Умер прекрасный человек, талантливый ученый и известный археолог Кунтуар Кудайбергенов. Всю свою жизнь до последнего вздоха он честно служил науке и старался донести грядущим поколениям радость жизни некогда угасающего мира на родной земле.

Мы провожаем Кунтуара Кудайбергенова в далекое путешествие. Я не ошибся, говоря так. У саков, по словам Кунтуара, не было слова «умер». И если человек переставал дышать, переставал жить, саки считали, человек выехал в очень далекое путешествие.

Так и мы сегодня скажем — наш любимый Кунтуар не умер, он отбыл в далекое, далекое путешествие. А с нами остались его многочисленные труды. Его мудрость, его великодушие и доброта...

Здесь, на берегу рукотворного моря, над могилой прославленного археолога Даниель и Вергинский поставили памятник. Надпись была короткой: «Человек приходит в этот мир и уходит. Остаются его бессмертные дела». Ниже значились имя и фамилия, даты рождения и смерти ученого.



## СОДЕРЖАНИЕ

### ОПАСНАЯ ПЕРЕПРАВА

<i>Часть первая</i>	
Заблудший певец . . . . .	5
<i>Часть вторая</i>	
Скитание на перепутье . . . . .	57
<i>Часть третья</i>	
Жизнь — победа . . . . .	114
Эпилог . . . . .	167

### ЗОЛОТЫЕ КОНИ ПРОСЫПАЮТСЯ

<i>Часть первая</i>	
Глава первая . . . . .	173
Глава вторая . . . . .	183
Глава третья . . . . .	193
Глава четвертая . . . . .	208
Глава пятая . . . . .	216
Глава шестая . . . . .	230
Глава седьмая . . . . .	242
Глава восьмая . . . . .	257
<i>Часть вторая</i>	
Глава первая . . . . .	264
Глава вторая . . . . .	271
Глава третья . . . . .	283
Глава четвертая . . . . .	296
Глава пятая . . . . .	308
Глава шестая . . . . .	317
Глава седьмая . . . . .	327
Глава восьмая . . . . .	338
Эпилог . . . . .	348

---

**ИЛЬЯС ЕСЕНБЕРЛИН**  
**ОПАСНАЯ ПЕРЕПРАВА**  
**ЗОЛОТЫЕ КОНИ ПРОСЫПАЮТСЯ**  
**(перевод с казахского)**

Редактор *В. Полевская*. Художник *С. Айгбаев*.  
Худож. редактор *К. Зульфикаров*. Техн. редактор *М. Злобин*.  
Корректор *Г. Сыздыкова*.

ИБ 1238

Сдано в набор 29.05.79. Подписано к печати 28.08.79.  
Формат 60×90<sup>1/16</sup>. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура.  
Высокая печать. Печ. л. 22,0. Уч.-изд. л. 22,5. Тираж 200 000 экз.  
(1 завод 1 — 100 000.) Заказ № 603. Цена 1 руб. 70 коп. —  
(2 завод 100 001 — 200 000). Цена в обложке — 1 руб. 50 коп.  
Издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской  
ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,  
г. Алма-Ата, 480091, пр. Коммунистический, 105.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических  
предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР  
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046,  
г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

**Есенберлин Ильяс.**

- Е 82** Опасная переправа. Золотые кони просыпаются.  
Пер. с каз.— Алма-Ата: Жазушы, 1979.— 352 с.

В книгу лауреата Государственной премии Казахской ССР Ильяса Есенберлина вошли два романа.

«Опасная переправа» — произведение, уже известное читателю, — рассказывает о жизни и становлении казахской интеллигенции.

«Золотые кони просыпаются» — многоплановый роман о творческих дерзаниях, поисках древней цивилизации казахскими археологами и повседневном труде гидрогеологов, создающих рукотворное море в степях Сырдарьи.

Создавая образы простых советских тружеников, писатель показывает внутренний мир своих героев, силу их чувств, помыслов.

Каз 2

*Внимание, читатель!*

В третьем квартале 1979 года в Казахском Государственном издательстве художественной литературы «Жазушы» вышли из печати:

**Н. Раевский. Последняя любовь поэта.**

**В. Владимиров. Закон Бернулли.**

**Д. Бусаков. Утренний ветерок.**









18. 70%